



**Дружба
народов**
7/2018



Дружба народов



**Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

**E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/
druzhba/
LIVEJOURNAL: http://drujba-
narodov.livejournal.com/**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaomprk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 25.05.2018.
Подписано в печать 22.06.2018.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отг. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.
Заказ 8959. Цена свободная.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Лев
АННИНСКИЙ
Ирина
ДОРНИНА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Рамазан
АБДУЛАТИПОВ
Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Ольга
БАЛЛА

Дмитрий
БИРМАН

Денис
ГУЦКО

Иван
ДЗЮБА

Валентин
КУРБАТОВ

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Фарид
НАГИМ

Захар
ПРИЛЕПИН

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

Александр
ЭБАНОИДЗЕ

ЭЛЬЧИН

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Ефим БЕРШИН. Как чужой перевод. Стихи	3
Игорь БУЛКАТЫ. Цорион. Повесть	6
Инга КУЗНЕЦОВА. Объяснение. Стихи	75
Ефим ГАММЕР. Третий глаз. Документально-художественная повесть о реальной жизни с фрагментами воспоминаний моей старшей сестры Сильвы Аронес	76
Александр КАБАНОВ. Меж двух отчизн. Стихи	99
Лев УСЫСКИН. Рассказы	102
Сергей МУРАТОВ. Красная площадь. Рассказ	114
Алёна ЖУКОВА. Беглянка. Рассказ	124
Юрий АРАБОВ. Звезда Ништяк. Стихи	133
Илья ДАНИШЕВСКИЙ. Тени над мутабор. Рассказ	136
Полина ИВАНУШКИНА. Снится дом усталый, одинок. Рассказы	140
Диана СВЕТЛИЧНАЯ. Шырдак. Рассказы	146
Любовь КОЛЕСНИК. Исчезающая провинциада. Стихи	153

Проза.doc

Илья ФАЛИКОВ. Борис Слуцкий: Майор и муза. Главы из книги. Окончание	156
--	-----

Дружба на вырост

Аркадий ПОДКОПАЕВ. Первая кровь. Рассказ	206
--	-----

Публицистика

Юрий КАГРАМАНОВ. Европа в поисках души	225
--	-----

Нация и мир

Алексей МАЛАШЕНКО. «Обиженная» цивилизация?	236
---	-----

Библионавтика

Ольга БАЛЛА. Ключи к самим себе: слова и вещи русского самосознания (К.Кобрин. «Разговор в комнатах. Карамзин, Чаадаев, Герцен и начало современной России»)	250
--	-----

Эхо

Из дневника школьных лет. Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ	254
Summary	256

Ефим Бершин

Как чужой перевод

* * *

На балтийских болотах, где зреет стальная тоска,
над чухонской тайгой, позабывшей дыхание снега,
где желтеет вода, где всё больше и больше песка,
бедуинским шатром распласталось осеннее небо.

И ложится на землю верблюжьего цвета листва,
и бездомные осы ломают засохшие стебли,
и чахоточный Чехов, едва подбирая слова,
выдыхает в пространство: «Ich sterbe... ich sterbe... ich sterbe...»¹

Выхожу на порог, отгоняю бездомных котов.
Догорает закат, и душа ещё вроде при теле.
Но тяжёлым дождём на уснувшие крыши домов
опускается с неба тягучий песок Иудеи.

За вселенский разгул и за пращуров поправленный прах,
за безумные речи, которые нам не простили,
за поверженный Рим, за глухой перезвон тетрадрахм
на российских просторах является призрак пустыни

и кудлатых пророков, покуда лишённых имён,
зазывающий клёкот из душной песчаной метели.
И гортанная радость забытых окрестных племён,
отогнавших отары в отныне иные пределы.

Что же делать, мой друг? Да и стоит ли наших забот
в опустевшем пространстве искать золотого кумира?
Если выйдет пустыня — сюда переселится Бог
и сыграет на скрипке своё сотворение мира.

Бершин Ефим Львович — поэт, прозаик, публицист. Родился в Тирасполе в 1951 г. Автор нескольких книг стихов, документальной и художественной прозы. Постоянный автор «ДН». Живет в Москве.

¹ Ich sterbe — я умираю (нем.).

* * *

«Праведники наследуют землю
и будут жить на ней вовек».

Псалтирь 36,29

Ни земли, ни плодов. Разбрелись шерстяные отары.
Где верблюды и овцы, и женщины цвета песка?
Только дождь за окном, заколоченный пункт стеклотары,
перебранка котов да таинственный зов сквозняка.

Расчленённое солнце садится огрызками дыни,
и врывается в окна чужой остывающий сад.
Пастухи и пророки навечно ушли из пустыни
и угнали стада, и уже не вернутся назад.

Ни земли, ни плодов. Темнота в засыпающем доме.
Из раскрытого тома сквозит бесполезный завет.
Лишь в сквозную дыру от пробитой гвоздём ладони
можно вечность увидеть и прочий нездешний свет.

Только дождь за окном. Листопад. И ни зги не видно.
То ли ночь на дворе, то ли лето пустили на слом.
Лишь ободранный нищий, похожий лицом на Давида,
в переходе метро допевает последний псалом.

* * *

Сырое одиночество огней.
Промокший бьёт народного артиста.
Летит квадрага клодтовских коней
сквозь мелкий дождь, как колесница Тита,

с Большого — в направлении Кремля
над стройкой, подpiraемой кружалом,
над сквером, где трезвонят тополя
набатом перед будущим пожаром.

По улицам горбатым и косым,
неудержимо следуя прогрессу,
летит сквозь дождь Веспасианов сын,
влюблённый в иудейскую принцессу.

Уже давно распяли на заре
юродивого юного раввина.
И напряжённо дремлет на золе
сожжённая российская равнина.

И с Храма, заслонившего пустырь,
смывает дождь остатки позолоты.

Молчит Христос. Безмолвствует Псалтирь.
Не спят в Кремле кремлёвские золоты.

И поутру, покинув Мавзолей,
всесильный Ирод на всеобщем рынке
недоумённо бродит среди людей
и милостыню просит на Ордынке.

А люди, вырываясь из оков,
копают в рост ненужные окопы.
И, заглушая сорок сороков,
заводит Бах тревожные синкопы.

А дождь идёт, холодный, проливной,
глухим напоминанием о Боге.
Я молча дирижирую луной
и больше не мечтаю о свободе.

Свободой горим,
горят костры, смещаются границы.
Тоскует Русь.
Изнемогает Рим.
И Ирода украли из гробницы.

* * *

Зима как будто сыграна на лютне
со звонким переливом и тоской.
А за окном давно уже не люди
бредут, как люди, люди по Тверской.

А за окном, давно уже не город,
бурлит, как город, город. И над ним,
пятном пожара, мертвенен и горек,
горит небесный Иерусалим.

И шелестят, как придорожный гравий,
пустые звёзды, падая на снег.
Зима. Исчезновение географий.
Кровосмешенье улиц и планет.

И лишь собаки, оставляя метки,
вдруг обнажают логику систем
невиданных доныне геометрий,
неслыханных доныне теорем.

Плывут трамвайных окон кинокадры.
Материки уходят с молотка.
Всё спутано. И контурные карты
опять играют нами в дурака.

Витрины подменяют образа.
Создатель спит. Банкуют кукловоды.
Шестёрки бьют козырного туза.
И дамы исчезают из колоды.

* * *

Т. Вольтской

Переводчик, толмач, кукловод —
жалкий пленник случайного росчерка.
Сам живу, как чужой перевод
с неопознанного подстрочника.

Непонятною силой ведом,
непонятно куда и откуда
переписан и переведён
в этот мир из подземного гуда,
из болот, из далёких пустынь,
из глубин огнедышащей магмы.

Я — никто, я — ничей, я — не сын.
Я забыл свою бедную маму.

Но прошу, выходя за порог:
если можете, переведите
недопереведенный народ
в недопереведенном Египте,

на Валдае, на Волге, в горах,
запорошенных снежною синью,
чтоб попасть через голод и страх
из пустыни — в другую пустыню.

Игорь Булкаты

Цорион

Повесть

Премьера «Короля Лира» состоялась весной в доме культуры железнодорожников. Но настоящий спектакль случился позже, когда мой друг Гудериан пришел в костюме Корделии на площадь Мира, заполненную горожанами, поднялся на трибуну, растолкал готовящихся к выступлению толстозадых «патриотов» в чухах и, поправив рыжий парик с локонами, произнес в микрофон: «Не трогайте короля! Всякий, кто поднимет на него руку, будет иметь дело со мной! А граф Кент — петух!» Возможно, Гудериан был пьян, а может, просто притворялся таковым, во всяком случае, когда его спихнули с трибуны, он стал кататься по асфальту и хохотать на всю площадь, хлопая себя руками по бедрам, ровно штаны у него были полны свежевывловленной речной форели и он трясся от щекотки. Собравшиеся наблюдали за ним, и гул стоял как в котельной.

Да, это было после премьеры, когда Гудериан еще не слыл сумасшедшим, а все его проделки воспринимались с улыбкой. Впрочем, экстравагантность поведения моего друга частично списывалась на пьянство. Гудерианом он стал после застолья, во время которого вдруг потребовал, чтобы впредь его называли именно так, а не иначе, и ни на какое другое имя он отзываться не собирается. Кто-то из сотрапезников осторожно поинтересовался его политическими взглядами, заметив, что Хайнц Вильгельм Гудериан был генералом бронетанковых войск фашистский Германии, в 45-м пленен американцами в Тироле и доставлен в Нюрнберг, где и осужден как военный преступник. На что тот ответил, будучи еще не совсем хмельным, дескать, все это вранье, на Нюрнбергском процессе Гудериан выступал как свидетель и вел себя вполне достойно, а солдатом и мужиком был настоящим. Посреди стола, накрытого белой скатертью и заставленного посудой в стиле прованс, высился массивный бронзовый подсвечник. Гудериан послунывил большой и указательный пальцы, погасил свечу, выдернул ее из подсвечника и бросил на пол. Затем взвесил на ладони блестящий металл и добавил: «Ну а ежели кому-то действительно интересны мои политические убеждения, то милости прошу!» Сотрапезник рассыпался в извинениях. Гудериан так Гудериан. Есть люди, которых никто никогда не называет по имени. Все стали величать его Гудерианом.

Он был невысокого роста, худой и плешивый, но с обезоруживающей улыбкой, работал экономистом мясокомбината и сочинял эпиграммы. Однако к своему дару относился на редкость легкомысленно, хотя все в городе признавали за ним талант и

Булкаты Игорь Михайлович родился в 1960 году в Тбилиси. Прозаик, поэт, переводчик с грузинского, осетинского, французского, английского языков. Публиковался в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Литературная учеба», «Литературная Грузия» и др. Живет в Москве.

при каждом удобном случае просили выдать экспромт. Что тот и проделывал с невероятной легкостью. Поговаривали, что Гудериан писал стихи для кардиолога Бено. Якобы тот предоставлял ему набросок, тему будущего стихотворения, а Гудериан за полчаса умудрялся не только зарифмовать, но и придать сочинению индивидуальность и глубину. Платил ли Бено за работу Гудериану — неизвестно. Только каждую неделю в газете появлялась свежая подборка стихов за подписью Рауля Панаскертеля. Однажды секретарь райкома вызвал к себе в кабинет Бено и отчитал за строки «Родная, ты уж не взыщи, что я люблю твои прыщи», за которыми угадывалась долговязая дочь секретаря по имени Лорена, по протекции отца игравшая в спектакле Регану. Ходили слухи, будто она безнадежно влюблена в Гудериана, не раз пыталась его соблазнить, но безуспешно. Бено оправдывался как мог, божился, что никого конкретно не имел в виду, и это была чистая правда, на что ему был предложен выбор: либо вообще перестать печатать стихи, либо жениться на Лорене. Эскулап склонил голову набок и уронил зачесанные с затылка и аккуратно уложенные на темени волосы. Разумеется, он выбрал первый вариант, хотя второй сулил безбедную и беззаботную жизнь, однако обещания своего не сдержал. О Гудериане же никто и словом не обмолвился. Кстати, последний, кроме рифмоплетства и экстравагантных выходов, славился еще и хлебосольностью. Встретив на улице малознакомых людей, мог позвать их в кабак и угостить по полной программе. Впрочем, мясокомбинат вскоре закрылся, и Гудериан остался без работы и без средств к существованию. Тогда он ударился в бизнес, набрал кредитов в банке, но не смог их погасить вовремя, и стал скрываться от кредиторов, словом, запутался вконец. Вдобавок ко всему его бросила жена, забрала сына и ушла к родителям. Гудериан запил пуще прежнего. Его большой кривой нос свидетельствовал о беспорядочном пьянстве. И экспромты у него получались особенно острыми и циничными.

Когда у отца Гудериана Соломона случился инфаркт, он не раздумывая обратился к Бено. Старика немедленно положили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Бено понаблюдал за больным два дня, потом поручил его своему ученику Дуду, молодому перспективному кардиологу из еврейского поселка Кулаши. Тот отличался тем, что вычитывал в англоязычных журналах о всевозможных «прогрессивных» методах лечения инфаркта миокарда, а затем распространялся на летучках о прочитанном и настаивал на внедрении в практику этих методов. Например, наряду с тромболитиками Дуду порывался назначить больным жесткую диету и физические нагрузки, что не очень нравилось родственникам больных. Между тем Бено вообще перестал обращать внимание на Соломона, ссылаясь на чрезмерную занятость. Гудериан же, увидев его во время репетиции спектакля на кожаных котурнах, с белыми бритыми икрами ног, без очков, но с подведенными, как у шлюхи, глазами, окончательно убедился в нетрадиционной сексуальной ориентации главного кардиолога.

Премьера изменила распорядок жизни, но городок по-прежнему представлял собой субтропический железнодорожный узел со среднегодовой влажностью 80%, дождями с ветром и частыми проявлениями бронхиальной астмы среди детей. В воздухе пахло грозой и сырым театральным занавесом из красного бархата с желтыми кисточками на конце, который истрепался вконец после спектакля, так как зрители долго не хотели отпускать запыхавшихся актеров и те, счастливые, как дети, выходили на авансцену и кланялись, принимая цветы и подмигивая знакомым, и «браво!» носилось по балконам и партеру раскаленным шаром. Спектакль получился на славу. И не потому что Лир, которого играл седой Цорион, появился на сцене в джинсах, кроссовках и полотняной рубашке навыпуск, будто он с вечерней прогулки случайно забрел за кулисы, заблудился там и в конце концов вышел на свет к зрителям, а те, сочувствуя, стали подбадривать его, и первая фраза Лира «Сходи за королем французским, Глостер!» прозвучала среди всеобщего веселья и смеха, поскольку дочери его в длинных платьях со стоячими воротниками выступили вперед из-за трона, и Корделией оказался не кто иной, как плохо загримированный Гудериан в парике и

накладных ресницах, а в глубине сцены ухмылялась свита в обтягивающих трико и камзолах с широкими рукавами, и когда Глостер, которого играл директор музыкальной школы Гутар, ответил гнусавым тенорком: «Хорошо, мой государь!» — публика буквально взорвалась хохотом. У седого короля ни один мускул не дрогнул на лице. Он приблизился к краю авансцены, свесился над оркестровой ямой и произнес, будто молитву: «А мы вас посвятим в заветные решения наши!» — дождался, пока утихнет шум, и добавил, очертив белой ладонью пространство вокруг себя: «Потерпите малость!» Зал успокоился, даже националисты с галерки во главе с бородатым Фомой, напаялившие на себя черные чухи, прикусили языки. Разодетые в пух и прах домохозяйки, в отличие от своих мужей, пришедших в дом культуры прямо из локомотивного депо и фабрик, не скрывали слез и умильно смотрели на Лиру снизу вверх. Наверное, кто-то из них слышал про Шекспира, а кто-то и читал что-нибудь, но нынче это было не важно. Спектакль растряс город, как пассажиров поезда на повороте, стал событием, сулившим споры, сплетни, умозаключения, которыми обычно живут люди в провинции.

Бено заведовал терапевтическим отделением больницы в Нахаловке, куда не ходил ни один автобус и добраться до лечебного учреждения можно было только пешком — через площадь Мира с Вечным огнем у памятника матери погибших солдат, мимо остановки возле кафе, в котором по субботам было не протолкнуться — солидные мужчины с животами водили туда своих жен, детей, своячениц, старых бабушек и теток, двоюродных и троюродных сестер с их отпрысками есть ванильное мороженое с клубничным сиропом и торт с вишнями под названием «Вечерний аромат», и было шумно и немного торжественно, и дальше по длинному мосту с сетчатыми люльками по бокам. С моста было видно, как маневрируют локомотивы, машинисты высунулись по пояс из окна и машут руками, разгоняя путейцев с длинными молотками, а диспетчер орет в громкоговоритель, но разобрать его слова невозможно. На полупустом перроне, засунув руки в карманы брюк, бродят зеваки, и возле ларьков топчутся завсегдатаи, едят сосиски с горчицей и потягивают пиво.

Две трети сердечников города лечилось у Бено, остальные — у еврея Дуду, опасавшегося дурной наследственности по материнской линии. Дуду вел здоровый образ жизни, не пил, не курил, а по утрам нарезал круги на городском стадионе, однако это его не спасло — сразу после абхазской войны бедняга заболел лимфосаркомой и помер. Примечательно, что когда Дуду собрался в Израиль на лечение, жители поселка Кулаши собрали ему деньги, но его ограбили в аэропорту, до нитки обобрали, он стоял вместе с женой на контрольном пункте, и они плакали навзрыд, и никто из присутствующих, среди которых наверняка были либо пациенты Дуду, либо родственники этих пациентов, не попытался их утешить.

Странности поведения в провинциальном городке быстро вылезают наружу. Но Бено не был педерастом.

Жизнь ему подпортила старшая сестра, надменная чопорная дама по имени Диана со слегка выющимися темными волосами, стриженными под каре, и большими выразительными глазами. Она носила мягкую обувь, щадящую ревматоидный артрит. Отец их, рыхлый и неспешный старичок в фетровой шляпе, продавал на вокзале газеты, был в курсе всех политических событий и охотно поддерживал разговор с пассажирами. С писателем Цорионом Бено познакомился в то время, когда управление железной дороги выделило семье писателя трехкомнатную квартиру в только что отстроенном четырехэтажном доме, из окон которой виднелась железная дорога и большая усадьба вдоль дороги, обсаженная по периметру чинарами и липами, и старый деревянный особняк с широким дымоходом, лестницей и балконом с резными балясинами. По двору носилась грязно-белая болонка Кукла и гоняла голубей. Каждое утро Бено с отцом по очереди выходили на балкон и шумно умывались по пояс холодной водой, звонко гремя алюминиевым клапаном рукомойника, после чего растирались вафельным полотенцем. А Цорион звал к окну домочадцев, и они с интересом наблюдали утренний моцион соседей. У Бено была девушка, русая портниха Галя с длинными ногами, обшивающая половину города. Он любил ее до

безумия, посвящал стихи и намеревался на ней жениться. Галя жила с матерью в одной из комнат длинного двухэтажного николаевского дома в Нахаловке, возле клуба «Железнодорожник», в котором вечерами крутили кино, а по субботам включали магнитофон «Юпитер» с усилителем и устраивали танцы. Мать ее, тихая незаметная женщина в темном платке, работала уборщицей на вокзале и каждое воскресенье ездила за тридцать километров в церковь к заутрене.

Усадьба Бено попала под снос, так как вдоль железной дороги городские власти решили проложить асфальтированное шоссе. Продавцу газет выдали солидную компенсацию, выделили пятнадцать соток земли в конце улицы Гурамишвили и выправили все бумаги, но в самый разгар переезда старик скончался. Гроб поставили в наскоро сколоченную временку на новом участке, натянули брезентовую палатку и развели костер для поминальной кутьи. Проводить в последний путь старика пришел весь город. Полил дождь, и люди укрылись под брезентом, но всем не хватило места, и половина из них промокла до нитки. К тому времени Бено с Цорионом общались довольно тесно. Видя, как мокнут под дождем пришедшие, они вышли из временки и встали вместе с ними, отказавшись от предложенных кем-то зонтов, торжественные и печальные в своей неподвижности. После похорон Бено принялся за строительство нового кирпичного дома, в чем ему немалую помощь оказали пациенты. Галя приходила каждый вечер, убиралась, стряпала. Однажды Бено велел девушке съездить в Тбилиси к Диане и завоевать ее симпатию. Она поехала к ней в гости с огромным тортом и бутылкой шампанского, представилась, но расположения так и не добилась — та отнеслась к русской девушке холодно. Между тем, Бено продолжал встречаться с Галей. Узнав об этом, Диана специально приехала домой утренним поездом, чтобы застать их в постели и выставить девушку за дверь. Предрассветную тишину городка вспоролو колоратурное сопрано Дианы: «Во-о-он отсюда, шлю-ю-юха!» Поползли слухи, будто сделала она это с целью пресечь попытки Гали прибраться к рукам двухэтажный дом брата. Глупости, конечно, только Галя собралась и уехала в неизвестном направлении.

Бено был в отчаянии, едва руки на себя не наложил, а спасло его назначение заведующим терапевтическим отделением железнодорожной больницы — он полностью отдался работе. Да и сестра держала все под контролем, более того, Диана наконец-то ощутила свое призвание — оберегать брата от всего, что мешало его карьере. Она выписывала ему из Москвы журналы по кардиологии, следила за тем, чтобы брат выглядел аккуратно и от него пахло дорогим одеколоном, был в курсе всех научных дискуссий и по возможности не пропускал медицинских симпозиумов. Кроме того, по природе являясь гораздо более практичной, чем Бено, Диана стала контролировать и его личную жизнь. Когда Бено задерживался в библиотеке или на репетиции, она выходила из недостроенного дома, сворачивала на улицу Ленина и шла в сторону центра, расспрашивая у встречных-поперечных, не видал ли кто мужчину в очках и шляпе. Бено знала каждая собака, но для потехи у Дианы интересовались дополнительными приметами: носит ли ее брат накладные волосы, усы, гладко ли выбривает подбородок и пахнет ли от него драккаром или атташе. Диана делала вид, что ее не трогает ирония, и принималась рассказывать про брата, какой он хороший врач, да как здорово рисует и какие пишет стихи — «намедни ночью мне призналась дама, какие гибнут в ней жена и мама», которые регулярно печатаются в районной газете под псевдонимом Рауль Панаскертель. Она активно жестикулировала, отчего длинные пальцы с ногтями казались еще длиннее. Сжалившись над старой девицей, прохожие в конце концов поведали ей о доме культуры железнодорожников, что на привокзальной площади, о том, что внутри горят огни и на сцене так жарко, что мужчины расстегнули ворота рубах, а женщины обмахиваются казенными веерами. Они репетируют «Короля Лира», трагедию Шекспира. Разве сударыня не знает о том, что господин доктор занят в спектакле, играет одну из главных ролей — графа Кента, директор музыкальной школы господин Гутар — Глостера, а господин Цорион — Короля Лира? Смех да и только, сударыня, целыми днями эти три приятеля носятся

по городу, как заведенные, в поисках костюмов и прочего реквизита, а вечерами собираются в доме культуры, зажигают софиты и выжимают друг у друга слезы.

Диана сердечно поблагодарила прохожих и решительной походкой, стараясь выглядеть легкой и воздушной, направилась к дому культуры. Спина ее под ехидно оценивающим взглядом мужчин прогнулась, как у птицы на взлете. За памятником Ленину на ступеньках райкома толпилась комсомольская челядь и что-то шумно обсуждала. Диана замедлила шаг, краем уха прислушиваясь к их разговору, склонилась над старым мраморным фонтанчиком и не спеша утолила жажду.

Путь пролегал мимо арки стоквартирного дома, на первом этаже которого располагалась городская библиотека. Обычно свет за стеклянной витриной горел допоздна, привлекая, как полуденную мошкарку, членов поэтического клуба «Парнас». Декламировали плохие стихи, однако на похвалу не скупились, вечера поэзии плавно перетекали в дискуссии о свободе и об искусстве с разбрызгиванием желчной слюны и призывами к свержению коммунистического строя. Диана, в отличие от Бено, никогда не заходила туда, потому что библиотекари были чудовишно молоды и позволяли себе гораздо большую развязность, нежели приличествует девушкам провинциального городка. Впрочем, развязность можно было объяснить тем, что библиотека с ее длинными дощатыми полками пыльных книг и каллиграфическими инициалами великих писателей на прищипленных к стойкам кусках картонной бумаги, легким ощущением причастности к вечному способствует некоторой свободе и высокомерию. Девушки знали почти всех современных поэтов и романистов, отличали акмеистов от имажинистов, но собственным мнением не располагали. Они предпочитали пересказывать чужие мысли, в основном, Бено, Гутара и Цориона, интеллектуальной элиты, стараясь придать этим мыслям новое звучание. В сущности, девушки все еще были студентками библиотечного техникума, хватающими на лету каждое слово мэтра, и дрожь в голосе выдавала их волнение.

Клуб «Парнас» был организован по инициативе бюро райкома, когда о свободе стали говорить все, начиная с чистильщика обуви на привокзальной площади и испитыми проводниками местных железнодорожных линий и кончая старым молочником с торчащим из живота катетером, ежеутренне возящим на двуколке по дворам молоко, когда эта свобода обрела собственную жизнь, вырвалась на улицы и площади городка и завладела умами людей, и это было похоже на пандемию психоза. Внезапно жители городка ощутили невероятный душевный подъем, который не позволял им сидеть, как прежде, сложа руки. Они просыпались чуть свет оттого, что не успевшие за ночь отдохнуть тела их становились невесомыми, как пушинка, неведомая сила поднимала их над измятой постелью, и люди парили над домами, как птицы. Жители города покидали свои жилища и направлялись к райкому требовать свободу. Городские власти были озадачены проявлением активности людей, поэтому срочно был создан неформальный клуб, где каждый мог высказать свое мнение о социальных проблемах. Руководителем «Парнаса» выбрали писателя. Для городских властей Цорион являлся удобной креатурой. Во-первых, посредством писателя они намеревались взять под контроль протестные настроения, а во-вторых, Цорион, осетин по национальности, по замыслу тех же властей, был заинтересован в подавлении набирающего силу национализма. Писатель был чист и наивен, как ребенок, поэтому и взвалил на себя эту ношу, пытаясь растопить вселенское зло. Он призвал в союзники лучшие умы человечества, лучших писателей и художников, но напрасно. Все в итоге получилось совсем не так, как он мечтал. Приложенных усилий оказалось недостаточно, чтобы завоевать сердца сограждан. В конце концов, его изгнали из города, в одночасье превратив в главного врага, сердце не выдержало таких масштабов несправедливости, и он умер в пригороде Владикавказа, в поселке Октябрьское, в чужой каморке, на чужом диване.

На какое-то время «Парнас» пригасил социальную активность, послужил клапаном для выпуска пара. Члены клуба собирались в библиотеке после работы,

предварительно вооружившись цитатами из Ницше, Шопенгауэра и Кампанеллы. Они пытались поразить воображение библиотекаря, разбавить воздух, в котором пахло сменной обувью и казенными харчами в маленьких алюминиевых кастрюлях, духом бунтарства и любомудрия. Но это была игра, они выпендривались друг перед другом, не жалея голосовых связок, не слишком выбирая выражения, смущали девиц, доводя их до замешательства, и чем больше было слушателей, тем удачней складывалась игра.

Возле арки висело деревянное табло киноафиши, на которой красной краской было выведено название фильма, сеансы 15-00, 18-00 и 21-00. На последний сеанс — для взрослых — в том случае, если не хватало мест в зале, афиша предлагала зрителям прихватить с собой собственный табурет и примоститься в проходе. Диана никогда не обращала внимания на афишу, потому что не ходила в кино. О, она с удовольствием приобщилась бы к синематографу, но ей было за сорок, а женщинам в таком возрасте по вечерам лучше сидеть дома. Сразу же за афишей начиналась витрина галантерейного магазина. Диана любила этот магазин, частенько заходила туда прикупить иголки, нитки, пряжки, разные пуговицы и булавки, а также предметы дамского туалета. Владелец магазина, низкорослый и плотный еврей Ило, знал ее в лицо и иногда отпускал товар в кредит. За галантереей был вход в городской парк, но в темное время суток Диана не решалась его посещать. И не потому, что было опасно — в городе все знали друг друга, просто могли подумать бог весть что, а солидной даме следует беречь репутацию.

За входом в парк начиналось серое четырехэтажное здание гостиницы с ювелирным магазином и рестораном на первом этаже. Из ресторана доносились звуки музыки. Диана перешла на другую сторону улицы и продолжила путь вдоль фонтанов. С перрона донесся голос дикторши, объявившей по громкоговорителю о прибытии скорого поезда № 36. Поезд шел с опозданием, поэтому стоянку сократили. Фонтаны не работали, и Диане поверх пустых бассейнов открылся вид на мостовую и тротуар за нею, обсаженный кленами, и сквозь деревья просматривалась боковая пристройка вокзала, на углу которой находился общественный туалет — отец ее перед работой ходил туда справлять нужду, это был целый ритуал с выбором чтива и отматыванием туалетной бумаги, и они с Бено иногда подтрунивали над ним — и дальше летнее кафе с круглыми белыми столами и стульями в форме перевернутых ваз, и перрон, выложенный коричневой плиткой, а по перрону, как угорелые, носятся ассирийцы-носильщики со своими тележками и кричат, коверкая слова. Звучала веселая музыка, подтягивались пассажиры с баулами и чемоданами — все как всегда.

До дома культуры было рукой подать. Диана вспомнила, что не убрала с приемного окошечка банки с мочой и калом для анализов, а кошки наверняка смахнут их на пол, как это бывало не раз, главврач поликлиники устроит разнос. Больше всего раздражал не запах — Диана привыкла к нему, а нитки, которыми были примотаны к банкам обрывки бумаги с данными пациентов. Когда берешь их в руки, то чувствуешь даже сквозь резиновые перчатки плотные узлы суровых ниток, будто в банке хранится золотой песок. Можно, конечно, зайти в лабораторию на обратном пути и убрать все, но вряд ли Бено согласится сопровождать ее. Ладно, придется утром встать пораньше.

Тяжелая дубовая дверь дома культуры не поддавалась, и Диана забарабанила по ней кулаками. Послышался скрежет отодвигаемой металлической задвижки, и в проеме возникла тщедушная фигурка охранника Мурата, бывшего центрфорварда местного футбольного клуба «Локомотив». Длинный череп его блестел, как у египетского жреца. От охранника несло перегаром, едва на ногах держался, но источал вежливость и благодушие.

— Добрый вечер, госпожа Диана! Прекрасно выглядите! Вам очень идет это платье!

— Здравствуйте, Мурат. Бено здесь?

— Здесь. Они репетируют. Только не велено никого пускать!

— Знаю. И Гудериан здесь?

— Кажись, здесь.

— Пропустите меня, пожалуйста, мне очень надо видеть брата.

Мурат стоял в нерешительности, тяжело соображая.

— Знаете что, госпожа Диана? Давайте я спрошу у режиссера, а то меня выгонят с работы, — произнес он, растягивая слова и покачиваясь.

— Ну вы же не оставите меня здесь одну, пустите хотя бы в фойе.

— Ладно, — махнул рукой бывший форвард, — только из уважения к вам и вашему брату, проходите.

Диана сунула охраннику целковый и вошла внутрь. В вестибюле пахло сыростью и масляными красками — за гардеробом помещалась мастерская местного художника, в шутку прозванного Гогеном за внешнее сходство с известным постимпрессионистом. Он был высокий, худой, усатый, постоянно носил круглую, как церковный купол, войлочную шапку, под которой скрывал проплешину. Жена его, дородная дама с заячьей губой, родила ему двух сыновей, одного из которых впоследствии убили на абхазской войне. Сыновья пошли в мать, были такие же некрасивые, но удивительно ловкие. Дважды в неделю Гоген водил их на илорский ипподром заниматься верховой ездой. Мальчики научились держаться в седле и брать несложные барьеры, регулярно принимали участие в майских и ноябрьских демонстрациях верхом на списанных жеребцах. Когда Гоген представил нам сыновей, одетых в красные чухи с газырями, в черные азиатские сапоги с высокими голенищами, с настоящими кинжалами на поясе, то Гудериан как бы между прочим заметил ему: «Слушай, Гоген, если ты хотел детей для себя, то почему не сказал мне!» Присутствующие при этом прыснули, а Гоген обиделся.

Художник придумал эскизы костюмов и декораций к спектаклю. Но Цорион их отверг сразу за вычурность. Увидев нарисованного акварелью на куске ватманской бумаги Короля Лира в лохмотьях, он заявил, что только ленивый не изобразил несчастного Лира нищим оборванцем, что никакого особенного костюма для этой роли ему не требуется. И дорогие декорации ни к чему, достаточно трона на сцене да задника с изображением бескрайней степи.

На стенах вестибюля висели хорошо обрамленные пейзажи и портреты нашего Гогена. Про одну из картин Цорион опубликовал хвалебную статью в журнале «Творчество», не преминув заметить, что художник — самоучка, но талантлив неимоверно, что в картинах его, внешне грубых и плохо выписанных, проявился национальный колорит, а «Собачья скала» — вершина его творчества, представляющая философское осмысление добра и зла. «Собачья скала» изображала обрыв, с которого сбрасывали предателей и изменников. После этой статьи к Гогену приехали телевизионщики и сняли о нем репортаж. Жители города стали относиться к нему с пиететом, останавливали на улице, поздравляли, пожимали руки. Руководство отделения железной дороги заказало ему несколько пейзажей, а кое-кто и собственный портрет, что серьезно пополнило семейный бюджет художника.

Из зала доносились голоса. Диана вошла в партер и увидела седого Цориона в огромных роговых очках, стоящего у оркестровой ямы. На сцене возвышался золотой трон, возле которого толпились актеры.

— Гутар, так нельзя играть Глостера, — говорил Цорион. — Да, это не менее трагическая фигура, чем Король Лир. Но ты переигрываешь, произносишь текст с излишним надрывом. Если бы это была патетика, куда ни шло, но ты представляешь его каким-то неврастеником.

— Позвольте, как же мне его играть? — оскорбился Гутар, одетый в оранжевый с красными цветочками камзол, широкие коричневые бриджи и башмаки с золотыми львами. — Человеку вырвали глаза, родной сын предал его! Что же он, по-твоему, должен изъясняться как статист?

— Никто не говорит об этом, — пригладил волосы Цорион. — Надо просто пригасить трагические ноты. Спокойнее. Может быть, немного добавить патетики?

— Вот как раз патетика тут неуместна. Вспомни, как, получив письмо, он с

дрождю в голосе заявляет сыну: «В стране высадилось чужое войско. Нам надо стать на сторону короля». Им движет страх, а не благородство.

— Возможно, ты и прав. Страх правит миром.

— Страх и корысть! — вставил Гудериан.

— Цыц! — одернул его Бено.

Цорион заметил Диану и, улыбаясь, обратился к ней:

— Как ты думаешь, Диана?

Диана сконфузилась, но быстро взяла себя в руки и ответила:

— Я плохо знаю Шекспира... Но, по-моему, если Глостер боится королевского гнева, это естественно. Тем трагичнее его образ.

— Не согласен! — замотал головой Гутар. — Он трагичен ровно настолько, насколько его изображает таким Шекспир. А Шекспир недвусмысленно намекает на его малодушие.

— Нельзя измерить трагичность персонажа, — раздраженно проговорил Гудериан. — Все дело в таланте актера.

— Что ты имеешь в виду, пьяница? — спросил Бено. — Может быть, ты намекаешь на наши актерские способности? Так я тебе прямо скажу, что я не профессионал.

— Я знаю, что вы врач, господин Бено. Но не в этом дело, — примирительно произнес Гудериан. — Простите, если обидел вас.

— Еще чего, — смягчился Бено, — никого ты не обидел. Так в чем же дело?

Гудериан снял парик и бросил его на трон. В это время в партер вошел Гоген и стал громко любезничать с Дианой.

— Потихе, пожалуйста! — сказал Цорион. — Мы слушаем тебя, Гудериан.

— Вон Гоген не даст соврать, — Гудериан помахал рукой художнику, — театр, в отличие от живописи, воздействует на фантазию. Даже Станиславский говорил, что ценность актера не в том, с какой достоверностью он играет роль, а в том, с какой силой его игра разгоняет маховик фантазии зрителя, насколько тот вовлекается в процесс.

— Откуда ты все знаешь? — попробовал съехидничать Гутар.

— Поймите, даже замысел автора пьесы не так важен, как стратегическая цель режиссера.

— Здравсьте, приехали! — развел руками Бено. — Замысел автора не важен, а цель режиссера важна!

— Бено, в этом есть смысл, — поддержал Гудериана писатель. — Послушай меня. Может быть, предназначение театра в том и заключается, чтобы находить в пьесе что-то свое, сокровенное, отличное от того, над чем ломал голову автор.

Гудериан помолчал немного и продолжил:

— Глостера можно играть по-разному. Главное, чтобы он подчинялся общей концепции. Знамо дело, мы должны нести идеи добра и справедливости. Но в контексте нынешних реалий, как мне кажется, было бы глупо не использовать сцену для демонстрации своего отношения к миру. В 71-м году Владимир Высоцкий, играя Гамлета, вышел на сцену в джинсах...

— Да слышали мы про это! — прервал его Бено. — Что ты хочешь предложить? Чтобы все мы переоделись в современную одежду, мужчины надели черные костюмы и лакированные башмаки, а женщины — узкие гипюровые платья?

— Думаю, он хочет предложить что-то другое, — сказал Цорион.

— Что же? — повернулся к нему Бено, а потом перевел взгляд на Гудериана.

— Начнем с того, что трон следует сдвинуть с центра сцены, — весело произнес Гудериан.

— Почему это? — спросил Бено. — Трон — символ власти, неменный атрибут шекспировских трагедий.

— Согласен, но гораздо важнее динамика характера короля. Обратите внимание, в начале пьесы Лир предстает сильным и волевым правителем, привыкшим к раболепию и почитанию, но к концу меняется кардинально. Страдания высвобождают

дух, развязывают язык настолько, что речь его становится метафоричной. Замечу, что метафоричность короля Лира или Глостера — не самоцель, как в других трагедиях Шекспира, а средство выражения эмоций, если угодно, поршень, выдавливающий страдания из груди.

Гудериан замолчал, заметив улыбку на лице писателя.

— Я что-то сказал не так? — спросил он.

— Нет, наоборот, — ответил тот.

— Именно человек должен быть центром внимания, его страдания, а не трон. Более того, я скажу вам, что следующий спектакль надо ставить на площади Мира, под чистым небом, и привлекать простых людей.

— Не понимаю, почему мы должны слушать этот бред? — пожал плечами Бено.

— Хочу заметить, каждодневный бред душе и сердцу причиняет вред! — продекламировал Гудериан.

— Твои вирши уже надоели всем! — сказал Гутар. — Давайте работать!

— Успокойтесь, он говорит все правильно, и вы это знаете, — сказала Диана.

— Да, он говорит правильно, — произнес писатель, — и я согласен, что трагедия под чистым небом расширится, как веселящий газ.

Гудериан уткнулся в ладони и засмеялся.

— Ну, если вы все такие умные, то играйте сами своего Шекспира! — Бено принялся стягивать с себя театральный костюм.

— Ты как маленький ребенок, — заметил Цорион.

— За последние пять лет ты поддержал меня всего дважды, — сказал Бено. — Первый раз ты вступился за меня на рынке, когда обрушил праведное негодование на голову пожилой продавщицы, заломившей цену за курицу. Второй раз, когда в парке у меня случился сердечный приступ, а у тебя ответный, но ты все делал вид, что спасаешь меня, преодолевая собственный страх, и все-таки мне пришлось откачивать тебя.

— Прекрати, Бено! — одернула его Диана. — Прекрати немедленно!

— А ты откуда взялась? Почему посторонние в театре?

— Вообще-то, она ваша сестра, — сказал Гудериан.

— Глупо планировать следующий спектакль, — пожал плечами Гутар. — Ради Бога, давайте сначала сыграем премьеру.

— Я против постановки на площади, — не унимался Бено. — Разве ты забыл про националистов? Фома же угрожал тебе и твоей семье. Помнишь, как ты прибежал ко мне в больницу и жаловался на него? Этим националистам только того и надо, пусти козла в огород. Они такое устроят на площади, что небо покажется с овчину.

— На сегодня все, репетиция окончена! — объявил Цорион, и актеры стали расходиться.

— Ты скоро, Бено? — спросила брата Диана. — Я подожду у выхода. Было бы неплохо заскочить в поликлинику и убрать с окна анализы.

— Скоро, переоденусь только, — ответил кардиолог.

Диана встала с кресла. К ней подбежал Гоген и услужливо подал руку. Она позволила художнику проводить себя до выхода.

Фома носил густую огненно-рыжую бороду и длинную красную чуху, из-под которой виднелись потертые джинсы фирмы Levi Strauss и до блеска надраенные кожаные мокасины. У него был пивной живот, поэтому ремешок, которым он подпоясывался, вечно сползал на бедра, и чуха напоминала казахский чапан. Несмотря на то, что Фома не брился, от него всегда пахло дорогим одеколоном. Благодаря сослуживцу по армии ему удалось завербоваться матросом на торговое судно, которое было приписано к таллиннскому порту. Таким образом, Фома три года бороздил моря и океаны, побывал во многих городах мира, после чего вернулся в родной город и, кроме всякого барахла, привез с собой большого желтого попугая и триппер. Попугай, болтающий по-испански, произвел на жителей городка неизгладимое впечатление.

Впрочем, как и сам хозяин попугая. Фома тогда был стройным и гибким, как акробат, и ходил, поводя плечами.

Триппер вылечил главврача кожевдиспансера, которого все звали доктор Квази. Здание лечебницы находилось напротив аптеки, за круглой пивнушкой Фёдора, возле чертова колеса. Приезжие, вознамерившиеся полюбоваться городом с высоты птичьего полета, с удивлением замечали из-за парковых акаций, сосен и платанов в окнах богоугодного заведения с облупившимися стенами всплывающие мечтательные лица сифилитиков, машущих руками, как детвора у железнодорожной насыпи.

Входить в здание диспансера Фома сразу не решился. Открыл было тяжелую входную дверь на пружине, но когда из коридора навстречу ему бросилась толпа больных в грязных халатах с вопросом: «Что у тебя, брат?» — он отпрянул назад. Один из них выглянул и позвал его. Фома пересилил страх и вошел в коридор. Его немедленно обступили больные.

— Да ты не бойся, — прошамкал тот, что позвал его, видимо, тертый. — Все через это проходят.

— Я не боюсь, — ответил Фома.

— Бои-и-ишься! — осклабился тот, и когда он открыл рот, Фома увидел, что у него нет ни зубов, ни десен.

— Мне нужен доктор Квази, — сказал Фома, пытаюсь сохранить самообладание, но голос предательски дрогнул.

«А вдруг у меня тоже...» — подумал он и почувствовал, как крупная капля сползла по спине вниз к пояснице.

— Знамо дело, он тут всем нужен! — засмеялись больные. — У тебя шанкр, гонорея?

— Слушай, — обратился Фома к тертому, — давай на улицу выйдем, а то мне что-то нехорошо.

— Успокойся, брат! — хлопнул тот его по плечу. — В первый раз всем бывает плохо, а потом привыкаешь. А на улицу мне нельзя.

— Почему? — спросил Фома.

Мужик измерил его взглядом.

— На воздухе у меня сразу же проявляются пятна. Так что у тебя? Не тяни резину, говори, мы тут собаку съели на этом.

— У меня выделения, — опустил голову Фома.

— А-а-а, делов-то! — сказал тертый. — Давно?

— С неделю.

— Триппер! Купи у евреев в Кулаши фазижин и метациклин. Фазижин проглоти сразу всю упаковку, там шесть таблеток, а метациклин — по две капсулы после еды, глотай неделю, да смотри, не пей ни капли.

— Ты что врач?

— Неа! — усмехнулся тертый. — Но разбираюсь не хуже врачей.

Пришел доктор Квази и пригласил его в кабинет. Это был невысокий холеный мужчина с короткой стрижкой, довольно резкий в выражениях. «Профессиональная привычка!» — подумал Фома.

— Снимайте штаны и обнажите головку! — произнес доктор Квази. — Смелее, смелее! Как баб е...ть, так все шустрее!

Фома послушно стянул штаны и трусы.

— Простите, доктор, — промямлил Фома, — что значит «обнажите головку»?

— А то и значит, сынок, что надо стянуть кожу с головки члена. Надеюсь, ты мылся утром?

— Да, мылся.

— Вот и чудненько. Так-с. Надавите у основания. О-о, все ясно, можете одеваться.

— Что со мной, доктор? — спросил Фома тихим голосом.

— Да триппер у вас, триппер, милейший. Вам же сказали знающие люди. Вот вам направление, пойдите и сдайте все анализы. А это рецепты. Лекарства начинайте принимать немедленно. Через три дня на прием.

— Хорошо, — ответил Фома.

— И еще! — доктор Квази выждал паузу. — Советую снять серьгу.

Золотую серьгу он снял сразу, но по завершении курса лечения отрастил бороду и начал курить трубку. Барышни при виде Фомы млели, и это ему доставляло удовольствие. Впрочем, однажды на водах, где по выходным собирались жители города, он угостил вишневым ликером девушку Марину по фамилии Лисица, обладающую потрясающей фигурой и длинными каштановыми волосами, а затем грубо соблазнил. Родители девушки хотели было накатать заяву, но быстро одумались. Скандал не нужен был никому. Одним словом, конфликт предотвратили, и дело закончилось свадьбой. Семейная жизнь оказалась не такой уж и скучной, как утверждали иные. Напротив, работающая в городской библиотеке супруга Фомы стала подсовывать ему книги по истории, а затем незаметно втянула в клуб «Парнас», где он обрел статус постоянного, можно сказать, незаменимого члена.

Каждая глава — что ритуал жертвоприношения. С той лишь разницей, что писать приходится и ночью, и днем, словом, когда припрет, а выбирать жертву — только в воскресенье утром. Но все равно время растягивается, подобно ментоловой жвачке, — будни с понедельника по субботу превращаются в одно сплошное месиво ночи, — а потом резко сжимаются и хлещут по физиономии, как сорвавшаяся с самодельной рогатки резина. Подскакиваешь чуть свет с единственной мыслью — не продешевить. Впрочем, это не самое главное, когда пишешь о близких людях, чьи болячки ты уже знаешь назубок и тебя воротит от них, но делаешь вид, что они трогают тебя так же, как затронули в первый раз — за бутылкой вина или на берегу реки за пять минут до рассвета, когда уже заброшены удочки и можно поболтать о чем угодно, или во время странного разговора по телефону, когда большая часть общения, как во сне, составляет молчание. В минуты слабости человеку свойственно распускать сопли. Весь вопрос в том, кто первый ангажировал общее между близкими пространство-время в качестве тягловой лошади для своих проблем, суть которых внезапно становится такой мелкой и смешной, что рот перекашивается, будто под язык вкатили двойную дозу новокаина, но на самом деле очевидность — что прорвавшая плотину вода — обдаст тебя с ног до головы, и ты понимаешь, что любое твое слово опоздало на целую вечность. Хорошо, если это не самый близкий друг и можешь позволить себе малость цинизма, все равно что холодного пива после бутылки водки, хотя по большому счету этот самый цинизм и есть проявление притворства и слабости. Кому охота вникать в чужие проблемы? Несчастливая любовь? Кто-то заболел, умер? Кредитор явился с целой ротой солдат выбивать долги? Да брось ты, брат мой. Ты надеешься на мое сочувствие ровно настолько же, насколько я надеюсь на то, чтобы ты перестал терзать меня. Давай не торопясь допьем белое кахетинское вино или поудим карасей при первых лучах солнца. Сострадание уже проявлено, забудь. А теперь мы посмотрим друг другу в глаза, маскируя пресловутую открытость вяжущей терпкостью вина и активностью вонючих опарышей в банке из-под гречишного меда с дырчатой крышкой. Страх обнаружить моральное банкротство, ровно пришел к женщине, а ты бессилен, вякаешь только что-то про накопившуюся усталость и непонимание. В душе пустота, как в разграбленном доме на пустыре, и дверь со скрипом раскачивается на ветру, а ты все еще мнишь себя снисходительным добряком с пучками морщин в уголках выцветших глаз. Проходит немного времени, и один из нас произносит дежурную фразу — не ты первый, не ты последний, брат, всем трудно, — и мы понимающе в такт киваем головами. Или же позволяем тупой злости выжечь все святое, что было у нас внутри и говорим — пошел ты, сейчас не до тебя. Самые дорогие, самые откормленные овцы остаются незакланными в загоне последней главы, и Господь никогда их не примет в жертву. Овец следует резать сразу, даже если

продешевил, но как побороть жадность, нашептывающую, что они особенные, что их нужно поберечь для большого праздника. Не будет праздника, брат мой.

Гудериан сидел больше часа под инжировым деревом, являющимся одновременно штангой для футбольных ворот. Второй штангой служила айва, а перекладины не было. Вернее, была когда-то, но ее оторвала толстая тетка Маня с седыми усами, с пеной на губах утверждавшая, что перекладина мешает плодоношению деревьев. Ну и Бог с ней, с перекладиной, решили футболисты, и стали на глаз определять — попал мяч в ворота или улетел в молоко. Спорили до хрипоты... На краю поля росли кусты терния, а за кустами торчала перекошенная изгородь дряхлеющей усадьбы хворого настройщика пианино Самуила. Посреди двора виднелся замшелый фундамент с неразобранной опалубкой, внутри которой поблескивала желтая вода. Жена у Самуила померла от рака груди, да и сам настройщик страдал чем-то вроде чахотки. У него было двое пацанов, Силициус и Яго, отъявленные разбойники, но хорошие рыболовы и музыканты, подрабатывающие на свадьбах и похоронах игрой на кларнете и аккордеоне. Дом Самуила был деревянный, с крыльцом, но требовал капитального ремонта. Начал было строить новый, но тут умерла жена.

Было раннее утро, всюду заливались птицы, а Гудериан, привалившись к дереву, швырял камешки в кусты и размышлял о чем-то. Свою желтую шестерку он бросил за углом, у ворот тетки Мани. Бабушка Досыр заметила его сразу. Она спустилась вниз, ковыляя, якобы за листьями терния, из которых варила снадобье для полоскания десен.

— Гуде! — окликнула она Гудериана. — Чего ты тут расселся?

— Доброе утро, джичи!¹ — расплылся мой друг в улыбке и встал, отряхивая ладони. — Я тебе принес твое любимое полусладкое шампанское.

— Мне нельзя, ты же знаешь, — сказала Досыр. — Пошли домой, как тебе не стыдно!

— Рано еще, джичи!

— Ну где же рано, все уже встали, умылись. Пойдем, родной, я тебя покормлю пирогами с луком.

Досыр взяла его теплую руку и сжала в своей.

— Почему ты называешь меня так? — спросил Гудериан.

— Тебе неприятно?

— Мне все равно.

Челюсть ее двигалась, шевеля во рту вставные зубы, натирающие десны, и выступающий клином подбородок подрагивал, будто она еле сдерживала плач. Досыр распустила черный платок и обнажила седые волосы.

— Потому что так я называла старшего сына Александра. Он был добрым и медлительным, как наш вол, Гуде. Ты знал моего Александра?

— Нет, джичи! — ответил Гудериан.

— Он умер от тифа в Сибири.

— Я знаю, — кивнул Гудериан.

— Ты очень похож на него, Гуде.

— Да, джичи, ты говорила.

— Извини, дырявая память.

— Ну что ты, у тебя отличная память.

— Пошли, — потянула она его в сторону дома, — небось не пробовал еще моих пирогов с луком.

— Пробовал, джичи, вкусные.

Держась за руки, они пересекли футбольное поле, поднялись в горку по тропинке, вошли во двор с металлическим столом и скамейками под акацией, возле бетонного забора, сполоснули руки под вечно текущим краном и направились к подъезду, а мы стояли на балконе и сверху следили за ними.

¹ Мама (осет.).

Она научилась включать телевизор, подсаживалась к нему и спрашивала у дикторов на трех языках — осетинском, грузинском и армянском — не знает ли кто из них ее сына Александра. Ему, должно быть, уже пятьдесят, он высок и строен, как его отец и братья, на загривке темное родимое пятно, а когда улыбается, то на щеках образуются ямочки. Досыр терпеливо ждала ответа, протирая краем передника экран телевизора и не обращая ни на кого внимания. Кто знает, может, она и согрешила, оставив детей после ссылки на попечение Иорама, но — Бог свидетель — Досыр ушла к Бадану не в угоду своей ненасытной плоти, как утверждали родственники, а чтобы оставшиеся в живых маленькие Нинуца, Талико, Цорион и Бего не загнулись от голода. У золовки длинный язык — как отсюда до Шортанды — она первая пустила слух, что у нее «брожение», дескать, ежели Досыр сядет на снег, то он растает в радиусе километра. Стерва! Бадан был хороший мужик, работающий, помогал детям: то картошки отправит с кем-нибудь, то немного денег. А когда он постарел и стал ходить под себя, Досыр мыла его, как ребенка, не брезгуя ни капли, потому что Бадан был ее мужем. Однако золовка заявила, что напрасно Иорам привез ее из Сибири, что было равносильно проклятию — чтоб ты сдохла, Досыр! Кто ж прокликает женщин в таком возрасте. Это случилось голодной весной, когда только-только зацвел шиповник, и Цорион наелся зеленых слив, неделю маялся животом, а потом его отвезли на арбе к лекарю в соседнее село, тот дал ему отвару полыни и копытника, и мальчика до вечера рвало косточками от слив. Да, наверное, она грешна, но когда коллективизаторы отобрали все, а семейство Габо погрузили в теплушку, Досыр до кончика мизинца вверилась Господу, отдалась Его воле, и помнила об этом всегда, даже если ее молитва превращалась в мычание без слов. Она помнила об этом, просиживая ночи напролет в сырой землянке поселка Три-Четыре возле Габо, через каждые полчаса изрыгающего кровавые сгустки, и Досыр велела детям заткнуть уши и повернуться лицом к стене, дабы не видели мучений больного, а те не послушались и смотрели в горящие, как угли, глаза умирающего отца, и потом, когда он умер, армяне выволокли его наружу, положили в наскоро сколоченный гроб и увезли на кладбище, даже не омыв, а ей запретили причитать. Разве Досыр не заслужила наперед прощения? Хотя вряд ли кому удавалось вымолить у Господа отпущение будущих грехов. Можно всю жизнь быть праведником, а в конце облажаться, и тогда грош цена всем твоим прежним заслугам. Грех не имеет обратного хода, равно как и его искупление. Но невозможно заплыть, как в чистую заводь, в праведность. Уж такова человеческая природа, что только преодолевая невзгоды жизни, ты проявляешься с лучшей или худшей стороны. И не бывает так, что сначала позволяешь себе расслабиться, а потом, одумавшись, нагоняешь, как скорый поезд, упущенное время. Упущенного не нагонишь, только смирением можно заслужить прощение. Зато бывает, что внезапно ощущаешь под собой великую бездну соблазна, и забота о детях, о престарелых родителях, о Родине, наконец, маячит посреди этой бездны. В сравнении с этим вторичное замужество — детская забава. Тем паче замужество с человеком, который с юношеских лет мечтал о тебе. Даром что родственники со стороны покойного мужа с омерзением плюют вслед. Но что же было делать Досыр? Однажды поутру она шла с Цорионом проселочной тропой, и их догнал верхом на караковой кобыле Хыбы, который донес на Габо, а теперь работал председателем колхоза, жил в доме Габо, носил его одежду и слушал его патефон. Хыбы был с похмелья, от него разило перегаром. Поравнявшись с ними, он замахнулся плетью, но Цорион заслонил собой мать и, получив удар, изогнулся от боли. Увидев, что не попал в кого хотел, Хыбы снова замахнулся, и тогда Цорион встал перед ним и сказал: «Дядя Хыбы, не бей ее!» А Досыр говорит ему: «Бей сколько хочешь, только оставь нас в покое». Думала, может, избив ее, выпустит всю свою злость. Но не тут-то было. В ушах ее звенела песня о Таймуразе — «Ой, Кодзырта, своего рябого быка, что не разрешили поменять на оружие, теперь заколите для поминок!» — песня с черной пластинки с двумя ангелами в центральном круге и розами по ободку, которую раньше чуть свет заводил на красном патефоне Габо, а теперь Хыбы.

В квартире было шумно, как на базаре. Немудрено, в ней проживало восемь человек: отец с матерью, сестра, мы с женой и сыном, бабушка да еще двоюродная сестра-школьница. Спали кто где — родители в спальне, на сдвинутых никелированных кроватях, мы с женой и ребенком в кабинете отца с огромным письменным столом с пахнувшей шрифтом пишущей машинкой «Оптим», различными словарями и кипами исписанных бумаг, с книжными полками вдоль стен и креслом у окна, — на зеленом диване, который не складывался годами, а в восемь утра требовалось скатать постель и освободить кабинет, потому что отцу нужно было работать, сестра в зале, на покрытой толстым ковром тахте, под офсетной копией картины Крамского «Неизвестная», двоюродная сестра тут же на полу, поскольку у нее обнаружили искривление позвоночника, и врач-мануалист посоветовал спать на жестком, и бабушка на раскладушке в маленькой проходной комнатке, бывшей кухне, в которой вместо дверей висели тяжелые бархатные шторы, а стены были увешаны моими детскими рисунками. Утром в совмещенный санузел выстраивалась очередь, а потом скопом садились завтракать.

На столе дымились пироги, и чайник свистел на плите. Гудериан попросил кофе, зная, что у нас в доме есть настоящий, от которого сердце начинает гулко стучать. Его прислал из Бразилии один писатель, с которым Цорион познакомился на каком-то симпозиуме и угостил кахетинским вином. Тот растрогался и отдалился целой упаковкой настоящего кофе. Самое смешное, что забирать посылку пришлось не на почте, а в районном отделении КГБ, куда Цориона пригласили и заставили вскрывать аккуратную упаковку. Словом, убедившись в том, что из-за океана пришла не бомба и даже не тайная антисоветская литература, гэбэшники вручили адресату посылку, выключив, впрочем, себе по банке. Однако по причине раннего инфаркта отца в доме пили только шиповниковый чай, который чуть свет заваривала бабушка.

Все расселись на веранде, шумно двигая стулья, передавая друг другу масло на блюдечке, белую фарфоровую сахарницу и серебряные ложки, и принялись размешивать содержимое больших семейных чашек. Сестра по всем правилам сварила Гудериану кофе и налила в фиолетовую с золотыми блестками кофейную чашку. Аромат разлился по всей квартире. Писатель вышел к столу, скребя костяшками пальцев грудную клетку, как всегда, гладко выбритый и немного грустный.

— Мое почтение! — пожал он руку Гудериану. — Чего встали, садитесь.

— У тебя неважный вид, — строго сказала Досыр, — ты плохо спал?

Писатель улыбнулся ей, но не ответил.

Веранда была просторной. Раньше это был балкон, но его застеклили и превратили в столовую. Боковую стену слева пробили, в углублении над подъездом сделали пристройку, куда вынесли кухню с плитой и мойкой, освободив таким образом маленькую комнатку, которую заняла бабушка. А позже со стороны двора пристроили громадный, во всю длину веранды и кухни, балкон, поставили кресла-качалки, круглый столик с самоваром и диван. Летние вечерние чаепития проходили шумно, привлекая внимание соседей и прохожих.

— Божественно! — осторожно отхлебнул кофе Гудериан.

— Положи себе пирог, — сказала сестра.

— Налей мне немного шампанского, милочка, — попросила Досыр.

Сестра удивленно посмотрела на нее своими большими черными глазами.

— Тебе нельзя шампанское.

— Почему же, немного можно, — возразила Досыр, — прошу тебя, налей. Гуде принес полусладкого.

— Кто же с утра пьет шампанское вино? — сказал писатель.

— Вам что, жалко?

— Глупости говоришь, бабушка! — воскликнула сестра. — Я как врач запрещаю тебе пить.

— Дайте ей немного, — подал голос Гудериан.

Сестра поставила на стол бутылку и два фужера.

— Если что, сам будешь ее откачивать.

Гудериан снял проволоку с пробки, выпустил газ, откупорил бутылку и налил в фужеры. Досыр глотнула вина, почмокала морщинистыми губами и поставила фужер.

— Как твоя семья? — спросила она Гудериана. — Помирился с женой?

— Нет. Она забрала сына и ушла к родителям.

— Грустно. Но ты, главное, не показывай слабости.

— Стараюсь.

— Гуде, мой второй муж Бадан, Царствия ему Небесного, к концу жизни ослаб, но продолжал меня баловать...

— Ты лекарства выпила? — оборвала ее сестра.

Досыр бросила взгляд на сына, ища в нем поддержки, но тот словно бы думал о чем-то своем.

— Я только хотела сказать, что он постарел...

— Все люди стареют, — заметил Гудериан.

— Какой ты умный! — съехидничала сестра. — Не давай ей больше пить, ей будет плохо.

— Он баловал меня, — продолжила Досыр, задумчиво улыбаясь, — таскал из района разные вкусности — полусладкое шампанское, шоколад «Алёнка». Но я его не любила, жалела только.

— Зачем же ты за него замуж пошла? — спросила сестра.

— Зачем? — переспросила Досыр. — Из-за детей, у меня не было другого выхода. Что мне было делать?

— Что было делать? — повысила голос сестра. — Голодать вместе с детьми.

— Помолчи! — одернул ее писатель и повторил еще раз: — Помолчи!

Стало тихо. Только шум мотора, качающего воду в бак на чердаке, был слышен.

— Ты многого не знаешь, милочка! — нарушила тишину Досыр. — Я не могу всего тебе рассказать, да и ни к чему это.

— Как ты могла бросить детей? — сказала сестра.

— Неправда! Я их навещала почти каждый день, пока Хыбы не запретил мне появляться у околицы.

— А кто такой Хыбы? — поинтересовался Гудериан.

— Член тройки, — ответила Досыр. — По его доносу нас сослали в Сибирь.

— Не стоит сейчас ворошить прошлое, — сказал писатель.

Досыр посмотрела на него грустно, хотела что-то сказать, но внезапно побледнела и упала лицом на стол.

— Что с тобой, джичи? — дрогнул голос у писателя.

— У нее обморок, — сказала сестра, похлопывая по лицу бабушку, — откройте двери и окна и дайте воды.

Гудериан подхватил ее на руки, осторожно уложил на раскладушку в маленькой комнате и развязал головной платок. Досыр пришла в себя и крепко сжала его руку.

— Гуде, если б я не вышла замуж, то мои дети перемерли бы с голода, — произнесла она.

— Тссс! — приложил к губам палец Гудериан. — Я знаю, джичи, помолчи.

Сестра накапала в рюмку капель, дала ей выпить, придерживая голову, потом еще две таблетки и сказала примирительно:

— Я же предупреждала!

— Вино тут ни при чем, — еле слышно отозвалась Досыр. — Где мой сын?

— Здесь я, джичи.

— Помнишь, как Ила с Иорамом приехали за нами в Шортанды?

— Смутно, я же был совсем маленьким.

— Да, ты был маленьким, — подтвердила Досыр, — но здорово болтал по-армянски, потому что это было армянское поселение.

— Ну да.

— Почему ты не показал им могилу отца, брата и сестры?

— Я не помню, — покачал головой писатель.

— Ты сказал им, что кладбище завалило снегом, не видать ни зги.

— Должно быть, действительно было так.

— Нет, кладбище находилось на возвышении, я прекрасно помню, и кресты отчетливо выделялись на снегу.

Сестра сообщила, что торопится на работу и вышла. Писатель молча смотрел на мать. А Гудериан сидел рядом с ней на краешке стула, на котором стоял стакан с водой для зубов, рядом — несколько коробок с лекарствами, измятый платок и иконка с Богородицей. Досыр продолжала держать его руку в своей.

— Мне тоже пора идти, — сказал Гудериан.

— Подожди, Гуде. Знаешь, иногда мне кажется, что Александр не умер, что он сбежал из поселка. Ему ведь было семь лет и он вполне мог сбежать.

— Ты опять за свое? — мягко упрекнул ее писатель. — Сколько раз тебе повторять, что Александр умер, и мы его похоронили на кладбище Три-Четыре.

— Да, да, конечно, — закивала головой Досыр. — Я и сама помню. Только, может быть, он все-таки не умер. Чего не бывает?

— Нет, джичи, он умер, и мы его похоронили, это абсолютно точно.

— Тогда почему ты не показал Иле и Иораму могилы?

— Я не знаю.

Досыр заплакала. Слезы стекали по скулам на подушку.

— Гуде, я виновата перед сыном. Он как будто что-то скрывает, и от этого у него болит сердце.

— Успокойся, джичи, — сказал Гудериан. — Я думаю, ты ни в чем не виновата. Это было такое время, многие пострадали.

— Время, время! — раздраженно повторила Досыр. — Что вы заладили, как попугай? А разве сейчас не время? Думаешь, что-то изменилось?

— Изменилось, мы стали другими.

Внезапно она успокоилась.

— Это ошибка, сынок. Ничего не изменилось.

После обеда начался ливень, так что носа не высунешь, улицы мгновенно превратились в каналы, и город словно бы вымер. Писатель отдернул занавеску и распахнул настежь окно. В кабинет ворвался шум дождя. Он увидел, как на залитую водой мостовую из подворотни выплыл плотик, на котором, опираясь на шест, стоял босой мальчик с закатанными до колен штанами и в широкополой коричневой шляпе, обвешанной золотыми гирляндами капель. Писатель усмехнулся и окликнул его — эй! — но тот не услышал, и тогда он окликнул его громче — эй, на плоту, куда путь держишь! — и мальчик поднял голову, поправил шляпу и улыбнулся, показывая кривые зубы. Вдоль канала росли кленовые деревья, на противоположном берегу высился желтый дом с балконами, бельевые веревки которых напоминали лютневые струны — тронешь деревянной прищепкой, и по каналу поплывет глубокий, как сон, звук дождливого городка с плохой канализацией.

Первый этаж занимали книжный магазин, овощная лавка и кафе. Стекланные витрины были расписаны Гогеном — любознательный очкарик перед книжной полкой, дальше луковица, стручок перца и кочан капусты, а в конце стол, заставленный яствами. Рядом с домом был пивной завод с фонтаном и садом во дворе, забор тянулся до самой речушки, куда сбрасывались отходы, а за речушкой начинались частные владения. Писатель пошел к двери, запер ее и вернулся за стол. Если б его не беспокоило сердце, он давно закончил бы роман. Иногда оно останавливается и ухает куда-то вниз, приходится терпеть, пока вернется на место, а то зачастит, зачастит, как паровоз на старте, когда колеса прокручиваются вхолостую. Но и это не самое страшное. Самое страшное, что ты его ощущаешь постоянно, даже если оно не беспокоит. Бено сказал, что нужно привыкать к новому образу жизни, к новым

ощущениям и стараться спокойно реагировать на проявления организма. Но у кардиолога у самого барахлит сердце, и он ничего не может поделать. Писатель взял за правило помногу гулять вечерами, доходил до еврейского поселка Кулаши или до паромного причала на реке. Его узнавали, кланялись, пытались заговорить, и он старался быть вежливым, но иногда мысли уносили так далеко, что не видно было ни людей, ни реки, ни причала, и встречные обижались, принимая задумчивость писателя за высокомерие. Роман давно сложился в голове, как будто Господь нашептал ему на ухо, осталось только оживить героев, придав им черты знакомых и малознакомых людей, но для этого мало наблюдательности, чувства слова и ритма, нужно, как донору, перелить им свою кровь. Писатель подумал, что сложно в таких случаях избежать банальных сравнений, но что поделаешь, если это ремесло отнимает столько сил и здоровья. Он проложил бумагу копиркой, заправил ее в машинку и сделал пять пробелов. Герои приходили из прошлой и будущей жизни, шумно топтались у порога, а потом колотили в дверь кулаками, и он выходил спросонья встречать их, соблюдая правила гостеприимства. Они рассаживались кто куда, небритые и хмурые, как будто писатель оторвал их от важного дела и заставил явиться к нему в кабинет. Как будто не сама жизнь, не законы нереализованной до конца Вселенной не поставили их на ноги, призвав его в свидетели некоего таинства, от которого гулко стучит сердце. Но он же писатель, и дальше этой данности мысль их отказывалась заходить, будто ребенок, стоящий у кромки моря, и они ждали указаний, нетерпеливо заламывая пальцы. Писатель смотрел им в лица, пытаясь признать знакомых, друзей, врагов, но это было бессмысленно, потому что время давно стерло черты, связывающие их с конкретными событиями, которые все еще ныли у него в груди, и тогда пришлось — ровно они находились посреди военных действий — взять с письменного стола, заваленного атрибутами былой жизни, небольшие предметы и раздать их. Это были простые вещи — ученическое перо с засохшими на кончике фиолетовыми чернилами, камень в форме римского легионера, найденный внуком на стадионе, чистый белый платок, сложенный в аккуратный прямоугольник, сборник стихов Лорки в золотой обложке или электрическая грелка-сапог, куда он совал озябшие ноги в период затянувшихся дождей.

Описанию внешности писатель не придавал особого значения, полагая, что двух-трех штрихов достаточно, чтобы представить человека. В зависимости от симпатии или настроения он мог добавить персонажам несуществующие черты, но от этого они не становились менее живыми. Напротив, время делало быстрый оборот, возвращалось обратно и меняло конфигурацию вместе с антуражем. Писатель стоял на плоту, как малец в канале под дождем, и плыл по течению, неторопливо обозревая облагороженное прошлое. Однако суть от этого не менялась. Александр, которого Досыр называла Гуде, был светлым и кучерявым, с большими голубыми глазами, но теперь писатель мог бы поклясться, что волосы у него были каштановые, а глаза зеленые с темно-коричневыми точками. Для этой обратной метаморфозы не требовалось изменений душевных качеств или смещения небесного меридиана на нужный для человечности градус, но, представив его таким, пространство вроде как не спешило вытеснить брата из своего лона, как казалось писателю, когда тот сгорал в землянке от тифа, и взгляд его выражал даже не сожаление, а неловкость за доставленные неудобства. Писатель заставил крутануться обратно время в надежде переиначить первопричину, и, пожалуй, ему бы это удалось сделать, не вывернись наизнанку болезнь, что мать от страха прикрутила фитиль керосиновой лампы и сестры отпрянули назад — неожиданно Александр встал и, пока никто не видел, вышел из землянки. По звуку мать догадалась, что сын помочился на снег, а потом удалился неровной походкой. Все произошло так быстро, что она и опомниться не успела, и когда соседи армяне принесли его тело, завернутое в мешковину, и посоветовали не открывать его лица, а Цорион все-таки открыл и не узнал брата, но промолчал, — Досыр заскулила, и он удивленно уставился на нее. Это был незнакомый мальчик с прямыми каштановыми волосами и большими глазами, правда, такой же худой, как Александр, и с такими же складками обреченности

возле посиневших губ. Досыр успела произнести только «Господи!», как армяне оборвали ее. «Нельзя причитать! — сказали. — Запрет!» — и покачали головами. Досыр сунула кулак в рот, до крови прикусила костяшки пальцев и медленно выдохнула через нос сгустившийся в легких воздух. Потом пришел старый гробовщик в чапане, держа в руке засаленный аршин, молча измерил рост лежащего на лавке Александра и ушел. Сейчас бы писатель отметил, что у того была редкая борода, сквозь которую просматривалась морщинистая, как печеное яблоко, кожа, и взгляд неподвижный, а руки с черными ободками вокруг ногтей быстрые и ловкие, но это не намного изменило бы впечатления. Хворь оставила брата еще до смерти, вышла из него, толстая и сытая, с зализанными волосами, и расселась, как давнишняя знакомая, а Александр встал и, даже не надев душегрейку, покинул землянку.

Кто-то подергал дверную ручку и позвал:

— Цори, открой!

Это был внук писателя Алан. Только ему позволялось в любое время входить в кабинет. Писатель отпер дверь, пустил внука и взял его на руки.

— Посмотрите-ка, кто к нам пришел!

— Мы с тобой ходим сегодня на площадь к Тоте? — спросил мальчик.

— Ходим, если не будет дождя и луж.

— А если у тебя заболит сердце?

Писатель поднес внука к окну, поставил на подоконник лицом на улицу и крепко обнял.

— Я потерплю.

— А ты опять работаешь?

— Работаю.

— Большая мама сказала, что ты изводишь себя.

Писатель усмехнулся.

— Что же делать, я не могу не работать.

Внук обернулся и с веселым недоверием посмотрел ему в глаза.

— Разве кто-то тебя заставляет?

— Нет, но если я не буду писать, то заболею.

— Тогда лучше пиши.

Он снял его с подоконника и поставил на пол.

— Ладно, брат.

— Когда ты освободишься, то считаешь мне про нартов?

— Конечно.

— Тогда я пойду.

— Пока.

Сквозь крону раскисшего клена был виден книжный магазин. Под козырьком, у входа, толпились люди, пережидаящие ливень. Они прижимали к груди авоськи и сумки, а перед ними на плоту стоял босой мальчик в широкополой шляпе, увешанной золотыми гирляндами капель, и счастливо улыбался. Писатель перегнулся и посмотрел на залитую водой мостовую, потом на серое небо. Линзы роговых очков намокли, он снял их, протер краем фланелевой рубахи и сел за стол.

Кладбище находилось на холме, в двух километрах от поселка. Дорога шла мимо деревянных строений, навесов, где ссыльные обедали во время полевых работ, и дальше вдоль оврага, в сторону кладбища. Тифозных хоронили быстро, процессию сопровождал представитель поселковой администрации, он же указывал место захоронения. Несмотря на то, что Габо с семьей подпадал под первую категорию кулаков, он считался политическим ссыльным, поэтому его похоронили отдельно. Детей тоже хоронили отдельно, в разных местах. Семья Габо ютилась в землянке с грубым столом посередине, буржуйкой и лавками по периметру. У них было шестеро детей, двое из которых померли. Вот их имена: Уара, Талико, Нинуца, Бего, Цорион и Александр. Уара сразу по приезде замерзла на станции Шортанды, где детей постарше конвоиры в бушлатах загнали под расстеленный на снегу брезент и велели укрыться,

но они все одно заочечени. Александр с Нинуцей и Цорионом заболели тифом. Последних Досыр выходила, а Александр умер. Единственный, кого не коснулась болезнь, был Бего. В сорок втором пятнадцатилетним пацаном он сбежал на фронт и сгинул без вести. Однако Досыр до последнего утверждала, что он служит в Красной Армии и скоро вернется. Наверное, она тронулась умом, но сумасшествие ее проявлялось лишь в назойливых рассказах об умерших детях, что, впрочем, не всегда является симптомом умопомешательства.

Когда Ила с Иорамом приехали в Три-Четыре, дети не узнали их, но обрадовались. Они стали забывать родной язык, зато свободно болтали по-армянски, потому что это было армянское поселение. Иорам посадил Цориона на ногу и принялся качать, напевая песню про Таймураза Кодзырты.

— Ты помнишь нашего волкодава Садула? — спросил Иорам.

Мальчик кивнул. Глаза его были широко открыты.

— Я поставил ему конуру под черешней возле хлева.

Мальчик снова кивнул.

— Не хочешь домой, сынок?

Цорион подумал немного и качнул головой.

Подошел Ила, стуча подковами смазанных гусиным жиром сапог, и сказал:

— Разве дома не лучше?

Мальчик протянул руку в сторону степи и впервые за много месяцев произнес:

— Папа, Александр, Уара...

Потом Иорам отвел их в поселковую столовую и взял на всех горячего чая с сахаром. Дети располовинили кипяток, до верха накрошили хлеба и торопливо ели, наблюдая зависшую на кончике горбатого носа Иорама блестящую слезу.

Впервые скупщики совести появились в городке восьмого марта. День был солнечным и теплым, вдоль тротуаров цвела мимоза и пахло медом. Часть жителей по старой привычке готовилась праздновать Международный женский день, что предполагало застолье с яствами и вином, улыбчивых разодетых дам с охапками цветов и их мужей со следами помады на тщательно выбритых щеках. За стол садились дружно, и только что избранный тамада провозглашал первый тост — за мир во всем мире. Другая часть жителей городка игнорировала праздник. Догадка о том, что упомянутая часть населения исповедовала трезвый образ жизни по причине частых посещений кабинетов Бено и Дуду, а вовсе не из ненависти к коммунистическим традициям, витала над черепичными крышами домов ровно до того момента, когда мужчины вставали со своих мест, шумно двигая стульями, поднимали бокалы и произносили витиеватые тосты за любимых женщин.

После обеда трезвенники стали подтягиваться на площадь Мира. Воздух густел от жажды свободы, запаха просроченного корвалола и испарений от несвежих клетчатых носков. Цорион пришел с внуком, царственно сидящим на его плечах и с любопытством обзирающим собравшихся. То и дело подходили засвидетельствовать почтение и потрепать за щечки внука. Господин Цорион тоже против коммунистического праздника? — интересовались, и писатель отшучивался, дескать, принятие праздника зависит от активности сердечной мышцы, а у него она давно ослабла, поэтому все праздники на одно лицо. «Как же так, уважаемый господин Цорион, — не скрывали удивления, — разве можно ставить в один ряд праздник, предложенный Кларой Цеткин, и Благовещение или Сретенье?» — «Нет, конечно, — с улыбкой отвечал писатель, — но если кому-то хочется превозносить женщин, то глупо это запрещать».

И тут появился грузовичок с откинутыми бортами, убранный национальными флагами и портретом главного скупщика совести. В кузове, впритык к кабине, стояла голубая пластиковая бочка емкостью в двести литров. Через громкоговоритель на весь город звучали героические песни. Машина остановилась посреди площади, напротив памятника матери погибших солдат, в шутку прозванной Тотой Цорионом, и его внуком. Пятиметровый монумент был в разводах от дождей, венки в руках матери

осыпался, поскольку использовался окрестной детворой в качестве баскетбольного кольца, огромный гранитный постамент с вечным огнем обкрошился. Используя всю свою ловкость, в кузов машины забрались несколько мужчин с животами и взмахами пухлых ладоней стали приветствовать людей. Среди них стоял Фома в красной чухе с газырями.

— Выключите музыку! — рявкнул он в мегафон.

Над площадью нависла тишина.

— Это наш Фома, — зашептали люди. — Гляди, как вырядился.

— Люди! — продолжал орать Фома, тряся рыжей бородой. — Сегодня мы пришли сюда, чтобы добиться свободы! Долой иго коммунистов! Хватит терпеть их власть, хватит терпеть обосновавшихся на нашей земле гостей! Наша страна должна быть для нас, коренных жителей, а не для иноверцев! Они занимают лучшие участки, строят лучшие дома и зарабатывают больше нас, а наши люди бедствуют и голодают! До каких пор нам терпеть эту несправедливость? Пусть убираются на свою родину! Пусть все гости проваливаются к себе!

Люди одобрительно зашумели.

— Интересно, как вы определите — кто гости, а кто нет! — подал голос писатель.

— К вам, уважаемый господин Цорион, у нас нет претензий! — ответил Фома. — Вы давно живете среди нас и фактически стали таким же, как мы! Речь идет о тех пришельцах, которые недавно явились на нашу землю в поисках лучшей жизни! Вот пусть они и убираются восвояси!

Цорион снял с плеч внука и поставил его на землю.

— Фома! — сказал он. — Я открою тебе одну тайну: я не стал таким, как вы, и никогда не стану! Я добропорядочный гражданин моего города и никуда отсюда уезжать не собираюсь! И других выгонять только за то, что они иноверцы или родились в другой стране, не позволю! Не нам с тобой решать — кто здесь гость, а кто хозяин!

— Интересно, господин Цорион, кому же решать этот вопрос! Разве вы сами не видите, что пришельцы вытесняют с рынка труда аборигенов, довольствуясь гораздо меньшей зарплатой, но работая вдвое больше!

— А кто мешает работать лучше аборигенам?

— Они плодятся, как котята, по пять-шесть детей в каждой семье, а в наших — в лучшем случае — по два ребенка. Только и слышна армянская, азербайджанская, осетинская речь! Неужели вы не видите, что это грозит демографической катастрофой?

Писатель покачал головой.

— Осетинскую речь ты мог слышать только у меня дома, не лги!

— Разве этого мало! Знаете что, если вы и дальше намереваетесь жить в нашем городе, то прекратите говорить на своем языке!

— Хм! — усмехнулся писатель. — В моем доме говорят не только по-осетински, но и по-французски и по-английски.

— Вы знаете, что я имею в виду, господин Цорион! — с вызовом произнес Фома и пригладил бороду.

— Конечно, знаю! — спокойно ответил писатель. — Я прямо скажу тебе, что твой призыв подхватят многие, но ничего хорошего из этого не выйдет!

— Уважаемый господин Цорион! Поезжайте в свою Осетию и устанавливайте там свои порядки, а нам нечего указывать!

Вертящийся под ногами внук дернул его за куртку, и когда Цорион пригнулся к нему, спросил:

— Почему он так кричит?

— У него есть возможность кричать, вот он и кричит.

Внезапно стоящий рядом с Фомой толстяк зашептал ему что-то на ухо, и тот закивал в ответ. Толстяк поправил галстук, одернул пиджак, потом забрал у Фомы мегафон и произнес гнусавым тенорком:

— Наш товарищ погорячился, простите его, ради Бога! Поймите, никто вас не выгоняет из города. Просто настало время выявить соратников в борьбе за свободу и

самоопределение нации! Я знаю, что господин писатель ведет активную работу в этом направлении. Мы в центре получаем подробную информацию о работе неформального объединения «Парнас», которым руководит господин писатель, и намерены всячески помогать ему. Только не думайте, что среди коммунистов нет настоящих патриотов. Есть, и довольно много. Они заявляют о себе как о реальной политической силе, готовой в любой момент примкнуть к нам.

— Кто вы? — спросил писатель.

— Мы — настоящие патриоты! Мы — та сила, которая спасет нацию, очистит ее от скверны!

— Кого вы подразумеваете под скверной?

Толстяк подумал немного, блуждая острыми зрачками в небе, и ответил с расстановкой:

— Это люди, живущие среди нас, мнящие себя носителями неких идей, а на самом деле, сами того не подозревая, находящиеся под мощным влиянием коммунистов и прочих ортодоксальных сил. Их позиция и их взгляды вполне устраивают коммунистов, потому что находятся в русле всеобщей пропаганды равенства и братства. На деле они способствуют разложению нации, размыванию национальных приоритетов... Люди! Настало время самоочищения! Вот стоит бочка со святой водой. Каждый из вас может омыться этой водой, очиститься, а затем получить три рубля на свои нужды. Деньги небольшие, но на хлеб, масло и сахар хватит! Подходите!

Потоптавшись немного, люди двинулись к машине и выстроились в шумную очередь, которая незаметно растянулась до железнодорожного моста, перекрыв автомобильное движение. Желаящие получить халявные деньги стекались отовсюду — со стороны гостинцы и бакалеи через дорогу, от автобусной остановки и кафе, от перрона и даже из Нахаловки. Люди спешили к грузовичку, подгоняемые азартом, прихватив с собой детей, родственников и знакомых, в надежде отхватить побольше денег. Толстяк откинул крышку бочки, периодически зачерпывал большой эмалированной кружкой воды и поливал на руки подошедшим. Те смачивали лицо, уши и волосы, а некоторые подставляли под тонкую струю грудь и плечи, после чего получали хрустящую трехрублевую купюру.

— Как же я очистился! — говорили они, пряча деньги в глубокие карманы. — Теперь я чист как новорожденный ребенок!

Так продолжалось до тех пор, пока не закончились денежные знаки, а потом очередь едва не учинила расправу над толстяками.

— Мы тоже хотим очиститься! — кричала толпа. — Дайте нам денег! Почему одним можно очиститься, а другим нет?

Толстяки, стоящие в кузове, затеяли совещание.

Но тут голос подал писатель.

— Люди! — закричал он. — Неужели вы не понимаете, что вас пытаются купить? Немедленно верните деньги, если вам дороги совесть и честь! Неужели ваша совесть стоит не дороже трех рублей?

Толпа обернулась к нему с нескрываемой озлобленностью.

— Это не твое дело! — сказали. — Жене своей будешь указывать!

С кузова прыгнул Фома, взял писателя за локоть и вывел из толпы.

— Не говорите им сейчас ничего, — вполголоса проговорил Фома. — Иначе они растерзают вас!

— Немедленно отпусти мою руку! — сказал писатель. — Где мой внук? Алан!

Внук подбежал к нему и попросился на руки. Цорион поднял его и посадил на плечи, тот уселся получше и обнял голову деда, растрепав тому седые волосы.

— Господин Цорион, — обратился к писателю Фома. — С вами хотят поговорить наши товарищи.

— Если вы хотите купить меня, как этих несчастных людей, то не получится.

Фома улыбнулся.

— Нет, конечно! У нас с вами есть что обсудить. Наше руководство склоняется

к тому, чтобы найти точки соприкосновения с «Парнасом». Необходимо объединить усилия в борьбе с тиранией.

— Меня не устраивают ваши методы, — сказал Цорион.

— Методы как методы. Думаете, в других странах людей привлекают на свою сторону иначе? Просто у одних хватает средств предложить им овсяные печенюшки, а у других — круассаны с марципаном.

— Я плохо разбираюсь в вашей гастрономии.

Фома помолчал немного, пристально разглядывая медовые зрачки писателя, и продолжил вежливым тоном:

— Вы уважаемый человек, господин Цорион, у вас хорошая семья и достаток. Сын, кажется, работает в Москве, прекрасный внук, старшая дочь — учительница, а младшая — детский врач. Настают такие времена, что в один час можно потерять все — и достаток, и семью.

— Пошел ты, знаешь куда! Шавка! — писатель сплюнул под ноги Фоме и удалился.

— Не спешите с окончательным решением, господин Цорион! — донеслось до него сзади.

Воду подвозили с реки Ногела, набирали ведрами в ближайшей заводи, куда вечерами на водопой сгоняли колхозный скот, поэтому она была мутной. Выше по течению рыбаки ставили сети и с удивлением наблюдали забор воды. Каждый раз бочку тщательно мыли и полоскали, будто собирались наполнить свежесожатым виноградным соком. Однако речную воду никто не святит. Возможно, по мере опорожнения бочки емкость заполнялась проданной человеческой совестью, которую в конце концов пускали по течению. Во всяком случае, объяснять ночное свечение реки Ногела исключительно флуоресценцией рыб и водорослей было бы неправильно.

...по улице Ленина, ангел мой, вдоль старых домов с облупившейся штукатуркой и сушащимся бельем на растянутых веревках. Вечерами за распахнутыми настежь окнами первого этажа сидят старушки и наблюдают за прохожими, здороваясь иногда с ними и затеявая разговор: как ваше здоровье, помогло ли снадобье из собачьей желчи и проросших зерен овса, не пугайтесь, дорогая, ежели станет пучить и не стесняйтесь пускать газы, а внучка моя влюбилась в физрука, теперь наряжается в школу, как на бал, все остальное слава Богу, ну ладно, держитесь. Эти переговаривания, ангел мой, что бальзам на душу. Помнишь, нас остановила тетка Маня и не отпустила, пока не вытрясла из нас все новости, и тебя мучила с полчаса. У нее седые усы, которые она подправляет ножницами, а брить не решается, потому что отрастут гуще, и бородавка под нижней губой с длинным толстым волоском, трясущимся при разговоре. Однако тетка Маня добрая, она подарила тебе тростниковую флейту, помнишь, но ты не стал в нее дуть, тебя едва не вырвало от запаха старости, исходившего от этой флейты, но что поделаешь, ангел мой, люди стареют и от них несносно пахнет, особенно для маленьких детей. Я тоже состарюсь, ежели не умру, и буду источать запах старости, как тетка Маня. Что? Ты готов терпеть мой запах? И даже слюни мои на свистульке? Если бы ты знал, как мне приятны твои слова. Но ты можешь не переживать, вряд ли я доживу до этого времени. Почему, почему. Потому что. Смотри, ангел мой, слева через дорогу библиотека, мы заходили с тобой туда не раз, и библиотекари угощали тебя конфетами «Мишка на севере», пока я беседовал с человеком о гносеологических корнях идеализма. Такая скукота, доложу тебе, что хоть волком вой. Особенно когда видишь, что тебя ни хрена не понимают, только кивают головой в ответ, потому что человеку нужно сделать доклад, а на большее, чем вызубренная цитата вождя мирового пролетариата про субъективизм и субъективную слепоту, ума не хватает. Давай попьем водички из фонтана, а заодно полюбуемся монументом вождя, что высится напротив райкома. Мне не хочется ни с кем встречаться, поэтому обойдем стороной это сакральное место. Вода в фонтанчике студеная, аж зубы сводит, пей не спеша, ангел мой, чтобы горло не застудить, а то нам перепадет от бабушки. Однажды

на привокзальной площади нас угостили фруктовым мороженым, и мы его слопали, прежде чем дошли до Тоты, а вечером у тебя подскочила температура. Скорее всего, она подскочила вовсе не потому, что мы ели мороженое, но на меня обрушилось такое негодование, что пришлось запереться в кабинете. Знаю, брат, что дети часто простужаются и болеют, тем более в нашем городке, где что ни день, то ливень. Но дело не в том, что заболел ребенок, а в том, чтобы быстро найти крайнего. Поверь, ангел мой, это от бессилия. Вернее, от инстинктивного желания забрать себе болезнь, избавить ребенка от мук. Впрочем, дети переносят хворь гораздо легче, нежели взрослые, и кому болеть — ведомо одному Господу. Однако утверждение, что каждая хворь — расплата за грехи, неприменима к детям, поскольку они безгрешны, либо в болезни детей более глубокий смысл, чем тот, который мы привыкли в нее вкладывать. Хотя я могу ошибаться. Во всяком случае, когда отсутствие четкого ответа на поставленный вопрос толкает к религиозному релятивизму или, паче того, в объятия похмельного духовника, то понимание замещается индульгенцией тупости, что в сущности и является надеждой на светлое будущее. А какое будущее без догадки и осмысления. Господь целенаправленно раздвигает разреженное пространство непонимания, заполняя его верой, которая не признает отдельных ячеек сути или сегментов хаоса. За райкомом старая типография, которая трещит круглые сутки, видишь, а за типографией музыкальная школа. На крылечке задом наперед сидит на стуле охранник в униформе и курит папиросу. Дым тянется вдоль голубой стены, за угол, где виднеется песчаная насыпь, и дальше сарай с заколоченными окнами. Послушай, из школы доносятся звуки флейты и скрипки, как здорово! Знаешь, я хожу туда послушать эти звуки, останавливаюсь под окнами, закрываю глаза и представляю городок, в котором все поголовно играют на флейтах и скрипках. Согласен, что это глупо, но мне кажется, что если бы все люди играли на флейтах и скрипках, то мир был бы гораздо лучше.

Слева первая школа, где твоя тетка Жу преподает литературу. Здание старое, двухэтажное, похожее на общежитие мануфактурной фабрики. Первый этаж занимают фойе с раздевалкой и столовой, пионерская комната, младшие классы, учительская и кабинет директора, второй — кабинет завуча и старшие классы. На второй этаж ведет большая железная лестница с дырчатыми ступенями и черными сетчатыми перилами, и когда по ней бегут ученики с перемены, она трясется и звенит что дальний колокол. Двор мощеный, по периметру растут акации и тополя. За школой баскетбольная площадка, посыпанная толченым кирпичом, беговая дорожка и яма с желтым песком для прыжков в длину. Каждое утро усатый ассириец в кепке и переднике поливает двор из шланга, дымя папироской, вставленной в длинный бронзовый мундштук с орнаментом. Сегодня выходной, поэтому тихо, как после парада. Тишина вызывает у меня тревогу. Можно, конечно, покопаться в причинах тревоги, но я не делаю этого. С возрастом принаравливаешься к страхам, которые по сути не стоят и выеденного яйца. Да, ангел мой, старики боятся за близких и родных, хотя, может быть, и не нужно бояться за них. Статус каждого предполагает размеренную жизнь. Но я же писатель, а писатели, брат, кроме будущего следят и за прошлым, представляющим наибольшую опасность для израненного сердца. Это только кажется, будто прожитая жизнь, полная ошибок и невзгод, ровно шкатулка с безделушками, навсегда убирается в пропахший нафталином комод. В конце концов находится человек, который потрошит твое прошлое, и тогда наивное убеждение про личную жизнь рассыпается прахом. Вот почему нужно быть осмотрительным, ангел мой, даже тогда, когда вокруг тебя звезды и твои слова тают, как дымка.

Он заехал за мной затемно в субботу. Я ждал его во дворе под акацией, кутаясь в теплую куртку с капюшоном. Рядом лежали зачехленные удочки. Накануне возле «Заготзерно» мы накопили червей, во дворе мясокомбината набрали опарышей, а вечером я наварил каши. Обычно мы удили рыбу на реке Ногела, в пяти километрах от шоссе, за перелеском. Когда выехали, начинало светать. Желтая шoha медленно

порхала между сонными деревьями и домами, как бабочка, и предутренняя свежесть обдавала лица сквозь приоткрытые окна. По кленовой улице детства добрались до большого перекрестка, свернули на Горького и мимо светящихся витрин «Тысячи мелочей», мимо парка с разобранными теннисными столами на аллеях, полукруглой сценой летнего театра, и дальше — мимо пожарной части с большими красными воротами и нового двухэтажного универсама и школы — покинули город, не разбудив никого. Гудериан спросил попить, я налил ему из термоса крепкого чая, и он его выпил не спеша, стараясь не обжечься, а от бутерброда с сыром отказался. Мы поехали мимо старого кладбища и ипподрома, свернули на шоссе и, выкатившись на чистую асфальтированную дорогу, прибавили газу. Для рыбака важна не сама рыбалка, а приготовление к ней. Утро было прохладным, но тихим и спокойным, и умиротворение растекалось по телу негой. Гудериан молчал всю дорогу, только после того, как съехали на грунтовку, сообщил, что накануне ездил к жене с сыном, и тесть его выгнал из дома, как собаку.

— Ты был пьян? — спросил я.

— Нет, — ответил он, — слегка поддатый. От меня даже не пахло.

— Забери оттуда жену и сына.

— Ха! — сказал он. — Попробуй, забери! Мне кажется, она возненавидела меня.

— Не выдумывай, — возразил я. — Она любит тебя, все знают.

— Я скучаю по сыну, — выдохнул он. — Да и по ней скучаю.

— Хочешь, вместе съездим к ней, — предложил я.

— Не вижу смысла. Она настаивает на разводе. Говорит, смогу видеть сына только после решения суда. Хотя вполне допускаю, что супруга поет со слов своего отца.

И все-таки вечером мы заехали к ней. Но ничего хорошего из этого не вышло. Родители ее жили в селе Ианети, в двенадцати километрах от города. Усадьба у них была большая — с двухэтажным кирпичным домом и погребом, фруктовым садом и лужайкой с подстриженным газоном. Гудериан женился по любви, хотя многие говорили, что по расчету. Жену его звали Анной, и у нее были потрясающие голубые глаза и светлые волосы. Все шло хорошо, пока он работал экономистом на мясокомбинате. Но как только потерял работу, начались проблемы. Мы остановились у ворот и вошли в калитку. Сын Гудериана, вихрастый заика с длинными девчачьими ресницами, бросился к нему со словами: «Папа пришел, папа пришел!» Гудериан подхватил ребенка на руки и пошел со двора. Но тут из дома выскочил хозяин с помповым ружьем и закричал на всю округу, чтобы Гудериан не трогал мальчика, иначе он прострелит ему голову. Тот поставил на землю плачущего сына и поднял руки. Подоспели женщины — жена Гудериана и ее мать и заголосили, чтобы отец не стрелял. Думаю, никто и не собирался стрелять, поугаать разве что. Но в итоге испугался сын-заика. Я отвел в сторону Анну и сообщил ей, что мой друг нуждается в поддержке, что он на грани срыва. На что она ответила, что муж — конченый алкоголик, что ничему хорошему он не научит ребенка и что жить с ним не собирается. Тем более после того, как Гудериан нарядился бабой и плясал на сцене. Я возразил, что это была сценическая роль в постановке трагедии Шекспира «Король Лир», но она даже не дала мне договорить — у него в крови игра, он дешевый комедиант, и замужество — ее ошибка.

Мы поехали вдоль реки по накатанной дороге, обогнули излучину и остановились у ольшаника. Светало. Шука гоняла мелкую плотву по заводи, слышался плеск, и рябь шла по поверхности. Вначале мы скатали катыши, смешав сырую глину с кашей и жмыхом, и зашвырнули в воду примерно на десять метров от берега, затем разложили удочки, наживили крючки и забросили их в то место, где прикармливали рыбу. Клевать стало сразу на опарыша, но брала мелочь, в основном, красноперка и подлещик. Крупная рыба присматривалась.

— Что у тебя с Лореной? — спросил я, когда схлынул первый азарт.

— А что с ней? — вопросом на вопрос ответил Гудериан.

— Она неплохая девушка.

— Возможно, — улыбнулся Гудериан. — Толстовата малость. Лучше бы она была худощава, но с полными ногами, как наместника сестрица.

— Это которая стала жрицей?

— Ага.

— Не выпендривайся, брат. Лорена просила поговорить с тобой.

— О-о-о! — закатил глаза Гудериан. — Неужели просит моей руки?

— Нет, хочет просто увидиться с тобой. По-моему, она равнодушна к тебе.

— Равнодушна, равнодушна! — раздраженно повторил Гудериан. — Мало ли кто к кому равнодушен. Прекрати сводничать!

— Извини.

— Ну давай теперь рубахи рвать на груди. Мы не о том говорим.

Я положил удочку на подставку.

— Ты меня вытащил на рыбалку, чтобы сообщить что-то важное?

— У тебя клюет. Смотри, как поплавок таскает по кругу. Думаю, это линь.

Я подсек, но рыба сорвалась.

— Что ты хотел сказать?

— Совсем разучился удить. Надо было выждать, а потом подсекать.

— Черт с ней, с рыбой. Говори.

Гудериан помолчал немного и ответил:

— Я общался с националистами, они готовят какую-то провокацию против Цориона. Подробности не знаю.

— Чем отец им не угодил?

— Тем, что не очистился публично, не продался им с потрохами. Я знаю Цориона, он не пойдет ни на какую сделку с совестью, и националисты постараются воспользоваться этим. Они скупали пачками людей на площади, а те даже не подозревали, что становятся собственностью ублюдков. На днях ко мне пришел Фома и завел разговор о патриотизме, о борьбе против коммунистов, о самоотверженности и чистоте нации. Сказал, что настало время изгнать из страны всех непрошенных гостей, всех, кто поганит язык и не принимает их сторону. Стал приводить в пример публичных людей, которые уже примкнули к их движению. Я только спросил Фому — до какого предела вы готовы идти в своей борьбе? И он ответил — до победного конца. Они не остановятся ни перед чем. Поэтому Цориону, а лучше — всей вашей семье — нужно уезжать отсюда.

— Что за глупости ты говоришь, брат?

Он схватил меня за грудки, придвинул к себе и задышал перегаром.

— Послушай, я люблю тебя и всю твою семью, но ты должен знать, что не смогу спасти вас, если они припрутся с недобрыми намерениями.

— Знаю, — сказал я, ухмыляясь, — ты первый побежишь сушить штаны.

— Нет, — отступил Гудериан, — я буду без штанов.

— И даже без трусов?

— Конечно.

— Тогда не завидую националистам. Хорошо бы внизу у тебя торчал эрегированный член для пушного устрашения.

— Этого я не могу обещать при всей ненависти к ним.

— Ах ты засранец! — обнял я его.

— Я не засранец, — проговорил он. — Я одинокий циник.

— Хочешь стишок?

— Давай.

— Ах, Гудериан, Гудериан!

Если б не было войны,

Ты для Родины потерян

Был бы, но не для страны!

— Здорово! — расхохотался Гудериан. — Признайся, сейчас придумал?

— Нет, брат, давно. Все не было возможности продекламировать.

— Пиши побольше. Может быть, ты заменишь меня?

— Тебя невозможно заменить. К тому же я отказываюсь писать для Рауля Панаскертеля. Скажи честно, он хоть платит тебе?

— Неа! — Гудериан поменял наживку и перебросил удочку. — Не хочу быть банальным, но стихи придумываются независимо от того, заплатит кто-то за это или нет.

— Знаю. Однако Бено присваивает их без зазрения совести.

— Ну, юридически не придерешься. Нет такого понятия, как добровольный плагиат. Ведь Рауль Панаскертель — псевдоним, за которым может скрываться кто угодно. Да и у автора нет никаких претензий. Более того, ему открывается возможность, не опасаясь последствий, подсовывать соавтору любые крамольные стихи. Институт псевдонимства для того и придуман, чтобы воровать чужие и подсовывать свои стихи другим. А мораль покоится так глубоко в душе и прикрыта таким толстым слоем жизненных обстоятельств, что даже не чувствуется. Разве что под утро, после бессонной ночи. К тому же у Бено есть оправдание — он врач и спасает людей.

— Это его профессия. Ты же не будешь восхвалять пожарника за то, что он тушит пожар и вытаскивает из огня людей?

— Нет, но я буду ему всегда благодарен.

— Ну да, — кивнул я. — Опять мораль. Зачем Бено это? Все же знают, что стихи твои.

— Прекрати, — сказал Гудериан. — Для настоящих стихов неважно, кто автор. Они витают в воздухе, как сорванные ветром рубахи с пугала. Весь вопрос в том, на кого они в конце концов напяливаются.

— Не смей меня! — возразил я. — Хочешь сказать, что Пушкин с Овидием всю жизнь проходили в рубахе с плеч пугала?

— Именно это я и хочу сказать. Только рубаха эта была отмечена Богом.

— Лихо закрутил! — тихо засмеялся я.

— Смейся сколько влезет! — обиделся Гудериан. — Писать стихи — не столько дар, сколько проклятие. Думаю, Бено тяготит именно эта мысль. Ведь он не дурак.

— Знаешь, брат, если это так, то я точно не смогу тебя заменить.

— Ну, может, когда-нибудь, — сказал он и замолчал, уставившись на поплавок.

В город мы вернулись после обеда. Улов наш составили три неплохие шуки, пять крупный окуней, два сазана и несметное количество подлещиков и красноперок. Мы подрулили к «кругляку» Фёдора при входе в парк и отдали ему всю рыбу, чтобы он пожарил ее на хорошем масле, предварительно обваляв в кукурузной муке, а сами пошли к летней сцене. В центре парка работал фонтан со смеющимся гипсовым мальчиком, обнимающим аиста. На аллее, усыпанной толченым кирпичом, шумно резались в настольный теннис сыновья Самуила, настройщика пианино. Старший, Силициус, был красив, как девочка, но он упорно пытался скрыть это за нарочитой небрежностью — одежду носил на пару размеров больше и волосы не мыл неделями. Да и пахло от него неприятно. Младшего звали Яго, он был невысокого роста, с озорными глазами и неправильным прикусом. Мы попросились поиграть, но братья нам отказали, сославшись на то, что полчаса игры стоит полтинник, а время на исходе. Гудериан достал целковый и велел старшему брату сбежать и доплатить, и когда тот ушел, взял его ракетку и стал играть с младшим. Все время, пока они стучали по мячу, Гудериан пытался разговорить Яго, спрашивал про школу, про учебу, про родителей. Мальчик отвечал охотно, ухмыляясь и сглатывая слюну, и вообще, в его тоне чувствовалась некоторая снисходительность. Матери у братьев нет, померла от рака груди в прошлом году, отец настраивает пианино в музыкальной школе, правда, директор, господин Гутар, платит копейки, поэтому они вынуждены подрабатывать на свадьбах игрой на кларнете и аккордеоне. Вернулся Силициус, Гудериан положил ракетку на стол, и мы направились к летнему театру. Он поднялся на сцену, сел за пианино, открыл крышку и заиграл Рахманинова. Играл сносно, но меня сморило, я опустил на скамейку и уснул. Мне снилась тихая заводь, яркое солнце, по пояс голый отец держит на руках внука, и они заливаются смехом. Проснулся оттого, что невесть

откуда взявшиеся братья хлопали в ладоши и неистово орали «Браво!». Гудерман приблизился к краю сцены и принялся жеманно раскланиваться, и мальчики весело захохотали. Потом он сделал вид, что снял со штатива микрофон, продул его и объявил, что следующим номером в сегодняшней программе будет жареная рыба с красным вином «Изабелла», а для более младших зрителей — с грушевым лимонадом, и попросил проследовать в ресторан Фёдора.

Чувство долга и природная учтивость, особенно проявляющиеся на излете сил, принуждают обернуться назад — мимолетный взгляд генерала на дымящееся поле брани, усеянное телами, — и болезненное осознание бесполезности усилий накрывает с головой. Даром что память сердца подсовывает ощущение легкости и восторженности, будто хлебнул крепкой виноградной водки, и ты паришь над сонным городом детства. Конечно, роман подождет, тем паче, что скорость продвижения к развязке вовсе не соответствует скорости разгрома врага. Напротив. Ощущение полета над городом детства, из которого тебя хотят выдворить, нужно для душевного равновесия, если иметь в виду раздражение от убывающей выносливости, которая растворяется, будто крупинка марганцовокислого калия в дождевой воде, в усталой походке, и это наводит на мысль о проявлении избранной сущности. Да, это изматывает, как докучливое внимание любовницы. Ты держишься, не позволяя себе ронять статус великого знатока человеческих душ, пока не понимаешь, что ошибок не может быть по определению — они случаются в другой жизни — и от этого немного не по себе. Жалость, как цианея, вбирает в себя сожаление, и для печали требуется иная Вселенная с иными шумерами и иным Египтом. И дело вовсе не в статичности сути, не в завершенности ее действия или даже в отсутствии действия, а в том, что слово запаздывает, и недоумение, уже обшарившее окрестности города, внезапно успокаивается в районе прожженной до кости финалгоном поясицы. От тяжести и боли взгляд раздваивается, как телефонный провод у коммутатора, и сострадание обходит тебя, будто скорый поезд на перегоне. Ломать голову над тем, что ты не успел никого осчастливить, бессмысленно — о, да! — и не потому, что на площади Мира на глазах у великой Тоты не сумел обратить ни одного человека. Они предпочли простоте еще большую простоту. Может быть, нужно было войти в их стан? Принять причастие великой нации? Омыться мутной речной водой и сохранить спокойствие и благополучие? Но как же роман?! Это единственное место, где смерти не стыдно ночевать в загоне, прячась за овцами, и ранним утром, еще до рассвета, наблюдать за твоим приближением. Любить Родину и свой народ не зазорно, но вопить об этом на каждом углу — дурной тон. А тем паче брать за глотку сограждан, которые не поддерживают градус публичной любви к Родине. Увы, человек глуп до готовности продаться всем, кто орет громче всех. Но простому работяге не до публичности, не до громогласных призывов, он молча делает свое дело. Впрочем, купить его — тоже дело техники. Хлеба и зрелищ? Да нет! Родина в опасности, брат, где твой патриотизм?!

Так или иначе, но еж под левым плечом вовсе не стягивает к лопатке огненные сполохи мира, только дыхание, повторяющее очертания каплевидной истомы, которая для простоты воспринимается микроскопическими точками, и чем меньше точки, тем отчетливее ощущение реальности и постоянства, как пиксели на фотографии детства с игрушечной лошадкой и немного косящей девчонкой и катающимся по траве мальчиком, у которого из-под трусиков виднеется пиписька, хотя каждая из точек — что филиппинский кровопускатель, ты истекаешь, а ожидание боли трансформируется в позднее утро, когда досада оттого, что проشياпил восход, выжигает из глаз сон. Однако ручной еж на сей раз опередил тебя, выжав из пространства щеточный омнибус, который, возможно, и называется тайной, хотя на самом деле никакая это не тайна, а древнее транспортное средство, связующее бессонницу с вратами млечного пути, но так удобнее думать, потому что всегда надо начинать с чего-то думать, а щеточный омнибус — ничем не хуже ортодоксальной истины, сжавшейся, что старая дворянка, под поскрипывающим на ветру крылечком, и дверь хлопает с периодичностью

два удара в минуту, но от всего этого она не становится более истинной. Разве что каплевидная истома вытягивается, как жевательная резинка у мулатки на автовокзале, и ты никогда еще не видел мулаток с такими потрясающими бедрами и ногами, надувающих губами шарик. Стоишь и смотришь на нее, как дурак, и непривычное ощущение касторовым маслом вползает в грудь. Было солнечное утро, и мулатка помогла какой-то старухе подняться в омнибус и даже усадила ее возле окошка, а потом сплюнула на пол и перекрестилась, и все засмеялись. Эта капля, сиречь ароматный шарик на губах, выросла до размеров школьного футбольного поля, на котором оборвалась игра из-за ливня, вытеснила из сознания чтение и арифметику, а затем приняла облик старой дворняги и улеглась под крыльцом.

Так бывает, когда пытаешься оправдать ночное посягательство на мир, который уже живет своей жизнью, а ты все еще мнишь себя демиургом — чернила не те, детка, — и слова, которые еще недавно звучали, как река, просочились в засушливые трещины косности. Ты не обещал никому облегчения, хотя думал об этом постоянно, сидя за письменным столом, и когда тебе объявили импичмент, забыв о твоей седине, наплевав на ожидание взаимной симпатии, наивность твоя, как после попойки, обрела привкус медяшек во рту. Только не нужно говорить ничего, помолчи. За тебя скажет Александр, которого ты не признал после смерти, но не сообщил об этом матери. Не потому, что в тряпку был завернут другой мальчик, просто внезапно пространство сдвинулось в сторону, и идентификация брата потеряла всякий смысл. Матери запретили причитать, она до крови закусилась костяшки кулака и завывала, как сука, у которой отобрали щенят. Ты возвращался в землянку не раз, осторожно отодвигал тряпку и вглядывался в лицо незнакомого мальчика, но так и не смог уяснить себе — кто это. Досыр догадывалась, что внешность Александра могла измениться — ведь так бывает после смерти — однако о смещенном пространстве и понятии не имела. Впрочем, может и имела, но не могла подобрать нужных слов. Ах, эти слова! Ты видишь перед собой мир, он знаком тебе с детства, но когда появляется боль, мир бежит ее, оставляя следы, забегает за кладбищенскую ограду Три-Четыре и меняет облачение. Спустя время, описываешь его, не жалея ни сил, ни чувств, но в итоге получается, что в тряпку завернут рыжий мальчик, и только горечь от мысли, что бедная мать так и не удостоверялась в смерти сына, держит тебя рядом. Может быть, боль и связывает нас с реальностью? Может быть, мир соткан из боли, как половик в землянке, на котором зимой по очереди стояли Уара, Александр, Нинуца, Бего и Талико? Хрен его знает.

Да, так бывает, что дороги твои перепутались, и только мягкая пыль под босыми ступнями, пахнувшая надкусанным желудом, и кажется, ты еще накануне выжал из себя последние капли истины — что ночное старческое мочеиспускание — выдохнул с облегчением, но времени хватило лишь на то, чтобы прижмурить глаза да стиснуть зубы, потому что надо идти дальше, даже если импичмент, даже если без сил, наощупь, не надеясь выпепить слезящимся зраком огонек в ночи или выловить раковиной уха скрип двери, обитой войлоком, и звук, будто у быка подкосились колени, когда его забили током. Тянешься пересохшими губами к живой влаге прошлого, устремление твое пропитано безмолвием, ты подобен рыбам, черепахам и крокодилам, чье предназначение в движении к истокам жизни, но смысл вовсе не в производстве потомства, а в соприкосновении с истиной. Она, как трактирная вывеска, висит над крыльцом с хлопающей дверью, обитой войлоком, и звук, будто бык падает на колени, не успев даже замыкать, и под куполом неба Млечный Путь.

Ты поднимаешься над терракотой черепичных крыш, блаженно-легко-готовый, и прохладный ветер струится между растопыренными пальцами. Только бы не расслабиться, подобно паломнику на Голгофе, решившему, что все уже позади, и теперь уже мнение мира не имеет никакого значения. Парение над городом детства — это контракт со смертью. Оно вовсе не облегчает страданий, просто дает возможность видеть все с высоты птичьего полета. Такой взгляд укорачивает жизнь, наделяя, впрочем, парящего ощущением вседозволенности, причастности к вечному.

Но это заблуждение. Просто на короткое время разгружается совесть, как от действия наркотика, успокаиваются крылья ноздрей, и Досыр, отвыкшая улыбаться, убаюкивает на груди Смерть. Ей стало холодно, и у нее мелькнула мысль прижаться к детям и согреться, но она не позволила себе этого и осталась возле отца. Ты приподнялся и спросил — холодно? Она покачала головой. Отец тоже мерзнет? — снова был вопрос. И Досыр ответила, чтобы не переживал за отца, с ним все хорошо, и тогда ты понял, что он умер. Соберись, сынок! — сказала Досыр. — Теперь вам с Бего и Александром нужно быть мужчинами.

Александру было семь лет, Бего шесть, а Цориону пять.

Он проснулся с чувством тревоги, к которой примешивалась досада от недодуманных накануне мыслей. Писатель привык к тревоге — обычное дело для сердечников — и научился с ней сосуществовать. Цорион увидел, что постель рядом заправлена, на тумбочке возле кровати — утренняя таблетка и полстакана кипяченой воды. Жена уже была на ногах, хлопотала у плиты. Он проглотил лекарство, запил его и стал ждать, пока все встанут в зале и уберут постель, а затем сдвинут стол и стулья, освободив место для зарядки и легкой пробежки. Бено настаивает на утренней зарядке и пробежке трусцой, хотя у писателя вполне хватит сил для полноценной разминки и бега. Плохо то, что врачи в конце концов подчиняют себе твоё личное пространство и время, твои мысли, объясняя это заботой о здоровье. Приходится слушаться, потому что именно в этом заключается смысл лечения. Однажды он поинтересовался, кого же слушается сам Бено в период недомогания, тот долго мялся, поправляя накладные волосы на темени, потом ответил — Диану. Впрочем, когда Бено попал в больницу со стенокардией и Цорион пришел его навестить, Дуду вывел его из палаты и попросил отвлечь больного разговорами, пока тот будет снимать кардиограмму и незаметно подменит в аппарате ленту.

— Неужели все так плохо? — спросил Цорион.

— Нет, просто Бено нужно лишить возможности контролировать ситуацию. Во время стенокардии это ни к чему. Конечно, он возмутится, если узнает, поскольку является моим учителем, но сейчас лучше снять с него ответственность, даже если у меня другой метод лечения.

— Но это же диктат! — возразил Цорион.

— Да, — согласился Дуду, — но для блага больного.

— Получается, доверяясь Бено, я отдаю ему контроль над всей моей жизнью?

Дуду помолчал немного и ответил:

— А разве вы этого не знали? Бено контролирует каждый ваш шаг, каждую вашу мысль.

— Я не согласен, у человека должно быть личное пространство! — сказал Цорион.

— Это, скорее, философский вопрос, нежели медицинский. Человек выбирает либо диктат и спокойствие, либо свободу и нервные перегрузки, но тогда он сам несет ответственность за свою судьбу.

— Послушайте, Дуду, неужели диктат стоит лишних двух лет жизни?

— Кому как! — усмехнулся Дуду. — Лично я выбираю спокойствие вместе с семьей и детьми. Но допускаю, что для кого-то свобода важнее.

— Да, — кивнул Цорион. — С этим можно согласиться, если смысл жизни в том, чтобы находиться рядом с семьей. Но как быть тем, у кого другое предназначение?

— Честно говоря, не знаю. Думаю, эти мысли от лукавого. У меня к вам просьба: не затевайте с Бено никаких споров, сейчас это вредно для него.

Зала был подготовлена и проветрена, и он в трениках и майке принялся за зарядку. Вначале размял шею, потом плечевые суставы, поясницу и, наконец, тазобедренный и коленные суставы. Растяжку он делал осторожно, сидя на ковре, стараясь максимально использовать амплитуду движений. Затем поднялся и побежал трусцой — вдоль старого пианино и полированного стола с хрустальной вазой посередине, вдоль серванта с бронзовым кофейником и парадной посудой, дальше в

спальню мимо шифоньера, обогнул сдвинутые кровати с тумбочками по бокам, трельяж с дамским барахлом, коснулся заставленного стопками книг подоконника рукой и повернул обратно. Цорион считал про себя круги, на тридцатом немного ускорился, после чего перешел на спортивную ходьбу и, в конце концов, остановился, глубоко дыша. Бено запретил силовые упражнения, но он все-таки отжался от пола несколько раз и направился в ванную. Вкус медяшек во рту пропал. Цорион пустил воду и стал тщательно намыливать щеки колонковым помазком.

Весь этот ритуал — часть большого пути, — думал он, скребя бритвой подбородок. — Он вобрал в себя суть дороги, потому что требует каждодневного преодоления. Движения доведены до автоматизма, но мысли свободно витают над городом, и от этого ощущение некой миссии, в которой страх является неотъемлемой частью сердечного недуга, только усиливается. Впрочем, ни радости, ни удовлетворения оно не доставляет. Город медленно отходит от сна, дома и скверы стряхивают утренний туман, и молочники вовсю дудят в свою дуделку.

После завтрака Цорион вышел из дома, пересек двор и мимо сапожной мастерской направился к центру. Было душно, и он ослабил петлю галстука. За бакалеей свернул направо, перешел дорогу возле городской железнодорожной кассы, где работала его супруга, добрался до библиотеки и подергал ручку запертой двери. В библиотеке пока никого не было. Цорион по привычке попил воды из фонтанчика, потом повернул обратно, миновал арку и свернул в парк у пекарни, где раньше была автобусная остановка. На углу располагалась мастерская надгробных памятников. Пахло известкой, но запах ассоциировался вовсе не со смертью, а с травмпунктом, где долго твердеет гипс и черно-белые плакаты призывают переходить дорогу по зебре. Раньше возле входа в мастерскую на обозрение лежали образцы мраморных плит с изображением почивших, но однажды ночью их кто-то стащил. Тогда на стене повесили фотографии образцов, которые благополучно были разрисованы местной детворой. Цорион глубоко вздохнул, ровно никто, кроме него, в целом мире не мог осознать суетность жизни, смахнул испарину со лба, и левый уголок губ еле заметно привздернулся кверху. Он прибавил шаг — по аллее, усыпанной толченым кирпичом, мимо шахматного клуба, обогнул фонтан со смеющимся мальчиком, которого жена называла так же, как и сына — Буччу-Куыж, утверждая, что тот здорово похож на него, и вышел к «Кругляку» Фёдора, славящемуся хинкали и ледяным пивом. Слева осталось чертово колесо и вендиспансер, напротив была стеклянная аптека, правее городской кинотеатр и дальше — отделение банка. Из окон вендиспансера ему помахали рукой, и Цорион ответил им с улыбкой.

У кассы чертового колеса, представляющей собой цилиндрическую стойку, обклеенную афишами и объявлениями, сидела старуха со слезящимся стеклянным глазом. Треснутым голосом она зазывала прохожих покататься на колесе. Возле нее стали собираться люди со свернутыми матрасами и одеялами. Кассирша вначале обрадовалась, но потом смекнула, что это не ее клиенты, и принялась их разгонять. Однако люди не спешили уходить. Появился Фома и доходчиво объяснил кассирше, что возле чертового колеса пройдет политическая акция, что патриоты будут голодать, протестуя против решений Коммунистической партии. Старуха ответила, что они могут голодать сколько угодно, но нельзя ли отодвинуть акцию подальше от чертового колеса. На что Фома обвинил ее в политической близорукости и пособничестве врагам нации. Он дал команду людям со свернутыми матрасами и одеялами, и те стали располагаться прямо на земле при входе на чертово колесо. Кто-то принес из аптеки несколько бутылок с прозрачной жидкостью и объявил, что голодовка не сухая, но пить голодающие будут только дистиллированную воду. Среди зевак пронесся удивленный возглас.

Цорион приблизился к ним в тот момент, когда они уже разлеглись под сетчатым забором и укрылись одеялами. Голодовка лежащих толстопузых бездельников. Рыжий Фома толковал элегантно светловолосой даме в очках, что эти люди пришли с депо и деревообрабатывающего комбината объявить голодовку в знак протеста против

политики руководства Абхазии и Южной Осетии. «А что, — наивно поинтересовалась дама, — разве они не могли продемонстрировать свой протест на рабочем месте?» Фома окинул ее пытливым взглядом — чистое лицо с небольшими складками возле рта, выдающими ее возраст, немного снисходительные голубые глаза, гладко зачесанные волосы, маленькие ушки с янтарными каплевидными серьгами, как у виноградарши на картине Брюллова «Итальянский полдень», отлично выглаженный темно-коричневый костюм, из-под тесной юбки торчат острые коленки, чулки телесного цвета, тонкие щиколотки и лодочки на каблуках — и ответил, облизываясь, что смысл протеста в публичности, люди должны видеть, сколько сочувствующих у национального движения. «Но они же могут умереть от голода! — закатила глаза дама. — Mon Dieu! Бедные дети!» Ее звали Волумнией, она преподавала французский язык и литературу в школе и неплохо владела модуляцией голоса. Заметив Цориона, дама забыла о существовании рыжего Фомы и окликнула его: «О, господин Цорион! Как ваше здоровье? Посмотрите-ка на этих несчастных детей! У меня сердце сжимается при виде их голодовки!» Писатель вежливо поздоровался с ней и бросил ехидный взгляд на голодающих. Как-то его пригласили в школу выступить с лекцией о современной литературе. Он принял приглашение, подготовился и пришел на встречу со школьниками и учителями. Лекция прошла успешно, писатель много рассказывал про поэтов послевоенной эпохи, про шестидесятников, про постмодернистов, его внимательно слушали, но внезапно с ним случился сердечный приступ. Цориона перенесли в кабинет директора, уложили на диван и вызвали скорую, и пока ехала карета, Волумния услаждала его слух выразительным чтением стихов Ахматовой. Приступ прошел, и писатель на радостях объявил, что Волумния спасла его от смерти.

— Хотите, прокатимся на чертовом колесе? — предложил Цорион.

— На колесе? — заколебалась Волумния.

— Да, на колесе.

— Но ведь про нас с вами начнут сплетничать.

— Лично я не боюсь сплетен.

— Хорошо, — согласилась Волумния. — Мне-то нечего бояться, я разведена.

Цорион заплатил целковый за два билета, они прошли мимо голодающих к чертовому колесу и уселись в качающуюся кабинку. Старуха запустила двигатель, колесо сдвинулось с места, и одновременно с этим заиграла веселая музыка.

— Я давно хотела вам сказать, что ваши стихи и проза трогают за душу, — произнесла Волумния проникновенным голосом.

— Знаю, — усмехнулся Цорион.

— Знаете? Откуда? — привздернула тонкие брови дама.

— Я хороший писатель.

Волумния долго меняла позу — закидывала ногу на ногу, плотно сдвигала колени, одергивая юбку, выставляла одну ногу вперед — наконец придвинулась к Цориону вплотную и сказала ему на ухо:

— Но ведь не все хорошие писатели могут нравиться женщинам.

Они медленно поднимались над городом, колесо постукивало и гудело, и ветер трепал волосы. В окнах вендиспансера, как всегда, маячили бледные лица. Снизу через громкоговоритель доносился голос Фомы, призывающий граждан жертвовать голодающим одеяла и теплые кальсоны, поскольку по ночам все еще холодно, а голодать придется долго.

— Волумния, почитайте стихи, — попросил Цорион.

— Вам опять плохо? — сочувственно спросила она.

— Нет, — ответил Цорион. — Мне нравится, как вы декламируете.

— Что вам прочитать?

— Знаете «На ранних поездах» Пастернака?

— Конечно, — закивала она, собираясь с мыслями, и с надрывом стала читать: — «Я под Москвою эту зиму, но в стужу, снег и буревал...»

Сверху парк казался небольшим, пустынные аллеи едва просматривались сквозь кроны деревьев. У шахматного клуба, возле гигантских деревянных коней, стоял гроссмейстер в очках и шляпе и нервно курил папиросу за папиросой. Напротив, на спортивной площадке, тренировалась женская баскетбольная команда. Девушки разминались, бросали по кольцам мячи, и их внешний вид, молодость будоражили воспаленное воображение гроссмейстера. Стеклопанная дверь за ним, ведущая в клуб, была распахнута настежь. Любители шахмат, как правило, подтягивались после обеда, с утра же приходилось безбожно убивать время. Северная часть парка смотрела на облупившееся здание поликлиники. Дальше по улице находилось городское отделение милиции. Дома в этом районе были двухэтажные, крытые черепицей, с небольшими фруктовыми садами и курятниками. Зимой жили на первом этаже, потому что протапливать весь дом не имело смысла. Летом же из-за духоты распахивались все двери, и в комнатах, кроме полчищ комаров, гулял сквозняк. За окраиной города виднелись поле и водоканчка, а за ней грунтовка, ведущая в еврейский поселок Кулаши, а еще дальше — голубые горы.

Когда Волумния закончила декламировать, писатель все еще смотрел вдаль.

— Вы здорово читаете, — сказал он, не оборачиваясь, — только эти стихи не требуют такого надрыва в голосе. Пастернак хорош тем, что слишком конкретен для надрыва. Впрочем, я могу ошибаться.

— У него особенная музыка, — с улыбкой возразила Волумния. — Она сама настраивает голосовые связки.

— А вы не хотели бы играть в нашем театре? — повернулся к ней Цорион.

— В театре? — пожала она плечами. — Хотя с вами я готова на все.

— Да, в театре. Мы ставим «Короля Лира». Так получилось, что Корделию играет Гудериан. Трагедия может обернуться фарсом.

— Гудериан? — переспросила Волумния. — Этот клоун играет Корделию?

— Да, причем весьма недурно. Сдается мне, что у него свои мотивы играть женскую роль.

— Очень любопытно. Позовите на премьеру.

— Я так понял, что вы отказываетесь от моего предложения?

— Ну, вы же сами понимаете, господин Цорион, что для Корделии я слишком стара. А Гудериан в корсете и парике — это забавно. Я даже представляю лица наших матрон при появлении его на сцене. Пригласите меня лучше на другую роль.

— Боюсь, больше спектаклей не будет.

— Почему? Я бы с удовольствием сыграла, например, Гертруду.

— Вам не холодно? Здесь здорово дует. Может быть, накинете мой пиджак?

— Спасибо, господин Цорион, скоро уже поедем вниз. Смотрите, река разлилась.

— Так случается каждой весной.

— Вы точно хорошо себя чувствуете? — заглянула ему в глаза Волумния.

Он выдержал ее взгляд, поправил очки на переносице и улыбнулся.

— Точно.

— У вас такой вид, будто вы собираетесь спрыгнуть отсюда.

— Есть такое желание, — продолжал улыбаться Цорион. — Но вовсе не для того, чтобы покончить с собой. Я часто летаю во сне.

— Ради Бога, не делайте этого, не ставьте меня в глупое положение.

Цорион расхохотался и увидел, что привлек внимание собравшихся внизу людей.

— Ладно, договорились. Ну все, теперь нам будут перемывать косточки.

— А я предупреждала вас.

— Это не самое страшное, дорогая Волумния. Скажите, а вы сами не пишете стихов? Прочитайте мне что-нибудь свое, только не очень длинное, а то нам выходить.

— Нет, я не готова. Давайте в следующий раз.

— Жаль. Следующего раза тоже может не быть.

Они спустились вниз и покинули кабину. Толпа молча наблюдала за каждым их шагом. Между тем часть голодающих спала, укрывшись одеялами, а другая часть

позировала, изображая неземные страдания, что не очень-то вязалось с их откормленными физиономиями.

На одиннадцатичасовой скорый билетов не было, и Гудериан решил идти к поезду договариваться с проводниками. Народу на перроне собралось — не протолкнуться, шум стоял, как на базаре. Гудериан лавировал между чемоданами и тюками, раскланиваясь направо и налево. По громкоговорителю объявили о прибытии скорого поезда. Пассажиры как по команде двинулись к краю платформы. Стоянка была сокращена до семи минут, поэтому Гудериан направился напрямик к бригадирскому вагону. Бригадир, толстый татарин в форменной фуражке, за червонец отвел ему место в двухместном купе, сам постелил постель, и Гудериан завалился спать. В шесть часов утра его разбудил проводник, а в семь поезд прибыл в большой город. Трап вагона обступили ассирийцы-носильщики и, коверкая слова, стали предлагать свои услуги, но, заметив, что он без багажа, отстали. Было прохладно, и Гудериан поднял воротник куртки. В большой город весна входила осторожно, оглядываясь поминутно, будто боялась, что ее застанут врасплох. С привокзальной площади по улице Челюскинцев Гудериан пешком спустился к площади Героев, перешел старый мост, затем в обход зоопарка свернул на проспект Руставели и направился в сторону фуникулера. В пантеоне было безлюдно. Он постоял возле могил писателей и двинулся к часовне святого Давида. Часовня была открыта. Гудериан поставил свечку, мысленно вознес Господу молитву и вышел. Часы показывали без четверти десять. До института языка и литературы, где работал главный скупщик совести, было рукой подать, и Гудериан поплелся туда.

Он прождал его возле двери, обитой черным дерматином, полтора часа, однако когда тот явился, то не захотел пускать к себе никого. Главного скупщика совести называли тираном с оленьими глазами. Это был мужчина с проседью среднего роста с небольшим животом, носил усы, говорил тенором. В конце семидесятых отсидел по пятьдесят восьмой статье, потом был сослан в одну из братских республик. КГБ дожал его, и он покался публично, объявив впоследствии, что сделал это в интересах свободы и Родины. Гудериан все-таки прорвался к нему в кабинет, тот сидел за массивным письменным столом, заваленным папками, и с недовольным выражением лица рылся в бумагах, как будто искал очень важный документ, от которого зависела судьба страны.

— Я не отниму у вас много времени, — сказал Гудериан.

Хозяин кабинета поднял глаза и измерил гостя взглядом.

— Что вам угодно?

— Господин главный скупщик совести, я пришел просить за писателя Цориона.

— Почему вы называете меня так?

— Так называют вас все.

— Вот как?

— Да. Но вас не должно так сильно оскорблять то, что в первую очередь оскорбительно для народа.

— Народ стонет под гнетом Кремля, разве вы не видите?

Гудериан промолчал.

— Наш народ на грани исчезновения, — продолжал главный скупщик совести, — наркомания, проституция, воровство, а пришлые жиреют, как свиньи!

— Чем вам не угодил Цорион? Почему ваши люди не оставят его в покое?

— Вы надоели со своим Цорионом! Кстати, читали последнюю его статью «Мое Ватерлоо»? Он выступает против возрождения нации.

— Читал. Но Цорион не против возрождения нации, он пишет о представителях других народностей, живущих на нашей территории и способных обогатить этнос новыми культурными ценностями. Чем больше их культурный багаж, чем они умнее и чем более независимо их мнение, тем выгоднее нам. Вы же не против ценностей, которые сплачивают народ?

— Почему вы думаете, что эти ценности обогатят наш народ, а тем более сплотят его? Оттуда вы знаете, что они не разрушат нашу идентичность?

— К сожалению, об этом можно будет судить только со временем.

— Вот именно! А у нас нет времени.

— Поэтому всех пришлых нужно изгнать?

— Нет, не всех, а только тех, кто не очистился и не принял причастия нашей великой нации.

— Какой бред!

— Что, по-вашему, определяет идентичность малых народов? — спросил главный скупщик совести.

— То, что объединяет людей, — язык, географическая целостность, культура, принадлежность к государству, ощущение Родины.

— Да. Только государства у нас пока нет. Все эти признаки идентичности не приобретенные, а получены стихийно, что называется, с молоком матери. Кем же ваш Цорион мнит себя, живя среди нас, получая преференции?

— Он писатель, у него иные ценности. К тому же если Цорион и имеет преференции, то вовсе не от вас.

— Не морочьте мне голову, прежде всего он человек. И когда придется делать выбор между осетинами и грузинами, он выберет своих.

— Это ошибка. Не следует вынуждать человека делать выбор. Все творчество Цориона пропитано духом взаимопонимания и любви. А если он пишет о пороках, то не с позиций национальности. Вся его проза о людях, независимо от того, осетины они, грузины или абхазы.

— Господи, да мне не нужно, чтобы он болтал на своем языке на наших улицах.

— У нас маленький провинциальный городок, и на улицах слышна разная речь — и армянская, и ассирийская, и французская, и немецкая. А Цорион говорит по-осетински только с членами семьи. Грузинским же владеет не хуже нас с вами. Вы сами видите, как здорово он пишет по-грузински.

— Не знаю, не смею утверждать. Я мало читал.

— А вы почитайте его романы. Каждая строка, каждая буква пропитаны любовью и преданностью Грузии, потому что он родился и вырос в восточной Грузии. А то, что он не забыл родной язык и вся его семья говорит по-осетински, делает ему только честь. Ведь для нас главное избежать столкновений с живущими на нашей территории представителями других народностей, избежать кровопролития, разве не так?

— Я против кровопролития, — покачал головой главный скупщик совести.

— Абхазов вы считаете братским народом, утверждая, что с ними всегда можно договориться, а осетин предлагаете вышвырнуть за пределы страны. Думаете, вам удастся избежать кровопролития?

— Но осетины чужие нам.

— Вы не знаете ни абхазов, ни осетин, ни грузин.

— Интересно, интересно. Вы не похожи на осетина, — прищурил левый глаз главный скупщик совести.

— Я не осетин.

— Может быть, вы еврей?

— Нет.

— Кто же вы?

— Такой же грузин, как и вы.

— Так какого хрена защищаете осетина? Пусть катится в свою Осетию!

— Я защищаю настоящего писателя, который выше понятия национальной принадлежности, которому грузинский язык так же близок, как и родной. И статья его, между прочим, написана по-грузински.

— Тоже мне Набоков. Сейчас всех, кто не борется за чистоту нашей нации, следует воспринимать как врагов.

— Господин главный скупщик совести...

— Не называй меня так!

— Хорошо! — кивнул Гудериан. — Цорион не вынесет изгнания. Прошу вас, защитите его. Вы сами знаете, что он пишет правду.

— Кому нужна его правда! — повысил голос главный скупщик совести. — Кто ему дал право выступать от имени моего народа, указывать на наши изъязны? Пусть едет в Осетию и указывает своим осетинам, а мы сами разберемся!

— Он считает ваш народ также и своим народом.

— С какой стати? У каждого народа свои особенности, и о них может судить только тот человек, в чьих жилах течет кровь этого народа.

— Если вы о морали, то она вне национальности.

— Неправда! — закричал главный скупщик совести. — Когда речь идет о спасении нации, понятия добра и зла меняют полюса, как планеты перед столкновением.

— Это несправедливо... Да, в «Моем Ватерлоо» Цорион пишет о Родине, но не о географической, а о духовной, где нет никаких границ, а есть единение. Вы же писатель, милостивый государь, неужели не понятно, что национализм — высшая степень косности, что в трудные для страны минуты писателям следует возвыситься над нею, как это сделал Цорион, быть вместе и вести за собой народ.

— Чепуха! Мы должны очистить нацию, каленым железом выжечь иноверцев и обосновавшихся на нашей земле пришлых!

— Пожалуйста, — сказал Гудериан, — выслушайте меня. Я готов подыграть вам, согласиться, даже если это будет стоить мне раздвоения личности. Но ваша твердость не убережет страну от напастей. Однажды я видел в автобусе тучного пассажира с толстой книгой, он с упоением читал страницу за страницей, пока не вошла домохозяйка с авоськами. Тучный господин из сострадания уступил ей место, хотя у него был билет, и с сознанием выполненного долга встал рядом. Я восхитился его поступком, но вдруг представил, как у автобуса лопнуло колесо, и мы все полетели в пропасть. Как, по-вашему, изменилась бы моральная ценность поступка тучного пассажира, который и сам еле стоял на ногах? Домохозяйка была опрятна, и она наверняка воплощала в себе высший смысл семейного очага и благополучия, но она упала в пропасть вместе с умником с книжкой, вместе с водителем и другими пассажирами, и даже вместе со мной, цинично оценивающим моральность поступка толстяка. Даже перед смертью, милостивый государь, лелеешь мысль, что все еще востребован, просто это востребование немного отстает, и чтобы сродниться с ним, мало уступить место в автобусе, который напоролся на гвоздь, необходимы еще и сочувствие, привязанность. А после вас, милостивый государь, все ваши убеждения будут вызывать чувство омерзения, даже если вы добредете до какого-нибудь загона и смешаетесь с овцами.

Главный скупщик совести расплылся в улыбке, показывая желтые прокуренные зубы.

— Что ты тут несешь, негодяй? — произнес он. — Проваливай немедленно, пока я не позвал охрану.

После обеда Гудериан вызвонил приятеля по университету, которого за пристрастие к алкоголю однокашники прозвали «Стограмм». Теперь он работал экономистом в госучреждении, остепенился, женился, родил двух сыновей и отрастил живот, но погудеть с друзьями по-прежнему был не против. Стограмм привел двух девиц — коллег по работе, как он выразился, и они вчетвером поехали в загородный ресторан на берегу черепашьего озера, где им подали горячие кукурузные лепешки, перепелиные яйца на шпажках, жареный сулугуни с зеленью и телятину под сливовым соусом. Вино было домашнее, в запотевшем глиняном кувшине. Стограмм попробовал его и выразил удовлетворение качеством. Однако по инициативе Гудериана пить начали с крепкой виноградной водки, правда, девицы благоразумно отказались от нее и сразу принялись за вино. Гудериан захмелел быстро, чем озадачил приятеля, который всегда восхищался его выносливостью, показалось даже, что ему хочется выглядеть пьяным и безбашенным. А когда он, грубо потискав девиц и вызвав их истерический смех, закурил и стал декламировать стихи, Стограмм окончательно убедился в том, что Гудериан

притворяется, что застолье безнадежно испорчено. В голосе его и жестах было больше манерности, нежели хмеля, но у женщин мгновенно загорелись глаза и выступили слезы, они, не отрываясь, смотрели на Гудериана. Да, — обреченно подумал Стограмм, который тоже был не чужд поэзии, — старость подкатывает, как запаздывающий пассажирский поезд, ты не успеваешь вспрыгнуть на подножку, только цепляешь за что-то сумку с пожитками, и все твои мечты со звоном рассыпаются по перрону. Плаксивые вирши испокон веку неплохо шли с овощным салатом и красным вином, когда процесс пищеварения вступал в активную фазу, и женщины отточенными движениями извлекали из сумочек пахнущие духами платки.

Девицы извинились и отправились в туалет привести себя в порядок. Сидящие за соседними столиками солидные господа в пиджаках и галстуках проводили их взглядом до самых дверей и даже дальше, а потом устали в свои тарелки, ковыряясь в зубах специально отточенными ногтями на мизинцах.

— Как твоя семья, как сын? — спросил Стограмм.

— Нет семьи, — совершенно трезвым голосом ответил Гудериан.

— Что с тобой?

— Зря мы приехали сюда.

Из ресторана они пошли по шоссе в город пешком. Машины объезжали их, сигналив, водители высовывались по пояс из окон и орали во весь голос, но никто не обращал на них внимания. Гудериан снова читал стихи:

Что случилось не раз,
Повторяется снова,
И не будет такого,
Что не бралось до нас...

и девицы подобострастно заглядывали ему в лицо. Одна из них пригласила всех в гости, что Стограммом и второй девицей было встречено с воодушевлением, Гудериан же заявил, что ему нынче же вечером нужно ехать домой, и тогда его проводили до вокзала и посадили в поезд.

Утром, вернувшись в городок, Гудериан вместе с путейцами пропустил пару рюмок водки в привокзальном буфете. Когда он заглянул в окно со двора, то увидел, как старый и худой Самуил крутит головой, словно пытается высвободиться из воротника вязаного свитера, и вислые усы его дергаются, что крысиные хвосты. Напротив стояли его сыновья — губошлеп Яго и женоподобный Силициус — и переминались с ноги на ногу.

Накануне братья сдвинули пианино к рукомойнику, где дощатый пол был ровнее и не чувствовалось сквозняка, сняли пошедшую трещинами черную крышку с подсвечниками и обнажили струнное чрево. Отец строго-настроено запретил им протирать пыль с инструмента, поэтому они довольствовались тем, что попробовали босыми ступнями пиано да пару раз прошлись по клавиатуре дежурной гаммой в ре-миноре. Пианино было безнадежно расстроено, и Яго поморщился, будто лизнул лимонную дольку.

— Какая гадость! — произнес он, однако, услышав эхо собственного голоса, осекся.

— Ты чего? — спросил его брат.

— Сил, — понизил голос Яго, — там кто-то сидит.

— Сдрейфил? — сказал Силициус, и эхо разнесло по комнате вторую половину слова «эйфил... эйфил... эйфил!», будто кто-то хотел тайно сообщить братьям нечто про Эйфелеву башню, но что-то ему помешало.

Яго пододвинул табурет, сел и, озираясь по сторонам, заиграл Кофейную кантату. Тонкие пальцы с обгрызенными ногтями забегали по клавишам, ровно того и ждали, а Силициус запел женскую партию. Он прикрыл глаза, ровно грелся на солнце

у реки, и круги ходили по водной глади, и желтый зимородок охотился на рыбешек. Ему показалось, будто запахло полевыми цветами, и в комнате сейчас появится ангел, даже воздух сгустился в проеме двери, но вошел отец и строго сказал «довольно». Яго прекратил игру, но пальцы с клавишей не убрал, прислушиваясь к тембру брата, а тот по инерции пропел еще пару тактов и замолчал.

— Я же запретил вам трогать инструмент! — Самуил приблизился к сыновьям и встал над ними, заложив руки за спину.

Братья не двигались.

— Вы будете наказаны!

Самуил извлек из кармана набор ключей для настройки пианино, резиновые заглушки, разложил все на круглом обеденном столе и задумался.

— Мы больше не будем! — промямлил Яго.

Нос у него был с горбиной, а губы толстые, нижняя постоянно оттопыривалась, и когда он предчувствовал наказание, во рту скапливалась пузырящаяся слюна.

— Папа, — проникновенным голосом произнес Силициус, — ля в третьей октаве западает, я сам слышал.

— Ми-бемоль тоже, — поддержал брата Яго и втянул слюну в рот.

— Это не спасет вас от наказания.

— Ну, папа! — склонив голову набок, Силициус закатил по-девчоночьи красивые глаза и шумно выдохнул воздух из легких, как профессиональный певец.

— К музыке следует относиться с гораздо большей трепетностью, чем вам кажется.

— Мы знаем, — снова пустил слюни Яго.

— Да, знаем, — закивал Силициус, — мы это хорошо усвоили, папа, больше этого не повторится.

— Помолчите, пожалуйста.

Самуил через голову снял свитер, оставшись в одной выцветшей фуфайке с болтающимися рукавами, забыл пригладить растрепавшиеся седые волосы. Теперь он казался тщедушным и болезненным. Старик приблизился к комоду, достал из кожаного футляра камертон, не спеша протер его синим бархатом, слегка щелкнул по ладони и, закрыв глаза, прислушался. Звук был чистым и бесконечным. Он аккуратно надел блестящую головку ключа на колку, нажал клавишу и налег грудью на ключ. Братья не двигались с места. Внезапно Самуил повернулся к ним и выпалил:

— Вы никогда не услышите чистый звук! — и, увидев, как сыновья сжались от страха, продолжил. — Никогда! Ведь он капризен, как ваша покойная мать, когда наступал сезон дождей и ноги следовало держать в тепле.

— Мы это знаем! — в унисон произнесли братья.

— Молчать! — рявкнул старик, да так, что кончики усов его задрожали мелкой дрожью. — Вам бы только дурака повалить вместе с этим... как его... Гудерианом! Имя-то какое! И откуда он только взялся?

— Он местный, — сказал Яго.

— Местный? — переспросил Самуил. — Небось, пьет, как сапожник, да с девками гуляет. Я запрещаю с ним общаться.

— Он неплохо играет на фортепиано, — осторожно вставил Силициус.

— Ну что он может играть? — скорчил гримасу Самуил. — Песенки? Обладает ли?

— Нет, Рахманинова.

— Господи, ну, приведите мне его, дайте насладиться его игрой!

Гудериан толкнул оконное стекло, приоткрыл створку и засмеялся:

— А я здесь!

Самуил вздрогнул от неожиданности и повернулся к гостю, тряся рукавами, как Пьеро.

— Нехорошо подслушивать, молодой человек.

— И вовсе я не подслушиваю.

— Как не подслушиваете, — не унимался старик, — стоите под окном и подслушиваете.

— Мне понравилась Кофейная кантата.

— Стучать по клавишам — дело не хитрое, — возразил Самуил.

— У ваших сыновей талант, — сказал Гудериан и повернулся уходить, но тут Самуил подскочил к окну, тяжело дыша, распахнул его настежь и крикнул:

— Эй, погодите!

Гудериан обернулся — одышливый старик в окне, поглаживающий сухой ладонью впалую грудь, и сыновья за его спиной, чьи лица выражали тревогу, напомнили черно-белые фотографии из пыльного бабкиного альбома, в коем было всего вдосталь, кроме радости, и разглядывание которого сулило приступ подагры у нее.

Заморосил дождь, и Гудериан поднял воротник. Рядом с домом зашумел орешник. С ветвей слетела ворона и, каркая, унеслась прочь. Мимо с ведрами проследовала толстая тетка Маня в тесной юбке, страдающая базедовой болезнью, и, косясь на окна, буркнула что-то под нос. Она жила по соседству и недолюбливала еврейскую семью, хотя обшивала их не один год, за водой же из вредности предпочитала ходить через их двор и вечно ворчала. Гудериан поздоровался с теткой Маней, проводил ее взглядом, оценив рельефную динамику ягодиц, и двинулся в сторону крыльца. За орешником росли айва и дикая слива, дальше стояла развалюха-уборная с коричневым шнурком вместо щеколды, а еще дальше замшелый фундамент — несколько лет назад, еще при жизни супруги, Самуил затеял строительство нового дома, на века, но когда померла Хана, бросил затею — да, замшелый фундамент с неразобранной опалубкой, внутри которой поблескивала желтая вода. Вокруг валялись доски с торчащими гвоздями и осколки кирпичей. А ежели взобраться на фундамент, то наверняка можно увидеть зарешеченные окна и черепичную крышу музыкальной школы. Гудериан запрыгнул на опалубку и, чувствуя, как она дрожит под ногами, приподнялся на цыпочках и вытянул голову.

— Осторожно, молодой человек! — послышалось из окна.

Но как нарочно, под ним подломилась прогнившая доска и, даже не успев дослушать предостережения, Гудериан грохнулся на землю. Прибежали братья и помогли встать. Куртка была испачкана — в таком виде никуда не пойдешь. Благо, Самуил предложил зайти в дом и привести себя в порядок. Держа с двух сторон гостя за руки, братья подвели его к крыльцу, расположенному сбоку. Деревянный дом с торчащей из стены трубой и перекошенной толевой крышей давно требовал ремонта. Ступеньки крыльца болтались, как парадонтозные зубы. Дверь была обита войлоком. В сенях стояли лавка с цинковыми ведрами, велосипеды, в углу — куча хлама. Они вошли в просторную комнату, пахнущую валерианой, и остановились.

— Снимайте куртку, будем чистить, — сказал Самуил.

— Позвольте, я сам.

Старик стянул с него верхнюю одежду. В ноздри ударил запах пота и перегара. Самуил машинально скомкал его куртку и внезапно попросил:

— Послушайте, помогите настроить пианино.

— Но я не умею.

— Здоровье, видите ли, — он запрокинул лицо, чтобы слезы не выкатились из глазниц. — Слух у вас есть?

— Вчера еще был, — попытался отшутиться Гудериан.

— Слух не может исчезнуть. Он или есть, или его нет.

У Самуила подергивалась голова, и под фуфайкой билось сердце.

— Вы бы полежали, — сказал Гудериан.

Он огляделся, подошел к умывальнику, открыл краник и стал намыливать руки. Тонкая струя воды издавала звук, будто настраивали виолончель.

Самуил расстелил на столе грязную куртку и принялся драить мокрой губкой.

— Кто ваши родители? — спросил он, не оборачиваясь.

— Мать учительница, отец пенсионер.

— Понятно. А вы сами — музыкант?

— В каком-то роде. Я окончил школу по классу скрипки и фортепиано.

— Ну-у-у, батенька, окончить школу — это еще ничего не значит.

— Согласен, — усмехнулся Гудериан.

Яго подал полотенце и сказал:

— Пап, мы слышали, как в парке он играл Рахманинова, аж мурашки по телу.

— Настраивая фортепиано, совсем иначе воспринимаешь звуки. — Самуил поднес куртку к окну и присмотрелся к ней — грязь вроде отошла, но осталось мокрое пятно. — Я понимаю, каждый должен заниматься своим делом... Глядите-ка, милостивый государь, ваш балахон как новенький. В следующий раз, прежде чем упасть, потрудитесь снять куртку. — Старик впервые улыбнулся.

Братья подобострастно засмеялись.

— А разве звуки не всегда одинаковы? — спросил Гудериан, чтобы раззадорить старика.

Тот смекнул это и, прищурив левый глаз, ответил:

— Если на звуки реагируют только барабанные перепонки, то мы не получаем и сотой доли тепла.

К Гудериану вплотную приблизился Яго, коснулся мокрыми губами мочки его уха и прошептал:

— Сейчас затянет старую песню про Бетховена.

— К концу жизни великий немецкий композитор Бетховен совершенно оглох, но подарил миру девятую симфонию.

— Как же он слышал, пап? — совершенно серьезно поинтересовался Яго.

Глаза у старика загорелись.

— Гармония не нуждается в органах слуха.

— А-а-а! — закивали Яго с Силициусом.

— К тому же, — продолжил Самуил, — у Бетховена была специальная палочка, один конец которой он прикладывал к инструменту, а второй упирал в грудь. Он слушал сердцем.

— Вы хотите сказать, что для настраивания пианино хорошего слуха недостаточно? — спросил Гудериан.

— Именно!

— Ну, тогда я вам не помощник.

— Не отказывайтесь, прошу вас, — тронул его за локоть Самуил. — Мне почему-то кажется, что у вас должно получиться.

— А что нужно делать?

— Я вам все покажу, подойдите. Начинайте с ноты ля первой октавы и двигайтесь вверх. Для темперации лично я использую большие и малые терции. Смотрите.

Через полтора часа пианино звучало более или менее сносно. Самуил лежал на продавленном диване и улыбался.

— Это только первый шаг, — сказал он, — то же самое придется проделать еще как минимум дважды.

Гудериан смахнул пот со лба.

— Нельзя ли завтра?

— Конечно можно. А сегодня мне хотелось бы послушать вашу игру.

— Простите, я не расположен сегодня играть.

Самуил приподнялся на локте.

— Сыграйте хоть что-нибудь.

— Гудериан, сыграйте, не выпендривайтесь, — подмигнул ему Яго.

Тогда он закурил, зажал горящую сигарету в уголке губ, прижмурил глаз от дыма и повернулся к клавиатуре, разминая пальцы. Гудериан заиграл что-то из Бенни Гудмана, размашисто и свободно, как это может быть только в джазе, когда голова раскачивается независимо от собственной импровизации, левая рука в басах — что нигер в ливрее — снует от столика к столику с кружками пенного пива на подносе, и

улыбка в полморды, а правая, как нашкодившая официантка — то ли водку разлила, то ли чесночный соус — носится с тряпками и шваброй. Силициус отбивал такт босой ступней, а Яго пощелкиванием пальцев, но внезапно ринулся в чулан, вытащил огромный коричневый футляр, положил на пол и, дернув металлические защелки, извлек контрабас. Затем притащил табурет, вскарабкался на него и принялся настраивать инструмент.

— Боже мой! — воскликнул Самуил. — Какой бедлам! Яго, тяни выше соль, тяни! Это же не струна, а трос!

Между тем по лицу Яго блуждала лукавая улыбка, будто он только что стащил из ларька пачку сигарет и предвкушал первую затяжку. Он подул себе на пальцы, прислушиваясь к импровизации Гудериана, и подхватил тему. Вошел осторожно, словно ступил на канат, а внизу бездна и ветер треплет волосы. Однако, заметив, как Гудериан выпустил дым из ноздрей, повернулся к нему и одобрительно кивнул, заиграл смелее. Руки гудели, но Яго был поглощен игрой и не замечал этого. Закончив тему, Гудериан сделал ему знак и передал эстафету, и Яго вступил, чуть-чуть отставая в темпе, но зато выдал настоящее соло, что даже брат захлопал в ладоши. Силициус весь извертелся, больше не мог стоять на месте, подскочил к комоду, достал кларнет и, облизав эбонитовый мундштук, заиграл. Как же он играл! Звуки лились с такой нежностью и чистотой, будто он хотел выдуть сквозь раструб собственное сердце.

Отвернувшись к стене, Самуил трясся всем телом.

Город как будто сорвался с цепи. Рабочий день был в разгаре, а по улицам носились мужчины в камуфляже, подпоясанные кожаными патронташами, с охотничьими ружьями наперевес. Через громкоговоритель слышались голоса скупщиков совести, призывающих патриотов и всех, кто очистился и принял причастие великой нации, незамедлительно собраться у памятника матери погибших солдат. Рыжий Фома стоял посреди площади Мира в своей неизменной чухе с газырями, прихлебывал пиво из бутылки и, трясая бородой, орал во всю глотку, что враги на нескольких автобусах двинулись из Сухума на восток, что страна в опасности и, пока не поздно, надо взламывать милицейские оружейные склады. Школы наполовину опустели, потому что старшеклассники ушли с уроков защищать Родину. Ближе к обеду толпа, ведомая рыжим Фомой, направилась через парк на север, приблизилась к серому двухэтажному зданию городской милиции, протиснулась через калитку и расположилась во дворе напротив главного входа. На крыльцо вышел толстый апоплексический полковник с глазами навывкате, начальник милиции, снял форменную фуражку, протер ободок изнутри клетчатым платком и напялил на лысину. Рядом, на бетонном бордюре, сидели Цорион с Бено и грустно молчали. Полковник прокашлялся, но как только произнес: «Ребятки, дети мои!» — толпа освистала его. Тогда он повернулся к Цориону с Бено и бессильно пожал плечами.

— Господин Цорион! — сказал он негромко. — Вы уважаемый человек, скажите им, что нельзя трогать склад с оружием, в противном случае придется вызывать внутренние войска, а они церемониться не станут!

Цорион знал, что отговаривать ополченцев бессмысленно, это только озлобит их. Когда бьют тревогу и призывают защищать Родину, надо вооружаться. И всякого, кто помешает этому, сметут с пути. Он встал и оглядел людей, в чьих глазах читалась решимость. Через минуту толпа скандировала:

— Цо-ри-он! Цо-ри-он! Цо-ри-он!

Полковник дал команду отпереть склад.

Ополченцы ринулись в помещение и принялись вытаскивать оружие на улицу. Несли по два-три ствола — помповые ружья, карабины, охотничьи двустволки — и складывали во дворе. Некоторые ружья были зачехлены, их тут же расчехлили. Стволы достались не всем, но получившие их ощутили свою значимость, выросли в собственных глазах — действие магии оружия, хотя не до конца осознавали происходящее. Маховик неотвратимости был запущен, и тот, кто сдвинул его с места, потирал руки. Яго с

Силициусом раздобыли ружье на двоих, таскали его по очереди, стараясь не попадаться на глаза знакомым. Они были в телогрейках и надвинутых на глаза вязаных шапках. Узнай Самуил о намерении братьев ехать воевать в Абхазию, им бы не поздоровилось. Прежде чем разойтись, Фома обратился к ополченцам, чтобы те запаслись сухим пайком, потому что неизвестно, сколько дней им придется отсутствовать. Через час подадут два Икаруса и три грузовика, — сказал он, — надо подготовиться к этому времени. Ополченцы покинули двор милиции, обошли ближайшие магазины, а некоторые смотались на рынок. Продавцы безвозмездно давали им сухари, рыбные консервы и тушенку, сочувственно сдвигали брови и качали головами: «Бедные дети!» А те купались во внимании со стороны сограждан, наслаждались чувством причастности к чему-то возвышенному и печальному — ведь кто-то из них мог умереть, — и позже, когда они сидели в автобусе или в грузовике, глядя сверху вниз на окруживших их знакомых и малознакомых провожающих, прижимали к груди холодный ствол ружья да пакет с сухпайком и также наслаждались этим чувством. Эйфория длилась сто десять километров и шестьсот метров, пока ехали по Мингрелии через города Абаша, Цхакая, Хоби, Зугдиди, и к ним присоединялись другие ополченцы, местные жители тепло встречали и провожали их, и с каждым населенным пунктом она уменьшалась, как шагреневая кожа, пока не исчезла совсем на берегу реки Ингур, за которой начиналась Абхазия.

Ополченцы разбили лагерь на берегу, стали осматриваться. Было по-весеннему тепло и тихо. Вдоль реки шла грунтовая дорога, чуть выше по склону виднелся густой дубняк, берег травянистый и пологий, и, в добавок ко всему, у воды торчали рогадины для удочек — как в сказке. Фома отрядил людей в ближайшее село за мясом и вином, предупредив, чтоб не цацкались особо с сельчанами, потому как они защитники Родины. После чего построил ополченцев и объявил, что поступил приказ от главного скупщика совести — отобрать всех, кто без оружия и кому меньше пятнадцати, и отправить домой. К вечеру наловили рыбы, гонцы принесли картошки, мяса, хлеба и вина, развели костры и приготовили ужин. Ночевали кто где, поскольку никто не брал с собой ни палаток, ни спальных мешков. Младшие — в автобусах, те, что постарше, — в кузовах машин, а иные прямо на траве, укрывшись бушлатами. Благо, из-за выпитого вина холод не чувствовался.

На рассвете салаг и безоружных посадили в автобус и отправили обратно. Провожая брата, Силициус взял с него слово, чтобы тот держал язык за зубами. Яго приехал к вечеру усталый, как собака, вошел в дом и, не раздеваясь, завалился спать. Самуил растряс сына и спросил, где брат, и тот ответил, что не знает. Как же так, — повысил голос отец, — вы же были вместе, весь город видел. И Яго снова ответил, что не знает. Ты бросил брата? — рассвирепел Самуил и, ударив его камертоном, рассек голову. Яго зажал рану ладонью и сбежал из дома. Старик не спал всю ночь, а наутро вышел во двор, постоял немного, раздумывая, и поплелся через футбольное поле к дому Цориона.

Яго искали едва ли не всем городом. Но нашел его писатель — возле «Заготзерно», где рыбаки обычно копали червей, — тот сидел на земле, поджав ноги по-турецки, голова его была обмотана тряпкой, он ел сливу и плакал. Цорион поднял пацана на руки и прижал к себе, но от тяжести у него забилося сердце, он стоял так, терпя чудовищное сердцебиение, раскачивая Яго из стороны в сторону, как младенца, и шептал ему на ухо:

— Ты настоящий мужчина, брат! Знаю, что ты сдержал слово и не выдал брата. Я никогда еще не видел таких настоящих мужчин! Завтра поедем с тобой искать Силициуса.

Уткнувшись писателю в грудь, Яго пускал слюни, и от рыдания ему становилось легче.

Они сидели в автобусе рядом, трясясь на ухабистой дороге, и Цорион держал Яго за руку, будто боялся, что тот упорхнет в приоткрытое окно, скроется в облаках. Писатель чувствовал чистоту мальчика и без зазрения совести впитывал ее в себя.

Впереди сидели два брата, одинаково небритые и одинаково мрачные. Обернулись и спросили:

— Разве ваш сын болен? Отчего вы держите его за руку?

— Чтоб не упорхнул, — ответил Цорион.

Смерили его взглядом и улыбнулись белозубой улыбкой.

— Такой не упорхнет. В каком классе учишься, брат?

— В седьмом, — сказал Яго и добавил, покосившись на Цориона: — Он не мой отец.

— Дядя что ли?

— Нет, просто знакомый, — и видя недоумение, сообщил: — Мы едем искать моего брата, он в ополчении.

— А, в ополчении, — закивали братья, — на берегу Ингура, знаем. Там сейчас спокойно, не переживайте. Мы из Сухума, у нас свой дом, участок, учимся в университете. А абхазы говорят — раз грузины выгоняют нас, то и вы уходите отсюда. Но это наша земля, мы никуда не уйдем.

— А как же быть осетинам или туркам-месхетинцам, или азербайджанцам? — поинтересовался Цорион.

— Это другое дело, они — гости, временно проживают у нас.

— Абхазы — тоже гости?

Братья задумались.

— Ну, вы же грузин, это не должно вас волновать.

— Нет, я не грузин.

— Но вы чисто говорите по-грузински, — с недоверием посмотрели на Цориона братья.

— Более того, — сказал Цорион, — я пишу по-грузински и печатаюсь в грузинских журналах и газетах.

— Простите, как ваше имя?

— Цорион.

— Цорион? — загорелись глаза у братьев. — «Мое Ватерлоо»! Мы читали вашу статью и восхищены ею. Позвольте вам пожать руку.

Писатель усмехнулся, отвечая на их рукопожатия.

— Стало быть, мы братья по несчастью. Вас тоже выгоняют.

— Нет, господин Цорион, это наша земля.

— Не хочу вас огорчать, но абхазы с осетинами думают точно так же.

— Вас-то за что выгоняют, господин Цорион, такой осетин, как вы, получше десяти чистокровных грузин.

— Спросите у главного скупщика совести.

— Да не слушайте вы его! Болтает только почем зря!

— Тсс! — приложил палец к губам Цорион. — Не кричите слишком громко, могут услышать, и тогда у вас будут неприятности.

— Нам нечего бояться, — сказали. — Мы на своей земле. Это националисты мутят воду. Объявили, что вооруженные абхазы вторглись в Грузию на автобусах. Курам на смех! Да абхазы составляют всего 17% населения Абхазии, а грузины — 45%! Куда они попрутся? Глупость несусветная! Никто и не собирался вторгаться к Грузию, просто нас хотят столкнуть лбами. Вот и живем между двух огней — абхазы называют нас мингрелами, а грузины абхазами.

— Что же делают ополченцы на берегу Ингура?

— Что делают? — переспросили братья. — Пьянствуют да безобразничают. Им давно пора возвращаться домой, только они не спешат. А зачем спешить, дармовые харчи, вино, природа, чем не отдых?

Они вышли в Цхакая, высокие и стройные, подарив на память Яго эспандер для кистей рук. Через два года, когда начнутся погромы в Сухуме, братья отправят родных в Гали, а сами забаррикадируются в доме и будут отстреливаться от своих же из охотничьих ружей, выкрикивая по-грузински: «Не убивайте нас, братья!», — а те их все-таки закидают гранатами.

Когда приехали в лагерь, стали искать Силициуса, но не нашли его, и Цорион

пошел к Фоме поинтересоваться парнем, тот вызвал двух ополченцев, патрулировавших половину моста, и они с гордостью заявили, что от Силициуса воняло, как из помойной ямы, и волосы были давно немытые, и ополченцы скинули его с моста в реку, потому что в армии спасения нации нет места грязным и вонючим ублюдкам, — писатель подумал, а может и правда к самой сокровенной мечте следует подкрадываться, как к перепелу во ржи в тихую погоду, чистым, незапятнанным, чтоб не спугнуть ее раньше времени. Молодые люди были экипированы в новую униформу и коричневые берцы, даже накрахмаленные воротники блестели, как горшковые беляночки на солнце. Они приехали сюда с вполне благородными намерениями, но кто научил их сортировать сокровенное? Сохранят ли они эту чистоту в дальнейшем или растеряют в очередях за очищением да за причастием великой нации? Конечно, разочарование в жизни, увеличивающееся пропорционально возрасту, омрачит идеалы и устремления, превратит их в циников, но лишь часть этих подростков ощутит раскаяние от неправомерно присвоенного чужого пространства и времени. Однако вряд ли это возместит пустоту, образовавшуюся в груди после продажи совести за три рубля на площади Мира.

Ополченцы вернулись патрулировать мост, и Яго увязался за ними, и писатель, наблюдая за тройкой, сравнил спокойную, как сон, реку с большим разделочным ножом, неспешно разрезающим розовую мякоть мяса. Берега, соединенные старым мостом, по которому неторопливо прогуливались трое юношей, словно бы сочлились любовью, как свежая рана, и любовь эта — что с одной стороны, что с другой — была одинаковой, да и люди, живущие за прибрежными холмами, ежеутренне глядящие друг другу в глаза поверх глади реки и лелеющие мысль о собственной избранности, тоже в сущности были одним народом. Но тогда как же они позволили семнадцатилетнему парню, которые должны были бы продолжить их род, оборвать его? Может быть, действительно чистые и возвышенные мечты — удел молодых, а взрослые, совсем недавно сдувавшие с них пылинки, отравляют сознание мыслью об избранности? Ополченцы и Яго остановились посреди моста, переговариваясь о чем-то, затем сбросили верхнюю одежду, забрались на парапет и, расстегнув ремни, спустили штаны, их белые худые задницы засверкали. И когда они чуть присели, Яго протянул руки и столкнул их в реку, а сам подтянул штаны и спрыгнул с парапета. В лагере поднялся смех. Цорион усмехнулся тоже, поскольку стал свидетелем акта возмездия. Только зачем они оголили задницы? Видимо, таким образом дразнили засевших на противоположном берегу абхазов, дескать, стреляйте, коли охота. Глупое проявление мужества. Яго возвращался в лагерь по мосту, выполнив свой долг, ни разу не обернувшись на крики помощи пытающихся выплыть ополченцев, продавливая замотанным тряпкой лбом сгустившуюся, как желе, косность мира. Цорион глядел на него, не отрываясь, отгоняя мысли о том, что писатель, в конце концов, ответствен за всех этих людей, вспарывающих пространство смехом, но не понимающих, что избранность — обратная сторона чванливой высокопарности, давнишний комплекс неполноценности, жертвой коего становятся ополченцы в добротном камуфляже, не по своей воле променявшие студенческую скамью на холодные волны реки, как нож, рассекшей землю на две части. Впрочем, утверждать, будто руки писателя разучились держать меч и что перо за ухом — неотъемлемый атрибут пацифизма, так же глупо, как учить завоевателя уму-разуму. Все дело во времени и пространстве, удобренном болью и кровью твоих предков. Досадно только, что их опыт не уберет ни одной ниточки в человеческой общности — какая печаль.

Силициус плохо плавал и его отнесло вниз по течению. Вытащил парня из воды старый рыбак, стянул мокрую телогрейку и откачал. Затем отволол к себе в хибару, уложил на тахту, растер до красноты виноградной водкой и напоил чаем с мятой. Так он пролежал до тех пор, пока не пришли Цорион с Яго.

Взгляд сорвался с оптической оси, увлекая за собой привычные глазу предметы интерьера — письменный стол с пишущей машинкой «Оптим», лампу под зеленым абажуром, зеленое кресло возле окна, книги и сувениры на полках, сосновую дверь с

торчащим в замке ключом и блестящей ручкой в форме тормозного башмака — все провалилось сквозь землю, и время вывернулось наизнанку, сбросив с себя свои функции вместе с названиями исчезнувших предметов, и водоем небрежной прелести, всю жизнь преломлявший свет, как в линзах очков, под нужным углом, внезапно растворился, как мираж в пустыне.

Цорион лежал на диване, обвешанный присосками допотопного кардиографа, и стрекот механизма нарушал тишину. Медсестра в халате пригнулась к его лицу, благоухая дорогими духами, и приподняла веко большим пальцем правой руки, при этом царапнула длинным ногтем переносицу.

— Динамики никакой нет, — сказала она, оторвав ленту. — Скорее всего, нервы.

— Свои заключения оставьте при себе, — отозвался стоящий за ее спиной Бено и принялся изучать кардиограмму.

Он был в новом твидовом пиджаке, в голубой рубашке и галстук в полоску.

Медсестра отсоединила присоски кардиографа и вытерла тряпкой грудь, запястья и ноги Цориона.

— Это гель, он безвреден, — пояснила она.

— Я знаю, — кивнул Цорион. — Что скажешь, Бено?

— Ничего страшного. Тебе сейчас введут успокоительное средство, поспишь и все пройдет.

— Сон — лучший лекарь. Я боюсь уколов.

— Ничего, потерпишь. Зачем ты поехал туда?

Готовя раствор для инъекции, медсестра прислушивалась к их разговору.

— Иногда наши поступки меняют причинно-следственную связь, — сказал Цорион.

— Твое зубоскальство раздражает, если учесть, в каком состоянии ты находился полчаса назад.

— Да, друг мой, приходится признать, что я последний трус.

— Все мы в каком-то роде трусы. — Бено отошел к окну, выглянул на улицу, и в толстых линзах его очков отразилось солнце.

— Я имею в виду не страх перед смертью.

— Тебе сейчас лучше помолчать.

Медсестра сделала укол и стала собираться.

— Может быть, позвать кого-нибудь, чтобы вас укрыли? — спросила она.

— Не нужно, я сам.

— В твоём положении нужно беречь себя, а не мотаться по стране, как мальчишка, — сказал Бено.

— Знаешь, что я тебе скажу! — начал было Цорион, но осекся.

— Знаю, — ответил Бено и, повернувшись к медсестре: — Подождите меня в машине, я скоро.

— Когда мир рушится тебе на голову, не до здоровья, — произнес писатель, чувствуя, как тепло разливается по телу.

— Глупости говоришь, глупости! — строго сказал Бено. — Мы с тобой не спасем мир, он должен переболеть всеми детскими болезнями!

— Разве ж я о спасении. Добро и зло поменялись потными фуфайками, как футболисты после игры, от них пахнет одинаково.

— Ладно, — буркнул кардиолог, ухмыляясь, — спи, потом поговорим.

После того, как Бено ушел, Цорион встал, надел фланелевую рубаху и застегнул на все пуговицы, краешком взгляда прихватив заправленную бумагой машинку. Он лег обратно, раскинул руки и перестал сопротивляться инверсии зрительных образов, когда нет никакой формы, а только бесконечное месиво, ровно не успел обдышать исписанные синими чернилами страницы на столе, и первые визитеры ночного таинства топчутся у порога, как в детстве, — слова ли, разлившееся варево неприкаянности, которой лишь ночь определяет валентность и объем, и уже неважно, каким птичьим языком ты обозначаешь закономерность, потому что смысла в этом

ни на грош, разве что осознание собственного предназначения, напоминающего непрерывное движение рыб, для которых остановка равнозначна смерти. Цорион позволил угасающей мысли увлечь себя на обочину дороги, ведущей мимо бараков к кладбищу на холме, чтобы притвориться нищим бродягой и сбросить с себя ответственность, прикусить губу, и увидел со стороны начало всему в прозрачной целокупности, как плод внутри чрева, еще без глаз и ушей, но уже с голубыми прожилками. Он тянул время, потому что самое большое наслаждение — когда нет названия ничему, есть только предчувствие, но как только всплывает определение, тебя выворачивает наизнанку, будто обожрался купены, и то, что ты хранил в себе, все, что было причастно к таинству, предается земле.

Дверь приоткрылась, в проеме показалась голова Досыр.

— Входи, джичи, — сказал он.

— Как ты себя чувствуешь? — спросила мать.

— Нормально. Спать только хочется.

— Поспи, коли хочется. Я тебе принесла плед.

— Посплю еще.

Досыр уселась в изножье и бережно укрыла его.

— Если ты умрешь раньше меня, то вконец разобьешь мне сердце.

— Я постараюсь пережить тебя, джичи.

— Мне и пригрозить судьбе нечем, — сказала она. — Я давно перестала бояться смерти.

— Но разве можно пригрозить судьбе собственной смертью?

— Нет, конечно. Да и совестить ее глупо.

— Да, это так, — согласился Цорион и закрыл глаза.

— Ты уснул? — сквозь сон услышал он голос матери. — Бедный мой мальчик.

Если бы можно было забрать все твои хвори, я незамедлительно забрала бы их себе. Хотя каждый раз, когда я просила Господа об этом, Он слушал меня вполуха, как будто моя мольба вызывала у Него отвращение. Но разве Господу ведомы такие чувства? Наверное, все-таки ведомы, раз хочется думать, что для отвращения у него имеется другое сердце. — Цорион все еще понимал ее слова, правда, уже не персонифицировал. — Когда Уара перестала двигаться, я растолкала конвоиров в бушлатах, подбежала к ней и упала на колени у кромки бездонного озера, колышущегося и шедшего медленными волнами, выволокла ее из-под брезента, а сама заняла ее место и взмолилась — Господи, забери меня вместо моей дочери! — подождала малость, принохиваясь к телам других детей, но от них пахло степью. Конвоиры, не торопясь, поставили меня на ноги и даже отряхнули, а Уару запихнули обратно под брезент и аккуратно подоткнули край. Я наблюдала это бездонное озеро, представляя огромных серебряных рыб с застрявшим в губах безмолвным стоном, плавающих в темной воде и шевелящих плавниками, и шептала — какой в этом смысл, Боже? Мои мысли плетутся в хвосте отчаяния, и понять что-либо так же трудно, как протиснуться сквозь толпу голодных людей, собирающих по весне черемшу. Да, рыбы не замерзают, они просто впадают в спячку, но даже они поворачиваются брюхом кверху, когда нечем дышать. А когда умирал Александр, Господь все-таки услышал меня, помнишь? Твой брат вылез из-под одеяла и сказал, что хочет выйти по нужде, но я запретила ему покидать землянку. Писай на пол, — велела я, — а он все-таки встал и вышел, помнишь? Была метель, и ветер завывал, как шакал, Александр же выскочил без тулупа и больше не возвращался, сбежал, помнишь, сынок?

— Да, помню, — хотел сказать Цорион, но вместо этого шумно вздохнул.

К утру метель усилилась. Всю ночь он крепился, стараясь не уснуть, вспоминал дом, горы, реку Саукаба, волкодава Садула, улыбался своим мыслям, но на рассвете его сморило. Накануне они договорились с братом сходить на станцию, где Александр мог прятаться в ожидании поезда. Для этого нужно было покинуть поселок затемно, пока председатель не продрал глаза, однако они проспали. Утром Бего растолкал его, а сам подложил дров в печку и вышел из землянки. Цорион натянул шерстяную кофту, прислушиваясь к тихому посапыванию сестер, чувствуя себя совершенно взрослым и

спокойным, неспеша завязал толстые шнурки на ботинках и встал на ноги, чтобы проверить, не слишком ли тугие узлы, затем надел поверх кофты телогрейку на два размера больше и подпоясался веревкой. Он взял со стола ушанку, вязанные варежки и толкнул плечом обитую войлоком дверь.

— Куда собрались? — шепотом спросила Досыр.

— Спите, рано еще, — ответил Цорион.

Дорогу замело, но на снегу были видны свежие следы — обычно поселенцы являлись в сельсовет за нарядом к восьми часам утра, но некоторые приходили пораньше, наивно надеясь перехватить работу полегче. Возле конторы толпились армяне и переговаривались, покуривая самокрутки.

— Бари луйс!¹ — негромко поздоровался Бего.

— Барев дзес!² — ответили армяне. — Вонцес?³

— Гамац-гамац!⁴

— Как твоя мама, богатырь? — перешли на русский язык армяне.

— Держится.

Бего никогда не улыбался. Стоило ему улыбнуться, и на щеках образовывались ямочки, и тогда он становился похожим на девочку.

Из конторы на крыльцо вышел высокий чахоточный председатель, поблескивая впалыми глазами и хромовыми сапогами. Китель его был расстегнут, белая грудь лишена всякой поросли. Председатель чиркнул спичкой, прикурил папиросу и надсадно закашлялся.

— А вы тут что делаете? — спросил он братьев.

— Мы пришли получить наряд, — нашелся Бего.

— Наря-яд? — протянул председатель и заулыбался. — А чего мать не пришла?

— У нас траур.

— Знаю, знаю. — Председатель переместил папироску в уголок тонких губ, затянулся и, выпуская дым из ноздрей, стал застегивать китель на груди. — Вы же вроде похоронили мальчика.

— Похоронили, — подтвердил Бего.

— Так какого рожна вам еще надо. Почему мать не работает?

Братья молчали.

— Товарищ председатель, — подал голос седой армянин с острым кадыком, — мы готовы отработать вместо нее, дайте Досыр поплакать.

— А-а-а! — отозвался председатель. — У тебя мало работы. Я тебе, сукин сын, удвою норму! Тоже мне защитник!

— Мы с братом поработаем вместо матери, — сказал Бего.

— А ну марш домой, сопляки!

Станция находилась в трех верстах к северу от поселка. Дорога шла полем, мимо хозяйственных построек, длинных поленниц и навесов, под которыми виднелись грубо сколоченные столы и скамейки, огибала холм с кладбищем и терялась из виду. Вдоль построек прогуливался сторож в овчинном тулупе и с берданкой наперевес. Звали его Сигизмунд, и был он из закатальских армян. Разбогател на том, что сдавал в аренду давяльную и две мельницы на реке Цилбан. В шестьдесят пять лет Сигизмунд женился на дородной девице по имени Лилит, построил новый дом и зажил как барин. Но в тридцать первом году его раскулачили и вместе с женой сослали в северный Казахстан. Сигизмунда по возрасту назначили сторожем, выдали казенный тулуп и берданку и поселили в одном из строений. Жизнь его протекала гораздо легче, нежели у других ссыльных. Поговаривали, что он просто купил расположение председателя, частенько навещывающегося к его жене с бутылкой самогона и полными карманами

¹ Доброе утро (*армянск.*).

² Привет (*армянск.*).

³ Как дела (*армянск.*).

⁴ Потихоньку (*армянск.*).

карамели. Лилит была толстой, но миловидной дамочкой. Большие темные глаза ее блестели, будто она только что подхватила заразу. Дома Лилит ходила в обтягивающем халате, подчеркивающим аппетитную фигуру, грудь ее при движении колыбалась, а сквозь ткань халата проступали ямочки филейной части. По субботам она устраивала банный день. Летом Сигизмунд возил воду с реки, а зимой растапливал в котле снег, всю используя казенные дрова. Лилит плескалась в бочке с теплой водой, вспененной мыльнянкой, и напевала армянские песенки, а снаружи дырявые стены баньки облепляли пацаны из поселка и слатывали слюни. Ссылные дразнили сторожа Сигизом, вкладывая в это прозвище желчь и негодование, тот делал вид, что обижается, а на самом деле так звали его еще в детстве. Хитрый армянин хватался за сердце, закатывал глаза и качал головой — ах, ах, ах! Но подобное поведение сторожа вводило в заблуждение далеко не всех. И тогда предметом насмешек становилась несравненная Лилит. Впрочем, это тоже не слишком оскорбляло Сигизмунда. Все всё прекрасно знали, но жили по законам переселенцев.

Бего шел впереди, протаривая тропу, оглядывался время от времени и протирал лицо снегом.

— Не отставай, малыш, замерзнешь, — повторял он, тяжело дыша. — Неохота таскать тебя на спине.

— Я же просил не называть меня малышом, — сказал Цорион.

— Но тут никого нет, кроме нас с тобой.

— Да ты сам еле дышишь. Что с тобой, Бего?

— Не знаю, я насквозь мокрый.

— Может, передохнем?

Бего остановился, и пока он протирал лицо снегом, Цорион подошел сзади к брату и незаметно стал к нему примериваться — тот был выше на целую голову.

— Ты здорово вытянулся за последнее время, Цори, — задумчиво проговорил Бего, оглядывая бескрайнюю степь. — Дорогу замело, будем ориентироваться на холм и на кладбище.

— Но ты все равно выше меня, — недовольно пробормотал Цорион.

— Я старше тебя.

— Гуде старше нас с тобой, но выше меня всего на полголовы.

— Так бывает, малыш.

— Почему он сбежал?

— Не знаю. — Бего стал тереть глаза подушечками ладоней. — Только он опередил меня.

— Как? Ты тоже хотел сбежать?

— Гм, как ты думаешь, кому первому пришла в голову эта идея?

— Бего, значит, ты надоумил Гуде.

— Нет, я просто сказал ему, что хочу сбежать отсюда подальше.

— Что с тобой? Ты побледнел.

— Мне что-то нехорошо, — произнес Бего и медленно осел в снег. — У Гуде не хватило бы ума придумать такое. Он тугодум, к тому же медлителен и неповоротлив, как наш буйвол.

— Неправда! — возразил Цорион. — Он не тугодум, просто не любит трепаться попусту!

— Ладно, ладно! — устало проговорил Бего и прикрыл глаза. — То, что я думаю, не имеет значения. Сейчас главное найти его, малыш.

— Тебе плохо? — Цорион принялся тормошить брата, но тот не реагировал, и тогда он закричал что было сил. — Сиги-и-из! Сиги-и-из!

По тому, как притихла на мгновение метель, а затем принялась с новой силой, и по тому, как снегопад поменял направление, он понял, что его крик никогда не долетит до ушей Сигизмунда. Безмолвие вдавило его в снег, ровно хлебный мякиш, и, словно бы сопротивляясь этому давлению, Цорион сорвал с головы ушанку и заозирался. Заметив, что Бего трясет, как в лихорадке, Цорион снял телогрейку, надел

на брата и попытался взвалить его на плечи, но не получилось. Тогда он перевернул Бего навзничь, просунул ему руки под мышки и потащил проторенной тропой обратно в поселок. В это время Цорион заметил огонь на склоне холма, в самом центре кладбища, и остановился, переводя дыхание. Раз горит костер, значит, там люди, — подумал он, — глядишь, не бросят в беде! Цорион подложил брату под голову свою ушанку, а сам двинулся по направлению к кладбищу. Он шел прямо к холму, не обращая внимания на сугробы и ямы и стараясь не упустить из виду пламя костра. У подножия Цорион остановился и прислушался, но не услышал ничего, кроме свиста ветра да биения собственного сердца.

И тут он увидел Габо и Уару.

Они стояли между могилами с деревянными крестами и над ними пылали костры. Отец был в гимнастерке, галифе и сапогах гармошкой, которые ему презентовал его друг Арчил незадолго до ссылки. Вскоре после этого Арчила застрелили на повороте у села Икалто. А Габо решением тройки раскулачили, погрузили вместе с семьей в теплушку и сослали, не позволив даже оплакать друга. Он был, как всегда, подтянут, волосы с проседью, нос с горбинкой, усы щеточкой и глаза с паутиной по углам источали благожелательность, и только морщинка над переносицей придавала немного строгости выражению лица. Сестра была высокой и изящной, с недавно наметившимися женскими формами, белым лбом и большими чистыми глазами.

— Откуда вы? — произнес Цорион, чувствуя, как силы покидают его.

— Как откуда! — ответил Габо. — Из-за рощи деревьев аза¹!

— Из-за рощи деревьев аза? — переспросил Цорион. — Это далеко?

— Неблизко.

— Папа, там Бего, — кивнул через плечо Цорион.

— Я знаю.

— Мы пошли на станцию искать Гуде и заблудились.

— Не нужно его искать, сынок, он с нами.

— С вами? Но я его не вижу.

Они улыбнулись еле заметно, и Цориону на минуту почудилось, будто он дома, все живы здоровы и нет никаких причин для переживаний. Откуда-то появился долговязый рыжий мальчик с оттопыренной нижней губой и встал рядом с ними.

— Вот он, Цори, — сказала Уара, продолжая улыбаться.

— Нет, это не мой брат! — качнул головой Цорион.

— Спроси у него сам, — спокойно проговорил Габо.

— Гуде! — глядя себе под ноги, позвал Цорион, надеясь на то, что рыжий мальчик не отзовется.

— Да, Цори! — отозвался тот, но слишком быстро для единоутробного брата.

— Вы лжете! — отступил назад Цорион, и слезы брызнули у него из глаз. — Гуде никогда не вел себя так! Для чего все это? Кто он?

Габо молчал. Спустя некоторое время он сделал знак Уаре, та спустилась по склону, прошла мимо Цориона, обдав его домашним уютом, и направилась в сторону Бего. Приблизившись к нему, подняла руки на уровень плеч, кисти ее рук зажглись кострами, снег в радиусе десяти метров растаял, и земля просохла, как порох.

— Уара! — услышали они слабый голос Бего.

— Да, брат, это я! Сейчас согрею тебя.

— Иногда забываешь, живой человек или мертвый, — сказал Габо. — Просто в тебе живут воспоминания, как золотые рыбки в аквариуме, и когда скучно, ты наблюдаешь за ними. Ты уже взрослый, Цори, и все понимаешь.

— Да, понимаю, — вытер рукавом слезы Цорион. — Но что сказать джичи? Она молчит, хотя по выражению лица видно, что ее мучают какие-то вопросы.

¹ Намек на царство мертвых, которое по Нартскому эпосу начиналось за рощей деревьев аза.

— Скажи ей, что вы с Бего сходили на станцию, но не нашли там никого, что Александр ушел в рощу деревьев аза.

Цорион разревелся, как девчонка, но не смог ничего с собой поделать.

— Она мне не поверит.

— Ну что ты, сынок! — Габо подошел к нему, поднял на руки и прижал к груди, и Цориону стало тепло и спокойно. — Ты же мужчина, тебе придется искать ответы на все вопросы. Это трудно, но кому-то надо это делать. Все будет хорошо.

— Теперь уже никогда не будет как прежде, — сказал Цорион и вдохнул соленый запах отца.

Метель унялась, проглянуло солнце, и они медленно вознеслись над землей, отражая, как сфера, солнечный свет, и Цорион увидел поселок на берегу реки, скованной льдом, и деревянную вышку на возвышении с двумя солдатами в бушлатах, сельсовет с дымоходом и крылечком, и дальше строящуюся ферму, на которой одни ссыльные обстругивали древесину, и стук топоров слышался отчетливо, будто они работали рядом, а другие с помощью лебедок поднимали готовые бревна и укладывали в сруб, и железнодорожную станцию с портретом вождя над пустым перроном, и перекошенную будку стрелочника на отшибе, и старого Сигизмунда, охраняющего хозяйственные постройки, и Бего с Уарой.

— Эй, Сигиз, Сигиз! — закричал он, и сторож стал смешно озиаться по сторонам, и Цорион засмеялся так звонко, что Бего приподнялся на локте и, задрав лицо, удивленно уставился на брата — совсем как в тот раз, когда Цорион с раскрытым зонтом прыгнул с крыши дома, спицы не выдержали, купол зонта с хлопанием выгнулся наизнанку, и он плюхнулся в огород, до крови поранив колени и локти, а Бего, вместо того чтобы перевязать ему раны, бегал по проселочной дороге и орал на всю округу, что его брат — величайший парашютист.

Когда они в бессилии лежали под одним одеялом в хибарке у Сигизмунда, и толстая Лилит поила их мятным чаем с карамельками, проявляя к братьям нереализованную материнскую нежность, а Сигизмунд забегал периодически в дом, оставляя дверь нараспашку, так что в проеме была видна поленница дров и цистерна для воды и аккуратно расчищенная в снегу тропинка к деревянному туалету, и шептал горячим шепотом, дескать, если их увидит председатель, то не сносить головы, а Лилит спокойно отвечала: «Не бойся, дорогой, я сама с ним разберусь», — Цориона не покидало ощущение свободного полета. После встречи с отцом и сестрой у него отнялся язык, и он не проронил ни одного звука вплоть до приезда Иорама и Илы. Мать переживала до такой степени, что иногда у нее, набожной и смиренной, вырывались слова упрека Господу — за что такое проклятие! Впрочем, Цорион не чувствовал никакой ущербности, напротив, стал уединяться и до мельчайших подробностей вспоминать полет. И гораздо позже, когда он стал известным писателем, и чем больше сомневался в собственных убеждениях, тем больше прислушивались к его мнению, Цориона никогда не оставляло это ощущение.

Увидев однажды в детстве мир с высоты птичьего полета и восхитившись им, даже если тебя прижимал к груди родной отец, сгоревший за полгода до этого от тифа, но явившийся лишь затем, чтобы уберечь от слепоты, тщательно выбритый и пахнущий хорошим одеколоном, увидев этот мир, ты обязательно захочешь объять взором город, в котором живешь, людей, с которыми общаешься, примерить масштаб раздвинутого одиночеством пространства и ощутить родство. Писательский труд не предполагает поиска правды, потому что у всех своя правда, она гнездится в сердце, и имя ей улизнувший от смерти Александр, но тебе приходится сопрягать с субтропическим пейзажем сдерживаемые чувства, которые не из породы бегства и жалости к сестрам и возносящей к Богу молитвы матери, а сродни звездной пыли, втянутой раз вместе с морозным воздухом, — с отношениями к тебе друзей, не позволяющих собственной учтивости расслабленности и лени, но в чьей интонации кроется обида — чем ты лучше меня? — да желание принизить твой талант, от которого

ты бы сам давно отказался, кабы не терапевтическое действие его, упорядочивающее и облегчающее жизнь. Им не понять, что писательский статус тешит самолюбие лишь до той поры, пока не поймешь, что это проклятие. Особенно когда живешь в городе, где все тебя знают и климат вреден для твоего здоровья, но изменить ничего нельзя. Правду не повесишь на плечо, как полотенце, но иногда ею можно утереть оплеванное лицо, пока она не превратилась в тухлякую ветошь и не рассыпалась в руках. Однако есть ли смысл ждать того момента, когда правда окажется под рукой или на руке и ты успеешь ею воспользоваться? Конечно, твоя жизнь — череда ошибок, и в зависимости оттого, как глубоко ты способен нырнуть в эти ошибки, держа за пазухой пташку-совесть, предназначение коей давать имена и быть обонятельным индикатором твоим делам, еще накануне разбрызгивающим фейерверки восторга и почитания, а нынче внушающим отвращение, ровно перепил дрянного вина. Да, можно не успеть подхватить край белого полотенца, но так ли уж важно им утираться, если суть его не в поддержании чистоплотности, а в демонстрации превратности жизни, в напоминании незыблемости ориентиров, ценность которых мы подменяем учтивыми приветствиями.

В библиотеке было нестерпимо душно, пришлось распахнуть двери и окна и включить единственный напольный вентилятор. Он с жужжанием вращал круглой головой, из последних сил стараясь разогнать сгустившийся воздух, но не получалось. Народу собралось слишком много, стульев не хватило, поэтому сидели на стопках книг и на подоконниках. Библиотекарши не успевали разносить графины с водой и граненые стаканы — жидкость поглощалась литрами. За столом небольшого актового зала с портретами писателей по стенам расположились руководители клуба «Парнас» Цорион, Бено и Гутар, а также заведующий идеологическим отделом райкома низкорослый и лупоглазый Адулат. За ними Гоген в войлочной шапке, рыжий Фома с братией в традиционных национальных одеяниях. Дальше — активисты клуба и гости.

Заседание открыл Адулат. Сначала он оглядел присутствующих и сказал, что как ему кажется, ждать больше некого. Стоящие в дверях библиотекарши подтвердили — некого. Тогда Адулат слез со стула и хриплым тенорком поприветствовал членов клуба от имени секретаря и бюро райкома. Кто-то попросил выйти завотделом райкома на открытое место, поскольку его не видно из-за стола. Адулат помялся немного и боком двинулся в сторону мраморного бюста Ленина. Рядом с вождем мирового пролетариата его покрытая капельками пота лысая голова с глазами навывкате и мощной челюстью смотрелась весьма колоритно. Данный факт вызвал смех в зале и дружные аплодисменты. Адулат смутился, промокнул плешь сложенным вчетверо платком и продолжил выступление. Он стал говорить о тяжелых временах и об ответственности, которая легла на плечи коммунистов. Но тут националисты затопали ногами и засвистели, заставив замолчать оратора. Улыбчивый Гутар возмутился их поведением, заявив, что это проявление неуважения к выступающему. На что Фома ответил: «Коммунисты давно скомпрометировали себя в глазах общественности, гнать их надо поганой метлой».

— Прекратите хамить! — сказал Цорион. — Что вы себе позволяете?

— Не заводись, держи себя в руках, — одернул его Бено. — Подумай о своем сердце.

— Кто их вообще сюда звал? — недоуменно пожал плечами Адулат.

Между тем Фома растолкал своих соратников, делающих вид, будто пытаются утихомирить его, и вышел вперед. Загремели стулья, с полок посыпались книги.

— Осторожно, увалень! — вырвалось у одной библиотекарши. — Все полки раскурочишь!

— Мужу своему будешь указывать... если еще выйдешь замуж! — защитила Фому его жена Марина.

— Кто нас звал? — переспросил Фома. — А нас никто никогда не зовет! Мы сами приходим, когда надо!

Цорион демонстративно отвернулся:

— Лично я отказываюсь участвовать в подобном форуме.

В зале поднялся шум. Послышались крики:

— Хватит болтать! Правильно говорит Фома — гнать надо этих коммунистов. Разговорали страну!

— Кого вы имеете в виду? — оскорбился Адулат. — Лично я жил на одну зарплату!

— Боюсь, без мордобоя не обойдется, — пробормотал Бено, протирая линзы очков краем скатерти.

— Это ты жил на одну зарплату? Да у тебя на лице написано — дай денег! Все вы взяточники!

— Оградите меня от этих людей! — закричал Адулат, багровея.

Цорион обернулся, поправил очки и обратился к Фоме:

— Сегодня у вас ничего не получится, милостивый государь, зря стараетесь.

Зал затих. Фома тоже молчал какое-то время, скребя нестриженными ногтями рыжую бороду, потом произнес в ответ:

— Не понимаю, что вы имеете в виду, господин Цорион.

— Прекрасно все понимаете.

— Уверю вас, нет. Мы с моими друзьями пришли послушать обсуждение нашумевшей статьи, написанной вами, высказать свои соображения.

— Прекрасно! — Цорион встал и оттолкнул икрами стул. — Давайте обсуждать!

— В таком случае, у меня вопрос к господину писателю, — повернулся к присутствующим Фома. — Вы весьма патетично пишете о морали. Но какое вы имеете право рассуждать об этом? Я сам видел давеча, как вы любезничали с госпожой Волумнией, преподавательницей русского языка и литературы, на чертовом колесе.

— Ну и что? — хмыкнул Цорион.

— Как что? Разберитесь вначале со своими женщинами, а потом поучайте других.

Цорион опустил голову и потер бледными пальцами лоб.

— Я не собираюсь отчитываться ни перед кем о своей личной жизни.

В зале снова зашумели.

— Все ясно! — сказал кто-то. — Шашни водит с чужими бабами, моралист!

Цорион бросил взгляд на Бено и Гутара, словно искал поддержки у друзей, но те молчали.

— Они катались с госпожой Волумнией на чертовом колесе и весьма мило беседовали, когда мы с настоящими патриотами нашей Родины лежали у ограды и голодали в знак протеста против решения Кремля поддержать самостоятельность Абхазии, — продолжал Фома.

— Ну и мерзавец же ты! — произнес Цорион. — Ты не меня, ты женщину оскорбил! За такое, вообще-то, морду бьют!

— А когда они поднялись на самую верхотуру, господин Цорион, полагая, что их никто не видит, принялся гладить коленки Волумнии, — словно бы не слышал Цориона Фома. — Но я-то видел все и слышал, как они ворковали и смеялись.

— Замолчите, Фома! — не выдержал Гутар.

— Пусть рассказывает, интересно же! — пронеслось по рядам.

— И после всего этого господин писатель будет учить нас уму-разуму, указывать нам на наши ошибки! — заворчали присутствующие.

— Но это еще не все! — воздел указательный палец к небу Фома. — Кто-то из местных ездил в столицу к нашему вождю просить за господина писателя. И я даже догадываюсь, кто это был.

— Интересно, кто же?

— Да пьяница этот, Гудериан! — усмехнулся Фома. — Господин Цорион, неужели больше некого было послать?

— Я никого не посылал! — процедил сквозь зубы Цорион.

— Ага! — продолжал ухмыляться Фома. — Так я вам и поверил! Небось и денег ему дали на дорогу. Он же пьяница, голь перекатная, от него даже жена ушла!

— Слушайте, Фома, — прервал его Гутар, — если он пьяница, то кто же тогда вы?

— Мой муж давно уже ничего не пьет, кроме пива! — подала голос Марина.

По залу прокатился смех.

— Это правда? — негромко спросил Бено.

Цорион не ответил.

— Не приставай к человеку! — жеманничая, проговорил Гутар.

— Знать тебя не желаю! — сказал Бено.

Он остро ощутил одиночество, как поздней осенью на море, когда уже зачехлил пишущую машинку и просто убиваешь время, бродя по пустынному пляжу. От безысходности и от открывшейся ему реальности, что случись с ним что, никто не придет на помощь, у Цориона задрожали руки и поплыло в глазах.

— Ищите нового актера на роль Короля Лира! — осклабился Фома. — А вы, господин Цорион, поезжайте в свою Осетию просвещать сородичей!

Тут к нему подошел Гоген и врезал в челюсть, что тот отлетел на несколько метров.

— Подонок ты, Фома! — произнес он в сердцах. — Занимайся своей поганой политикой и не суйся не в свое дело! Никакого нового актера искать не нужно, господин Цорион по-прежнему будет играть Короля Лира.

Началась суматоха. На Гогена навалилась целая орава друзей Фомы, скрутила его и принялась методично мутузить. Экзекуцию с трудом пресекли присутствующие на собрании мужчины. Самого же Фому посадили на стул и привели в чувство, суя под нос пузырек с нашатырным спиртом. Марина, вытирая мокрым полотенцем кровь с лица мужа, визжала, что Гогену это с рук не сойдет, что он крепко пожалеет о содеянном. Художник уже жалел о содеянном. Но это были только цветочки — несколько месяцев спустя, во время грузино-абхазской войны, убили одного из сыновей Гогена, и все, кто находился рядом с ним, твердили, что сына художника застрелили свои, а вовсе не абхазы.

— А что, собственно, такого сказал Фома? — поднялся со своего места Бено. — Говорить о грузинской морали имеет право только грузин. У каждого народа свои особенности, свои представления о моральных ценностях. У грузин они одни, у осетин другие, хотя эти народы давно живут рядом. Человек может рассуждать только о тех ценностях, которые всосаны с молоком матери, а не о вычитанных в книжках. Согласен, Цориону грузинский язык также близок, как и осетинский, потому что он родился и вырос в восточной Грузии. Но если поставить его перед выбором — грузины или осетины, он выберет осетин. Так зачем нам прислушиваться к его советам, читать его опусы и восхищаться слогом, если нам, грузинам, он предпочитает осетин? Возможно, не все до конца осознали, что нынче вопрос стоит ребром — быть или не быть Грузии! Поэтому я согласен с Фомой: если ты считаешь себя настоящим писателем, если не можешь не писать, то отправляйся в свою Осетию и пиши там, хоть упишись. А нашу нацию и нашу мораль не трожь!

В зале воцарилась тишина. Слышно было только, как Марина шепчет что-то на ухо супругу.

— Может быть, господин Цорион хочет сказать что-то в свое оправдание? — спросил кто-то из гостей. — Несправедливо совсем лишать его права голоса.

— Конечно, пусть говорит! — поддержали его другие.

— Знаете, — вмешался улыбчивый Гутар, — я думаю, предыдущие ораторы перегнули палку. Цорион давно живет в нашем городе, стал полноправным членом общества, и указывать ему на дверь несправедливо. Возможно, Цорион берет слишком много на себя, ему кажется, что он знает больше других, поэтому и пытается поучать нас в своей статье «Мое Ватерлоо». Но, господа, надо быть снисходительным к писателю! Я его хорошо знаю, он это делает не со зла. К тому же, кто будет играть Короля Лира в предстоящем спектакле на площади? Нет времени искать другого актера!

— Ни хрена себе — снисходительным! — прошамкал Фома. — Да вы с ума сошли, Гутар! Какой к черту спектакль? Пришлые будут указывать нам, как жить, а мы должны с ними цацкаться! Это политическая близорукость! Спросите господина

Цориона, почему он назвал свою статью «Мое Ватерлоо»? Если это намек на последнюю битву, то не мешало бы напомнить писателю, что Наполеон в конце концов позорно бежал с поля боя, был полностью разбит! Но император боролся за восстановление великой французской империи. За что же борется господин Цорион, любопытно узнать? За то, чтобы подчинить Грузию своей воле?

— Ну, это чересчур! — воскликнул Гутар. — Ничего подобного и в мыслях не было у Цориона!

— Откуда вы знаете, что на уме у писателя? — Фома, пошатываясь, приблизился к Гутару и задыхался на него пивным перегаром. — Откуда вы, вообще, можете что-то знать? Вы музыкант, господин Гутар, вот и занимайтесь своей музыкой! И не мешайте нам наводить порядок в нашей стране!

— Да нет, я просто хотел сказать, что ни о чем плохом Цорион не помышлял, — стушевался Гутар.

— Так-то оно лучше! — кивнул Фома и вернулся на место.

— А почему молчит Цорион? — сказал Бено. — Как будто воды в рот набрал.

Цорион пригладил седые волосы и поправил роговые очки на переносице. Было видно, что внешнее спокойствие дается ему с трудом. Бено хотел было подбодрить его, но передумал и промолчал. Это не ускользнуло от внимания Цориона, и он усмехнулся. От мысли об изменчивости человеческой природы и о том, что на его глазах обычные шкурные интересы рядятся в патриотизм, писателю стало не по себе. Цорион понял, что напрасно доверил кардиологу собственное здоровье и душевное равновесие, что внимание Бено, как и он сам, облачено в стерильный медицинский халат не по причине профессиональной необходимости, но по причине боязни обнаружения под этим халатом отсутствия человечности. А он надеялся, что тот прикрывает его тыл. Наивный писака! Впрочем, эти откровения оказались слишком легкой пищей для размышлений Цориона. Как карамельки Лилит. Он даже не поперхнулся, проглотив их. Между тем, Цорион с Бено вместе ломали голову над предназначением человека, спорили о личности применительно к истории, о страхе смерти и об ответственности перед своим народом. Словеса!

— Вы втягиваете меня в ненужную дискуссию, — произнес он.

— Но ведь надо же выяснить вашу позицию, господин писатель, — пробурчал кто-то из гостей.

— Хорошо, — согласился Цорион. — Тогда знайте: где бы я ни находился — здесь или в Осетии — я буду писать только о том, что меня тревожит, а не о том, что нужно или модно писать. Вопросы морали для меня вне национальности, потому что добро и зло не имеют национальных особенностей. Все, кто пытается связать воедино понятия морали и национальности, провокаторы. Если писатель не находит в себе силы возвыситься над этими понятиями, если он идет на поводу у множащихся в смутное время националистов, то он и не писатель вовсе.

— Это вы здесь такой смелый! — прервал его Фома. — Пользуетесь нашей мягкотелостью! Но ничего, скоро мы наведем порядок в стране!

— Мне хорошо известны ваши методы, Фома! Я знаю и то, что вы способны потопить всю Грузию в крови, крича при этом во все горло о патриотизме!

— Не ваше дело! Мы сами разберемся со своей страной. А вам лучше уехать из Грузии, пока мы не добрались до ваших детей и внуков!

— Подождите, Фома! — вмешался Бено. — Дайте нам сыграть спектакль на площади! Люди оповещены, нас не поймут!

Фома помедлил, трогая тыльной стороной ладони губу, потом ответил:

— Ладно, черт с вами, играйте! Только имейте в виду, что в этот же день будет проводиться митинг, приедут наши соратники из других городов!

— Конечно, для трагедии городская площадь — слишком большая арена! — заметил Цорион. — Рядом надо разыграть еще и комедию!

— Не ерничайте, господин писатель! — сказал Фома. — А не то прикрою весь ваш театр к чертям собачьим!

— Братья! — обратился Цорион к Бено и Гутару. — Разве об этом болели наши сердца? Разве об этом мы спорили до хрипоты? Наверное, я раздражаю вас тем, что вглядываюсь в пространство до рези в глазах, до тошноты, и не отвожу взгляда, пока меня не выворачивает наизнанку. Но я не могу иначе, братья!

— Страдалец! — произнес кто-то гнусавым тенорком, и все засмеялись.

— Мне всегда казалось, что мы с вами слеплены из одного теста, поэтому, когда вы поливали мои опусы, я относился к этому философски. Однако мне и в голову не приходило, что вы связываете мой писательский талант с национальной принадлежностью. Согласен, у каждого народа свои особенности, но мораль у всех одна, и неважно, грузин ты, осетин или китаец! Проблема в ином — наш мир дал сбой, нам стали навязывать новые моральные ценности, позабыв о старых, и в зависимости от приверженности к традициям, одни народы принимают их, придумывая всевозможные объяснения, а другие нет. Одни страны во всех своих несчастьях обвиняют соседей. Другие же пытаются разобраться в собственных комплексах, в причинах своих болезней. Нет в мире государства, не запятнавшего себя несправедливыми действиями! Все дело в том, превосходит оно соседа в силе или нет и какая роль уготована ему судьбой — жертвы или насильника. Если хотите знать, предназначение писателя в том, чтобы осознать эти ошибки и рассказать о них людям, чтобы каждый народ видел свои изъязнения и боролся с ними. В этом смысле национализм — величайшая косность, которая не имеет ничего общего со стремлением сохранить культурные ценности, он просто прячет изъязнения под полами чухи. Вот почему я отвергаю оценку моей статьи по национальному принципу.

— Господи! — закатив глаза, Бено прикоснулся ладошкой к накладным волосам. — Как же ты достал своим вечным нытьем, своим вечным недовольством! Раскрой пошире глаза, оглянись вокруг! Неужели ты не видишь, что вся твоя спокойная жизнь — это милость, оказанная тебе окружающими?

— О чем ты, брат? — удивился Цорион.

— Тебя терпят все из-за твоего большого сердца, из-за твоей жены, вкалывающей днем и ночью, так что дома ее никто не видит. И ты, и вся твоя семья обязаны нам своим благополучием. И не бубни мне о писательском таланте! Где он, твой талант, покажи на милость! Что ты написал такого, что заставило мир содрогнуться, где твои строки, доказывающие твою избранность, богоподобность? Нет ничего, ты пустышка, а город дает тебе возможность заработать на хлеб, чтоб семья твоя не померла с голода. Только не отворачивайся, дослушай до конца. Да, ты можешь придумать определение сволочинству мира, и ты будешь прав миллион раз, но вся твоя правда размоется в день зарплаты, потому что всем хочется кушать. Конечно, ты готов отказаться от всего, тебе хватит куска хлеба, кружки воды да бумаги с карандашом. Пошел ты со своей жертвенностью! Ты знаешь, что мы с тобой не одни, за нашими спинами люди, которые зависят от нас, а ты мне втираешь про кусок хлеба с кружкой воды да бумагу с карандашом. Ты лжец, а не писатель, вот что я тебе скажу! — Бено покраснел и с трудом переводил дыхание, но продолжал изливать желчь. — Не называй меня братом никогда! Я вижу тебя насквозь, всю твою сущность, заключенную в желании оправдать свою избранность, но ты вовсе не избранный — обычный человечиска, раззявивший хлебало на звезды да охмуряющий своей писаниной баб. И если ты снова начнешь твердить, что слишком много дерьма вокруг, и кому-то нужно начинать разгребать его, жертвуя собственной жизнью и жизнью близких людей, я не поведусь. Хватит с меня! Лучше уйди, скройся, и не показывай никому своих несчастных глаз! Может быть, вдали от города заслужишь оправдание, не знаю.

— Хорошо! — сказал Цорион и протиснулся к двери.

В библиотеке было тихо.

Бродить ночами по улицам, когда над головой звездное небо и поступь легка, как сон, не признак избранности, а последняя степень обреченности, потому что не осталось и места, куда бы ты не сунулся в поисках ответа на вопросы — почему суть

тает пропорционально желанию изложить ее, почему ей уютно лишь в груди, когда еще нет слов, а есть покачивание на глади Бездонного озера. Ты взлетаешь над домами, блаженно-легко-готовый, как Заратустра, чувствуя прохладу ветра между пальцами, и город дышит на тебя привычными испарениями. Скинув обувь и носки, босиком ступаешь на черепичную крышу, звонкую, как хроматические бруски ксилофона, и тонкую, как паутина. Тычешься, что слепой, в запертые двери, ровно там, внутри, тебя ожидает прозрение, но на самом деле пытаешься обмануть одиночество. Улицы все еще пахнут вечностью и звезды острыми иглами царапают побеги твоих глаз, заражая ветрянкой, а ты идешь вдоль городской стены, чувствуя босыми ступнями остывающую кровлю. Под стеной толпятся шлюхи в шальных, чьи глазницы, как винные пиалы, наливаются янтарным страхом, будто сам Пророк явился им, и ты усмехаешься, что Млечный Путь изгибается, как шелковый шарф на длинной шее у девчонки с тонкими щиколотками. А потом продолжаешь движение — каждый шаг эхом отзывается в пыльных переулках — добираешься до междуречья и поворачиваешь обратно, туда, где голоса без слов на растрескавшейся веранде медпункта и сельсовета баюкают совесть, а под терракотовой черепицей хранится завернутый в тряпку наган, выменянный у солдат на две буханки хлеба. Тянет горячим виноградным варевом, на крыльце застыл вышедший по нужде малец, восторженно глядит на тебя и думает, что наконец-то сбылась его мечта. Приседаешь на корточки, суешь руку за пазуху, извлекаешь горсть розовых черешенок и протягиваешь ему, и он, улыбаясь, забирает их, не уронив ни одной. Прогулки по крышам способствуют не только примирению с тайной, над которой ты всю жизнь ломал голову, но заставляют забыть о твоём писательском призвании, которому в базарный день цена алтын. Но теперь наконец ты нашел себя, эта теплая суть, похожая на беспомощного щенка, спит сладким сном, ты бредешь по крышам, завернувшись в плащ ночи, и черепица звенит под ногами.

Цорион направился к центру города. Он свернул возле гостиницы направо и побрел мимо открытого парка с неработающими фонтанами, на месте которого раньше были зеленые деревянные торговые ряды с навесами, и под ними можно было укрыться от ливня. Какой только товар не был выставлен за расписанными стеклянными витринами — рядом с соленьями на прилавках лежали скобяные изделия, по стенам висели всевозможные инструменты, дальше была харчевня, а за харчевней мебельная лавка и книжный развал. Со двора скрипучая лестница с перилами в форме растянutoй арфы вела на второй этаж, где располагалась музыкальная школа. Классы были тесные, и в них пахло плесенью. Инструменты на ночь убирались в директорскую, где работал калорифер и воздух был гораздо суше, но струны виолончелей и альтов издавали леденящие кровь звуки. Гутар, тогда еще молодой преподаватель музыки, утверждал, что эти звуки — расплата за возможность прикоснуться к великому искусству. Однажды, будучи в гостях у писателя, он восхитился исполненной Цорионом песней про Таймураза Кодзырты¹. За ужином они выпили вина, писатель сидел, положив ногу на ногу, на колене у него стоял полный гранатового «саперави» фужер, а в руках держал фандыр² и, подыгрывая себе, он довольно чисто пел осетинскую песню по-грузински. Слова не всегда ложились в ритм, чувствовалось, что писатель переводит песню на ходу, но впечатление от этого только усиливалось. Потрясенный Гутар пригласил Цориона брать уроки сольфеджио и игры на фортепиано. Писатель согласился, он стал посещать музыкальную школу трижды в неделю — один раз сольфеджио и дважды фортепиано. Вечерами, приближаясь к зеленому дряхлеющему зданию и слыша звуки флейты и гобоя, он чувствовал, как по спине бегает мурашки, и это ощущение не покидало его всякий раз, когда он проходил через парк или мимо, будто там все еще стояла старая музыкальная школа.

За универмагом он свернул направо и пошел к «кругляку» Фёдора мимо кожвендиспансера. В продуктовом напротив горел свет, но внутри уже никого не

¹ Таймураз Кодзырты — народный герой Осетии.

² Фандыр (*осет.*) — трехструнный шипковый инструмент.

было, на остановке возле магазина в ожидании последнего автобуса толклись продавцы с рынка. На скамейке лежали их пустые корзины. Дальше светилась стеклянная витрина круглосуточной аптеки, наполовину покрашенная белой краской, за ней кинотеатр с лестницей и колоннами и еще летний кинотеатр с ложными арками на фасаде и сбербанк. Цорион дошел до улицы Горького и снова свернул направо. Добравшись до угла библиотеки мимо магазина «Тысяча мелочей», фактически он сделал малый круг по городу. Напротив райкома, на перекрестке, дождался зеленого света светофора, пересек дорогу и неторопливо двинулся в сторону еврейского поселка Кулаши по улице Ленина. Цорион часто пользовался этим маршрутом во время вечерних прогулок. На тротуаре из-под земли торчали корни растущих вдоль дороги кленов, и чтобы не спотыкаться, он старался держаться ближе к забору частных домов, где асфальт был ровнее. Внезапно его окликнул женский голос, Цорион обернулся и увидел Волумнию в красном плаще, в перчатках и шляпе с вуалькой. В одной руке она держала нераскрытый зонт, а в другой сумочку под цвет плаща. Волумния поравнялась с ним и поздоровалась. Казалось, что она рада ему. Цорион выразил удивление ее прогулке в столь поздний час, на что та ответила, что с удовольствием прихватила бы с собой в качестве защитника своего королевского дога, но в этом городе не принято гулять с собаками. А разве у Волумнии есть дог? Конечно, огромный и добродушный, спит, верно, возле обувницы на первом этаже. Цорион улыбнулся. Волумния приблизилась вплотную и заглянула ему в глаза. Что-нибудь стряслось? Цорион нынче бледен. Все в порядке, обычная усталость, бывает во время вечерней прогулки, когда заряжаешь на ходу мотор, иначе он дает сбой. Цорион продолжал улыбаться. Ах, как ей нравится его грустная улыбка, но, право же, писатель выглядит весьма неважно, может быть, стоит вернуться домой и лечь в постель? Да, он так и сделает, хотя для него иногда предпочтительнее бродить по пустынным улицам, нежели валяться в постели. В это время возле них затормозила желтая шестерка, из машины вылез хмельной Гудериан, подошел к Цориону и обнял его.

— Простите, что не поддержал вас, — забубнил Гудериан, — меня не было в городе.

— Твое присутствие ничего бы не изменило, — похлопал его по плечу Цорион.

— Я бы заткнул им глотки.

— Успокойся, Гуде.

— Что случилось? — спросила Волумния.

— Ничего особенного! Сегодня наши с вами сограждане накупились на Цориона, как стая одичавших собак, и никто не пришел ему на помощь.

— Боже, какой ужас! — всплеснула руками Волумния.

— Не преувеличивай, Гуде! — усмехнулся Цорион.

— Нисколько! Полчаса назад я разговаривал с людьми, присутствовавшими на собрании клуба «Парнас», они захлеб рассказывали, как поставили на место зарвавшегося писателя.

— Бедный, бедный Цорион! А как же ваши друзья?

— Друзья его просто сдали.

— Пойдемте ко мне, — предложила Волумния, — я живу недалеко, напою вас чаем.

Они вошли через железную калитку в небольшой дворик с пальмами и газоном, бесшумно поднялись по лестнице на второй этаж деревянного дома и через темную веранду проникли в комнату. Волумния включила свет, расчехлила старый диван и кресла и предложила чувствовать себя как дома, пока она приготовит чай, только тихо, чтоб не разбудить маму, сестру и племянника. От каждого шага в допотопном серванте звенела парадная посуда. Стараясь не шуметь, Цорион приблизился к массивному книжному шкафу. На полках стояли собрания сочинений Теккерея, Скотта, Шекспира, ниже Льва Толстого, Пушкина и Шолохова. Он снял первый попавшийся том Толстого, раскрыл его и с удовлетворением отметил, что книгу перечитывали не раз.

- Если что, присмотришь за Досыр? — спросил Цорион.
- Может, еще обойдется, — ответил Гудериан.
- Не обойдется, — качнул головой Цорион. — После спектакля мы с женой уедем из города. И дети разъедутся. А Досыр уже старая, она не выдержит переезда.
- Я присмотрю за ней.
- Если захочешь, можешь пожить в нашей квартире, места будет много.
- Поглядим.
- Минут через пятнадцать Волумния внесла поднос с фарфоровым чайником, чашками, корзинкой с печеньем и разложила все на журнальном столике.
- Секретничаете? — сказала она.
- Нет, строим планы на дальнейшую жизнь, — поставил на место книгу Цорион.
- Как интересно! Гудериан, вам нельзя садиться за руль в таком состоянии. Оставьте машину на ночь у нас во дворе, а утром заберете.
- Это ни к чему, мне недалеко ехать, — отмахнулся Гудериан.
- Она права, — поддержал хозяйку Цорион. — Ты же сам знаешь. Волумния разлила чай и пригласила гостей к столу.
- У меня есть французский коньяк, хотите?
- Давайте, — потер руки Гудериан, — сейчас это весьма кстати.
- Только пообещайте мне, что вы не сядете за руль.
- Обещаю. Хотя обещание пьяницы, как правило, не стоит и выеденного яйца.
- Неправда, — возразил Цорион, — он умеет держать слово. Я ручаюсь за него.
- Охота вам на себя наговаривать? — Волумния поставила на стол коньяк.
- Гудериан откупорил бутылку и разлил содержимое по рюмкам.
- Охота! — сказал он. — Это все равно что напиваться на себя театральный костюм и медленно перевоплощаться в добряка или злодея.
- Вы имеете в виду предстоящий спектакль?
- Предлагаю тост за госпожу Волумнию! — словно бы не слыша ее последнего вопроса, произнес Гудериан, взял рюмку, встал с кресла и вытянулся по струнке.
- Прекрати паясничать! — одернул его Цорион.
- Спасибо! — улыбаясь, ответила Волумния.
- По идее, чем глубже перевоплощение, тем правдоподобнее роль. Хотя никто не знает, где человеку комфортнее — в жизни или на сцене.
- Почему?
- Потому что играть себя неинтересно, да и опасно. Можно ненароком и слить себя. Впрочем, есть умельцы, которые вносят в роль совершенно неожиданные нюансы, приходится ломать голову — под чьим флагом они выступают.
- Хватит валять дурака! — сказал Цорион и отпил коньяку.
- Пусть говорит, это так забавно.
- Например, прыщавой Лорене противопоказана роль Реганы. Какая к черту из нее Регана, никаких внешних данных! Ан нет — поглядите, сколько желчи льется из уст этой добропорядочной толстухи! И в каких потайных уголках своей души она находит столько цинизма!
- Может быть, она просто талантливая актриса?
- Может быть! Только меня пугает такое перевоплощение. Я простой крестьянский парень, подайте мне человека, который — что в жизни, что на сцене — одинаков! Как Цорион! Но так бывает настолько редко, что театр представляется настоящим бедламом, где и пациенты, и врачеватели одинаково нуждаются в смиренной рубашке! А зритель, которого жена силком затащила в зал, сидит и думает: а пошли вы все на хрен, сейчас приду домой и ткну водочки. Где он — настоящий человек, если каждодневное поведение его, исполненное благородства и воспитания, вызывает приступы тошноты, а коварство и злость на сцене невольное уважение.
- Все дело в таланте! — многозначительно произнесла Волумния.
- Гудериан посмотрел на нее мутными глазами и усмехнулся.

— Или в скрытом коварстве. Граф Кент и Бено похожи внешне, но вовсе не потому, что у Бено накладные волосы и ноги бритые пониже колен. Внешность не так важна, когда приходится играть благородство, которого достаточно в твоём характере. Однако дело в том, что благородство Бено, в отличие от благородства графа Кента, благоприобретенное, носит чисто медицинский характер. Оно вычитано в статьях по кардиологии, где статус врача, выправка и вежливость являются неотъемлемой частью тайнодействия терапии, без этих качеств не вылечишь пациента. Между тем, играя Кента, он внушает доверие. Откуда, откуда у Бено появляются на сцене черты, которых он напрочь лишен в жизни?

— Магия сцены, — сказал Цорион. — Могу добавить, что актер тут ни при чем.

— То есть подлец может играть достойного человека?

— Разумеется! Тому достаточно примеров в истории театра!

— А что вы скажете про свою роль, Гудериан? — спросила Волумния.

Гудериан налил себе коньяка и выпил залпом.

— Хороший коньяк! — поморщился он. — Конечно, непривычно торчать в костюме Корделии у всех на виду. Но я скажу вам, что это неплохой способ завлечь людей на территорию правды.

— Ты сам не знаешь, что болтаешь! — встал с кресла Цорион. — Мне пора!

— Я вас провожу! — сказал Гудериан и тоже встал.

На завтрак он съел кусок ржаного хлеба с сыром и выпил апельсинового сока. Внук сидел напротив и через силу глотал овсянку. Цорион сказал ему, что чем быстрее тот покончит с кашей, тем быстрее вырастет. Внук бросил на него хитрый взгляд, но не стал есть быстрее. Жена ворчала все утро, намекая на тайную связь с другой женщиной, что в его возрасте следует думать о здоровье, а не по бабам шляться, и что об этом судачит весь город. Ей не все равно, о чем шушукаются по углам люди, потому что она хранительница семейного очага и не намерена терпеть, чтобы кто-то перемывал косточки членам ее семьи. Цорион молчал. Казалось, он не слушает жену, думает о своем. И когда она перед выходом из дома остановилась в дверях и улыбнулась еле заметно краешком губ, Цорион почувствовал, что жена знает и про выдворение их из города, но благоразумно помалкивает. Она даже пообещала отпроситься с работы и прийти на спектакль, что вконец умилило его.

— Цори! — прервал его размышления внук.

— Да, брат!

— Мы уезжаем в Москву.

— Знаю.

— Я буду скучать по тебе.

— Я тоже. — Цорион взял его на руки и прижал к себе.

— Кто же мне будет читать про Нартов?

— Твой отец.

— Его не допросишься. И у него не получается, как у тебя. Вечно он торопится и перескакивает с места на место. А когда я его поправляю, он злится.

— Я ему скажу, чтобы он не перескакивал с места на место.

Они помолчали.

— Ты приедешь ко мне? — спросил внук.

— Не уверен, — ответил Цорион. — Лучше ты приезжай ко мне.

— Хорошо. Я привезу тебе теплый свитер и носки.

— Спасибо, брат.

— Только ты не грусти, ладно?

— Ладно.

Он поставил внука на пол, пошел в комнату, снял трубку телефона и набрал Бено. Ответила медсестра и сказала, что доктор на обходе. Цорион повременил минут десять и снова позвонил. Медсестра узнала его по голосу и попросила подождать, пока она разыщет доктора. Цорион сказал, что не к спеху, что перезвонит позже, но та уже

отложила трубку. Он слушал, как со скрипом открывается и закрывается дверь кабинета Бено, как переговариваются молодые врачи, и чувствовал себя глупо — медсестра наверняка подумала, что у него очередной приступ и переполошила всю больницу. Через несколько минут в кабинет, тяжело дыша, ворвался Бено, взял трубку и ответил. Услышав его дрожащий голос, Цорион пожалел, что не смог предотвратить намеренно спровоцированный Фомой конфликт. Что ни ему, ни Бено не хватило ума прекратить этот дурацкий балаган. Писатель не стал углубляться в размышления о раскаянии, так как он наверняка пришел бы к выводу, что причиной разлада друзей послужили не только ошибки Цориона, но и комплекс неполноценности Бено, который легко можно было нейтрализовать в ходе приватной беседы, но не в присутствии националистов. А когда кардиолог спросил принимал ли он утром нитронг, у Цориона сжалось сердце. «Да, принимал», — сказал писатель, а сам машинально отметил аллитерацию «утром нитронг», бесполезную, как табачная жвачка в пародонтозных зубах, только терпкий запах, но разве это важно, когда просиживание за письменным столом не прибавляет свежести восприятия, только способствует разрастанию геморроидальных узлов да экстрасистолии. Бено говорил, говорил, судорожно подбирая слова и мыча в трубку — как же неважно, если кардиолог не спал всю ночь, переживал, как там Цорион. Писатель хмыкнул и попытался успокоить друга — все хорошо, и спалось ему нормально, но мысль о взаимозависимости экстрасистол с недописанным романом приводит в отчаяние, потому что времени, судя по всему, осталось мало, разве что на последний выдох. «Все эти эсхатологические пассажи не доставляют никакого эстетического удовольствия, — желчно заметил Бено, — от них только несварение». Давеча он наболтал лишнего, бес попутал, Цориону не стоит принимать его слова слишком близко к сердцу, а лучше выбросить все из головы, ха-ха-ха, какая глупость, Господи! «Конечно, — сказал Цорион, прижимая трубку к уху, — конечно, на них нашло затмение, но все уже в прошлом». Последняя фраза прозвучала совсем фальшиво, и писатель прикусил губу, ему мельком подумалось, что мир слишком прост для случайных проявлений дремлющего в душе коварства, ежели утопающий в дерьме болтовни о бедной Родине человек никогда не страдает от экстрасистол, а лоб его перекошен в лучшем случае от разрастающихся геморроидальных узлов, маскирующих боль под чувство патриотизма. Кардиолог шумно дышал в трубку.

Да, ночью Бено понял, насколько был неправ, понял, что нет в мире писателя лучше Цориона — он будет кричать об этом на каждом углу! «Нет, друг, — возразил Цорион, — не стоит кричать об этом на каждом углу, тем более что он не самый лучший писатель». А про себя: Господи, когда нет выбора и приходится лгать предавшему тебя другу, чтобы успокоить его совесть, не есть ли это проклятие, которое хранится в ящике письменного стола вместе с сухими апельсиновыми корками да подгнившими яблоками сорта антоновка, запах которых напоминает детство в Хвелиандро? Что делать с тревогой, переместившейся в глаза домочадцев, если не спасает даже белизна ослепительно белой бумаги и очиненный карандаш? «Эй! — сказал Бено. — Иногда при чтении рассказов Цориона раздражает надрыв. Это такой литературный прием или тот действительно предчувствует смерть? Разве предчувствие смерти может пастись на лугу искусства?» Писатель засмеялся — ему не нравятся салонные разговоры, они напоминают экзамен, на котором студент пытается запудрить мозги преподавателю. «Есть просьба». — «Какая просьба?» — оживился Бено. Цорион помолчал немного. «Надо написать справку, что Гудериан сумасшедший». — «Но ведь Цорион прекрасно знает, что Бено — не психиатр, зачем все это?» — «Затем, чтобы спасти Гудериана от националистов». Кардиолог подышал в трубку и согласился. №Он напишет что-нибудь вроде реактивного психоза на фоне гипертонического криза, но вряд ли справка спасет Гудериана, уж слишком у него длинный язык».

К обеду дождь прекратился, но все еще было пасмурно. От порывов ветра в разошедшихся рамах дребезжали стекла, усиливая ощущение тревоги. Город был взбудоражен. По случаю митинга и спектакля включили все фонтаны парка. На площади Мира, не обращая внимания на зевак, в поте лица трудился Гоген. Вначале возле памятника матери погибших солдат он сколотил деревянную трибуну, обил ее белой тканью и расписал под крепостную стену. Затем с помощью железнодорожного носильщика притащил из дома культуры трон и установил его посреди площади, а асфальт усыпал привезенными с берега реки голышами. Получилась неплохая декорация подступа к крепости. Люди стали подтягиваться после обеда, постепенно заполняя пространство перед крепостной стеной. Носильщики-ассирийцы с буденовскими усами выкатили свои тележки к парку, поставили поперек дороги и перегородили проезд. Дымящиеся их сигареты в длинных янтарных мундштуках походили на бронзовые мизерикорды¹. Посетители кафе у автобусной остановки вытащили круглые столы на балкон и расселись так, чтобы была видна вся площадь. Две пожилые официантки в белых передниках разнесли им мороженое в блестящих металлических креманках, пирожные нескольких видов на зеленом подносе и шипучку в высоких фужерах. Кое-кто приготовился смотреть представление, сидя на балконных перилах, но их быстро согнали, потому что они загораживали обзор посетителям кафе.

Националисты пришли в черных глаженных чухах с газырями и черных азиатских сапогах с высокими голенищами. Они осмотрели площадь, посидели на обклеенном золотой фольгой троне и поднялись на трибуну. Продув микрофон и пощелкав по нему пальцем, рыжий Фома объявил, что гости задерживаются, пусть начинают представление. Все актеры, кроме Цориона, стояли в укрытии за памятником. К трибуне подошел шут в пестром колпаке с бубенчиками, с размалеванным лицом, и, кривляясь, сообщил, дескать, спектакль продлится два с половиной часа, митингующим придется подождать окончания.

Увидев шута, Фома рассмеялся и спросил:

— Ты кто?

— Я шут, Айдесимологиотате², ваша изнаночная сторона, — ответил тот, продолжая кривляться.

— Ты не шут, ты умник! Только я не люблю умников! — сказал Фома, потом пригнулся к микрофону и добавил: — Я вам ничего не обещаю! Развлекайте пока народ!

— Освободите поле брани! — закричал шут, повернувшись к людям. — Дайте нам место для демонстрации человеческих пороков!

— Я его не узнаю, кто он такой? — поинтересовался Фома у соратников.

— Кажется, сын Цориона.

— Тот, который живет в Москве?

— Он самый.

Собравшиеся загалдели в предвкушении зрелища, но площадь освободили. Через несколько минут вышли граф Кент, граф Глостер вместе с сыном Эдмондом и остановились возле трона. Граф Кент был в широкополой шляпе, в камзоле с испанским воротником, в узких вишневых панталонах и длинноносых башмаках. Гутар, игравший графа Глостера, как известно, пребывавшего в преклонном возрасте, не придумал ничего лучшего, чем наклеить черную, как смоль, бороду с усами, натянуть шляпу с пером и накинуть на плечи меховую накидку. Возможно, он хотел подчеркнуть то, что в молодости граф Глостер любил приударить за молоденькими кухарками, а к старости стал красить бороду, чтобы выглядеть лучше. Побочный сын его Эдмонд нарядился во что-то похожее на блио с широкими рукавами, подпоясавшись кожаным ремнем, а сбоку подвесил шпагу. Несмотря на яркий грим и средневековые костюмы, их узнали, стали окликать и здороваться.

Король Лир появился со стороны бакалеи. Как обычно, он был в старых джинсах

¹ Тонкие кинжалы, предназначенные для добивания смертельно раненных воинов.

² Ваше преподобие (*греч.*).

и в свободном сером джемпере с растянутой горловиной, из которой торчала худая шея с кадыком. Ослепительно белые волосы развевались на ветру. Толпа расступилась, Цорион проследовал к центру площади, уселся в кресло, положив ногу на ногу, и поправил очки.

Никогда еще он не был так спокоен.

Когда он вышел из дома и миновал сапожную мастерскую с черным велосипедом у входной двери, слыша удары молотком по колодке, он волновался, и когда свернул за угол и направился в сторону бакалеи, возле которой стоял хлебный фургон и пахло свежим хлебом, волновался, и когда пересекал дорогу, сердце готово было выпрыгнуть из груди. Однако увидев расступившуюся толпу, внезапно успокоился. Цорион удобно устроился в кресле и посмотрел на крепостную стену, над которой торчали распухшие от пьянства лица националистов. Они словно готовились к отражению штурма крепости, под ногами у них горели костры, и в котлах кипела, пузырилась смола ненависти. Принявшие причастие великой нации смешались с зеваками, но по горящим взорам их легко можно было выделить из толпы. Цорион подумал, что шекспировская трагедия может спровоцировать столкновения, но может предоставить еще один шанс оглянуться назад и осознать — площадь не хранилище грехов, отложенных человеком в надежде на день прощения, и в конце концов она взорвется, как воздушный шар, и тогда несдобровать никому. Представление уже началось — это видно по глазам принявших причастие великой нации — хотя еще не было произнесено ни слова. Бессловесный спектакль, во время которого происходит не очищение, а возврат к темным временам, когда человек сменил ярмо глупости на подлость, и теперь он руководствуется вовсе не велением сердца, а способностью извлекать выгоду из обмана и насилия. Цорион огляделся вокруг и убедился, что людей вряд ли облагородит трагедия несчастного Короля Лира. Разве что проявят локальное сострадание, свидетельствующее о принадлежности к высшей расе, но никакого раскаяния не последует. Сентенция «еще не время» настолько же глупа, насколько и бесчеловечна. Время настало давно, так давно, что это уже не метафора, человек явил низменнейшие свои качества, втайне надеясь на изменения к лучшему. Но изменения происходят только к худшему, потому что время пошло и остановить его невозможно.

Увидев стоящую под крепостной стеной младшую дочь, Король Лир встал с трона, приблизился к ней и погладил по волосам — бедная Корделия. Публика брезгливо заворчала, будто он прикоснулся к мерзкой твари. Дочь была некрасива, да и улыбалась некстати, будто она лишилась рассудка или случайно узнала нечто такое, чего не знали другие. Впрочем, ее улыбка могла свидетельствовать о чем угодно. Когда условная реальность имеет дополнительные особенности в виде изображающего Корделию Гудериана, а площадь заполнена принявшими причастие великой нации, любой жест можно трактовать по своему. С другой стороны, у Шекспира женщины часто сходят с ума, становясь жертвами коварных интриг, и симпатии на их стороне. Здесь же Корделия почему-то мгновенно настроила против себя зрителей. Король Лир знал, что дразнит публику, однако продолжал ласкать свою дочь, и это было настолько же нелепо, насколько и трогательно. В жизни не всегда совпадают пространство со временем. Иногда не замечаешь, как оставляешь в стороне целые пласты жизни, которые, возможно, стали бы частью твоей неповторимости, но ты не думаешь об этом, ибо тебя влечет неизведанное, и когда наконец сталкиваешься лицом к лицу с тайной, шарахаешься от нее, как от прокаженной старухи, понимаешь, что пыл твой подогревался обыкновенным азартом первым вкусить плода познания, от коего лишь оскомина во всем теле. Король Лир посторонился, пропуская с грохотом катящийся товарняк времени, груженный топляком событий, и ему было все равно, кто перед ним — мужчина в облике дочери или сама дочь.

— Вы что давно не виделись? — усмехнулся рыжий Фома. — Начинайте представление!

— Оно уже идет! — ответил Лир. — И вы являетесь непосредственными участниками!

— Не морочьте нам голову, господин Цорион! У нас и так мало времени! Играйте свою трагедию!

Граф Кент произнес первую реплику, но на нее никто не обратил внимания. На площадь вышли старшие дочери Короля Лира Регана и Гонерилья — в кринолинах, париках и накладных ресницах — и встали возле трона. Первую играла толстая и прыщавая Лорена, а вторую — библиотекарша Марина, вполне даже привлекательная по сравнению с сестрами особа. Толпа загикала и засвистела. Актеры ждали вступления Короля. И когда он заговорил вполголоса, на площади стало тихо — слышно было, как поднимается ветер и капли дождя застучали по пыльному асфальту.

— А мы вас посвятим в заветные решения наши глубже! — сказал он. — Подайте карту мне!

Ему подали карту королевства, сложенную вчетверо. Король Лир развернул ее неторопливо и глянул поверх плотной бумаги на собравшихся людей. Господи, — подумал он, — я повторяю эти жесты и слова, но по сравнению с прошлым разом грудь моя спокойна, как будто меня напичкали транквилизаторами. Но разве так важно рвать на части собственное сердце, чтобы тебе поверили? Разве надрывный крик — большее доказательство чистоты твоих помыслов? Наверное, сильные страсти требуют крепких голосовых связок. Нынче я могу не стыдиться своей глупой патетики, потому что я спокоен как никогда, разве что задние ряды толпы со стороны парка с фонтанами не услышат моего голоса. Ничего, догадаются по глазам и губам!

Он сел на трон и поманил рукой дочерей.

Первой подошла Гонерилья — сложенные на животе руки, короткие, обгрызенные ногти, высокая грудь и чистый лоб. Любви своей ей не выразить словами — ха-ха! — это после вчерашнего-то. Впрочем, чего не бывает в жизни. К тому же, скорее всего, часть своей любви она растрясла по дороге. Гонерилья стояла перед королем неподвижно, говорила свой текст без жестикующий, но мимика лица выдавала в ней раздражение. Ей было явно не до спектакля. Знамо дело, она оставила двух малолетних детей на попечение полоумной свекрови, которая помешана на пескоедении, каждое утро ни свет ни заря спускается на берег реки и горстями ест песок. Гонерилья пробовала жаловаться Фоме, но тот едва не избил ее, велел прикусить язык и не болтать глупости. Ну и черт с ней, лишь бы детям не подсунула этой мерзости, ведь, по словам свекрови, обычный песок выводит из организма токсины. И сыночек ее, признаться, не лучше. Носится с националистами по району, решает какие-то неотложные проблемы, а вечером приползает на бровях. После того как Фома изнасиловал ее на водах, предварительно напоив ликером, она хотела покончить с собой, но родители настояли на том, чтобы не предавать огласке позор, а согласиться на замужество. Выхода не было, она согласилась — лучше терпеть насильника в доме, чем сносить оскорбительные ухмылки соседей и коллег по работе. Потом вроде как наладилась семейная жизнь, Фома взялся за ум, но когда появился главный скупщик совести, его словно подменили. Он стал одержим идеей очищения города от иноверцев, а принявшие причастие великой нации числились в лучших друзьях. Как все было здорово до прихода главного скупщика совести! Гонерилья прекрасно помнит каждое появление короля в библиотеке после долгого просиживания того за письменным столом, когда радость и удовлетворение от проделанной работы переполняли его, и он обнимал поочередно всех библиотекарей, и те подтрунивали над ним. Позже она вышла замуж, родила детей, приобщила мужа к «Парнасу». Фома приносил деньги, сытно кормил семью, и Гонерилья постепенно переняла его мысли об избранности их народа, хотя чувствовала, что они с гнильцой. А когда Фома объявил, что хочет публично изгнать из города короля, чтоб другим пришельцам неповадно было выступать супротив принявших причастие великой нации, Гонерилья попыталась его защитить. Но муж одернул ее — это решение главного скупщика совести, ничего не поделаешь! Ах, Король Лир, бедная жертва сговора!

Второй подошла Регана, похожая на переростка девица без талии, добрая и глупая. Она была безнадежно влюблена в Гудериана, и это делало ее еще глупее, что, впрочем, не слишком заботило девицу. Регана пригнулась и обслуживала руку короля,

лежащую на подлокотнике трона. Конечно, она из той же породы, что и ее милая сестрица. Регане причитается часть королевства, надо только удачно выйти замуж. Но плевать на богатство, она мечтает о взаимной любви одного человека. Да, Господь обделил ее красотой, но у нее большое и доброе сердце, глядишь, добьется внимания этого человека. Еще она мечтает напоить Гудериана до бесчувственного состояния, раздеть и просто целовать его ноги. А больше ей ничего не нужно, ничего.

Третьей подошла Корделия в парике, с кривым красным носом, из-под манжет торчали волосатые запястья. И когда, хлопая приклеенными ресницами, она произнесла, что, к несчастью, не умеет высказываться вслух, просто любит отца, как велит долг, публика взорвалась хохотом. Громче всех смеялся рыжий Фома. Голос его, усиленный динамиками, носился над городом громовым раскатом, что даже маневрирующие локомотивы загудели в ответ. Но тут заиграла музыка — отрывок из Бранденбургского концерта — и люди утомнились. Корделия дождалась, пока утихнет вся площадь, и повторила трижды, что любит отца, чтит его и слушается. Между тем Король Лир раздраженно поморщился. Почему всегда — на похоронах ли, на крестинах или во время спектаклей — ставят Баха? Неужели нет другой музыки? Корделия угадала его мысли. Будь ее воля, она врубила бы на полную мощность «Стену» Pink Floyd или боевую песню зулусов, дабы толпа ринулась штурмовать крепость. Вот была бы потеха! Конечно, затоптать могут и актеров, но Корделия рискнула бы жизнью ради того, чтобы увидеть ужас в глазах националистов. Беспощадность и смелость рассеивается, как туман, стоит лишь националистам разойтись по домам. В спальнях под боком у супружниц они превращаются в среднестатистических граждан, страх опутывает своими щупальцами их толстые тела, великие идеи откладываются на полку забвения, и тревожный сон опускается на супружеское ложе под утро. Молодость, честолюбие, отвага, самоотверженность — все эти понятия применительно к идее избранности твоего народа по сути своей петушинные, поскольку просыпаются с петухами, когда отступает тьма, и ночные страхи сливаются в унитаз вместе с утренним мочеиспусканием.

Гости прибыли на митинг после того, как герцог Корнуэл в гневе ослепил Глостера, а переодетый странником граф Кент стал увиваться за Королем Лиром, что собачонка.

В отличие от защитников крепости гости, были облачены в черные костюмы, белые накрахмаленные рубашки, галстуки и лакированные штиблеты. Они пересекли площадь, с недоумением разглядывая актеров и декорации, поднялись на крепостную стену и принялись лобызаться с ожидающими их соратниками. «А вот и французский десант! — закричал шут. — Глядите, вырядились, как на похоронах!»

Граф Глостер нацепил круглые черные очки, как у кота Базилио, и следовал за сыном Эдгаром, крепко держа его за плечо и задрав лицо к небу. Один изображал слепого, другой сумасшедшего. Публике казалось это весьма забавным — их трогали руками, заговаривали с ними, стараясь рассмешить, но не получалось. Рыжий Фома попытался было прервать представление, обратившись к людям с приветствием, но толпа зашипела на него, и он тут же прикусил язык.

Дождь усилился, раскрылись зонты, но никто не сдвинулся с места. Король Лир нагнулся и расшнуровал кроссовки. Он снял обувь и носки, сунул под мышку и босиком пошел в сторону крепостной стены. Трон немедленно заняли старшие дочери — Гонерилья устроилась на сиденье, а Регана на подлокотнике, приобняв сестру, как на старой провинциальной фотографии. Парики промокли и потеряли форму, грим потек, но сестры улыбались, как ни в чем ни бывало. Король опустился на землю и прислонился спиной к стене. Подошел граф Кент, спросил, все ли в порядке, и Лир кивнул головой, хотя сердцебиение опережало на полтакта запущенное на площади время, но это было в порядке вещей. На самом деле он только что размазал босой ступней набухшую от дождя линию, разделяющую реальность от скверной идеи превосходства одних людей над другими, как детские классики, и увидел замешательство толпы, не ведающей, как реагировать на действия Короля. Но ведь к старости, когда

человека тянет жалиться, ему можно простить откровение, исподволь скатывающееся с территории обманутой жизни и несбывшихся надежд. Такое признание само по себе является свидетельством несостоятельности, когда проще пенять на непонятость, превратность мира и вечные палки в колесах, хотя, конечно же, это удел неудачников. Ты вкалывал всю жизнь, старался прямо отвечать на вопросы, но когда тебя спросили: «Милостивый государь, где ваша Родина», — замялся. Ответ: «Там, где дышат звезды», — не устроил никого. Какой же вы затейник, милостивый государь, без гроша в кармане, но с великой душой, этого не отнять, что простую житейскую мелочь обыгрываете паче Шекспира, с костюмами да париками, траченными молью, когда же необходима самая малость — твердая позиция — шарите по карманам, точно жулик, и пожимаете плечами.

Он услышал надрывный тенорок Глостера, стоящего на коленях с запрокинутой головой перед толпой: «О боги! Я самовольно покидаю жизнь, бросаю бремя горестей без спросу». Темные очки сползли на кончик хрящеватого носа, из закрытых глаз градом катились слезы, люди посмеивались над ним, но Глостеру было все нипочем. Король Лир подозвал его сына и поводыря Эдгара и шепнул ему что-то на ухо. Тот вернулся к отцу, попытался поднять с колен, но неожиданно старик оттолкнул Эдгара и накричал на него, дескать, не мешай мне, я не закончил мизансцену. Господи, как же он надоел своими рыданиями! В конце концов Глостер сам встал на ноги, обшарил руками воздух и со словами «Ну, прощай!» упал ничком на асфальт, полагая, что бросился в бездну. Теперь уже смеялась вся площадь. К тому же шут принялся крутить сальто вокруг Глостера, звеня бубенчиками.

— Ой, умора! — кричал в микрофон Фома. — Сейчас обдуюсь!

Глостер медленно повернул голову и злобно оглядел толпу поверх очков.

Через некоторое время Король Лир встал со своего места, приблизился к сидящему на мокром асфальте Глостеру и, кивнув в сторону крепостной стены, произнес:

— Нет, они не могут запретить мне чеканить деньги. Это мое право. Я ведь сам король!

— Пошли они все! — пробурчал Глостер.

— Они ласкали меня, как собачку, и ввали, что я умен не по годам. Они на все мне отвечали «да» и «нет». Все время «да» и «нет» — это тоже мало радости. А вот когда меня промочило до костей, когда у меня от холода не попадал зуб на зуб, когда гром не смолкал, сколько я его ни упрашивал, тогда я увидел их истинную сущность, тогда я их раскусил...

— Они не понимают ничего в искусстве! — размазывая слезы, бормотал Глостер. — У меня сердце разрывается, а они, засранцы, смеются, как будто я комедиант!

— Ты не комедиант! — сказал Король и затем, повысив голос, что жилы вздулись на шее: — Послушать их, так я — все что угодно. Но это ложь!

— Мне расхотелось играть! — всхлипнул Глостер.

— Надо закончить! — ответил Король Лир. — Спокойно, без надрыва!

Он велел вынести стяг и включить боевые песни. Публика отреагировала на это одобрительными возгласами. Корделия принесла стяг, они вдвоем подняли его над головой и стали обходить площадь вокруг, пробираясь сквозь толпу. За ними увязались какие-то пацаны, крича во всю гортань: «Вперед, за Родину!» Мальчишки маршировали вместе с ними с совершенно серьезными лицами, и их порыв вызывал среди людей сочувствие. Глядя на лица Короля и его младшей дочери, все понимали, что любовь к городу, в котором ты вырос, к согражданам, которых ты видишь каждый день, не самое главное в жизни. Гораздо важнее — кто зовет тебя за собой, что говорит или о чем молчит.

— Немедленно прекратите провокацию! — раздался в микрофон голос Фомы. — Господин Цорион, я разрешил вам играть спектакль, а не устраивать демонстрацию!

Шествие остановилось под крепостной стеной.

— Мы и играем спектакль! — возразил Цорион, а потом, повернувшись к толпе, добавил: — Я люблю вас всех! Верите мне?

И толпа выдохнула:

— Да!

Но тут рыжий Фома извлек откуда-то зачитанный до дыр томик Шекспира в картонном переплете и, тряся им над головой, спросил:

— Где вы вычитали эти слова? Реплики «Я люблю вас всех!» нет у Шекспира, посмотрите сами!

— Но разве это неправда? — удивился Король Лир.

— Неправда! Я не верю вам! Вы обманываете народ, пытаетесь завоевать его расположение, чтобы он вас не изгнал из города! Но это вас не спасет! Я призываю сограждан изгнать Цориона!

Публика недовольно зашумела, но не слишком активно — часть присутствующих все же была не против его изгнания.

Внезапно Корделия поднялась на крепостную стену, растолкала гостей и, поправив парик на голове, произнесла в микрофон:

— Не трогайте Короля! Всякий, кто поднимет на него руку, будет иметь дело со мной! А граф Кент — петух!

— А-а-а, Гудериан, несчастный комедиант! — с улыбкой на устах проговорил рыжий Фома. — Тебе корсет не жмет, сумасшедший?

— Что ты несешь, Фома? — сказал Гудериан.

— Да, да, сумасшедший! — Фома достал из кармана какую-то бумагу и развернул ее. — Вот справка, в которой черным по белому написано, что у господина Гудериана реактивный психоз на фоне гипертонического криза. Лечиться вам надо, батенька, а не лохмами трясти посреди площади. Уберите его отсюда.

Гости в дорогих костюмах спихнули Гудериана с трибуны и вернулись на место. Гудериан стал кататься по площади, издавая странные звуки, и было непонятно — рыдает он или смеется.

— Бедняжку удушили! Нет, не дышит! — произнес Король Лир. — Коню, собаке, крысе можно жить, но не тебе...

— И этого тоже уберите! — сказал рыжий Фома.

Его подхватили вчетвером, подняли над головами и понесли, как воина на щите, через площадь, посреди которой у оклеенного золотой фольгой трона толпились мокрые от дождя актеры. Толпа заволновалась, загудела. Послышались крики:

— Оставьте короля в покое! Дайте ему доиграть до конца!

И чуть позже:

— Цорион! Цорион! Цорион!

Фома растерянно произнес:

— Поставьте его на ноги!

Но его голос потонул во всеобщем гаме. И тогда он пригнулся к микрофону и рявкнул:

— Вы что оглохли? Немедленно поставьте его на ноги!

— Блядь! — кричат в ответ. — Не получается! Он сам тянет нас вверх!

Публика ахнула: все увидели, как четверо здоровых парней оторвались от земли примерно на десять сантиметров и парят в воздухе.

— Господин Цорион! Прекратите свои дешевые фокусы!

— Их никто не держит! — сказал Цорион, и четверо молодых людей с испуганными лицами повалилась на мокрый асфальт.

Но тут прекратился дождь, выглянуло ослепительно яркое солнце, и лица людей засияли радостью. Заработали фонтаны, прибыл 36-й скорый, заиграла модная музыка в сосисочной на платформе, и носильщики нехотя потянулись к поезду. Крашенная в блондинку официантка вагона-ресторана в белом переднике по привычке выкатила в тамбур тележку с товаром, но очередь к ней не выстроилась, как обычно, будто горожан перестали интересовать московские конфеты и сметана. Цорион выпрямился, немного расставил босые ноги, словно бы для равновесия, и медленно стал подниматься над городом. Он увидел еще не сложенные купола разноцветных зонтов, и балконы близлежащих домов, забитые до отказа смеющимися зрителями, и мигающую иллюминацию над гостиницей, и бездонное синее небо. Возле парка стояли Габо в гимнастерке, галифе и сапогах гармошкой, Уара, высокая и изящная, с недавно

наметившимися женскими формами, рыжий Александр в косоворотке, Бего с ямочками на щеках, а рядом настройщик пианино Самуил в болтающемся, как на вешалке, свитере и его сыновья — губошлеп Яго и женоподобный Силициус — и старый Сигизмунд со своей толстой женой Лилит. Все улыбались, и Цорион подумал, что для Короля Лира улыбающиеся лица зрителей — верный признак успеха.

Они долго скитались с женой по родственникам и знакомым в Северной Осетии, пока их не приютил двоюродный брат Илья. Жили вчетвером в каморке с буржуйкой, спали по очереди на диване, хотя Цорион, чтобы не стеснять хозяев, старался первым занять место на полу. Он много работал на телевидении, хлопотал в Союзе писателей о выделении ему какой-нибудь комнатки, но тщетно. Впрочем, он не поддавался отчаянию, знал по опыту — стоит только расслабиться, выдохнуть с облегчением, ровно добрался наконец до Голгофы, и жизнь сомнет окончательно. И не потому, что стоишь — или должен стоять — на вершине холма, а потому, что все позади, и теперь уже чужое мнение тебе безразлично, только в груди щемит, но это сладостное ощущение возникает лишь затем, чтобы сладить с печалью. Цорион отвык улыбаться, выражение лица порой удивляло окружающих, но от него все-таки веяло теплом и благородством. Однажды он забылся ночью, супруге стало холодно, и она прижалась к нему, чтобы согреться, однако, как ни старалась, не смогла этого сделать. Поворочавшись на полу, встала и позвонила сыну сообщить, что в доме зябко, невозможно уснуть, что нынешняя зима особенно морозная, да и печка не греет, потому что все тепло перехватывают Илья с Маквалой, поскольку спят впритык. Сын спросил: «Отец тоже мерзнет?» — и она ответила, чтобы за отца не переживал, с ним все хорошо, и тогда он все понял и швырнул трубку на пол. Телефон разбился, но голос матери продолжал звучать из наушника: «Он так крепко уснул, что ему нипочем мороз». Сын поднял разбитую трубку и приложил наушник к уху: «Тебе надо быть мужчиной как никогда, сынок, соберись», — и он смахнул слезу, но не нашел ни одного слова в ответ, так и молчал, а мать говорила, говорила — про туго стянутые багажными ремнями коробки с вареньем и сливовым соусом, про кимоно с нунчаками, приготовленные для внука, про цхинвальскую фасоль, яблоки и помидоры, и даже про кахетинское вино — это они собрали с Цорионом, готовясь к поездке в Москву, а теперь все пропадет. Сын ходил из угла в угол с болтающейся на проводе разбитой трубкой в руках и пытался представить свернувшегося калачиком Цориона под пуховым одеялом, ноги укрыты еще и сложенным вдвое пледом, в который он обычно кутался, работая за письменным столом, и мать поглаживает его ослепительно белые волосы, и пар изо рта — что белый шарфик. Он пытался представить все это, чтобы не сойти с ума, и теребил ладонью грудную клетку, дабы унять сердцебиение, не понимая, что именно оно спасает его от сумасшествия.

Узнав о смерти Цориона, Бено навелся на бывшей своей девушке Гале, которая проживала в Нахаловке недалеко от клуба железнодорожников, но не застал ее дома. Встретила его женщина в платке, источающая покой и умиротворение. Бено вежливо поздоровался и спросил, где Галя, на что ему ответили, что нет смысла сообщать ее нынешнее местопребывание — у дочери семья, другая жизнь. Его пригласили в дом, угостили чаем с печеньем. Бено стал говорить о том, что человеку свойственно ошибаться, но лучше, если эти ошибки делаются не под влиянием других людей, а по собственной глупости — не так обидно. Хозяйка кивала в ответ, сложив на коленях натруженные руки. И вдруг Бено заплакал — он потерял друга, и теперь одиночество давит на него чудовищной тяжестью, но уже ничего не поделаешь. Вся его деятельность — череда ошибок, обусловленных ложным представлением о приоритетах. Конечно, работа и карьера занимают важное место, но это не самое главное в жизни. Главное — оставаться самим собой и не доверять никому решения судьбоносных вопросов. Хозяйка провела ладонью по его плечу и посоветовала покаяться в церкви, глядишь, станет легче.

На следующее утро Бено съездил в храм Никорцминда и исповедался отцу Елисею, после чего сел в поезд и отправился в Северную Осетию с пересадкой в Баку.

Двое суток он протрясся в грязном плацкартном вагоне, слыша чужую речь и все больше убеждаясь в том, что земля не предназначена для спокойствия и беззаботности, но это вовсе не мешает людям делать глупости, строить козни ближним и злорадствовать, как будто в этом высшее предназначение человечества. Отец Елисей в какой-то степени успокоил Бено, растолковав, что самобичевание — вовсе не признак осознания собственных грехов, просто душе требуется передышка, возможность поделиться с кем-то наболевшим. Однако ему как врачу должно быть хорошо известно, что психотерапия и отпущение грехов не одно и то же. Ошибки усугубляются подсознательным запретом их анализа, потому что они не вписываются в выстроенную и лелеемую модель мира, в котором все подчинено ложной идее. И дело не в том, что ты направляешь свои мысли в практическое русло, полагая сократить время и расстояние до намеченной цели. В какой-то момент перестаешь идентифицировать за ненадобностью понятия высшей справедливости, что составляет суть и моторику души. Европа сменила ориентиры, заразившись бешенством беспамятства, ровно ее окружает свора одичавших собак, но главная причина ее упадка в том, что она предпочла страданию за идею приоритеты результата. Да, европейцы стали слишком практичными, малым народам нынче взывать к сочувствию по меньшей мере наивно. И отчаяние не всегда конгруэнтно численности населения — у иного представителя малого народа такое огромное сердце, что оно способно вместить Вселенную, расширяющуюся пропорционально познанию тайн, а для вмещения глупости, рядящейся в форму миротворца, никаких америк открывать уже не нужно...

Приехав в Беслан рано утром, Бено взял такси и поехал в село Октябрьское. Кладбище находилось на краю села, рядом с Ингушетией. Таксист, из боржомских осетин, подвез его к воротам погоста и посоветовал поменьше говорить с местными, поскольку акцент выдает в нем грузина, а грузин здесь недолюбливают. Бено поблагодарил водителя и двинулся вглубь по главной аллее в надежде встретить кого-нибудь и расспросить о местоположении могилы Цориона. Навстречу вышел худой небритый мужик в кирзовых сапогах и телогрейке. В уголке тонких губ дымила папироска. Бено поздоровался с ним и поинтересовался, где похоронен писатель Цорион. Тот измерил его взглядом, а затем вызвался проводить, заметив при этом, что только что отвел туда женщину.

Женщина в каракулевой шубе стояла возле свежей могилы на коленях, погрузив пальцы рук в землю, и причитала. Перед ней лежал букет красных роз. Мужик в телогрейке сказал, что надо дать выплакаться бабе, по всему виду, любила покойного. Они постояли, стараясь не шуметь, затем, когда женщина встала и отряхнулась, приблизились, и тут Бено узнал Диану.

- Что ты тут делаешь? — задал он глупый вопрос.
- Оплакиваю Цориона! — ответила Диана.
- Вы знакомы? — удивился мужик в телогрейке.
- Это моя сестра! — сказал Бено.
- Чудеса! — констатировал мужик.

Он ушел куда-то, и, пока его не было, Бено с Дианой молчали, прокручивая в голове воспоминания. Впрочем, Бено, кроме всего прочего, отгонял догадки относительно того, почему сестра втайне от него решилась приехать за четыреста с лишним километров на могилу Цориона. Минут через пятнадцать мужик вернулся, неся пакет с бутылкой водки, буханкой хлеба, «Кармадоном», солью, завернутой в обрывок газеты, литровой банкой соленых огурцов, нарезанным толстыми кусками осетинским сыром и пластиковыми стаканами. Они помянули Цориона по-христиански и закусили.

- Как вас зовут? — спросил Бено мужика.
- А какая вам разница.
- Просто интересно.
- Сигиз!
- Сигиз? — переспросил Бено. — А как полное имя?

Мужик осклабился, показывая беззубый рот, отломил кусок хлеба и принялся перетирать его деснами.

— Сигизмунд! — ответил он.

— А кто-нибудь из ваших близких не был сослан в Сибирь?

— В нашей стране у каждого кто-нибудь да был сослан! — глубокомысленно заметил Сигизмунд. — Время было такое!

Они покинули кладбище в двенадцатом часу, пешком прошли четыре километра по разбитой дороге, прежде чем добрались до райцентра. Там они сели в рейсовый «пазик» и доехали до архонского автовокзала, где купили билеты на автобус и по серпантину Крестового перевала вернулись обратно домой. В пути Бено разморил, он положил голову сестре на плечо и уснул. Так он проспал всю дорогу, и Диана боялась пошевелиться, чтоб не разбудить брата, и когда они миновали Кутаиси и приблизились к городку, было полночь, ветер дул с такой силой, что трясло автобус, но села узнавались сквозь ночную мглу, и от этого на душе стало спокойно.

Ровно за полгода до этого, на следующий день после выдворения Цориона с женой, Гудериан пришел к Досыр и принес ей коробку конфет. Старушка осталась в доме одна — все разъехались. Она усадила гостя в зале на диване и налила ему кружку чаю из шиповника. Гудериан сказал, что больше всего боится сорваться в фальшь с ее приторностью и лоском, когда в комнате пахнет дешевым освежителем воздуха и на стене висит дурная репродукция «Неравного брака» Пукирева. В доме никто не пользуется освежителем воздуха, — возразила Досыр, — лучше проветривать почаще жилье, да и картин нет. — Она подумала немного и добавила: — Хотя есть, но небольшие, они стоят на книжных полках в кабинете, подарки. Гудериан улыбнулся, и Досыр заметила ему, что ей очень нравится его улыбка, она напоминает времена, когда еще все были живы-здоровы и ничто не предвещало беды. Да, — кивнул он, — это понятно. Но ему приходится признать свое бессилие перед реальностью, пока не задохнулся от затхлого воздуха, пока не ослеп от вида пластмассовых цветов в зеленой вазе. — Подожди, — оборвала его Досыр. — Ты что, пьян? — Нет, джичи, трезв как никогда! Но она же не слепая, либо он пьян, либо не в себе! — Значит, не в себе! — выдохнул Гудериан. — Кстати, надесь его объявили сумасшедшим. Ох, умора! Досыр подошла к нему и погладила по волосам: Тебе плохо, да, плохо, как это не поняла сразу, старая карга! Сейчас принесу валидолу и валокордину! — «Не нужно ничего! — Гудериан зажмурился. — Можно я поплачу? — Конечно, родной! — и старушка обняла его голову и закачалась, как береза. Ладони ее пахли хлебом, было уютно, как в детстве. Если хочется говорить, лучше выговориться, Досыр послушает, она умеет слушать, хотя и не все понимает. Гудериан отстранился, достал сигарету и понюхал ее. Эту привычку он перенял у Цориона, по причине инфаркта бросившего курить, однако не справляющегося с желанием просто нюхать табак, и это было настолько забавно, что над ним то и дело подтрунивали. Впрочем, иные перенимали и другие привычки писателя — и то, как он запускает бледные пальцы в седые волосы и теребит их, и то, как скребет костяшками пальцев грудную клетку, и то, как во время прогулки внезапно удлинит шаг, будто играет в классики. Гудериан прекрасно знает причину этих подражаний — жизнь и творчество Цориона исполнены свежести и чистоты, как осенний лес, вызывают ощущение свободы, поэтому все тянутся к нему. «Почему же все ополчились против него? — удивилась Досыр. — Почему никто не заступился, кроме Гуде?» — «Потому что они несчастные люди, боятся за свои шкуры! А Гудериану терять нечего». — «Не нужно так говорить! — одернула его Досыр. — Всегда есть что терять!» — «Наверное! — согласился Гудериан. — Только страшно одного, как бы не скатиться в фальшь с ее приторностью и лоском, когда в комнате пахнет дешевым освежителем воздуха и на стене висит дурная репродукция "Неравного брака" Пукирева, а на столе стоит зеленая ваза с пластмассовыми цветами». Дался ему этот освежитель воздуха вместе с репродукцией и пластмассовыми цветами! Может быть, его держали взаперти в такой комнате? Гудериан взглянул на нее снизу вверх и вытер рукавом лицо. Лучше молчать и не делать лишних движений, с женщиной ли, с калекой, сидящим на паперти, с глупым начальником или консьержкой, когда приходит беда и нет сил дышать полной грудью.

На третий день вечером он следовал на своей желтой шестерке в родительский дом, что находился в тридцати километрах от городка в горной деревушке, разогнался до 140 км/час и врезался в телеграфный столб. Принявшие причастие великой нации тут же заявили, что Гудериан был пьян. Лично для меня это не было откровением, потому что трезвым в последнее время он не садился за руль. Более того, мой друг утверждал, что под градусом он гораздо внимательнее на дорогах. Однако совсем другую информацию предоставил Гоген, самолично осмотревший разбитую машину Гудериана. Художник сообщил, что кто-то незадолго до аварии слил тормозную жидкость. Косвенным подтверждением этого служило полное отсутствие тормозного пути. Возможно, Гудериан заснул за рулем. Впрочем, кому понадобилось сливать тормозуху — нетрудно догадаться. Да, это была глупая смерть, хотя не глупой она видится разве что с обратной стороны длинного тоннеля с ярким светом в конце, где нарушена привычная причинно-следственная связь и гравитация равна нулю, и проблемы самореализации и самокопания теряют всякий смысл. После аварии я часто думал о ней, она посещала меня в моих размышлениях о жизни, о людях, о добре и зле, о том, приходится ли ей преодолевать длинный и темный тоннель с ярким светом в конце, ощущает ли бремя земной гравитации, человеческой глупости и страха, ровно тебе пять лет, и ты, уписавшись, вскочил с постели и реवेशь в ожидании ремня, и неизменно приходил к выводу, что в ней гораздо больше человеческого, нежели божественного, во всяком случае плакать в ее присутствии не стыдно.

Желтая шестерка разбилась вдребезги, но в машине на полную громкость звучала музыка Pink Floyd, а сам Гудериан, как славный генерал Вермахта, был зажат между двумя временами, и из приоткрытых губ его свисало тягучее фиолетовое бессмертие, папахивающее крепкой виноградной водкой, и в глазах застыла усмешка. Отец Гудериана Соломон сбежал из больницы, но его не пустили к мертвому сыну, и тогда он подошел к силовому щиту, сорвал крышку и вцепился руками в оголенные провода. Я успел сшибить Соломона с ног по регбийному, и мы вместе с ним повалились на землю, катаясь по сухой траве на обочине дороги и выдавливая из себя желчный смех, который, казалось, спасал нас от отчаяния, а Соломон все тыкал мне в морду свои мозолистые ладони, пахнущие паленым мясом, и повторял: «Гляди на рабочие руки, даже 380 вольт не смогли их прошибить». Мы не унимались, продолжая хохотать так, что люди столпились вокруг и тоже заулыбались, и внезапно я увидел Смерть с лицом ангела — она выбрала гнущее цинковое ведро из чьего-то колодца, отхлебнула студеной воды и весело покачала головой. Я толкнул Соломона плечом и кивнул на колодец, тот проследил за моим взглядом аж до самого накренившегося журавля и обратно, вглубь моих зраков, и высморкался в обожженную ладонь.

Досыр упростила меня свезти ее на похороны, хотя чувствовала себя неважно. Я заказал такси, и мы поехали в горную деревушку под названием Микелафон. Двор Соломона был большой и ухоженный, с цветником и фруктовыми деревьями, бельэтаж в глубине двора выкрашен в темно-синий цвет. К забору у калитки была прислонена полированная крышка гроба с золотым крестом. Стоявшие у входа во двор соседи расступились и пропустили нас внутрь. Досыр неторопливо пошла впереди, на ходу развязывая головной платок, а я поплелся следом. Глаза ее были спокойны и печальны. Впервые после ссылки Досыр удалось охватить границы утраты, которая раньше воспринималась как несправедливость мирового масштаба — мор или иго — способная мимикрировать подобно диковинной земноводной твари и принимать вид привычных глазу предметов обихода, беспощадно обманывая человеческие ожидания. Душа Досыр окутала эту утрату со всех сторон, что белую рыбину из Бездонного озера, и она была готова к встрече. Наконец-то неопределенность утекла из нее, как околплодные воды, покой снизошел, и когда мы поднялись на крыльцо, проследовали по балкону до большой комнаты с открытыми настежь дверями, Досыр запричитала...

Инга Кузнецова

Объяснение

1.

Моя жизнь — бумажная архитектура. Моя участь — проигрыш энтропии. У меня фактура-натура-дура, и последняя пачка ноотропила.

Не спеши ко мне, не твоя фортуна. Декорации сделаны из картона. Я жалею твоих обувных питонов. Твоя речь фальшивит на четверть тона.

У меня на ногах землемеры, замки. У меня на руках ранки-мамки-дамки. У меня в голове неудобный вектор. У меня в кармане упрямый Вертер.

2.

У меня панические атаки. У тебя салаты из шиитаке. Правда прозы тоньше, чем имя розы. Я живу шутя, говорю всерьез.

Я живу шутя, засыпая бездну. Белый свет вертя, тело бесполезно. Сам себе дитя, ты идёшь, не зная, что тебе весна, а себе зима я.

У меня бессмысленности отёки. Я сбежала от брака и ипотеки. Женихи искали по всей Итаке. Только я — за инков. Твои — ацтеки.

3.

У тебя откаты, отжатый тендер. У меня покатый проклятый гендер. Ты прогнозы-грёзы не понимаешь, ты б делил Делёза в начале мая.

Ты играешь грубо, экспресс-бросками. На пуантах, точечными мазками я тихонько прочь от твоей ла скалы, я испугана брендовыми носками.

Как бессмысленна логика лишних денег. Поезжай, печенег, за холмы печенек. Что кричишь одно ты: «Пораскинь мозгами»? Все банкноты — повод для оригами.

4.

Пока ты ухаживал за усами, я сверялась с солнечными часами. Эта жизнь стекла, голубое сало, по сусалам в лоскутное одеяло.

В твоём штате астролог и эзотерик. Твой психолог растерян, и он истерик. Ты б закрыл гештальт, но отвесен берег. Ты и сам закрытие всех америк.

Я учусь нырять в мелководье Стикса, ты бизоном бьешься в бозоны Хиггса. Перестань: просроченный твой биткоин обналичит Будда, он так спокоен.

5.

Тупиковые ветви, мы два подвида. Ты увидишь в зеркальце заднего вида, как стою в реке и стираю время. Это недоказанная теорема.

Подожди, Ферма, раз сейчас фермата. Ты учил матчасть, и давай без мата. Можешь снять доспехи — кольчугу, латы. Нам прислали счёт, а теперь расплата.

Где небесны сферы, шумеры звука, не ночует логика как наука. Я прошу прощенья, что не Памела. Покури Pall Mall, закуси помело.

Кузнецова Инга Анатольевна — поэт, прозаик, переводчик, литературный критик. Родилась в поселке Черноморском Краснодарского края. Окончила факультет журналистики МГУ. Автор четырех книг стихов и романа «Пэчворк» (М., 2017). Лауреат литературных премий «Триумф» (2003) и «Московский счет» (2003). Постоянный автор «Дружбы народов». Живет в Москве.

Ефим Гаммер

Третий глаз

*Документально-художественная повесть о реальной жизни
с фрагментами воспоминаний моей старшей сестры Сильвы Аронес*

1

Знакомый ангел мне сообщил, что я, как, впрочем, и другие люди, имею при себе третий глаз, которым пока что еще не научен пользоваться.

Третий глаз, пояснил он, обладает сверхъестественной силой, позволяет увидеть неведомое, совершить астральное путешествие в иные измерения. Третий глаз, утверждал он, это межпространственный портал в потусторонний мир, самое удобное средство для галактических путешествий, а также в прошлое, когда ты еще не родился, и в будущее, где тебя уже нет.

Выслушав его, я задал односложный вопрос:

— Когда?

— Что «когда»? — недопонял ангел. А с виду, казалось бы, такой разумный: белая тога, ореол, крылышки.

— Когда прорежется мой третий глаз?

— Ты еще не созрел.

— Уважаемый, ангел! Мне уже 72. Куда еще созреть дальше?

— Дело не только в тебе, а во всем человечестве.

— Что? И тут коллективное зрение? Хоть смотри в телевизор.

— Иначе нельзя.

— А где же мое право выбора — главное отличие человека от братьев наших меньших с длинными хвостами и клыками?

— Право есть, а выбора пока еще нет. Преждевременно не полагается! А то не третий глаз, а щелочка, вроде замочной скважины, у тебя во лбу проклюнется. Хочешь?

— Хочу! — сказал я из чувства противоречия.

— Что ж, тогда смотри. Авось чего и увидишь.

А что, действительно, увидишь, если не определена конкретная цель? Определи и... Впрочем, чего долго думать. С измательства мечтал увидеть конкретную родину. Какую? Первую из четырех — Южный Урал. Там я родился, но никогда после рождения не бывал: пяти месяцев отроду меня увезли на вторую родину в Латвию, а

Ефим Гаммер родился в 1945 г. в Оренбурге, закончил отделение журналистики ЛГУ в Риге, автор свыше двадцати книг стихов и прозы, лауреат ряда международных премий по литературе, журналистике и изобразительному искусству. Печатается в журналах «Дружба народов», «Арион», «Нева», «Слово\Word» и др. Живет в Иерусалиме. Предыдущая публикация в «ДН» — повесть «Туннель» (2015, № 7).

оттуда через тридцать три года я двинулся, уже самостоятельно, на третью — в Израиль. А как хотелось, и время от времени это хотение вновь нещадно теребит душу, побывать в Оренбуржье, побродить по улицам, не знаящим моих следов, взглянуть на бездонное небо, подарившее мне неисчерпаемой голубизны глаза. Но се-ля-ви, как говорят французы, когда в Израиле обнаруживается, что они заодно и евреи.

Се-ля-ви! А теперь попробуйте вкус этого слова в переводе на нормальный язык русской действительности: война, эвакуация, автобус с эвакуированными из Одессы людьми, в опасное небо вражеские самолеты.

— Прячемся!

— Под автобус! Скорей под автобус!

— Нет! Автобус будут бомбить в первую очередь.

В ушах моих прорезался знакомый голос. Густой, с хрипотцой, понятно, от напряжения. Но свой... родной... Да это же папа, мой папа Арон, а голос... голос из 1941 года.

— Прячьтесь под памятник! Памятник бомбить не будут!

И что? Видимо, оказался прав. Иначе бы я не родился.

...Я родился 16 апреля 1945 года, когда советские войска начали последнюю операцию Второй мировой войны — штурм Берлинской цитадели.

Делопроизводитель Оренбургского (тогда — Чкаловского) ЗАГСа вписал в мою метрику имя Марик. Несколько дней я пускал пузыри, укачиваемый в колыбели мертворожденным именем.

Мои родители получили телеграмму от тети Фани, сестры моего папы Арона, о внезапной смерти ее мужа, естественно, без каких-либо вредных для здоровья подробностей — «умер от разрыва сердца».

Таким образом, без всяких подозрений, тетя Фаня передала эстафету древнего имени Ефим, смысл которого — «жизнь», новорожденному мальчику, впитавшему, будучи Мариком, уже первые капли материнского молока.

Со смертью дяди Фимы и Марик ушел в небытие.

Я стал Ефимом. Это имя вросло в мою метрику, отвоевав у Марика свое скромное жизненное пространство — сантиметр-полтора во главе строки. В результате, не успев произнести еще ни единого слова, я уже величался как какой-нибудь испанский гранд: Ефим Марик Аронович Гаммер, о чем любил вспоминать мой папа Арон.

Память у него была преотличная. Он любил вспоминать. Видимо, и мне по наследству передалась эта привычка. Но мои воспоминания ограничиваются 1950 годом, когда мне исполнилось пять лет, а желание погрузиться гораздо глубже в прошлое было настолько неистребимым, что волей-неволей у третьего глаза должна разыграться совесть и он вынужден будет открыться. Иначе мне не увидеть жизни в эвакуации моих родителей, старшей сестры Сильвы, бабушки Иды, когда, покинув Одессу, они оказались в Башкирии, сначала в деревне Зиганик, а потом на родине «Капитанской дочки» — в Оренбурге, тогда Чкалове.

Ну-с... Плиз — отворись!

И что? Как же не подчиниться волшебному слову. Отворился.

Тут я и услышал песенку на башкирском языке.

«Зумба Кви, зумба Ква
анакадэма, ашервервур
анакадэма, шэрвэрвур
вур вур — дура дура».

Маленькая девочка возле приземистого дома из саманного кирпича, на фоне степной деревни, притопывала ногами и прихлопывала в ладоши, видимо, чтобы согреться.

— Что поешь?

— Не знаю, деда, — девочка оглянулась, но меня сквозь толщу времен не различила: степь да степь вокруг, в ясной близи разве что избы башкирской деревни

Зиганик. Пожала плечами в недоумении, но, приученная к уважению старших, продолжила свое разъяснение: — У меня музыкальный слух. А чтобы он не пропадал здесь, в отсутствии пианино, мама учит меня разным песенкам. Вот и этой песенке научила. Может быть, не все слова правильные. Но почти все красивые.

— И — дура-дура?

— Это по-русски дура, а по-башкирски, может быть, совсем не дура, а даже наоборот — очень умная.

— Как ты?

— По-русски я не дура, это точно. А по-башкирски забыла спросить. Я ведь только пою по-башкирски, а разговаривать не научилась.

— Как же тебя звать, такую умную?

— Сильва. А тебя, деда?

— Какой же я деда, если я твой младший брат Фима.

— И не правда твоя, деда! Нет у меня младшего брата Фимы. Моего младшего брата зовут совсем по-другому. Гриша.

— Это твой двоюродный брат, а я родной. Не веришь?

— А кто тебе поверит, деда, когда тебя не видно? На слух ты старенький, как Дед Мороз, а говоришь, что младше меня. Ищи дурочку в другом месте!

— Давай проверим.

— На спор?

— Хорошо, на спор! Выиграешь, получаешь пирожное.

— Настоящее? Кусочек черного хлеба и на нем капелька маслица, да?

— Настоящее. Но не такое. Эклер называется. Шоколад сверху, а внутри сливочный крем.

— Врешь, деда.

— Почему?

— Такого пирожного не бывает.

— Бывает!

— На спор?

— Хорошо, на спор. Выиграешь, получаешь вдобавок велосипед.

— Это — который самокат, на подшипниках.

— Нет, настоящий велосипед, на трех колесах и дутых шинах. Идет?

— Идет, если не остановят.

— Кто тебя остановит, такую шуструю?

— Волки! Тут куда не пойдешь, всюду волки. Я как-то под вечер вышла из дома пописать, — смутившись, девочка поправилась: — по маленькому делу. Вот сюда, в степь. Села под кусточек, а там — показала рукой в сторону реки — светлячки заплясали. Это волчьи глаза — светлячки. Я так испугалась, как дядя Абраша, когда на него напали волки, и побежала с криком домой.

— Дядя Абраша — это...

— Да-да, Гришин папа. Он возвращался в Зиганик. Но не пешком. Пешком ему нельзя далеко ходить — он хромым. Возвращался он на телеге, запряженной буйволами — лошадей на фронт забрали. Если надо свернуть налево или направо, кричал: «цоп-цобэ!» Так вот, он кричал: «цоп-цобэ!» — а сзади на крик набегали волки и хотели его скушать. Глаза — во! Зубы — во! Страх-то какой! Но дядя Абраша не испугался и стал бросать в них горящие спички. Так и доехал до дома, весь из себя охрипший и с пустым спичечным коробком. Ох и ругался из-за спичек — это же целое богатство растратил на волков. А потом успокоился, выпил водки и запел свое любимое: «Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет».

— Веселая у вас жизнь, Сильва.

— Папа на баяне играет, Абраша поет, я тоже, когда не танцую. Веселая. Только кушать всегда хочется. Однажды папа принес к нам смушки. Бабушка Ида в обморок: «Нет, убейте меня, но я не буду кушать дохлых кошек!» А это не кошки. Смушки — это тушки новорожденных баранчиков. С них башкиры снимали шкурки для

каракулевых шапок, а тушки выбрасывали. Но мой папа придумал зажарить тушки в казане, иначе, когда совсем без еды, с голоду можно умереть. Но... да-да!.. вся семья отказалась кушать похожее на кошек «дохлое» мясо. И тут папа позвал меня. Он сказал: Сильвочка, возьми ножку, очень вкусно. Аромат был обалденный, я стала кушать и говорить: «Еще, еще». Тогда и взрослые стали подходить, чтобы попробовать, и уже не отрывались от еды.

— А мне «сорочек»?

— Фигушки, деда! Все съели!

— Не может быть!

— На спор?

— На спор!

— Идем покажу.

Глинобитный домик саманного кирпича демонстрировал внешним видом и внутренним содержанием решение жилищной проблемы в условиях, приближенных к фронтовым, не пахнущих, правда, порохом и гибелью в самоубийственных атаках.

В центре стояла кровать с доской вместо матраца.

— Здесь спят все вместе, поперек кровати, чтобы места хватило: папа Арон, мама Рива, ее сестра Беба с мужем дядей Абрашей. От головы до попы они лежат на доске, а от попы ниже...

— Ноги?

— Ноги у них на полу.

— А как же в отношении «ам-ам — вкусно нам»?

— Да вот же! — Сбоку, чуть ли не во всю стену, выставилась плита с чугунным котлом. — Я же говорила, ни одной косточки не оставили. Здесь мы кипятим воду. Дров нет. Топим кизяком. Не знаешь, что такое? Эх ты, а еще деда! Кизяки — это коровий навоз, смешанный с соломой. Показать?

Сильва вытащила из мешка, лежащего у плиты, брикетину, напоминающую цветом и формой торф. Сморщила носик, демонстрируя незримому зрителю, что пахнет отнюдь не духами «Лаванда», популярными у маленьких девочек и их молодых мам на ее родине в Одессе.

В знак солидарности я чихнул.

— На здоровье! Мы тоже чихаем, но по другому поводу. Из-за погодных условий, — сказала совсем по-взрослому. — Это когда зимой мама с тетей Бебой ходят на речку, чтобы вырубать лед, который мы превращаем в котле в воду. Вот когда превращаем лед в воду, и чихаем. А еще, но это секрет, когда ловим мышей. Рассказать?

— Обязательно! Это мне для книги пригодится.

— Какой книги, деда?

— Очень интересной.

— А я ее прочту?

— Разумеется.

— Я еще не умею читать.

— Научись.

— Тогда слушай. В нашей квартире было много мышей и мы — дети — их очень боялись. Папа придумал, как их извести. Подвесил ведро с водой на палке и поместил над ведром кусок железа на пружине. На конец железа каждый вечер надо было положить кусочки хлеба. Мышь залезала на это железо за хлебом и под тяжестью тела падала в воду. За ночь ведро наполнялось мышами, и утром взрослые их выносили, аккуратно так, чтобы не задеть на полу лежанку, где спала бабушка Ида со всеми нами, малышкой из трех фамилий зараз — Софой Вербовской, ее младшей дочкой, Гришей Гросманом, сыном дядя Абраши и тети Бебы, и мной, Сильвой Гаммер.

— Замечательная история!

— Годится для книги, деда?

— Меахуз!

- Что-что?
- В переводе — стопроцентно!
- Ты тоже запел на башкирском, не зная языка?
- Нет, это на иврите — древнееврейском.
- И про мышей можешь на древнееврейском?
- На святом языке приличней все же не про мышей...
- А на спор?
- На спор? Что ж, на спор, так на спор.
- Но читай по-русски, иначе я ничего не пойму и ты скажешь, что выиграл спор.

— Неприлично, милый кот,
жить на свете без забот,
спать под солнышком весь день...
Разве спать тебе не лень?

— Лень, конечно, спать. Однако,
ночью лень, не днём.
Я ведь кот, а не собака.
Забавляюсь сном...
Днём!

Ночью выйду на охоту.
Мыши, берегись!
Замурлычу, как по нотам,
а мне хором: «бис!»

Если же мышонок-крошка,
пусть из тысячи один,
не захлопает в ладошки,
окажусь вмиг перед ним.

РАЗ! Открою рот зубастый.
ДВА! Мурлыкну грубо.
ТРИ! И критик мой опасный
попадёт мне в зубы.

Вот она, моя работа...
Днем — подрых, а ночью — лих,
отправляюсь на охоту
ЛИШЬ на критиков СВОИХ —
пых — пых-пых...

- Bravo! — захлопала Сильва в ладоши. — Но тут больше про кота, чем про мышей. Поэтому я не понимаю, кто выиграл спор.
- Считай, что у нас боевая ничья.
- А приз?
- Пусть это стихотворение и будет твоим призом.
- Спасибо. А подарок?
- Будет тебе и подарок.
- Какой?
- Переезд в большой город.
- Как Одесса?
- Почти. Раньше он назывался Оренбург, и Пушкин написал о нем повесть «Капитанская дочка». А сейчас он называется Чкалов, и я в нем обязательно роюсь 16 апреля 1945 года.
- Тогда и познакомимся, деда?
- Не без этого. Ты же меня будешь на руках носить. А потом, в Риге, и научишь ходить ножками.
- Тогда поехали! Очень я хочу с тобой познакомиться, деда!

2

Где бывалый еврей, выросший у Самого Синего моря и прошедший несколько последних лет в ГУЛАГе, ищет пропавших без вести родственников?

Правильно! На базаре.

По прибытии из Соликамского лагеря в Чкалов дедушка Аврум Вербовский заковылял, опираясь на костыли, по направлению к городскому рынку. И там спросил громко у озабоченного куплей-продажей люда:

— Я имею интерес узнать, если есть на этом толчке евреи из Одессы?

— Из Одессы? Есть тут евреи из Одессы! Я сам буду из Одессы, — откликнулся мой папа Арон, наигрывающий на трофейном аккордеоне фирмы «Хоннер» фрейлехсы собственного сочинения для развлечения задолбанной ценой рыночной публики (буханка хлеба — месячная зарплата). Вечерами и по выходным, после двухсменной работы жестянщиком на военном заводе, чтобы не помереть с голоду вместе с семьей своей и дедушки Аврума, он концертировал у торговых рядов и подрабатывал на жизнь музыкой. Впрочем, и до войны он работал на заводе, а по вечерам играл на танцах в парке имени Шевченко или выступал на эстрадных подмостках той же Одессы, или же Москвы, Баку, Кировабада, потом уже и Риги.

Вскоре после исторической встречи на городском рынке дедушка Аврум, участник Первой мировой войны и эзк Второй мировой, работал уже стрелком-охранником на папином 245-м авиационном заводе. Вид он имел устрашающий. Рука перебита осколком немецкого снаряда, нога сломана ниже колена и повернута ступней в сторону. Кого угодно можно напугать. Даже того, кого пугать совсем не охота. Понятно кого, Сильвочку. Маленькая, худенькая, дедушку не помнящая, она пугливо посматривала на него и пряталась, когда тот приглашал ее посидеть у него на коленях. Но что? Не зря Одесса — родина таких мозговитых людей, как Утёсов, Столярский, Уточкин. Дедушка Аврум придумал, как приручить Сильвочку. Он приманивал ее корочкой черного хлеба с граммушкой маслица и крупинками сахара. Хлеб с маслом и сахаром — лучшее пирожное в мире, говорил он, и, по мнению внучки, никогда не ошибался.

— Дедушка, дай пирожное, — то и дело просила она, когда перестала его бояться.

И дедушка мастерил ей пирожное, предпочитая коротать день натошк, без хлеба, лишь бы внучка не принимала его за какого-то буку-страшил.

Хрумкая аппетитной корочкой, Сильва делилась со старым солдатом своими «голодными» воспоминаниями:

— Когда нечего было кушать, варили «затируху». Кипятили воду, в нее добавляли несколько ложек муки, получалась густая жидкость вместо супа. Еще мы ели жмых — это отжимки от семечек после того, как из них выжали масло.

— Но это в прошлом, — не веря собственным словам, убеждал ее дедушка. — Сейчас ты кушаешь пирожное. А потом...

— Потом я буду кушать эклер, как мне еще в Зиганике сказал деда Фима. Это вкуснятина с шоколадом сверху и кремом внутри.

— А кто такой деда Фима? — насторожился старый эзк, чуя лагерными потрохами что-то неладное в знакомстве внучки с каким-то переростком.

— Это мой младший братик! — бабахнула, не смущаясь несурезицы, Сильва.

— Ты в своем уме? Что скажут в Одессе, когда прослышат, что твой младший брат — деда? Тебя же не примут в школу Столярского, чтобы ты играла на скрипке также хорошо, как твоя тетя Фаня.

— Папина сестра? Она прислала мне в подарок большую куклу в красивом платье. Оно мне подошло по росту — такая я невеличка. Да и Гришенька наш — невеличка, совсем маленький. Как-то раз мы с Софой надели это платье на него, вышли на улицу и сказали девочкам: это наша сестричка, и всем было смешно.

- Постой со своим смехом. Лучше имей совесть и скажи честно, с чем едят твоего деда Фиму?
- Его не едят! Его рожают.
- Кто его рожает, позвольте спросить?
- Мама Рива.
- Твоя мама — это моя дочка. Правильно я говорю?
- Правильно.
- Только сейчас на дворе, если не ошибаюсь, 1944 год, твоя мама родила тебе сестричку Эмочку. Где же твой младший братик Фимочка? Его тут в проекте не стояло.
- Он в другом проекте.
- Каком?
- Проекте 1945 года.
- Кто тебе сказал?
- Он сам и сказал, что обязательно родится 16 апреля 1945 года. А потом, уже в Риге, я буду учить его ходить ножками.
- Какими ножками? В какой Риге? У тебя уже температура или перегрев головы? У нас у всех на уме Одесса. После Чкалова мы все поедем туда, а не в обратную от нее сторону.
- А вот и неправда твоя! Деда Фима сказал — в Ригу, значит, в Ригу.
- Но тогда тебя не примут в школу Столярского!
- Да ну их! Пусть не принимают! Зачем мне скрипка? Я буду играть на аккордеоне.
- Подожди со своим аккордеоном, Одесса важнее.
- А мне важнее учить Фимочку ходить ножками, чем играть на скрипке.
- Но на скрипке играл Паганини!
- А на аккордеоне папа. Какая разница, на чем играть? Главное, что у меня есть музыкальный слух. А все остальное приложится.

3

В детстве мы очень любили смотреть фильм о Чкалове. И от случая к случаю, желая показать свою решительность, произносили в подражании знаменитому летчику: «От винта!»

Выкрикивая Чкаловское «от винта», я подсознательно демонстрировал свою не иначе как мистическую связь с кудесником высшего пилотажа тридцатых годов. Причем, это было свойственно не мне одному, а всем моим друзьям детства, мальчишкам нашего двора — Рига, ул. Аудею, 10. Ведь все мы появились на свет не просто на Урале, а в Чкалове, подле того аэродрома, где будущий ас впервые поднялся в небо. Наши мамы подчас «не добежали» до родилки. Некоторые из нас, подражая Наполеону, вываливались в жизнь прямо на пороге... правда, не собственного дома, а производственного цеха. Случалось, приземлялись и под верстаки военного авиационного завода №245, где работали до полного изнеможения, с утра до вечера и с вечера до утра, наши родители. Потом город вновь переименовали в Оренбург — отдали дань исторической родине «Капитанской дочке» А.С.Пушкина, который — «это наше всё».

О нас, «детях войны», как водится, подзабыли. Когда же вспомнили, а произошло это при выдаче паспортов, то навалили нам на головы невероятные, если думать трезво, исторические проблемы. Как писать в графе «место рождения» — Чкалов, когда имя этого города уже стерто с географической карты? Полуграмотные милиционеры, доверяясь нам, а с наших слов и тому, что Чкалов и Оренбург — это одно и то же, писали в графе «место рождения» — Оренбург.

В результате я родился в городе, которого в апреле 1945 года не существовало. И пребывал в полном незнании действительности со всей семьей на улице Пролетарской, «у Мишани и дочка ее Нюрки», как говорила моя мама. Здесь ей нередко приходилось

выслушивать от соседок-женщин, обездоленных войной: «Рива, ты пожила с Вароном (так они называли папу), прижила детей, теперь наша очередь». Но конечно же, мама никому не уступала очередь, безотлучно находясь рядом с папой и днем, на авиационном заводе №245, и ночью, работая во вторую смену в городской пекарне. А я, приклеенный к ее цицке, тоже, наверное, зарабатывал на двести процентов выработки, крича благим матом: «Кушать хочу!»

Понятно, что без благого либо иного мата я обходился по причине отсутствия словарного запаса, но без крика обходиться никак не мог. И в дневную смену, на 245-м авиационном заводе, и в ночную, в городской пекарне. Вот и пришлось оставлять меня дома, под присмотром бабушки Иды, Софы и Сильвы. Самый младший из этого квартета — Гриша — за мной не присматривал. Это за ним, родившимся чуть ли не вместе с войной — 25 июня 1941 года — нужно было присматривать. И конечно же, с тем же условием: чтобы не орал. А то... Да-да, в автобусе, когда они выбирались из Одессы в эвакуацию, тетки-попутчицы чуть ли не митинг устроили, чтобы выкинуть этого голосуна из автобуса.

— Немцы услышат, бомбу на нас сбросят.

Но повезло. Немцы летали высоко. Детского рева не слышали. Бомбу не сбросили. И Гриша мог себе позволить жить дальше, что и делал довольно успешно. Я впервые увидел его, если углубиться в воспоминания, позже, чем его маму Бебу. До сих пор, стоит зажмурить глаза, вижу ее, умирающую. Время? Начало 1947 года. Адрес? Рига, улица Большая Калею, 7, квартира 3. Лежит на кровати во второй комнате, где потом спала бабушка Ида. Тоскливо смотрит в потолок, запрокинув голову на подушке. Я сижу на полу, руки на коленях, и не могу взгляд отвести от тети, которой больно, хотя она и молчит, а не стонет. Признаться, я совсем маленький, годик с девятимесячным хвостиком, когда еще отчетливо помнишь о предшествующих рождению жизнях, а реалии настоящей проходят мимо, не обременяя память. Но поди ж ты... вклинилось в сознание и сопровождает до сих пор. Хотелось бы поглубже проникнуть во время, но — пас! Хотя знаю, что, родившись, я не подавал голоса, не кричал и не плакал, и мама бегала по врачам, выясняя: не глухонемой ли я? Но тут я подал голос, и все успокоились. Меня положили в люльку и усердно качали, лишь бы уже успокоился и замолчал. Папа вспоминал, что одной ногой он качал люльку, второй придерживал лапу сапожника, на которой мастерил об эту пору ботинки для домочадцев и на продажу. Продавал их на местном рынке под музыкальное сопровождение аккордеона. И думал о том, чтобы скорей вернулись те времена, когда аккордеон не будет служить приманкой для потенциальных покупателей обуви. И эти времена вернулись, но уже в Риге, и он вновь давал концерты, как прежде в Одессе. Или играл на танцах. На танцы меня, понятное дело, не брал. Я был слишком маленький, но маме рассказывал, как прошел вечер. Пусть я был слишком маленький для танцев, но для запоминания услышанного вполне созрел.

Однажды — а было это в послевоенном году — он рассказал, что когда играл в рижском Доме офицеров, летчики, увешанные орденами и медалями, попросили исполнить любимый ими «Марш авиаторов». Он и исполнил: «Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц. И в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ». А затем к нему подошел человек с армейской выправкой, новом гражданском костюме, в галстук синего цвета с белой крапичкой, под Ленина с известного портрета, и попросил спуститься с эстрадных подмостков и пройти в соседнюю с танцевальным залом комнату. Там он начал угрожать папе, говоря, что тот исполняет запрещенную партию и правительством музыку. Почему запрещенную? Не потому ли, что строчка «и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ» оказалась в июне 1941 года вовсе не пророческой, а совсем наоборот? Может быть. Может, и по иной причине. И наказание, пояснил человек в гражданском, за исполнение запрещенной музыки себя не заставит долго ждать. Но тут в комнату ворвались летчики, упростившие моего папу играть запрещенную с войны музыку, о чем даже не подозревали, сбивая немецкие самолеты. И накричали на гражданского,

что он мешает их празднику — Дню авиации, учрежденному постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 28 апреля 1933 года за номером 859. И утащили моего папу назад, на подмостки: «Играй, товарищ музыкант, всем врагам назло! Мы будем танцевать! А на посторонних в гражданском с мордой, что кирпича просит, не обращай внимания! Взяли Берлин, возьмем и их в оборот!»

Что ж, он учел пожелания летчиков. А представитель компетентных органов учел свои карательные обещания. И...

Мой папа болел. У него было воспаление легких, и он не ходил на работу. Тогда работа пришла к нему. Ему сказали:

— Арон! Ваши баки текут.

— Меня не было на заводе, — ответил папа.

— Но баки текут.

— Быть такого не может! — разозлился папа. И вместе с воспалением легких отправился на завод №85 ГВФ, во второй цех, к своей бригаде жестянщиков, которая и в его отсутствие запаивала баки не хуже, чем обычно. Иначе — просто-напросто — и нельзя было. Иначе — «вредительство» и суд, а затем десять лет тюрьмы без права переписки.

Кто хочет во вредители? Кто хочет под суд? Кто хочет в тюрьму?

Мой папа Арон не хотел. И никто из его бригады тоже.

Папа взял на проверку бак, который, по версии ОТК, был плохо запаян. И окунул его в «проверочную ванну» с водой.

Контрольная комиссия ждала заключения.

— Да, — сказал мой папа, — этот бак действительно течет. Вы правы.

Все облегченно вздохнули. Теперь они с чистой совестью запишут моего папу Арона во вредители, посадят в тюрьму на десять лет без права переписки и будут всю жизнь рассказывать детям, как разоблачили коварного «космополита-жестянщика», пособника Джойнта и разных империалистических разведок.

Но одного они не учли, облегченно вздыхая. Не учли они, что мой папа Арон родом из Одессы-мамы. И это не раз уже спасало ему жизнь, когда он раскрывал рот и начинал говорить, прибегая к неистощимым словесным запасам, почерпнутым у самого синего моря.

Мой папа Арон заморочил голову всей контрольной комиссии. Он наслаивал одну историю о Соньке — Золотой ручке, на другую, об Утёсове, а ту на третью — из жизни Мишки Япончика и прочих урок и налетчиков. Когда же контрольная комиссия потеряла от утробного хохота достойное человеческое лицо заодно с бдительностью, папа сказал, погружая второй бак в «проверочную ванну»:

— А этот, вот поглядите, не течет.

— Не течет, — согласились спецы из контрольной комиссии. Им хватало и единственного бака, признанного некачественным, чтобы записать папу во вредители и посадить на десять лет без права переписки.

Но не тут-то было! Промахнулись, не на того напали, простофили! Не заметили, как за общим разговором, за юморными прибаутками папа опустил в ванну тот самый первый бак, который самолично перед тем забраковал.

— Не течет? — вновь спросил он, собирая всю внутреннюю силу в кулак.

— Нет, с этим баком все в порядке! — заверили его снова.

И тогда он бабахнул кулаком по этому баку. И объяснил контрольной комиссии, чего стоит ее совесть. И подал заявление на увольнение с завода «по собственному желанию».

Однако в те времена «собственное желание» мало что значило. Вопреки ему можно было не освободиться от завода, а попасть куда-нибудь на подневольное жительство на Южный Урал в Соликамск, где прежде в концлагере находился мой дедушка Аврум. И начальник отдела кадров не подписывал папино заявление до 5 марта 1953 года, до дня смерти Сталина.

Пока Сталин не умер, папа все еще оставался на подозрении.

Когда же Сталин умер, подозрение во вредительстве было снято с папы. И ему разрешили уволиться «по собственному желанию».

Папа уволился. Жизнь, казалось, кончилась. Но жизнь — скажу по секрету — продолжалась.

Я повел своего друга по кличке Эдик Сумасшедший на примерку брюк к бабушке Иде на улицу Большая Калею, 7. В проходном дворе, где зимой мы покупали кругляки дров для печек, нас остановил остриженный под ноль паренек лет четырнадцати. В пиджачке и брюках в полоску. Такое одеяние носили малолетние преступники. Этот, по всей видимости, сбежал из детской колонии и надеялся поскорей устроить маскарад с переодеванием, чтобы милиция не распознала его в уголовной одежде. А как переодеться за одну минуту, когда ты не Райкин и стоишь в проходном дворе, а не на артистической сцене? Ответ прост, как дважды два — четыре. Если у тебя в руке пистолет — даже маленький, скажем так, дамский никелированный «Вальтер», — ты переоденешься с той же быстротой, что и Райкин на представлении. Главное, направить ствол в грудь постороннего человека и сказать: «Раздевайтесь!»

Когда мы с Эдиком Сумасшедшим услышали «раздевайтесь!», нам стало нехорошо.

И не потому, что жалко было расстаться с одеждой. Совсем по другой причине.

Нам внезапно показалось, что этот паренек желает сделать нас в глазах друг друга трусами.

Но он не на таких напал.

— Стреляй! — сказал я. — Да не промахнись.

— Стреляй! — сказал Эдик Сумасшедший. И добавил из песни: — Врагу не сдается наш гордый «Варяг». Пощады никто не желает.

Но парнишка не стал стрелять. И тогда Эдик дал ему в ухо. А я схватился за пистолет и попутно укусил пацана-налетчика за кисть руки.

Пацан-налетчик завопил от боли и разочарования в жизни. И побежал без оглядки.

А я с оглядкой — нет ли милиционера поблизости? — прицелился ему в спину и нажал на спусковой крючок. У меня было право на выстрел.

Но выстрела не последовало.

Я еще раз нажал на спусковой крючок.

И опять обошлось без выстрела.

В чем дело?

А дело в том, что ствол пистолета был заклепан.

Пугать нервных людей? Пожалуйста, годится на все сто процентов. Но ни на что более серьезное не рассчитывай.

Однако оружие есть оружие. Даже в заклепанном состоянии вид имеет устрашающий.

Поэтому...

Да, вы уже догадались. Бабушка Ида, как только обнаружила этот «Вальтер» у меня в кармане штанов, тотчас спрятала его, как сама выразилась, «подальше от греха».

А где это — «подальше от греха»?

Обратно правильно!

У нее под подушкой — там, куда она уже перепланировала Лёнькин пугач и Гришкину рогатку.

А меня она укладывала спать на кровать к дедушке Авруму. На сон грядущий он любил рассказывать истории из своей солдатской жизни. В его взводе имелось в наличии всего два еврея, он и Мойше. Причем, Мойше был слабак-слабаком. И дедушка, когда ходили в марш-броски, брал на свое плечо вторую винтовку — Мойшину. И тот шел рядом с дедушкой налегке, иначе не дошел бы до места атаки, где надо было наступать, примкнув штык, на супостата-немца. И наступал, и штык втыкал в пивное пузо врага, чтобы из него вылезли кишки. И радовался жизни и тому, что у него надежный товарищ в бою и походе, пока его не убили.

После его рассказов «за войну» не сразу можно было заснуть. А если заснешь, то привидится черт знает что! Однажды мне приснилась такая картина: стою я под могучей сосной с шершавой в продольных и поперечных разрезах корой. И с удовольствием писаю на ствол, чуть выше травы. С этим занятием в уме я и проснулся. Потрогал трусы с широкими раструбами, так называемые семейные. Сухие, сон не в руку. Или... как это сказать правильно? Не в письку? Пусть будет не в письку, подумал я, и вдруг почувствовал, что дедушкины кальсоны мокрые, будто их отдавали в стирку.

Что тут было! Мне лет шесть. Дедушке на полста больше. Кто, спрашивается, в такой возрастной комбинации способен описаться? Бабушка Ида постановила: «дедушка!» И доказательство у нее было убийственное: «Фима никогда не писался!»

Поверим бабушке. Честно говоря, я по сей день не знаю, кто описался. Но из моей головы не выходит давний сон: я стою под деревом и с удовольствием писаю на ствол. Но в яви ни одной капли не было на моих трусах. Мистика! Или пора все же реабилитировать дедушку?

Сегодня и дедушки Аврума нет, и бабушки Иды. И папы нет, и мамы. Нет и Софы.

Но есть мы — Сильва, я, Гриша, Лёня, Боря. А с нами память. И мое умение погружаться в прошлое. Да еще такое, которое жило-существовало до моего рождения.

— Алло! Третий глаз? Ты со мной?

— На проводе.

— Ну-с... Плиз — отворись!

4

22 июня 2016 года, в день 75-летия начала войны с фашистами, мою маму Риву доставили на скорой помощи в ашкелонскую больницу «Барзелей». Я с сестрой Сильвой были последними, кто застал ее еще живой. Она умерла 23 июня в 18.40. В возрасте 97 лет.

Часы живых, прошу,
с часами мертвых сверьте.
И вслушайтесь, и вслушайтесь
в их слитное звучанье.

Что ж, остается вслушиваться. И вглядываться. И думать о каких-то совершенно непонятных явлениях жизни и смерти, которые мы воспринимаем зачастую как обычные совпадения.

12 июня 2017 — ровно через год по еврейскому календарю — умерла в Кирьят Гате ее младшая сестра Софа Волос, талантливая аккордеонистка и преподавательница музыки, добрая душа и отзывчивый человек. Было ей 82 года. И обернувшись в прошлое, она могла бы многое рассказать из того, что довелось некогда услышать в раннем детстве. О старшей сестре своей Риве, о второй сестре Бебе, умершей в Риге в 1947 году.

Но судьба распорядилась по-своему.

Поэтому в первую годовщину со дня смерти мамы Ривы первое слово произнесет моя старшая сестра Сильва, а потом я доскажу своими словами то, о чем она не поведала.

Итак...

Сильва Аронес:

Моя мама Рива Вербовская родилась 4 декабря 1918 года в Одессе и жила с семьей на Средней улице, 35. Ее папа Аврум Вербовский в возрасте 18 лет добровольцем вступил в русскую армию и пошел воевать с немцами. С Первой мировой он вернулся домой с тяжелым ранением, но однако без всякой хандры и уныния, и тут же нашел себе невесту Иду Гинзбург, молодую портниху-надомницу, обшивающую своих многочисленных соседей.

Свадьба пела и плясала, как принято в Одессе. Но чтобы люди не очень

радовались от обилия пищи и выпивки, в семейное торжество вмешалась Октябрьская революция.

1917 год. Смерть за каждым углом. Голод. Нищета. И несчетное количество записных ораторов, питающие толпы измученных людей надеждами на светлое будущее.

А 1918-й? Что-то изменилось? Тот же голод, те же погромы, та же неуверенность в завтрашнем дне. Но... Изменилось! У Иды и Аврума Вербовских родилась первая дочка. Затем еще две — Беба и Софочка, которым молодая мама шила из разных тряпочек платьица и шапочки.

Ривочка училась в школе на языке идиш. Она была худенькая и подвижная девочка, что в Одессе не приветствовалось — в моде были толстушки. А в свободное время она занималась спортом — участвовала в соревнованиях по бегу. Однажды после победы в соревнованиях высокопоставленный представитель советской власти, второй секретарь ЦК КП(б) Украины Павел Постышев погладил ее по головке, чем она по-детски очень гордилась.

После школы Ривочка поступила в одесский медицинский техникум, где обучение велось на украинском языке. Зная идиш и украинский, с пациентами общалась на русском. По специальности должна была работать с роженицами и обучать их, как обращаться с младенцами. Моя тогда совсем юная мама могла сделать укол, поставить клизму или банки в случае простуды. Она еще не была замужем и, понятно, ни разу не рожала, но по роду службы должна была обучать взрослых женщин, имеющих по пять-шесть детей. Эти женщины над ней подтрунивали, но любили и называли ее Ривщюцу за быстроту и ловкость в работе.

Как-то раз она пришла обучать тетю Эню, жену глухонемого Боруха, как обращаться с новорожденным. У тети Эни гостил племянник Арон Гаммер — он тоже был урожденным одесситом, но в свои 24 года успел объехать весь Советский Союз, работая жестянщиком в разных местах, не только в Одессе, но и в Биробиджане, в Комсомольске на Амуре и даже в Москве.

Арон был высокий парень с рыжеватыми волосами и прекрасно играл на баяне. Он приглянулся Ривочке, и она зачастила к тете Эне для того, чтобы помогать ей ухаживать за малышом.

Арон Гаммер был довольно стеснительным, но ему понравилась Ривочка, и он пригласил ее в кино. Он любил фильмы с участием Чарли Чаплина, о чем позже часто рассказывал своим детям. В кино угощал девушку сладкими пирожками. Но Ривочка любила маринованные огурцы и помидоры, и молодой кавалер стал приносить ее любимые деликатесы.

В ту пору Арон работал на заводе — считался «трудовым элементом», что было в большом почете.

1 августа 1937 года Рива Вербовская и Арон Гаммер поженились.

Родители невесты предоставили им комнату, а сами пошли спать на кухню.

Молодые купили шестилампный приемник. Приобрели люльку, соски, пеленки в ожидании пополнения семьи.

И...

И не было границ их счастью...

Наивно, но что тут скажешь...

Тем более что дальше — война, эвакуация, бомбежки, работа на заводе в две смены, смерть новорожденной дочки Эмочки от воспаления легких в обмороженном уральском городе Чкалове (Оренбурге), рождение Фимочки...

Ефим Гаммер:

Тут я перенимаю эстафету от Сильвы. И включаю свою память.

Сильва родилась, как это принято в Одессе, через девять месяцев после свадьбы. 13 мая 1938 года. Радости было много, света прибавилось в небе и воды в Черном море. Так что на радостях Сильвочка росла не по дням, а по часам, словно предчувствуя, что

вскоре разразится война, и уже, кроме голода и холода, не будет никаких достойных приобретений.

«25 июня 1941 года родился Гриша, — вспоминает Сильва. — Его мама Беба была в родилке, и моя мама Рива, старшая сестра Бебы, во время бомбежки носила туда передачи — еду для Бебы. Она пряталась, прижималась к зданиям, но каждый день ходила в роддом.

На 8-й день Гришеньке сделали обрезание. А затем...

Помню, как мы все уезжали на автобусе — вся семья: баба Ида (дед Аврум был в заключении, в Соликамском лагере), Арон, Абраша, Рива, Беба, Софа, Сильва и новорожденный Гришенька».

От себя могу добавить: первая «серьезная бомбежка» Одессы, как утверждают специалисты-историки, была проведена ровно через месяц после начала войны. Но как тогда быть с душевными переживаниями моей мамы, говорившей, что передачи Бебе она носила под бомбежками? Не следует ли заключить, что на Одессу еще до «серьезной бомбежки» сбрасывали с воздуха мины? А бомбы там летят с неба или мины, моей маме — медсестре, а не саперу по образованию — было до лампочки, важнее — сохранить жизнь и узелок с едой, что несла в роддом.

Итак, доверимся маме... А значит, бомбежки. Одесса на колесах. Эвакуация. Бесконечные перегоны. Южный Урал.

В первый класс Сильвочка пошла в Чкалове, портфель ее разбухал от пятерок, переполнявших тетради по чистописанию, и мама Рива смотрела на малюсенькую дочку с удовольствием, полагая, что Сильвочка тоже поступит в медицинский техникум и станет дипломированной медсестрой, а то и врачом. Лично ей, по вине обстоятельств, пришлось отказаться от продвижения по медицинской стезе. Война шла не только на фронте, но и в тылу, и для разгрома врага страна потребовала переквалифицироваться из медсестер в жестянщики, что Рива Гаммер и успешно сделала. Благо под боком — в прямом и переносном смысле — находился ее муж Арон Гаммер. В данный исторический момент он возглавлял бригаду жестянщиков, которая вкалывала в три смены на 245-м авиационном заводе, изготавливая подогревы для бомбардировщиков дальнего следования, уютивших крыши Берлина.

Подогревы были личным изобретением Арона Гаммера, и это радовало Риву, так как на бригаду полагалась в заводской столовой одна тарелка стахановского супа, где крупинка крупинку догоняла, не давая сдохнуть с голода. Словом, набирались сил для трудовых рекордов. И что? Думаете, не ставили их? Ставили, и еще как, выполняя на триста процентов производственные нормы. Рива при этом успела и забеременеть. Раз, потом второй раз. Сначала она родила Эммочку. Но Эммочка, так и не дождавшись, когда ее отлучат от груди, чтобы жить впроголодь на «хлебных карточках», умерла от воспаления легких. И тем самым выправила для меня вакансию. Я не задержался и появился на свет в ночь начала штурма Берлина 16 апреля 1945 года, ровно в тот час, когда вспыхнули сотни прожекторов и войска двинулись в атаку, в ритме которой я и живу до сих пор.

Самое удивительное со мной было в том, что я не плакал. Родился без плача, и дальше — все первые дни не подавал ни звука. Наверное, ждал, чем окончится битва за Берлин. Мама Рива бегала по врачам, спрашивала:

— Что же будет? Он ни слова не говорит ни на каком языке. Будто не из Одессы.

— Мы тут все не из Одессы, — отвечали врачи.

— Но вы ведь говорите, — донимала их мама.

— Говорим, потому что вы нас спрашиваете.

Мама поняла и спросила меня:

— Фимочка! Ты уже будешь один раз говорить?

Я сказал:

— Угу! — и с тех пор рот не затыкаю.

Мама была счастлива: Фимочка говорит!

Папа был счастлив: Фимочка говорит еще нечленораздельно, никто его слов не извратит и не напишет донос.

Дедушка Аврум, папа моей мамы Ривы, был тоже счастлив: ему было теперь с кем поговорить по душам.

Только что его, инвалида Первой мировой войны, попросившегося добровольцем на фронт, освободили из ГУЛАГа, куда он попал, как и многие, ничего преступного не совершив — просто по оговору. В лагере, когда он ковал Победу подручными средствами — пилой и топором, уголовники обрушили на него подрубленное дерево, сломали ногу, и теперь он едва ковылял. Но все же был рад: ковылял ведь на свободе, а не за колючей проволокой. И охотно вышел бы на парад Победы, если бы его позвали.

Но дедушку на парад не пригласили, вместо этого его направили вохровцем на охрану 245-го авиационного завода, в слесарном цеху которого работала вся наша семья. И он вместе со всеми нами отбыл в Ригу, где 245-й авиационный завод был переименован в 85-й ГВФ и разместился в корпусах бывшего винно-водочного предприятия, адрес: ул. Анри Барбюса, 9.

Здесь в районе концлагеря смерти Саласпилс и на товарной станции Ошкалны прибывшие с Урала рабочие разбирали штабеля дров с вмерзшими между бревен трупами людей, тех, кого фашисты не успели сжечь перед бегством из Риги.

Здесь, в большой нашей одесской семье, уже имевшей в моем лице урожденного уральца, появился и первый рижанин. Им, к собственному недоумению, оказался Лёня Гросман, весь из себя чернявый, как смуглянка-молдаванка. Очевидно, в память о Чёрном море его и сотворили на берегах Балтийского. Мы с ним представляли разительную пару — я блондин, он брюнет, мои глаза — пронзительно голубые, его — отборный чернослив. Не похожи, но братья не разлей вода. Впрочем, эта привязанность объяснима. Он мне не только двоюродный брат, но и брат молочный. Лёнина мама Беба Гросман умерла в Риге в феврале 1947 года, и моя мама Рива, ее старшая сестра, отлучив уральского молодца от груди, выкормила рижского младенца своим одесским молоком, чтобы он был здоровым.

А выкормив, стала следить, чтобы в учебе он не отставал от меня. Он и не отставал. Учился, учился и выучился в инженеры. У нас все выучились. Причем стахановскими методами, досрочно. Я, к примеру, на один год раньше положенного срока закончил Латвийский государственный университет, отделение журналистики, установив своеобразный рекорд нашего высшего учебного заведения: за один день сдал восемь экзаменов и зачетов. Вы спросите: «К чему такая спешка?» Отвечу: в моих ушах с первого класса стояли мамины слова: «Пока ты донесешь до меня свою пятерку, я уже умру от ожидания».

Этого я допустить не мог. Личное желание подкреплялось убежденностью, что мама у нас правильная. Каждому бы такую маму! Да и папу!

Свою трудовую деятельность, как вспоминал с долей юмора мой папа Арон, он начал едва научившись ходить. Лет семи он уже мастерил хлебные формы в знаменитой булочной Бенчика. Почему знаменитой? Потому что за ту же маленькую цену у Бенчика можно было купить самый большой в Одессе хлеб. Откуда пошел этот слух? Слух этот шел по Одессе на ногах моего юного папы. Бенчик оплачивал его труд не деньгами. Хлебом. Для подручного своего Арона он выпекал особую буханку, размером с упитанного младенца. И когда папа направлялся в обнимку с пахучей сдобой домой, то все встречные спрашивали у него:

— Где в этой жизни, мальчик, ты достал такой большой хлеб?

— У Бенчика!

Что и говорить, реклама — двигатель торговли. И покупатели не обижались на Бенчика и тем более на моего смекалистого папу, убеждаясь в булочной: за маленькую цену большого удовольствия не увидишь.

В тринадцать лет моего папу Арона, в нарушение всех возрастных норм, приняли в профсоюз и назначили бригадиром жестянщиков. В двадцать один, в тридцать четвертом, он уже работал в Кремле. Да-да, в том самом, где никогда не гас свет в окне товарища Сталина, как писали стихотворцы.

В Кремль папа попал будучи проездом в Москве. В 1933-м, в пору очередного голода в Одессе, он повез свою старшую сестру Бетю в Биробиджан. Там намеревались

создать родину для теплокровных евреев непрошибаемого по крепости мозгов Советского Союза. Если Россия — родина слонов, справедливо задавались вопросом башковитые аппаратчики, то почему медвежий край не родина для евреев?

«Родина! Родина!» — закричали в Одессе люди еврейской национальности, состоящие из супового набора — костей, сухожилий и хрящей. И кинулись на берега реки Биры за толикой калорий, чтобы нарастить мясо на скелетном каркасе тела.

Оставив Бетю обживать в таежной глубинке, мой папа Арон двинулся на заработки в Копай-город — так по-простецки называли дальневосточники Комсомольск-на-Амуре. Наяву мечта зодчих Светлого будущего представляла собой всего лишь землянки и великое множество замерзающих повсеместно ударников труда. Папа сразу сообразил, что пламенные речи вербовщиков — ничто по сравнению с «буржуйками». И стал изготавливать железные печки с выходной трубой-дымоходом, обогревать Копай-город, уснувший в глубоких снегах. В знак благодарности за выживание комсомольская стройка одарила его брюшным тифом и, погрузив бесчувственного баяниста-жестянщика в эшелон, отправила по рельсам умирать в неизвестном направлении. Тут папе и подфартило. Он и впрямь сделал остановку в самой настоящей коммуны, где все бесплатно. Но предварительно очухался от тифа, привычно победив нутряной жаждой жизни отупляющий зов смерти. Попав ненароком в Москву без копейки в кармане, он с попутчиком своим Стёпкой приступил к поискам работы. На доске объявлений прочитали: «Требуются кровельщики-жестянщики».

Обратились по адресу.

Их привели. Посадили в машину с конвоиром. И доставили в Кремль. В Кремле сопроводили на чердак. И там, на чердаке, доверительно сообщили: «Крыша у нас поехала. Когда сбрасывали царского орла со шпиля, он пробил дырку в кровле, ее не заделали, вот крыша у нас и поехала». Папа внимательно выслушал кремлевского завхоза. И согласился: крыша у них действительно того... Это надо же, крыша у них, почитай, поехала прямиком с семнадцатого года, с самой революции, когда скидывали орла наземь, а спохватились только сейчас и бросились на поиски специалистов. Излишне говорить, мой папа был большой специалист по кровельному делу. В Одессе с тридцатых годов жестяная крыша его работы украшает Первое артиллерийское училище, если ее еще не украли. Наш фамильный знак можно встретить в Кракове и Варшаве, на островерхих кровлях костелов. Увековечен он дедом моим Фроимом, а до него и прадедом Арн-Бершем. Еще в XIX веке. Эти люди являли собой настоящих мастеров молотка и ножниц. Они выезжали из Одессы на трудовой променад в Польшу, получая, как некогда маститые живописцы Возрождения, персональные приглашения из мэрии или от именитых горожан. Вот и в Москве все вышло по правилам. И мой папа Арон, не нарушив семейных традиций, благосклонно принял приглашение отремонтировать крышу Кремля не от кого-нибудь, а от самого... Имя, честно сказать, он не помнил. Да и кто вспомнит теперь этих репрессированных завхозов Советской власти?

Распрощавшись с работодателем, мой папа приступил со Стёпкой к починке прохудившейся кровли. Работали с огоньком. Стёпке от того огонька прикурить захотелось. Ан не прикуришь, когда папирос нет в наличии. Тут и время обеденного перерыва пришло. Кушать хочется, а денег нет.

Что делают люди, когда им хочется кушать? Идут в столовую. Даже без денег.

— Может, какой газеткой перекроемся и хлеба пожужим на халяву, — предложил Стёпка, выманивая папу моего Арона с чердака на аппетитный запах.

Столовую нашли. Газету тоже. Перекрылись газетой, будто шибко грамотные, и давай потихоньку хавать. Тут подбегает к ним официантка, вся такая упитанная, в кружевном передничке, с бархатным голоском.

— Что вам подать, того-этого? Не гоже хлебом хрумкать по-сухому, без сопровождения борща с капустой и мозговой костью.

Раскраснелся папа мой Арон от стыда. Раскраснелся Стёпка.

— Денег, дамочка из пищеварительного треста, нема у нас. Ну ни копейки грошей!

— А денег и не треба, — расщедрилась девица. — У нас тут полная коммунизма. Мы и без грошей кормим от пуза.

Стёпка тут же заказал на двоих. От пуза. И от щедрот дарового коммунизма. Чего только он не заказал, вспомнить — удавиться можно в последующие голодные, а они всегда при советской власти голодные, годы. И борщ заказал. С капустой и мозговой костью. И котлет заказал. Картошку в мундире. И репчатый лук. Чай заказал. Конфет-монпансье заказал. Коробок спичек. И четыре пачки шикарных папирос. Все заказал, что душе угодно.

Помнится, пресекал я папу на этом царском заказе и спрашивал, почему он вернулся в Одессу, в отличие, скажем, от Ойстраха и Утёсова, Ильфа и Петрова, Маргариты Алигер и Семёна Кирсанова? Почему не остался жировать на бесплатных хлебах в хозчасти Кремля, куда был приписан в ходе реставрации поехавшей у большевиков крыши?

И он мне отвечал, разумно и обстоятельно:

— А где бы тогда был сегодня ты? А Сильвочка? Боренька? И кто бы женился на твоей мамочке Ривочке, если бы я остался в Кремле? Брежнев? Да и жив ли я был бы по тем погодным условиям, если бы остался в Кремле? Может быть, со всеми своими музыкальными и техническими способностями я бы стал не братья Покрасс и не Микоян—Гуревич, на военном языке МИГ, а пропал бы на темных задворках ГУЛАГа, как Мандельштам. Кто знает? А так я знаю, что благодаря изобретенным мной подогревам бомбардировщики, не обмерзая, долетали на большой высоте до Берлина. И пели Гитлеру небесную-заупокойную: «Нам сверху видно все, ты так и знай».

В 1977 году мои родители уехали из Риги в Израиль, в Кирьят-Гат.

Здесь папа, неожиданно для себя, почти в восьмидесятилетнем возрасте стал снова из баяниста-аккордеониста композитором.

Как известно, все новое — это хорошо забытое старое. Памятуя о том, мой брат Боря, саксофонист, кларнетист и оранжировщик, создав Иерусалимский диксиленд, переозвучил папины фрейлехсы тридцатых годов на самый современный лад. И повез их после триумфального представления на сцене Иерусалимской академии музыки, где преподает джазовое искусство, на международный фестиваль в Сокраменто, США.

Папа, если серьезно, в его тоне, говорить по существу проблемы, рекомендовал маэстро Боре сделать пересадку в Одессе, там лучше поймут и оценят музыкального младенца шестидесяти нержавеющей лет. Оно и понятно. По его, папиным, убеждениям, на Дерибасовской, где открылась пивная, играли на трубе, медных кастрюлях дедушки его, Арн-Берша, производства, и даже на двуручной пиле — задолго до Нью-Орлеана. И причем не как-нибудь натошак, а в сопровождении диких кошачьих визгов. В Америку же все это музыкальное богатство завезли штатовские моряки, не знающие при наличии воровских замашек, что еще такое ценное можно украсть в городе, называемом Жемчужиной у моря, когда в нем уже побывала на променаде Сонька — Золотая ручка.

Но факт есть факт. На творческом мосту, перекинутом через десятки лет, каким-то мистическим образом, в соитии еврейских мелодий и современных ритмов, родилось новое джазовое направление «Дикси-фрейлехс», и несло оно на себе, как и древние крыши Кракова и Варшавы, фамильный наш, отличительный знак. Столь же мистически, не иначе, папины фрейлехсы, прозвучав первый раз над Сокраменто в 1991 году на всемирном марафоне диксилендов, были восприняты публикой просто-напросто восторженно и затем, согласно проведенному опросу, признаны там самыми популярными композициями, своего рода открытием фестиваля. И слушатели не раз и не два вызывали на бис новоявленного по их представлениям композитора, преисполненного творческой смелостью и молодым задором. А он, находясь на пенсионном довольствии в Кирьят-Гате, узнавал об этих вызовах со слов Бори и его оркестрантов. Так было в 1991 и в 1993-м, в 1996 и в 1998-м, вплоть до 2001-го года, когда папа, и захоти даже выйти на приветствия, не мог уже осуществить это позднее желание... по вполне уважительной причине.

Он умер девятого мая, в День Победы, ровно через сорок лет после моего дедушки Аврума, не дожив всего трое суток до своего дня рождения — до восьмидесяти восьми лет. И покоится невдалеке — по земным и небесным понятиям — от своей жены Ривы и от Иды Вербовской, жены дедушки Аврума и моей бабушки.

Воля небесная? Воля земная? Или скрытая воля войны?

5

С определенной, но не объяснимой разумом закономерностью канувшая в давнее прошлое война с фашистами определила, что первой и последней ее жертвой являются одесситы. Последней можно назвать мою маму, умершую ровно через 75 лет после начала войны. А первой?

Помните слова из некогда популярной песни: «22 июня, ровно в четыре часа...»? В нашем сознании ложно укоренилось, что война между нацистской Германией и Советским Союзом началась, как по звону будильника, точно в четыре утра.

На самом деле стрелку часов надо отодвинуть на пятнадцать минут назад. Лишь в этом случае она остановится на той отметке, когда прогремели первые залпы и человеческие судьбы превратились в песок, гонимый ветром стихий.

В 3 часа 45 минут капитан латвийского торгового судна «Гайсма», прибывший из Одессы для «укрепления» Латвийского торгового флота Николай Дувэ передал радиogramму в пароходство с сообщением о том, что его атакуют немецкие торпедные катера.

Груженная лесом «Гайсма» шла Балтийским морем из Риги в Германию. Курс был хорошо изучен. На вахте стояли опытные моряки, не на словах знающие, что в пору весенних штормов много мин, поставленных еще в первую мировую войну, сорвало с якорей. Инструктируя их, капитан Дувэ говорил: «Сейчас необходимо быть особенно внимательными, чтобы невзначай не напороться на смерть. Смотрите в оба! Ни на секунду не теряйте бдительности!»

Неизвестно, знал ли капитан Дувэ несколько больше, чем простые матросы. Однако если следовать фарватером воспоминаний старейших латвийских мореходов, то перед мысленным взором возникает такая картина: накануне войны в пароходстве муссировались слухи о том, что немецкие подводные лодки ставят минные заграждения у Лиепаи и в Ирбенском проливе. Эти слухи, естественно, не вызывали прилива беспечности, а давили на психику, нервировали людей.

Незадолго до смены вахт впередсмотрящий заметил на горизонте четыре быстроходных катера. На их гафелях развевались военно-морские флаги Германии.

— Немцы! Немцы! — закричал он. — Атакуют!

Стремительное сближение, боевое развертывание и беспощадный, почти в упор огонь из крупнокалиберных пулеметов по безоружному судну. Следом за этим две торпеды. Первой разворотило корму, вторая угодила в борт «Гайсмы».

Крики, стоны, матерная брань. И небывалая беспомощность.

Оставшиеся в живых спустили на воду уцелевшую шлюпку. И на веслах двинулись к спасительному берегу. Самой близкой латвийской точкой был портовый Вентспилс. На него, вернее, на призывно мигающий маяк Ужава, подчиняясь предсмертному приказу тяжело раненого капитана Дувэ, и держали направление.

Командование шлюпкой взял на себя «чиф» — старший помощник — Ян Балодис. На кормовом руле сидел матрос Наум Гольдин. Они привели суденышко к маяку Ужава, южнее Вентспилса. Здесь в лесу и похоронили капитана Дувэ.

Начинался первый день войны. Войны, не имеющей аналогов в истории по количеству безымянных могил и невинных жертв. До знаменитой, хотя и избирательно лживой рубрики советских газет — «Никто не забыт и ничто не забыто» — было далеко, как до звезд.

Свет далекой звезды...

Он вспыхивает в моем воображении здесь, в Иерусалиме. И уводит в далекий 1970 год, когда мы, сотрудники бассейновой газеты «Латвийский моряк», готовили к изданию книгу «В годы штормовые».

1970-й... Могила капитана Дувэ. Каменное надгробие. Фамилия. Имя. Это все, что известно о нем.

Странно, но никто не мог вспомнить его отчества. Чаще вспоминали прозвище «Дов» («медведь» на иврите), порожденное, скорее всего, фамилией.

Тогда, в 1970-м, собирая материал о гибели парохода «Гайсма», я встретился в Ужаве со смотрителем маяка Александром Цыганковым. Наша беседа началась с пикантного эпизода: оказалось, я нахожусь не просто на маяке, а в закрытой зоне, куда без специального разрешения соваться нельзя. В Вентспилсе, в кассе автовокзала, когда я брал билет до Ужавы, никто меня об этом не предупредил. В самой Ужаве, указывая мне лесную тропку к маяку, меня тоже не предостерегли от неприятностей. И я, поднимаясь по крутой лестнице маяка, направился напрямик в комнату смотрителя. Разумеется, Цыганков полностью доверял моим журналистским удостоверениям литсотрудника «Латвийского моряка» и корреспондента рижской вечерней газеты «Ригас Балсс» — «Голос Риги», выходящей в свет на двух языках, отдельными тиражами, на русском и латышском. Однако и доверяя, — пояснил, разводя руками, — обязан был проинформировать ближайшую погранзаставу о появлении в расположении его, надо полагать секретного, объекта постороннего человека.

Ближайшая застава, как выяснилось через несколько минут, жила по старому воинскому принципу, мне знакомому по действительной: «солдат спит, служба идет». Цыганков звонил по вертушке и четверть часа, и две четверти. Ответа никакого. Между звонками мой новый знакомец порадовал меня тем, что негласное появление в районе маяка сродни попытке перехода границы и влечет за собой наказание сроком... но может быть приравнено и к элементарному нарушению паспортного режима, допущенного по незнанию, а это несколько смягчает вину и оборачивается всего-навсего штрафом размером.... В моем случае, как представлялось ему, наклеивалось всего лишь нарушение паспортного режима. Следовательно, мне не стоит огорчаться, тем более что я первый на его памяти журналист, добравшийся через все заслоны до могилы капитана Дувэ, чтобы запечатлеть ее на фото пленке — «в назидание потомкам и читателям».

Покончив с успокоительной эквилибристикой со сроками и штрафами, Цыганков предоставил мне всю информацию, какой располагал о капитане Дувэ. Самые печальные предположения оправдались: смотритель Ужавского маяка знает не больше моего.

Капитан Дувэ прибыл в Ригу из Одессы для так называемого «укрепления» латвийского торгового флота. Было это в 1940 году, вскоре после вступления Красной Армии в Латвию и провозглашения ее советской республикой. Почему именно в сороковом понадобилось «укреплять» флот прибалтов — исконных мореходов, внуков викингов — мы с Цыганковым не обсуждали.

Избегая риторических вопросов, мы направились через лес к могиле капитана Дувэ. Холмик. Серый камень. Звездочка на остроконечной пирамидке. И цветы — небольшой букетик — ровно столько, сколько приносит сюда время от времени Цыганков.

Я сделал несколько снимков. И мы простились.

На обратном пути к автостанции меня нагнал «газон» пограничников: дозволился-таки Цыганков до одной из «спящих» застав. Молодой офицер, старлей в щеголеватых сапожках, проверил мои корочки, убедился — не шпион и, отдав честь, сказал: «Сорок суток шагать ради нескольких строчек в газете. Топай себе. Все в порядке».

Жаль, не был я тогда израильтянином. Попросил бы тремп, чтобы подвезли. Думаю, это избавило бы меня от последующих неприятностей. Но израильтянином я еще не был. И влип в довольно глупую историю, в которой «срока» и «штрафы» из нелепицы смотрителя маяка обрели внезапно жизненные очертания.

На станции Ужава, когда я собрался ступить на подножку рейсового автобуса, меня нагнал другой «газон» пограничников. И до второй «спящей» заставы дозволился старательный Цыганков. На сей раз патруль возглавлял майор, служака серьезный, лет

сорока с лишним. Он внимательно сличил мою подозрительную физиономию — борода, усики, длинноволосая битловская причёска — с фотографиями на двух журналистских удостоверениях — «Латвийского моряка» и «Ригас Балсс». И вдруг спросил у толпящегося поблизости местного люда: «А существуют ли такие газеты в наличии?» Майору простительно. Его заставка подписывается на «Красную звезду» и «Страж Балтики».

А местному люду? И вдруг мне стало особенно «весело». По внешнему виду местного люда я осознал: слава «Латвийского моряка» и «Ригас Балсс» ещё не достигла этого рыбацкого поселка, выловленную рыбу здесь заворачивают в другие газеты, родом из Вентспилса...

В роковой верности своей догадки я убедился тотчас. Из группы людей выступил какой-то услужливый человечик и, воровато озираясь по сторонам, сказал майору: «У нас нет таких газет. Это шпион», — указав на меня пальцем.

Да-да, назвал меня шпионом. И честно признаюсь, от этого заявления пахло чем-то паленым. Я ощутил себя в такой же ситуации, как некогда экипаж парохода «Гайсма», вероломно атакуемый теми же немцами, которым везет строительный лес.

«Это шпион!» — повторил услужливый человечик и протолкнулся в автобус. Следом за ним — шмыг-шмыг — и остальные, подальше от греха.

Автобус закрылся от меня, желающего подняться на ступеньку, двустворчатой дверью. И рванул в наступающую темноту.

Пограничники обыскали меня. Ничего особенного не нашли. Два газетных удостоверения. Тридцать рублей. Командировочное предписание. И фотоаппарат «Зенит», подозрительно торчащий — припрятан, что ли? — под полкой куртки. Поди объясни им, что я всегда держал фотоаппарат под полкой, что позволяло мне пользоваться им как скрытой камерой во время поездок.

Майор созвонился со своим начальством. Начальство майора — с Ригой. Рига — с редактором «Латвийского моряка» Яковом Семёновичем Мотелем. (Мотель был хорошо известен в Риге. И пользовался полным доверием. Журналист неумной энергии, он, как о нем шутили, «на одной ноге обскакивал всех своих конкурентов по репортерскому цеху». Почему на одной ноге? В 18 лет, в Севастополе, при штурме Сапун-Горы, он был тяжело ранен, потерял ногу. И с тех пор, будучи инвалидом войны, успевал на своей култышке действительно «обскакивать» многих журналистов, пока не сел в кресло редактора «Латвийского моряка».) Яков Семёнович Мотель, отвечая на «кагебешенный» запрос, подтвердил, что направил корреспондента, меня то бишь, на Ужавский маяк. И побожился честным партийным словом, что ни он, ни я, ни мы оба не догадывались о том, что сей объект находится в пограничной зоне. Ему поверили. Мне всобачили штраф за нарушение паспортного режима. Пленку арестовали, а потом, конфисковав часть проявленных кадров, прислали в редакцию — печатайте снимки себе на здоровье, украшайте газетную полосу.

Так в «Латвийском моряке» появился репортаж об Ужавском маяке и смерти капитана Дувэ.

А потом — командировка в Одессу. Встреча с работниками Черноморского пароходства, со зрителями Морского музея, с редактором «Моряка», газеты, ставшей легендарной после выхода в свет книги Константина Паустовского «Время больших ожиданий». Казалось бы, там, в городе, где прежде жило три поколения моих предков, где и я должен был родиться, если бы не война и не эвакуация на Урал, я легко отыщу следы капитана Дувэ. Но... Первый город-герой тоже не сохранил в памяти первую жертву войны. Однако в Одесском музее морского флота мне дали понять: это скорей всего потому, что Николай Дувэ — не коренной одессит, он родом из Ленинграда, там и надо искать его корни. А на Чёрное море он был командирован по службе точно так же, как впоследствии — в 1940-м — в Латвийское морское пароходство.

«Никто не забыт»?

На надгробии капитана Дувэ выбита дата смерти — 22 июня 1941 года.

Но сохранилось ли ныне то надгробие?

6

Странное ощущение накатывает на человека, когда он видит — вокруг люди без памяти. Любому из них ведомо: каждый день — последний. То, что происходит сейчас, завтра уже будет занесено песком времени. И если не сохранить это в себе, то потом жди вещего сна, как некогда египетский фараон Тутмос, получивший божественное указание откопать Сфинкса. История мистическая, хотя и в меру забавная. Еще до коронации, туристического моциона для, он побывал в Гизе и ночевал, не ведая о том, поблизости от Сфинкса, погребенного под вековой толщей песка. Во сне ему привиделся Сфинкс, и он услышал: «Подо мной лежит знание о сотворении нашего мира. Откопай меня и станешь фараоном». Кто же ослушивается вещих снов? Тутмос откопал Сфинкса и стал фараоном, но до знаний о сотворении нашего мира так и не добрался.

Мне же в Одессе хотелось откопать память о Николае Дувэ, но не получилось. Однако... В Морском музее, разговорившись со стареньким, заросшим морщинами смотрителем, внезапно обнаружил, что в далекой молодости, в середине тридцатых годов, он отплясывал с девушками в парке Шевченко под баян моего папы Арона. А еще раньше, живя на Средней, был знаком с моим дедушкой Аврумом Вербовским. И как-то, даже не заметив этого, мы обратились в прошлое — «А помните? А знаете?» — в те годы, куда вести может только третий глаз, будь он встроен в нашу голову. Впрочем, и без помощи третьего глаза, опираясь на воспоминания близких, я способен извлечь из песка временных напластований прошлое моих родных и воссоздать жизнь всех трех поколений предков-одесситов.

Аврум Вербовский, отец моей мамы Ривы, родился и вырос в Одессе, на Молдаванке, по соседству с Мишкой Япончиком, еще в ту пору, когда тот звался по имени Мойше-Яков, по отчеству Вольфович, а по фамилии Винницкий. Они иногда встречались, говорили друг другу «здрасьте вам». И мой дед уходил от Мишки Япончика налегке, без сапог, в тапочках на босу ногу.

Не подумайте дурного. Мой дед Аврум торговал сапогами, а Мишка Япончик был его клиент, щедрый на шутку и револьверную пулю. Они жили в одном квартале, на расстоянии пистолетного выстрела, но в 1914 году, когда грянула Первая мировая, оказались на разных фронтах. Мишка по-прежнему «воевал» в ночных отрядах одесских налетчиков, а мой дед Аврум, тогда 18-летний парнишка, пошел добровольцем в русскую армию, чтобы бить немца.

Мой дед был настоян на шутке, как одесская шутка на порохе. Но он не понимал юмора обычного, без летального исхода. Это его и губило.

В пятнадцатом году он не понимал, почему это вдруг взятый им в плен немец оказался евреем и взмолился к своему Богу, чтобы Он — Бог пленного и моего деда Аврума — покарал русского лазутчика.

Мой дед отказался допрашивать пленного. Он не хотел, чтобы Бог немецкого солдата иудейского вероисповедания покарал его «на службе Царю и Отечеству».

Немецкого солдата иудейского вероисповедания допрашивал — во имя раскрытия пресловутой военной тайны — однополчанин моего деда Микола Баранюк.

Микола Баранюк не был антисемитом. Наоборот, он даже любил «жида», если это был *его* «жид».

— Тебя, Аврум, я никогда не пустил бы в расход, — говорил моему деду Микола Баранюк, чистая своя трехлинейка. — Потому как ты жид *мой*. А немецкого жида я всегда расстреляю в охотку. Потому как он жид *вражий*.

Мой дед по безысходности верил Миколу на слово и думал, что для него — жида своего полка — лучше грудь в крестах, чем голова в кустах.

В шестнадцатом году он не понимал, почему его, раненного в бою солдата, не желает лечить военфельдшер Приходько. Мой дед Аврум стоял перед ним в походном лазарете, держа на весу простреленную в локте руку. Боль накатывалась на него

волнами и отступала вслед за огневым валом на поле боя, затихая после очередного залпа орудий. Ему, истекающему кровью, трудно было уразуметь меж обморочных приступов слабости, что военфельдшер Приходько не из его полка, и посему «гуляй, откуда пришел», — категорично, обжалованию не подлежит.

Мой дед не принимал дурацких шуток. Левой, невредимой рукой он схватил табуретку и обрушил ее на голову военфельдшера Приходько.

И они легли рядом, в обнимку, побратавшись кровью, чтобы потом, по завершении наступательных операций, принять на госпитальных койках награды за ратные подвиги из рук высочайшего начальства из царевой свиты.

В семнадцатом году мой дед Аврум не понимал, почему отныне его враги — не супостаты-немцы, а евреи, они же — большевики. Он слушал речь какого-то поручика Мюллера, присланного для агитации из Петербурга, и никак не мог уловить связи между врагом внешним и врагом внутренним.

Внешнего врага мой дед знал в лицо с четырнадцатого года. Из своего винтаря он вылил ему ведро крови.

Внутреннего врага он не знал. О большевиках, правда, кое-что слышал. Из анекдотов. А что касается евреев, то хоть Меер Завец и обжулил его на толчке, все равно по вредности своей гадючьей он не шел ни в какое сравнение с немцем.

Три военных года подряд моему деду Авруму, призванному с одесского базара в действующую армию, внушали такую «любовь» к немцу, что его трехлинейка ни разу не дала осечки. И вдруг — нате вам! — враг уже вовсе не дрянь-немец, а дрянь-еврей.

В мозгу моего деда никак не укладывалось, что он враг самому себе. Немцу — да! Себе? Боже упаси! Мюллер, митингующий перед толпой вооруженных солдат, был немец. Мой дед Аврум, вылавливающий на себе угрюмые, настороженные взгляды однополчан, был еврей. Из двух врагов — по закону войны — в живых остается тот, кто первым спустит курок. Мой дед Аврум спустил курок первым.

А потом? Потом сидел под замком в ожидании расстрела. Он ждал смерти. А пришла советская власть.

Советская власть выпустила солдата из-под замка, чтобы он воткнул винтовку штыком в землю. Мой дед Аврум вернулся в Одессу — торговать сапогами. На толчке он встретил Меера Завца, и они помирились, чтобы рассориться вновь. Меер Завец, полномочный представитель новой власти, стал комиссаром торгового ряда и назвал моего деда «нетрудовым элементом».

Мой дед Аврум не понимал таких словесных новшеств. Он продавал сапоги. И считал, что его семья живет на трудовые доходы.

Но Меер Завец сказал ему: «нетрудовой элемент». И Меер Завец получил по зубам, чтобы щеголять согласно своей высокой должности золотой коронкой.

Меер Завец щеголял золотой коронкой и держал на моего деда большой здоровый зуб. Как-то раз он оцепил базар чекистами, чтобы лишить родную Одессу сапог, костюмов, швейных машин «Зингер», зажигалок, букинистической литературы, самогонных аппаратов, презервативов, птичьего молока.

Мой дед Аврум вырос на толчке, как и Меер Завец. Мой дед Аврум тоже знал все ходы и выходы с базара. Меер Завец не лишил родную Одессу контрабандного товара. Но лишил себя второго зуба — того большого, здорового, который держал на моего деда. С тех пор Меер Завец щеголял двумя золотыми коронками, а мой дед Аврум — железными наручниками.

Советская власть поставила моего деда к стенке, чтобы он не распускал больше кулаки. Пока мой дед стоял, почесываясь, у стенки, белогвардейцы прорвали фронт. И советская власть скоропостижно постановила, что для моего деда будет лучше, если он встанет под пули врагов, а не под пули братьев по классу. Мой дед Аврум кликнул своих корешей с базара. Те кликнули дружков-налетчиков с Молдаванки. Налетчики — своих собутыльников, мелкотравчатую шантрапу с Бугаевки. Шантрапа кликнула всю голь перекатную из порта. И полк городской бедноты выступил на фронт, чтобы прикрыть дырку от бублика своими молодыми телами, пахнущими червонцами, водкой и не растроченной на пустяки жизненной потенцией.

Полк городской бедноты прикрыл собой дырку от бублика и стал резаться в карты, ставя на кон жизнь обнаглевших белых офицеров, цена которой была копейка в базарный день. Но белые офицеры, то ли прослышав о столь мизерных ставках, то ли боясь стыкнуться в рукопашной с налетчиками, заблудились в степях и не попали под ружейно-пулеметный огонь. А полк городской бедноты, проигравшийся в пух и прах, снялся с фронта и пошел обратным порядком в Одессу на работу, чтобы вернуть друг другу карточный долг — если уже не жизнью обнаглевших белых офицеров, то чем-нибудь иным, равнозначным ей по стоимости.

Меер Завец собственноручно расстрелял командира и комиссара полка, бывших до принятия героической смерти ворами-рецидивистами. А когда он перезарядил пистолет, оказалось, что весь полк рассосался уже по толчку, портовым пивным и малинам, куда пуль не достать, если сам не хочешь быть ненароком убитым.

Меер Завец не хотел быть ненароком убитым. Он хотел дожить до светлого завтра, когда уже будет наконец построено общество справедливости, а в сортире на улице Средней, где он родился и вырос, возведен золотой унитаз, символ достигнутого за счет равноправия всех трудящихся изобилия.

Но Меер Завец не дожил до торжества гуманистических идей, как и его предшественник с голым от умственного перенапряжения черепом, как и предшественник его предшественника, наделенный львиной шевелюрой.

И золотые коронки Меера Завца пошли на золотой унитаз для какого-то другого идеалиста с маузером, а сам он пошел в Соликамск на лесоповал, куда до этого, осенью 40-го, сослал моего деда с одесского толчка.

Он повстречался с дедом моим на лагерной делянке, дающей 1000% подневольной выработки древесины. И сотоварищи-уголовники, приветствуя такую закономерную встречу обвинителя с подследственным в местах не столь отдаленных, умело обрушили на них — евреи ведь! жида! — подрубленное дерево.

У Меера Завца, раздавленного могучим стволом, была всего минута, чтобы, помолясь, тихо испустить дух, но он во весь голос изливал хулу на моего деда, называя его бандитом. И уголовники засовестились в содеянном, признав инвалида мировой войны за своего, социально, так сказать, близкого — «даром что еврей, божий человек все же». Несколько верст тащили моего деда на волокуше по глубокому снегу, пока не добрались до лагерного медпункта, где к переломанной ноге старого солдата прибинтовали стопу задом наперед. Нога срослась неправильно. И он стал заново учиться ходить, чтобы искать правду. А так как его нога смотрела совсем не в ту сторону, то он делал шаг вперед, а два назад — точно, как советская власть, когда она училась ходить в соответствии с бессмертной работой Ленина. (Кто ее сегодня помнит?)

Естественно, что хаживая таким образом, правду в концлагере он не нашел. И посему попросился добровольцем на фронт. Благо война уже была в самом разгаре, причем со старым его знакомцем — с внешним врагом. И на замену выбывшей из строя живой силы требовалась другая, пусть и полудохлая. Простреленной в Первую мировую рукой дедушка Аврум писал заявление на Вторую мировую.

«Чем такая жизнь, лучше отдать ее за товарища Сталина, чтобы у фашистов темно в глазах стало и все кишки из живота вылезли наружу», — написал он не совсем грамотно, притопывая от нетерпения изувеченной на лесоповале ногой.

Просьбу его уважили, изможденного от голода и болезней добровольца направили на медицинское освидетельствование. Однако врачам он не приглянулся. Калека. И вместо фронта, в награду за отчаянную решимость отдать жизнь «за Родину» и, согласно надиктованной ему писуле, «за Сталина», старому солдату скостили чуток срок. Выправили путевое предписание в родной город «Капитанской дочки» Оренбург, тогда Чкалов, чтобы заодно отыскал там эвакуированную из Одессы на Урал семью: жену Иду, дочерей Риву, Бебу, Софу, внуков Гришу и Сильву. До искомого места, чуть не умерев с голоду, он добрался весной 1944 года.

7

Вообще-то очень показательно: первый город-герой — Одесса, первая жертва войны — одессит, и последняя, в 75-ю годовщину с начала войны, — одесситка. Интересная связь, пусть даже несколько притянута за уши к реальности. Но что делать, если болит? И как избавиться от боли, когда чувствуешь, что время не объективно, а привязано к определенным датам, мало того, и тебя привязывает к ним. Чтобы не растекаться мыслию по древу, вот один из многочисленных примеров. 1 августа 1937 года поженились мои родители. 1 августа 1996 года развалилась моя семейная жизнь. Совпадение? Вероятно, совпадение. А может, и логическая последовательность, предначертанная свыше. Смысл? Не нам решать. Вернее, мы пока что не способны найти решения. Также, как и смысла нашего существования, который затягивает в себя по макушку, когда пробуешь добраться до начальных восприятий явления на белый свет. Но начальные, по сути своей — срединные: тебе уже не месяц, не годик, гораздо больше. Правда, я в какой-то мере исключение из правил. Помню, как меня, совсем маленького, одевали в Сильвино платьице и выводили в песочницу, где я мастерил куличики. А зловредные мальчишки, чуток постарше, задевали меня, полагая: девчонка сдачи не даст. И просчитывались. Я лупил их со всей мочи, причем с таким старанием, что, заплаканные, они бежали к моему папе жаловаться. «Что за девчонка у вас такая? Мы ей тумака, а она нам кулаками». Папа им растолковывал, что ошиблись с адресом. Девчонка и не девчонка вовсе, а наоборот — мальчик. И в доказательство правдивости своих слов задирал мне платьице. Мальчишки балдели и тихонько ретировались в другую песочницу. А что было бы с ними, если бы вместо пиписки им представилось мое зрелище, вспыхивающее в мозгу? Странно, но мне почему-то они представлялись вражескими солдатами, одетыми в немецкую форму, с которыми, расстреляв все патроны, я схватывался в рукопашную. Говорят, в первые три-четыре года ребенок вспоминает минувшую жизнь. Так это или не так, но мне почему-то вспоминалась война, и, наверное, потому в детстве я играл только в войну. Ездил на трехколесном велосипеде по квартире, махал выструганной саблей и кричал: «ур-р-ра!» А когда чуток подрос, создал из дворовой ребятни отряд и стал готовить себя к настоящей войне.

Почему-то у каждого из нас в то время в раннем детстве часто возникало ощущение, что ЭТО уже происходило с нами, ТАК мы поступали прежде. Ныне подобное ощущение называется «дежавю» и имеет объяснение специалистов. А тогда? Тогда оно напоминало лишь о загробном мире. Будто это происходило с нами в другой жизни и сейчас мы повторяем пройденное. Положим, о загробной жизни вряд ли можно было вспомнить тогда, да и сейчас, но думать о ней не возбранялось и в младенчестве. Казалось бы, какая чушь: пацанчик-первоклашка и мысли о потустороннем мире. Ан не все так просто. Воленс-неволенс задумаешься, если бабушка Сойба, мама моего папы, реагируя на очередную мою проказу, замечает: «Эммочка так не поступила бы». У нее была привычка ставить мне в пример Эммочку, мою старшую сестричку, которая умерла на Урале в 1944 от воспаления легких в пятимесячном возрасте, за год до моего рождения. Она была такая же голубоглазая и русоволосая, на одно лицо со мной, если на минуту представить, что и она — мальчик. А если представить, пусть и на минутку, что она мальчик, то в следующую минутку представляется, что это я и был в прошлой жизни. Просто ей не удалось с первого захода пожить по-человечески, вот она и пошла на второй заход, став при этой попытке мальчиком, так как надеялась, что мальчики более жизнестойкие. В этом она не прогадала. И я это не раз доказывал себе и окружающим, вытаскивая себя и также их из умопомрачительных ситуаций. А началось все прямо с рождения. Своим появлением на свет я как бы спас маму от лесоповала. Руководство 245-го авиационного завода сформировало для лесозаготовок бригаду из женщин, не способных, подобно мужьям, выгонять стахановскую, процентов на триста, норму выработки. И выдало им предписание готовиться к отбытию на лесоповал. Но в канун отбытия выяснилось, что женская бригада никак не может выполнить указание партии и правительства. По причине? Да-да, всеобщей беременности.

Это же какое женское мужество нужно иметь, чтобы вскоре после смерти пятимесячной Эммочки решиться опять вынашивать ребенка? Но моя мама решилась и сделала. Се-ля-ви. А по-русски, в нашем понимании: такова реальная жизнь.

Александр Кабанов

Меж двух отчизн

* * *

Я в зеркало смотрю слегка поддавшим:
зрачки и губы цвета янтаря,
и чувствую себя не оправдавшим,
ну, типа пастернака говоря.

Родимые, а что же вы хотели,
когда в стране подстилок и рабов,
вы речь мою держали в чёрном теле —
от Крымских гор до выбитых зубов.

И мне не важно, что сейчас на ужин:
вареники, а может, снегири,
меж двух отчизн, которым я не нужен —
звезда моя, гори, гори, гори.

Когда глаза — ещё не признак зренья,
потрескивает тонкая броня,
но я прощаю это поколение,
которое так верило в меня.

* * *

Когда мы забыли о солнце, о божестве и снеге,
когда совершенство — редчайший в природе изъян,
мы спали в ковчеге, мы женщин любили в ковчеге,
а после — кормили жирафов, слонов, обезьян.

И ливень протопал вдвоём со всемирным потопом,
вай-фай барахлил, и в планшетах — то фейк, то баян,
но чья-то душа добиралась до нас автостопом,
пока мы кормили медведей, волков, обезьян.

Кабанов Александр Михайлович — поэт. Родился в 1968 году в Херсоне. Окончил журфак Киевского университета. Пишет на русском языке. Автор двенадцати книг стихотворений. Главный редактор журнала о современной культуре «ШО», координатор Международного фестиваля поэзии «Киевские Лавры». Лауреат «Русской премии», Международной Волошинской премии, премии «Antologia» и др. Живет в Киеве.

Дремучие волны, их бедра — в хозяйственном мыле,
библейские мифы, молчания новый словарь,
и надо признаться, когда мы животных любили —
рождались кентавры, сирены и прочая тварь.

Нам снились квартиры, в которых вы жрёте и спите,
как спят в морозилках пельмени и царь пеленгас,
фонарь на корме и такой же фонарь на бушприте,
а третий фонарь в капитанской каюте погас.

Тётя Сара

Все мы — полубоги, полукровки,
познакомься, едкий газ вдыхая:
это- птица феникс из духовки,
это — тётя сара из дахау.

Посмотри, на что они похожи,
подсчитай грядущие затраты:
ни костей, ни золота, ни кожи,
так же — горбоносы и пархаты.

Если луч — влюбляется в сосульку,
значит, дьявол — почивает в бозе,
тётя сара продавала тюльку
и бычков в одессе на привозе..

Шла война, и герхард или вилли,
вдруг спросил: зачем вам тётя сара,
отвезли в дахау и убили,
но она, как феникс, воскресала.

* * *

На дверном глазке серебрится накипь,
только дверь ушла на свиданье в лес,
никогда не плачь, как же мне не плакать,
я бы с этих слёз никогда не слез.

От чего смешно, до того обидно,
ты глядишь на саблю и пьёшь сабли,
снег такой, что больше земли не видно,
потому, что — кончилась, нет земли.

Проводник слепой, позовёшь соседку —
почитать какого-нибудь дюма,
а на ней — шерстяная рубашка в клетку,
понимаешь, и это — тюрьма, тюрьма.

Это дважды входящий в себя дозорный,
где проклятье с видом на оберег —
белый снег, а за белым приходит чёрный,
остаётся красный — последний снег.

* * *

Деревья переходят рубикон —
сад вырублен, в живых остались кони,
как хорошо, что у меня — балкон,
теперь они гуляют на балконе.

Бывают дни, когда у овощей
характер портится по правилам гниения,
когда в порядке хаоса вещей —
нас всех спасают фрукты и корни.

То замолчат на несколько минут,
то ржут, а после — фыркают часами,
вы слышали, как лошади поют
высоцкого незлыми голосами?

А лошади не пьют и не едят,
предчувствуя войну и мясорубку —
они с тоской на всадников глядят,
вдыхают воздух, словно курят трубку.

Леся

Я поймал для тебя одинокую бабочку персии,
только знай, что она у поэтов ворует слова,
видишь, как я бесстрашно сжимаю ее в троеперстии,
днем — сплошной махаон, ночью — мертвая голова.

Знаю, ты не откажешься жить без простого кузнечика,
назови его, скажем, ашот или лучше — звияд,
будешь утром поить кузнеца из кустарного глечика,
по которому вьется бесшумной лозой виноград.

Вот еще — стрекоза, у нее затруднения с именем,
дело вовсе не в крыльях — казенные крылья ее,
а когда-то бродила козой с переполненным выменем
и в языческих штольнях жевала одно мумие.

Что сказать тебе, ласточка, девочка вольного киева,
не влюбляйся в поэтов, здесь каждый поэт — маргинал,
ничего не останется, даже последней строки его,
только боль от потери, пока я тебя не поймал.

* * *

Мне трудно судить по моим ощущениям,
я чувствую — надо меня починить,
в носу ковыряясь бесправным растением,
бросая животных на пастбище гнить.

А мог бы смотреть на усталую речку,
сидеть на веранде и жечь керосин,
но жизнь предлагает заточку, подсечку,
рождаются колья из чрева осин.

Здесь корни цветов охраняются вазой,
замрет над стоячей водой стрекоза,
и ангел проходит моей скотобазой,
и все его крылья — сплошные глаза.

А мог бы возглавить восстание гречки,
последний, бессмысленный бунт пустоты,
а жизнь, затянувшись, пускает колечки,
и чтобы согреться — сжигает мосты.

Лев Усыскин

Рассказы

За столом

М.Д., со всегдашней любовью

Нас выдает нерасторопность. Одно неловкое движение невзначай — осечка газовой зажигалки или досадный промельк салфетки мимо пятнышка соуса на скатерти — и этим сказано все. И после не вернешь уже сказанного никак...

Выпитый коньяк? Усталость? Едва ли только это, в самом деле. Скорее, обыкновенная, будничная усмешка обстоятельств, возжелавших вдруг напомнить нам о ходе времени — пусть даже и кажется сперва, что обратимость никак не нарушена: и вот уже раскурена удачно сигарета, и вот уже лишённая девственности бумажная салфетка скомканным, ненужным куском целлюлозы ложится в опустевшую салатницу...

Пронзенное только что навывлет ощущение застольного уюта как будто восстанавливается полностью, почти полностью — но лишь «почти». Что-то изменилось все-таки, где-то в атмосферных флюидах, должно быть, в тонких оболочках обидчивого мироздания... что-то застряло в мозгу соломенной занозой, какая-то память о возможности краха, что ли, об уязвимости любой уверенности в себе, любой законченности мысли...

.....

— Завидую военным.

Я подымаю глаза.

— Военным?

— Военным, да. Завидую их умению сгущать вокруг себя пространство. Пусть и на короткое время — но бескомпромиссно.

— Не понимаю...

Секундное облачко досады на его лице — тут же стертое, однако, прежним бесхитростным выражением. Выражением доверия, лишённого подтекста двусмысленности. Вот он — я, поглядите. Свой парень. В доску свой.

— Представь...

— ...да-да...

— Представь: вот вваливаются они все — господа офицеры — в какой-нибудь грошовый кабак. Убогий-преубогий. Немытые деревянные столы да липучки от мух — все тамошнее убранство...

Выпитый коньяк седлает воображение — я следую послушно за моим собеседником, в теснинах мозговых извилин громоздится хлам избыточной памяти.

Усыскин Лев Борисович родился в Ленинграде в 1965 году. Окончил Московский физико-технический институт (1988). Печатался в журналах «Знамя», «Новый мир», «Октябрь» и др. Автор нескольких книг прозы, живет в Санкт-Петербурге. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

— ...заходят они, значит, в такую тошнيلовку, садятся вокруг длинного стола... их много, все места заняты...

— ...угу, представляю...

— ...так вот... садятся, заказывают водки, само собой... много водки... без водки — нельзя... а еще — картошки вареной, конечно же, помидорки с огурцами, зелень там всякую, укроп, кинза, петрушка... что-нибудь мясное обязательно — все равно что... ну, скажем, шашлык... шашлык, да, чаще всего... хлеб кусками большими...

— Тайная Вечеря?

Усмехается.

— Ну нет, конечно... хотя и ритуал в основе тоже — это несомненно... какие-то старинные, доисторические обычаи и навыки...

— ...вроде навыка убивать людей?..

Опять усмешка — как если бы услышал ожидаемое:

— Не знаю... я не служил никогда...

Киваю понимающе. Мне жаль, что я прервал его речь.

— ...значит, садятся они за стол так... в тесноте, да не в обиде... садятся, выпивают водки, закусывают... им хорошо... понимаешь?

— Понимаю. Им хорошо. Да.

— Им хорошо. Для них словно бы нет теперь ничего, вне их стола, вне их разговора — никаких крашенных грязно-синей краской стен, никаких мух, никаких сквозняков... они словно бы на корабле — а вокруг море... равнодушное и однообразное море... недостойное интереса...

Откинувшись на спинку кресла, я прикрываю глаза. Право, нетрудно вообразить все это — раскрасневшиеся потные лица с гладко выбритыми подбородками, расстегнутые пуговицы на вороте, сбившиеся на сторону форменные зеленые галстуки на резиночках... Сбивчивые разговоры, громкость которых возрастает с каждой фразой... Ничем не сдерживаемый многоголосый хохот...

— Я где-то видел подобное... да... какой-то старый фильм... Что-то там в пустыне, если не путаю...

Кивает.

— Конечно, конечно. «Татарская пустыня», ага, — сосредоточенно смотрит в свою тарелку, словно бы нашел там что-то важное. — Дзурлини, семьдесят шестой год. Там близкое этому. Но не совсем. Там чересчур... чересчур поэтично... да...

— Ты любишь кино?..

— Ага... любил... когда-то... был такой грех в молодости, да... насмотрел всего немало.

— Небось, и сам хотел податься в эту отрасль?

— Да не, какое там!.. Я сперва моряком хотел быть... Макаровку окончил... вернее, не окончил — три курса, потом бросил... это я потом уже... от тоски...

— Потом учился еще?..

— Учился... да неважно... вот нашел себя, в конце концов, — и славно... грех жаловаться — домик в Испании себе заработал, как говорится...

Он усмехается, но как-то подчеркнуто кривовато — словно бы все сказанное было шуткой. Или не шуткой. Или как-то еще... Не разобрать.

— Все ж удивительно, что нас с тобой так свело, да.

— Что ж удивительного?

— Ну как. Сколько лет не виделись, все такое. Небось, ни разу не вспоминал меня даже — да и чего меня вспоминать, правда ведь? И тут нате вам: специально вот прилетел сюда, в гостинице этой поганой едва поселился — и уже прямиком ко мне за этими вашими согласованиями.

Он доливает остаток коньяка в почти полную рюмку, осторожно, чтоб не нарушить мениск, подносит ее ко рту и быстро выпивает залпом, как водку. Качает головой:

— А я как раз наоборот... вспоминал тебя иногда... думал, еврей, физик, наверняка сейчас где-нибудь в Беркли... или Оксфорде... где чисто, спокойно... а вот ведь как вышло!

Я неопределенно киваю, объяснять неохота — да объяснять и нечего: в жизни все «да» и «нет» необъяснимы. Настоящие «да» и «нет», во всяком случае.

— Ну, не так все и плохо... у меня тоже случались удачи... начальство меня ценит, в общем, считает специалистом по таким вот сложным согласованиям... когда ни черта нет и вообще... и все СНИПы побоку...

— Да я утром уже заметил... по документам...

Пьяненько так, тихонечко прихихикнул.

— Эти твои очистные сооружения... мдя...

Опустив глаза, покачал головой. Потом вдруг воспрял:

— Знаешь что... а давай-ка закажем теперь водки... они тут сами водку делают... хреновую... в смысле, на хрену настаивают... а то коньяк-то мы выпили уже... да и подали его с водочными рюмками почему-то... что как бы намекает...

Я киваю, соглашаясь без слов.

Подзывает официанта, что-то невнятное бубнит ему снизу вверх — тот покорно внимает, затем уходит, восстанавливая нашу приватность.

— Послушай...

— Да-да...

— Я что хотел спросить... вот, гляжу, ты и в строительстве петришь более-менее... учился что ли тоже?..

— Я? Не... все сам... да тут и не сложно вовсе... я ж аспирантуру окончил... по физике вакуума... после нее хоть в чем разберешься на раз... а тут и разбираться не надо — только память... а память у меня — дай Бог...

Мимолетная крупница гордости мелькнула и тут же погасла — словно бы пепел стряхнул с сигареты.

— Не защитился?

Мотаю в ответ головой. Спросит — почему? Не спросит? Не спросил, молодец.

И однако, тут же перевел тему, да как:

— Семья?

Мотаю головой вновь. Мотаю головой, глядя на толстое золотое кольцо на его безымянном пальце — кричаще толстое, словно бы заявляющее всему миру о нерушимости брачных уз.

— А ты, я вижу, в порядке...

— В порядке, да... осточертело, конечно... но от добра добра не ищут, так, кажется?

Криво усмехнулся. И я следом, приличия ради.

— Значит у тебя тогда с Ольгой этой тоже не вышло ни черта?

Заметил ли он, как я вздрогнул от этих слов? Извечная дань алкогольной расслабленности... неуместно все же... изображая задумчивое удивление, вскидываю бровь:

— Тоже?..

— Но ведь и у тебя с ней не получилось, не так ли?

Все же он прост, ужасно прост.

— А ты...

— Я-то ладно. Меня ты еще на даче тогда оттер... вполне технично...

— То-то ты сегодня... мои документы...

Закидывается детским хохотом:

— Дуралей...

— Нет, ну а что...

— Да, господи... какие еще козни застарелые... мы ж еще школьниками были... это ты — студент во всей красе!.. понятно, что никаких шансов... я и утерся...

Наливает рюмку, глядит сквозь нее на свет, поворачивая, — словно бы это не цилиндр, а хрустальная призма какая-то. Затем вливает в себя единым духом и вновь подымает на меня глаза:

— Но я потом следил за вами... да, да, ты не знал?.. не специально, но так уж выходило... что сделаешь... просто наши родители работали вместе... я вот был в курсе, что вы едва не поженились потом... когда ты из Москвы вернулся...

— Ревновал?

— Ну как... не знаю... я ведь на даче у них ошиваться начал задолго до твоего появления... с детства, считай, как свой... ну и Оля эта все время перед глазами, да... можно сказать, выросли вместе... вот в той мере, в какой меня к женщинам тогда влекло, — влекло именно к ней, о других я и не думал вовсе... просто в голову не приходило... но потом хрясь — и ты нагрянул... как шаровая молния все равно...

Он вдруг фыркнул. Как еж, наткнувшийся на что-то неожиданное во всегдашнем обходе своих владений:

— ...нет, ну я, вроде, даже пытался с тобой соревноваться — но уж куда там!.. силы были слишком неравны...

Смеется.

— ...в конце концов тебя очень вовремя оса укусила... в ладонь... Оленька, конечно же, прониклась жалостью к мужественному страдающему первокурснику, и это решило наш спор... в твою, разумеется, пользу... помнишь ты все это, нет?

Наливает еще.

Я не помню. Их родители работали вместе. Мои родители умерли. Все на свете умерли. Никого нет. Я уже не помню ничего.

— И неизвестно... кому из нас больше... не повезло...

Достаю сигаретку, но, тут же, раздумав, пихаю ее назад. Надо сказать ему что-то еще, а то так не годится:

— Слышишь? Ведь ничего неизвестно на самом деле...

Он лишь кивает безмолвно. Затем вскидывается — огоньки любопытства в его глазах:

— Но вы ведь были вместе долго... насладились друг другом по крайней мере...

Мотаю головой.

— Нет и нет! И еще раз нет!

— Что же — у вас и не случилось ничего тогда?

— Нет...

Скорее выдохнул, чем произнес.

Его черед мотать головой — приличествующее случаю сочувствие, род этикета. Не более того:

— Все ж удивительно...

— Что же?

— Сколько же вам было тогда: 21, 23... тебе — 23, если я правильно помню, ты на два года нас старше... кровь же играет, начинаешь с поцелуя — и дальше уже думать не надо — тело знает само, как поступать...

— ...значит, все же бывает иначе! (прерываю поспешно, поневоле раздраженно — поймал ли он эти нотки, нет?) Она ведь считалась моей невестой...

— И что же с того?

— Ну, как-то после одной вечеринки, да... мы оказались-таки под общим одеялом... но в комнате спал еще кто-то, столь же нетрезвый и беспокойный... короче, главного не случилось и в тот раз, хотя грань была близка, как никогда... я ведь знал, что она — девственница...

(Черт бы побрал эту мою косноязыкую витиеватость.)

— Что ж — мои соболезнованья вам обоим!

Саркастическая усмешка. Торжественно подымает рюмку на уровень глаз, словно бы на похоронах. Радует ли его услышанное? Или все же нет?

— Странно однако... То, что ты сейчас рассказал... Вот вроде я даже ревную немного... Если в глубине души покопаться... А при этом печально все это... как-то печально и печально, грустно, наотмашь!..

Лицо его на миг и впрямь обретает какую-то удивленную задумчивость, он трясет головой, сам, наверное, не замечая этого:

— Даже не знаю, как объяснить...

Киваю молча. Я понимаю его. И тоже не знаю, как объяснить:

— Ну, вот почему-то перед глазами... один день....

Вздыхая взгляд к потолку, прищурившись, разглядываю дешевые китайские люстры, одинокий пожарный датчик, незаметно отправляющий в мир свою всегдашнюю морзянку пунцовым тускловатым светодиодом...

Стало быть, вот оно как оказалось: брат мой, страдалец, бедолага... Надо же что-то сказать ему, растолковать, коли уж перед ним в долгу, — да только что я могу, ей-богу? что я могу?

.....

— ...смотри же: один длинный-предлинный тогдашний день... застрял в памяти... будто нарочно... не сполохами событий или теньями пережитых эмоций — а словно бы кинолента — от первого до последнего кадра... под тихий ровный стрекот старинного проектора... и даже с трещинками, волосинками, невесть откуда взявшимися и намертво прилипшими к покрытому эмульсией целлулоиду, какими-то всегдашними служебными надписями, накорябанными неразборчивым почерком наискосок, а также коротким пронзительным писком ради проверки акустической синхронизации... Кажется, стояла ранняя осень — да, именно ранняя осень... когда еще тепло вполне и листва на деревьях только лишь задумывается о том, чтобы сменить свой цвет... задумывается и как бы на пробу желтеет редкими хаотичными островками... Была суббота, выходной — вечером мы с Ольгой вдвоем должны были оказаться в Филармонии... билеты, разумеется, нам купили заранее... что-то действительно хорошее значилось в афише... может, Мравинский?.. или нет, он уже умер тогда... не помню точно... Ну так вот... до вечера оставалась уйма времени, и я напрочь не знал, чем его занять... едва позавтракав, начал маяться, бросать тоскливые взгляды в окно, провожая бегущие враскачку трамваи... ничего не хотелось — хотелось видеть Ольгу, убедиться в сотый раз, что она есть, что она, да, такая же, как всегда, такая, как я привык, как я люблю... словом, обычная умственная белиберда влюбленного мальчишки... и вот все это так и змеилось липкой сливочной тянучкой, как мне казалось, долго-долго — вплоть до неожиданного телефонного звонка, прозвучавшего вдруг с неделикатной настойчивостью. Мама, отвлеченная от всегдашних кухонных трудов, сняла трубку мыльной рукой и затем, протерев пластик тряпочкой, поспешила передать ее мне, не сказав при этом ни слова, да и вообще не явив никаких эмоций — верный знак того, что по ту сторону телефонного провода была не Ольга, а кто-то другой, незнакомый...

Это и вправду была не она: звонила Анька, жившая неподалеку давняя моя приятельница, за которой я ухлестывал когда-то, но после оставил это дело, так ничего и не добившись. (Потом, много лет спустя, она все-таки станет ненадолго моей любовницей — но уже при иных совсем настроениях и обстоятельствах.) Как бы то ни было, с Анькой мы дружили, и она могла вот так запросто позвонить мне субботним утром, сообщить, что проснулась в паршивом настроении и собирается прошвырнуться в Комарово — не составлю ли я ей в этом компании? Я не замедлил согласиться — слишком уж угнетала перспектива изнывать до вечера в одиночестве...

Кажется, мы условились встретиться на Ланской, затем недолго тряслись в зеленой, расхлябанной, исполненной заглушавшего разговор лязга электричке и, наконец, вышли в Келломяках, разом вдохнув успокаивающий, пропитанный сосновой смолой и пеной близкого морского прибоя воздух.

Оставив по левую руку писательский Дом творчества, спустились не спеша по Кавалерийской к заливу, переступая через обнажившиеся узловатые сосновые корни, преодолели поросшие разлапистым редколесьем небольшие дюны и, наконец, оказались у самой воды — прямо перед всегдашей полосой выполосканного волнами перегнившего тростника.

Не помню, о чем мы говорили, — всего вернее, говорили мало, особенно я. Анька же болтала о каких-то своих делах — по обыкновению отрывочно, так, чтобы не составилось сплошной, непрерывной картины. Все же я, кажется, понял тогда, что дела у нее и в самом деле не ах. В сущности, она уже жила взрослой жизнью в то время, — не получая помощи от родителей, снимала жилье «на свои», работала где-то секретарем, так и не закончив института, — алкоголик-муж на содержании и статус матери-одиночки маячили еще где-то далеко впереди, но я как-то почувствовал тогда

эту неприглядную прозу ее существования, столь отличную от парниковых мечтаний деток из обустроенных, приличных семей, влюбленных друг в друга и видевших собственное будущее исключительно пасторальным. Не знаю даже, как правильнее все это следует выразить: почувствовал, но не понял? Понял, однако не посмел принять близко к сердцу? Осознал и тут же отгородился внутренне, дабы ненароком не замарать собственного счастья? Как-то все же иначе, не вполне так, не совсем...

В общем, слушая Анькины жалобы на равнодушие матери, напрочь забывшей про нее ради эксцентричного отчима, я, каюсь, испытывал нечто вроде радости от того, что все эти беды, конечно же, меня не касаются, что живу я в ином каком-то, избранном пространстве, где такого, конечно же, не бывает, да и быть никак не может. И в то же время, чего уж скрывать, было лестно, что со мною всем этим делятся — полагают способным понять эти взрослые проблемы и переживания, ожидают от меня сочувствия, а то и — чем черт не шутит — совета!

...При этом Анька была красива, и мне нравилось смотреть на нее — разглядывать ее маленькие, открытые, правильной формы ушки... или тонкие породистые пальцы, которыми она в привычной задумчивости разминает сигаретку... Мы, кажется, тогда довольно долго простояли на берегу, пытаюсь различить Кронштадт, проступавший на горизонте темным прыщиком Морского собора, и слушая бестолковый базар вечно всем недовольных чаек. Затем вдруг Анька подвернула джинсы до колен и, разувшись, решительно шагнула в воду на глубину стопы. Тут же, однако, выскочила, смеясь и ругаясь, села на землю и, задрав ноги, принялась отряхивать с них налипший песок и влагу. Помню, что я не замедлил прийти к ней на помощь: устроился рядом и стал растирать ладонями ее узкие стопы.

Потом мы прошлись вдоль залива, потом Анька сказала, что замерзла, и мы двинулись в обратный путь. О своих планах на вечер я ей не сообщил ни слова, даже вскользь. Впрочем, как и она мне — о своих...

.....

С Ольгой я встречался у выхода из метро, на углу Невского и Михайловской, точнее, Невского и улицы Бродского, как она в то время еще называлась. Помню, даже пришлось подождать сколько-то времени: пообедав дома, я все же не выдержал и приперся с изрядным запасом.

Впрочем, таковое ожидание нетерпенья только лишь усилило меру моего восторга, когда девушка наконец явилась взору, взойдя неторопливо в невскую толчею из гранитно-инфернального подземелья. Я словно бы узнал ее и при этом не узнал: на меня радостно смотрела нарядная взрослая женщина в длинном вечернем платье, поверх которого была накинута прелестная курточка густо-синего шелка с вышитыми розовыми цветами. Это был совсем другой человек — не тот, с которым мы валялись дурака в дачной всепрощающей неразберихе, не тот, с которым после шлялись по городу, болтая о разных необязательных вещах и силясь правдами и неправдами просочиться в какое-нибудь кафе (что, кстати сказать, было в те годы не столь уж простым делом). И даже не тот, кто, пригласив меня к себе домой на обед, чинно затем восседал за круглым столом в гостиной, по правую руку от отца и слева от матери — с превеликим трудом силясь задавить в себе смешинку. Это был другой человек, уверенный в себе и солидный, чувствующий себя вполне раскованно в вечернем платье и в туфлях на высоком каблуке, — привычный к подобному роду досуга и в полной мере свой среди прочих красивых и солидных женщин, спешивших сейчас на филармонический концерт.

Сдав верхнюю одежду в гардероб, мы прошли в зал и сели, как сейчас помню, во второй ряд партера. Музыканты уже были на местах — закончив настраивать свои скрипки и виолончели (о, как я любил всегда и люблю этот миг звуковой разнузданности, собственные голоса инструментов, не оседланных еще уздечкой композитора!), они теперь разглядывали публику примерно с тем же добродушным недоумением, с каким пассажир большого туристического автобуса смотрит в окошко на проплывающих по улице и хоронящихся от моросящего дождика пешеходов. Наконец в зале убавили свет и зазвучала музыка. И я вновь провалился в бездонную пропасть восторга и наслаждения.

Нет, не от музыки — что мне ваша музыка! — а разумеется, от лицемерия моей соседки, которому я отдался, как воду пьют, лишь изредка отрываясь ради рассеянного и поспешного взгляда, приносимого все же в жертву происходящему на сцене.

И уж поверьте, мне было на что смотреть!

Тут надо бы сказать пару слов об этом, избежав, по возможности, заезженных оборотов и сочетаний, но я, право же, затрудняюсь подобрать иные. И дело, конечно же, не во мне и не в музыке — и даже не в чудесном выражении лица девушки, поразившего меня каким-то радостным, никогда мною прежде не виданным сосредоточением.

Просто я увидел Ольгу равноправной, естественной частью того чудесного, сложного и насыщенного мира, куда меня только еще приглашают войти. Она, несомненно, была там, внутри — там, где мрамор колонн Дворянского собрания отсвечивал отблесками хрустальных люстр, где непослушные ласточки нотных знаков, отрываясь от партитур, превращались в гармонии звуков, задуманные столетья назад, где пахло канифолью и конским волосом, а строгие бабушки с пачками нераспроданных программ у массивных входных дверей уж конечно знали всех, кого надо, в лицо. Ольга была там — а я нет. Но ведь никто и не гнал меня, не ставил под сомнение мое право находиться рядом...

И вот, переполненный всем этим, я вдруг почувствовал странное: мной овладела убежденность, что если такая женщина все же станет моей — то это, само собой, будет роскошным, незаслуженным даром, авансом, возможным потому только, что меня, самозванца, по какому-то счастливому недосмотру не раскусили, не вывели до сих пор на чистую воду, доверились мне, не имея к тому ровным счетом никаких оснований!..

...В антракте я, отчасти обманув, но отчасти и отстояв безнадежную очередь, умудрился добыть в буфете два бокала шампанского. Видимо, вино подействовало на мою спутницу должным образом — весь обратный путь в метро и после в трамвае она сидела, как кошка, прижавшись ко мне и опустив голову на мое плечо. Потом, по дороге через пустырь от трамвайного кольца к ее дому, мы несколько раз останавливались, отвлекаясь на непродолжительные поцелуи, и уже в полной мере отдались этому чудесному занятию, войдя, наконец, в Ольгин подъезд. Помню, там было тихо и пусто — спинка девушки словно бы томила теперь под плотной тканью платья, то напрягаясь, то потом обмякая, не в силах соединиться с моей ладонью — так же точно, как губы ее то прирастали к моим с какой-то бесшабашной решимостью, то вдруг отступали, словно бы испытывая меня осторожно и самим себе удивляясь...

В разгар всего этого позади вдруг хлопнула дверь, и оба мы каким-то неведомым, необъяснимым сегодня чутьем поняли, что это возвращаются откуда-то Ольгины родители. Разумеется, они нас заметили и узнали — сомневаться в подобном не было ни малейшей причины. (Кажется, я даже услышал сдавленный, короткий смешок.) Не оборачиваясь и не размыкая объятий, я дважды, будто исполняя парный танец, шагнул вперед — и вот уже спасительная тень от лестничного марша накрыла меня и мою подругу полностью. Впрочем, те, за моей спиной, и не думали нас беспокоить: войдя в подъезд, они лишь чуть замешкались, придерживая тугую дверь, и, едва она захлопнулась, принялись подыматься на свой третий этаж уверенно и молча, в обычном для людей их возраста неторопливом темпе.

Минут через двадцать я все-таки вышел на улицу. Осенняя ночь, еще теплая, но уже темная, по-городскому беззвездная и буднично-беззвучная, тут же прибрала меня своей властью, заставляя думать о чашке сладкого горячего чаю на родительской кухне и всячески норовя отнять то недавнее, что нес я теперь на пересохших губах и кончиках пальцев... Инстинктивно сунув руки в карманы, я побрел через знакомый пустырь к трамваю.

.....

— Ну так и что ж ты застыл, задумался, мил человек?.. Не пошла хреновка, что ли?.. Вот ведь горе-то — взял и замолк... Ладно, давай, выходи-ка из своего анабиоза... Еще по одной — и оживешь, гарантирую!..

Он даже привстал со стула — участливо наклонился ко мне, вперед, тщится заглянуть в глаза, смирив неловкую такую улыбочку:

— Ну хочешь, я подпишу тебе эти твои коровники... Я-то подпишу... Все равно ливневые стоки не согласуются... и выдачу мощности тоже... Так что, не знаю, что тебе делать... честно, не знаю... хочешь, с Платоновым поговорю... но он, видишь ли... короче, я ему сам заносить не стану... даже для тебя...

— А как же ты сам?..

— А вот так вот...

Он лезет куда-то в нагрудный карман, неловко шарит там долго, очень долго — уж не сердце ли? — нет, слава богу, авторучка... Затем придирчиво перебирает две или три оставшиеся бумажные салфетки и, выбрав одну, отрывает четвертушку. Что-то царапает на ней забастовавшим стержнем, не произнося ни слова, после передает мне, неловко вытягиваясь через стол.

Арабские цифры проступают, прерываясь, на фигурной поверхности, порой разрывая ее насквозь, но затем выныривая вновь своей фиолетовой поступью на прежнее белое раздолье. Что же: вот оно, наконец, и получилось, как ни крути. За тем и приехал в эту провинциальную глушь. Скорее много, чем мало, но даже и такое — в рамках установленных начальством лимитов.

Киваю тяжелым водочным кивком.

Вняв кивку, шумно отодвигается от стола вместе со стулом:

— Ладно... приходи завтра в офис... что могу — сделаю, но повторяю: Платонов... вы с ним еще намахаетесь... ох, намахаетесь!..

Ищет глазами официанта и, найдя, взмахом руки подзывает его:

— Эй, любезный! Принеси-ка счет...

Чуть позже, расплатившись, допивает остатки водки и, взяв с колен салфетку, вытирает выпачканный жиром рот. Взгляд его перескакивает невзначай с предмета на предмет — он словно бы забыл вдруг о моем присутствии. Какая-то суетливость проступает теперь во всем этом, загнанный прежде в угол испуг, привычная своей неизбыточностью тягостная и невеселая забота.

Наконец он все же натывается на меня глазами. Секунда, две уходят на опознание, затем взгляд наполняется смыслом, посеревшие губы медленно размыкаются, обводятся языком по часовой стрелке, смыкаются вновь, пробуя друг у друга скованную опьянением подвижность.

— Все же чертовски жаль, что... — начинает он фразу, но прерывается тут же, не в силах одолеть свою мысль, и лишь невнятный взмах руки выдает внутреннее смущение.

Мне тоже чертовски жаль. Чертовски жаль.

Красная лампа

Этот едкий, гадкий табачный дым вьется, колыхается... контрабандой затягивает на веранду сквозь полуоткрытую дверь. Возле крыльца нынче составил позорный клуб сутулых людей: короткие реплики, покачивание головами, стряхивание пепла под терпеливую сирень... бабушкины флоксы и вовсе уже почти затоптали...

Чудо-... нет, ну, чудовищные гости, ей-богу!.. змеи вытянутых рук среди соусниц и тарелок... Масляные голоса вьются, вьются, словно волокна истершегося каната, то и дело обрываясь, но тут же взамен вплетаясь новыми, другими: вместо сопрано — вдруг альты, вместо тенора — теперь, на тебе, баритон... и кто-то уронил на стол стакан невзначай, разлив красное вино причудливой, похожей на контур Англии лужицей... и побежали за тряпкою...

«Андрю-а-ша!.. — голос матери не настойчив. — Андрю-шень-ка... где ты?... иди сюда-а!..»

Спрятаться? Выйти? Да ну их к черту: все же нехотя появляется — важный, насупленный, сердитый, рубашка не заправлена, руки в карманах — вылитый скворец на весеннем газоне...

«Хоть бы причесался!.. Давай, съешь что-нибудь...»

И тут же забыла.

И слава богу!

«Саша, Митя, Алёна Петровна — знаете что... давайте выпьем сейчас еще по одной за то, чтобы всегда...»

Короткий, стремительный взгляд исподлобья вбок, поверх графинов и бутылок, через стол — туда, где в бархате кушетки тонут ноги Настеньки.

Загорелые, голые, чуть играя в случайном солнечном зайчике еле-заметной дымкой невидимых прозрачных волосков... одна на одной, застыли невозмутимо... истинные хозяева пространства... как все равно — у взрослой женщины...

Сладкой оторопью пронзенный — от кончиков пальцев до предательски вспыхнувших щек — прилип к ним взором. Смотреть, смотреть и смотреть еще...

...затем все так же нахохлившись букою, неохотно посмел оторваться, подняв глаза, — и тут же удостоился застать перемену: прежний ее рассеянный, скучающий, скользкий по головам и вилкам взгляд, наткнувшись на него, немедленно ожил в улыбку — простую и как будто бы бесхитростную.

Протиснувшись вдоль стола, между разнокалиберных стульев, то и дело извиняясь сквозь зубы и, тем не менее, задев кого-то невзначай, — да, впрочем, кажется, никто и не заметил... не до того....

— Поела?..

— Я не хочу...

Хмыкнуть невнятно, неудобно присесть на ручку кресла...

— Чего так?

— Да ну...

Не сказала — скорее качнула головой. Дерзкая спираль гнедых кудряшек отбилась от своих и теперь заправлена за ушко...

— А ты чего же?

— Да как-то тоже все... вот уж с меня довольно... с утра тошнит уже от этих запахов...

И, выждав немного:

— Пойдем отсюда, что ли?..

Кажется, встрепенулась. Прежняя отсиженность, замороженность вмещающей мягкостью кушетки — разом куда-то прочь: чуть поворот головы, новый изгиб онемевшей руки, незаметно сводящий с ума...

— Не знаю даже... Ну, а куда?

— Ко мне... наверх... Я буду там печатать карточки.

Легкие такие, преходящие морщинки на лбу — проскочили волной.

— Какие... карточки?

— Ну, карточки, фотокарточки... у меня там лаборатория... увеличитель, растворы...

Говорить надо весомо, кратко, непонятно. Не выказывая при этом заинтересованности — так всегда делают взрослые.

В заключение же качнуть головой слегка — словно бы чуть-чуть в укоризну.

— Ну как знаешь, а я пойду — со вчера еще все приготовлено... обидно, если фиксаж прокиснет...

И резво слез с неудобной ручки кресла — аж кольнуло в промежности.

Крашенная суриком деревянная лестница в два пролета — добравшись до середины, забудешь про все: сюда не поднимаются терпкие запахи ветчины и звон тарелок, и то и другое, по всему, — субстанции тяжелее воздуха и оседают себе внизу, лишь постепенно, украдкой наполняя отведенный им объем...

Скрипучий путь в другой мир... специально отстать на десяток ступеней — чтобы видеть перед собой не одни лишь лодыжки — и уже там, на самом, самом верху, догнать рывком.

— А какая дверь?..

— Вот эта. Направо. Толкай...

И не дожидаясь, самому пихнуть крашеную белую ручку — вперед...

Внутри — тихая комната, едва не заснувшая в обиде безлюдья. Скошенный вниз мансардный потолок, окошки в два света углом. Одно, впрочем, загодя затянуто посаженным на частые обойные гвоздики одеялом. А вот другое — распахнуто пока во всю ширь; внутрь знай себе лезут непослушные березовые плети, сорят бессмысленной трухой чешуек, рассказывают зачем-то о ветре-шалуне, помаленьку колобродящем там, снаружи.

Выгнать их прочь, выгнать и захлопнуть раму с усилием! Отгородиться плотным одеялом, включив перед тем двадцатипятисвечовую лампочку в голом патроне, сиротливо висящую под потолком на старом перекрученном проводе...

...Удары молоточка не иначе как развлекают гостью — усевшись на венский стул и взгромоздив ногу на ногу (бог ты мой!), смотрит выжидающе — без нетерпения, с легкой улыбкой.

— Не задохнемся?

Лишь мотнул головой, не смея оторваться от дела. Молоток, молоток — ты подобен дятлу, обдирающему каждое утро перед домом свои зеленые шишечки... Работа спорится, гвоздики послушно встают на место — словно бы сами находят оставшиеся с прошлого раза отверстия...

— Верхнюю лампу я сейчас тоже выключу.

???

— Надо, чтоб вообще света не было.

Брови вскинула удивленно. Вполоборота взгляд:

— А мы?.. Ничего же не будет видно...

— Норма-а-ально.

Не удостоил ответом, закончив дело. И лишь потом обернулся:

— Смотри...

Щелкнул выключателем и тут же — сквозь разделитель мгновенной тьмы, прежде еще, чем привыкли глаза, — в пару ему уже и другим, на столе, там, где у дальнего края приторочен кое-как железнодорожный фонарь толстого рубинового стекла. (Родной брат тех, что отмечают углы глухого тамбура последнего в пассажирском поезде вагона, под непарные удары колес на стыках удаляющегося и удаляющегося от нас в свою чужую недостижимость...)

Вспыхнуло красным — во все углы.

И разом изменилось все. Глубокие тени легли тут и там, возвысив контрастность и удвоив предметы, — сократились расстояния и даже запахи, кажется, стали другими: пропал щемящий кислотный тон проявителя, незримо расстилавшийся над прямоугольной ребристой кюветой. А равно и едва заметный мылкий привкус фиксажа, словно бы оседающий на язык, — если только не мерещился он прежде...

Теперь если и пахло, то лишь пылью — давно осевшей и слипшейся, но вдруг потревоженной немилосердным электрическим разогревом. Да еще — извечной шерстяной слежалостью распятого на окне одеяла.

— Двигайся сюда!..

Подтягивая за собой стул, послушно приближает себя к столу:

— Что это, а?

— Только не трогай пока ничего...

Сам же начинает священнодействовать — будто бы чайная церемония какая-то: опробовать сперва допотопное реле времени (полоска непривычно-белого света накоротко выскакивает из сопла увеличителя и тонет втуне), затем вставить кассету с пленкой, вскрыть девственную пачку фотобумаги, отрегулировать фокус кремальеркой... затем...

— Это в июне... на Медное озеро ездили с дядей Юрой... вот его машина...

Оба склоняются над красным высвеченным прямоугольником — Настины кудряшки теперь близко, совсем близко, мало что не касаются его губ — и предательски сушат эти губы, с трудом стесняющие кончик языка: ох, как высунул бы теперь,

дотронувшись до края тонкого, прозрачного детского ушка... провел бы по прелестному завитку, обрезавшись...

— Смотри же, как это делается...

Экспозиция... Затем — проявка: распластанный в кювете листок вдруг прорастает островками теней: сперва лишь грязными пятнышками, списанными на погрешность зрения — смыкающимися несколько мгновений спустя, а затем обретающими градации, — и быстро вынуть, прежде чем почернеет, — и швырнуть в фиксаж, и там ополоснуть!..

— А это кто?..

— Мама... и видишь, Пижон на поводке... вырваться пытается...

— А это?..

— Не знаю... какие-то девчонки... но смешные, да?.. вот смотри, прикольное дерево... с таким наворотом... и это...

— Гляди, опять Пижон... со шляпой играет...

— А тут?..

— Тут непонятно... потом свет включим — рассмотрим как следует... может, и ничего интересного, напечатал на всякий случай...

Пленка — тридцать шесть кадров. Две — это уже семьдесят два. В трех же оказалось чуть меньше сотни — пять были засвечены, еще столько же примерно — чистый мусор. И два остались неотснятыми почему-то — еще при проявке пленки растворами прилежно вычищены до белизны...

Вылежавшиеся в фиксаже карточки аккуратно поддеты пинцетом и после развешаны на бечевке через комнату — словно стираное белье. Надо бы — глянецватель, но глянецвателя, увы, нету... Бумага матовая, 13x18 «Унибром», сойдет и так.

— Чуть подсохнут — придавлю книгами... чтоб в трубочку не свернулись...

Окинул довольным взглядом плоды труда. Отодвинул кюветы, расчистив на столе место, промокнул тряпочкой нечаянно пролитую каплю — и после едва не уперся своими глазами в густую челочку, спрятавшую опущенные чужие... совсем близко...

...И тогда, как-то само собой, без раздумий и колебаний, будто кем-то научен загодя, — накрыл рукой Настенькину ладонь — и замер на миг, замороженный теплым осязаемым шелком...

Нет, не отдернула...

И склонился вперед, зарывшись носом в макушке: сладкий запах волос, кожи, девичьего легкого пота перебивает все, сминая мысли в плотный комок желания...

— Встань...

Встали оба, с шумом, неловко потеснив стулья.

На миг разомкнулись, но тут же вновь прильнули друг к другу — еще теснее... Наскоро нащупав губами губы — все как надо!

В полуобмороке как будто, ужасные руки — словно бы некуда деть: искал, искал и вот уже принялся расстегивать кофточку — секундная попытка сопротивления, скорее даже намек — и теперь путь свободен: наткнувшись на ткань лифчика, скользнул за спину, туда где пряжка эта, непривычная, неудобная...

Все же — как ни кинь, но успел совладать: в красном свете двойняшки-груды выглянули вдруг темными глазами сосков — взамен двух других глаз, спрятанных нависающей челкой. Нежное, нежное, немыслимо нежное прикосновение подушечек пальцев... и вдруг...

И вдруг — на тебе, пожалуйста: эти мерзкие шаги на лестнице. «Андрю-ю-ша!.. Настя!.. дети!.. эй, где вы там?.. куда вы все попрятались?!..»

А уже чуть погода — неизбежное: стук в дверь, три не слишком ровных удара женской глупой рукой.

— Вы здесь? Чем вы там заняты, а? Ишь, закрылись...

— А?.. Мы ничего... мы печатаем тут, мама...

— Давайте-ка, спускайтесь ко всем... Хохловы уходят, попрощайтесь...

И зашагала вниз.

...боковым зрением увидел, как смотрит в сторону, в дальний угол, поправляя кофточку торопливо: на сегодня, увы, все, не склеилось, адью!

Как веревочке ни виться... в общем, долго ли, коротко ли — а еще неделя прошла.

Всего-то неделя — но тяжкая какая, кому рассказать!..

И вот те же лица в том же интерьере: вся и разница, что увеличитель выключен и в угол задвинут, кюветы и бутылки спрятаны в шкаф, стол пуст и чист, а затемнение снято. Кокетливое солнышко просунулось в окошко сквозь березовые ветви.

Притом, что никаких теперь взрослых в доме — слава тебе, господи, отчалили за грибами поутру — все как один: недавним слухам подвластны, что-де маслята пошли будьте-нате — по всем просекам стоят шеренгами, свеженькие, ни червячка... коси, мол, — не хочу...

Настя и Андрей порознь отбоярились — хоть и не без труда.

Вот и ладно.

И теперь сидят друг перед другом, смотрят чуть-чуть насмешливо. Молчат.

Потом вдруг встали: сначала — он, миг спустя — она, подались навстречу, сделав полшага...

Прежний путь не напрасен — руки враз находят привычную уже дорогу — не путаясь больше в пуговицах и даже справившись без труда с крючками бюстгалтера. Вновь — волшебное прикосновение, и можно двинуться дальше, где давеча не был, — но стоп: шагнула назад, мотнув головой. Подняла глаза: милые, чуть растерянные, влажные.

— Не надо. Подожди. Я боюсь. А ты можешь... сейчас включить... эту твою красную лампу?..

Сергей Муратов

Красная площадь

Рассказ

Ночами, когда домашние спали, Гена выходил из квартиры и поднимался на плоскую крышу шестнадцатизэтажной «башни», в которой жил с самого рождения. На крыше он садился на остов железного стула, выросшего в наслоения гудрона, и сидел, глядя на город и слушая его ночное дыхание. Вдоль темных улиц горели кое-где фонари, разливая над кварталами желтый свет. Словно очаги угасающего сознания, светились редкие точки окон в домах. Близкие и далекие звуки сливались в монотонный гул. И когда гул затихал, а ночь укрывала серые коробки домов, начиналось...

Сначала издалека долетали звуки труб, будто где-то настраивался духовой оркестр. Их сменяли резкие невнятные возгласы, словно кто-то скороговоркой что-то выкрикивал и резко замолкал. Это подхватывало обрывки слов и навсегда уносило в затянутое серой ватой небо... И вдруг тишину распарывал чудовищно громкий, скрежещущий звук. Который длился, то затихая, то вскидываясь, и внезапно пропадал. Но тут же раздавалась серия глухих ударов. А потом снова вступали трубы, но как бы удаляясь. И кончалась ночная симфония мощнейшим, но совершенно беззвучным подземным толчком, от которого угрожающе качались люстры и нервно вздрагивали сервизы в буфетах.

Гена слушал, и в его воображении вставали рискованные картины... Казалось, что гигантская доисторическая птица, хлопая огромными крыльями, поет свою жуткую песнь. И замирало сердце... Вот сейчас она появится, чудовищная и неотвратимая, перешагивая через кварталы, сминая дома, ломая столбы с искрящими проводами, раскалывая машины и склевывая людей. Или чудилось, что со страшным скрежетом и грохотом открывается тысячетонная, до конца времен закрытая дверь в преисподнюю. И виднелось багровое зарево... И казалось, что скорлупа реальности сейчас треснет и мир свернется в свиток, как и было предсказано...

Но сегодня было тихо, и на душе у Гены было иное, он стоял на краю крыши и смотрел на город, на квадраты и прямоугольники домов, которых сотни и тысячи, но почти нигде не горит свет, хотя еще и не поздно. С северо-запада широким фронтом тянулись тяжелые, как дирижабли, мрачные тучи. И лишь далеко на западе виднелась полоска красного заката. «Блокаду сняли, — догадался Гена. — Теперь небо будет чистым». Сам он остро чувствовал прорыв блокады, бесконечной и вездесущей скуки. Но почему другие ничего не замечают, неужели они совсем ничего не видят? И он еще раз во всех подробностях вспомнил все, что случилось сегодня в училище...

Муратов Сергей Афанасьевич родился в 1967 году в городе Чебоксары. Закончил Московский строительный техникум (1986), автор сценариев к фильмам «Мешок» (реж. Артур Виденмеер), «Салам, Масква» (реж. Павел Бардин) и др. Живет в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Первой «парой» была литература. Все было как обычно: скучный Лазарь Наумович, зевая, читал бесконечную биографию Шолохова. А когда заскрипела, открываясь, дверь и кто-то громким шепотом вызвал Лазаря Наумовича в коридор, Гена непонятно от чего заволновался и почувствовал, что сейчас что-то будет. Вот прямо сейчас произойдет что-то невероятное и чрезвычайное. Дверь снова заскрипела, и в класс вошли: директор училища — крупный мужчина с красным лицом, одетый в серый костюм; следом прошаркал парторг — тихий старичок, неизменно пребывавший в хорошем настроении; за парторгом — завуч — дебелая тетка с рыбьими глазами на широком лице. Из-за ее плеча блестел очками бледный Лазарь Наумович.

Учащиеся, удивленно переглядываясь, поднялись и приняли позы провинившихся, но готовых раскаться детей. Директор исподлобья оглядел класс и громко, после каждой фразы вбивая восклицательный знак, заговорил: «Партия и правительство! Со скорбью извещают! Что генеральный секретарь нашей партии! Леонид Ильич Брежнев! Скоропостижно скончался!» Директор умолк. То ли в похмельной голове, то ли в горящей душе его случился какой-то сбой, и он выпал из необходимого состояния. Сознавая ответственность момента, директор пытался заставить плоть вернуться к обязанностям директора ПТУ № 69. И все руководство бессильно, но мужественно ожидало исхода этой борьбы, мысленно как бы помогая начальнику побороть слабость. Так и стояли они нестройной шеренгой на фоне белесых меловых разводов по черному трауру классной доски.

Гена вдруг ощутил, что тоже выпал из положенного ему состояния. Он почувствовал весеннюю легкость и близость освобождения, которая наступает где-то в середине апреля и до конца июля не проходит. И зашелестела у Гены в душе молодой листвою роща, и запел жаворонок, натягивая струну от пахучей земли к высокому небу. И сам он парил где-то над макушками березок и не хотел ни речей, ни известий, ни объяснений.

Тем временем молчание директора переросло в трагическую паузу. Воздух стал густым и плотным, а в полу проклюнулась дырочка и стала расти. Директор, охваченный борением, молчал, пауза росла, и вместе с ней росла трещина. Она уже зримо зияла между преподавателями и рядами облупленных парт. Так как дело было на третьем этаже, то под лопнувшим линолеумом должен был открыться бетонный пол, перекрытия, а под ними кабинет второго этажа, но ничего этого не было, а только зияла и ширилась черная дыра, и вместе с ней росло давление и скоро стало запредельным. Первыми сдались советские писатели, в их портретах треснули стекла, и осколки со звоном полетели в темноту дыры. За ними, соскользнув со шкафа, прошелестели книги и тетради; стаей гигантских бабочек, пестря разноцветьем фронтов и стрелок, прошуршали и канули в бездну карты старых и новейших войн. Стайка глобусов планет солнечной системы со стуком выкатилась из-под шкафа и бесшумно унеслась в черную пустоту галактики. Ослепительно звенели лампы дневного света. Оконные стекла потрескивали, а на столе Лазаря Наумовича из перьевой ручки, лежащей на раскрытом журнале, растекались чернила, с одинаковым безразличием заливая двоечников и отличников. Исчезали и рушились видимые очертания жизни. Вчерашние планы, незыблемость настоящего, надежды на будущее... Одним словом, все, решительно все пришло в угрожающее положение. С паузой надо было кончать, и кончать немедленно!

Гена чувствовал, что должен что-то сделать, и он был готов, просто не хотел лезть вперед. Он понимал, почему молчит директор, он тоже почувствовал всю нелепость ситуации. Сейчас он решится и скажет что-то простое и легкое. И всем станет ясно, что душное время кончилось и настали новые — светлые и чистые — времена. Нужно забыть обиды и вспомнить, что мы живем в одном городе, в одной стране, на одной планете... Наконец директор вздохнул, светлым взором обвел пэтэушников и с усилием штангиста, взявшего вес, выдохнул: «Леонид Ильич был выдающимся деятелем Компартии Советского Союза». Парторг добавил с улыбкой: «И активным борцом за мир». Гена чуть не заплакал: зачем, зачем-зачем? Зачем они говорят это?

Гена в отчаянии посмотрел на своих однокашников, но они не понимали и не чувствовали важности момента. Да и могли они вообще что-то понимать и чувствовать?

Преподаватели постояли, как бы закрепляя сказанное, чтобы никто не смог ни оспорить, ни опровергнуть. И уже не было паузы, не было тяжести, было просто и скучно, как всегда. Грянул и тут же оборвался звонок. Процессия вышла. Пэтэушники потянулись следом. В темных коридорах училища, как и по всей стране, громко звучала мрачная симфоническая музыка...

Гена прошелся по крыше. Раз и еще раз. Ему хотелось петь, орать и гикать, запустить в небо шапку, тысячи шапок, и чтобы они превратились в белых голубей! И пусть летят над Москвой вместо армады грозových дирижаблей! Пусть все поймут, что годы бесчувствия и страха кончились и пришло новое время!

С другой стороны двенадцатиэтажной «коробки» были видны рабочие кварталы и черные контуры завода, прозванного «Бухенвальд». И нигде никаких огней, даже в окнах... Ни залпов салюта в центре, ни ликующих манифестаций на окраинах, никто не разделял его радости и надежд. Да и самому Гене его чувства были странны. Во всем неуверенный, сомневающийся, в любом готовый признать знатока и авторитета, сейчас Гена был абсолютно уверен в своих чувствах и ощущал потребность отстаивать свое, именно свое мнение. Только он совершенно не понимал, откуда появились эти чувства и мысли. И почему у него одного?

Гена вернулся в квартиру. Мать дремала на кухне с вязанием в руках. В комнате храпел отец. Радио наполняло ночь скрипичной музыкой. Гена выключил приемник и прислонился лбом к оконному стеклу. Нет, спать было невозможно. Все его существо рвалось на волю, и он бы прыгнул в окно, если бы знал точно, что полетит! Ну хоть куда-нибудь надо было пойти, хоть с кем-то нужно преломить эту радость, это освобождение!

В вагоне метро было только шесть человек: старушка с авоськами и капитан-танкист с кейсом на коленях. Двое мужчин, хоть и сидели рядом и даже костюмы и галстуки у них были похожи, но было неясно — знакомы они или случайно сели на одну лавку в пустом вагоне. Странно было и то, что оба читали книги. Один — Горького, а другой — Шолохова... И прямо напротив Гены сидел то ли казах, то ли киргиз с рюкзаком, в кирзовых сапогах и сталинском френче. Гена с интересом разглядывал его смуглое идолоподобное лицо. Наискось сделанные прорези глаз были чуть приоткрыты, но видит ли он Гену и насколько понимает происходящее, было не понять. И кто он? Потомок диких племен, когда-то набегами ходивших на Русь и владевших нами не одну сотню лет? Он едет под той самой Москвой, которая видела и пожары, и осады, и голод, и мор. Но в конце концов победила врагов, покорила соседей и основала одну из величайших империй. И даже дожила до революции, которая расколола историю на «до» и «после» и поставила точку во всех этих распрях. И человек, который почти двадцать лет возглавлял страну, занимающую шестую часть планеты, умер. А уже завтра все может измениться до неузнаваемости...

Гена не понимал, почему кончина Брежнева так глубоко его тронула. Дело было не в смерти, по молодости он не думал о ней. Но была твердая уверенность, что свершилось то единственно нужное, чего он так жаждал. И уверенность эта, ни с кем не разделенная и никому не доверенная, росла и крепла в его душе, и была настоящей. А вместе с тем крепла и возрастала его душа, впервые ощущая в себе способность к переживаниям таких высот и масштабов.

Но что же изменится и как это будет? Все его мечты о переменах касались только его и того небольшого островка жизни, что открывался Гене в его шестнадцать лет. Например, мать выиграет, наконец, в лотерею или им дадут квартиру в другом районе, или окажется, что его стихи гениальны и он станет известным поэтом. Гена усмехнулся, вспомнив эти мечты, двери вагона открылись, и он вышел на станции «Площадь Ногина».

Гена стоял посреди Красной площади и словно впервые разглядывал Кремль. Разномастные островерхие башни, нелепую крышу Сената, красный флаг, колыхавшийся на ветру. Сейчас было особенно понятно, что Кремль — это не просто символ. Это мощная крепость, которая выдержала не одну осаду. Именно отсюда исходили указы и законы, которые на десятилетия определяли жизнь в стране. И уже завтра в Кремле произойдет что-то, что изменит все. Вообще все. И если по дороге сюда Гена был полон светлых надежд, то сейчас, глядя на башни, зубцы и бойницы, он понимал, что произойти может все что угодно. «А почему я — гражданин страны — не могу зайти в Кремль и спросить, что будет завтра? Как мы будем жить? Чувствуют они, что время изменилось? Понимают, что произошло? Но есть ли там кто-то, у кого можно спросить, или там как везде, как было в ПТУ или в автобусе?» — и Гена со стыдом вспомнил, как ехал домой из училища.

Автобус был любимый. Тот, где в кабине водителя, на крышке бардачка, была надпись: «КТО Я? ЧЕГО ХОЧУ?» Откуда она взялась? Ведь это очень личные вопросы, чтобы вывешивать их на всеобщее обозрение. Гена приглядывался к водителям, пытаясь определить автора по внешности. Но ни один из них не был похож на того, кто задается такими вопросами. Из всех его знакомых такие вопросы ни у кого даже не возникали. А Гену они буквально гипнотизировали. Никому не адресованные, направленные в бездну Вселенной, они требовали ответа. Вселенная, мерцающая миллионами звезд, каждая из которых, быть может, как наше Солнце, молчала.

Сегодня Гену эти вопросы не волновали. Он вглядывался в попутчиков и не мог понять, знают они или нет? Сегодня их лица были особенно бесчувственны. Автобус остановился на светофоре, и с порывом ветра в открытое окно залетели обрывки траурной музыки и скорбный голос диктора с вестью о невосполнимой потере. Автобус тихо тронулся, словно заочно примкнул к похоронному кортежу. Лица пассажиров не изменились, они были уместны, — словно эти люди всю жизнь жили под знаком скорби о еще предстоящей потере. И теперь их лица обрели смысл, они возвысились над суетой и стали похожи на изваяния. Гене показалось, что это не пассажиры, а скульптурная группа «Едущие на похороны». Автобус остановился. С траурным скрипом открылись двери, и водитель, еще более скорбным, чем у диктора голосом, сообщил, что остановка называется «Больница». И хотя обычно Гена выходил на следующей, сейчас не было у него сил ехать среди этих статуй.

Выйдя из автобуса и увидев булочную, Гена припомнил, что случилось неделю назад, когда он ходил за хлебом. День был самый обычный. Сидели у подъездов старухи в вытертых плащах. Ленивый ветер поднимал пыль на пустынном дворе. За столиком, где вечерами играют в домино, сидели два пенсионера в кепках и пиджаках. Они курили, и была в их лицах безнадежная усталость. Ни мудрости, которая, как обещает литература, приходит с возрастом, ни даже простого понимания бренности бытия. «Неужели и моя жизнь кончится на этой лавочке?» — думал Гена, стараясь не наступать на трещины в асфальте. Вот тут-то с ним и произошло что-то странное, чего никогда прежде не было. Гена не смог бы объяснить, что случилось, поскольку ничего не случилось. Он по-прежнему ясно видел, соображал и дышал. Только вдруг почувствовал, что в воздухе не хватает воздуха. И его пронзила нелепая, но ясная мысль, он в одну секунду понял, что «так больше нельзя». Что значит «так», Гена не знал, но точно понимал, что нельзя и точка. И одновременно он понял, что что-то произойдет и все изменится. Что-то главное, что лежит в основе всего, от чего зависит весь вообще ход, все события и вся жизнь — его самого, этих вот людей, других людей, и, может быть, — всего мира. Обязательно произойдет, иначе мы задохнемся. Просто задохнемся! И вот — не прошло и недели, как гром грянул!

Со стороны улицы Горького задувал ветер, но звуков не было, казалось, город притих и затаился. Гене хотелось верить, что Москва не спит, а только задернула плотные шторы и там бодрствует, думает и мыслит. Сначала он двинулся вдоль ГУМа, но справа от Спасской башни возникло какое-то движение, это были кремлевские

курсанты. Ну конечно, часы на Спасской башне показывали без пяти два, приближалась смена караула. Курсанты беззвучно двигались по отгороженной дорожке между брусчаткой и серым мрамором трибун. В какой-то момент курсанты сделали поворот к мавзолею, перестроились в линию и сразу же появился звук — они «чеканили шаг»: медленно поднимается абсолютно прямая нога и резко падает на брусчатку кованой подошвой — топ! И тут же другая нога — топ! И снова — медленный подъем и резкое — топ! Звонкий, четкий звук еще носится в ночной пустоте, а вслед ему спешат еще — топ — топ — топ! Их не остановить. Они не просто люди, им доверен таинственный ритуал — смена караула на посту номер один. Обычно посмотреть на это сходится множество людей, но сегодня никого нет. И понятно, такой день... Но Гена вдруг понял, что так нельзя, должен же быть хоть один зритель, а иначе неправильно. Он быстрым шагом пересек площадь и подошел к мавзолею, чтобы восполнить недостающий для ритуала элемент — присутствие свидетелей.

Курсанты приближались, все так же стройно и четко. Вот они уже совсем близко, и можно разглядеть лица, полные величия от причастности к тайне мавзолея. Каменными изваяниями шествуют они мимо единственного зрителя. Появившийся из ниоткуда милиционер открывает низенькие воротца к ступеням усыпальницы. Курсанты делают четкий поворот под прямым углом, бесшумно поднимаются по ступеням, и новый караул замирает перед караулом старым. Всё... Так они стоят лицом к лицу. Те, что пришли, и те, что должны уйти... Они не разговаривают, не переглядываются. Они ждут, ждут, готовые в любую секунду совершить этот единственный в своем величии ритуал — сдать и принять пост номер один Родины.

Кажется, что время остановилось, но вдруг, наверху, где мерцает золото циферблата и тлеет рубиновая звезда в пепельном небе, раздается известный всему миру неповторимый бой курантов! И тут же разводящий подает еле слышную команду и быстро, словно это не люди, а статуэтки на башенных часах, курсанты совершают ритуал. Движения их мгновенны, отточены и выверены. Полшага влево, разворот в полкорпуса, четверть шага вправо, еще поворот корпуса, теперь поворот налево и четверть шага вперед! И еще что-то, чего не запомнить и не заметить. И при этом они исполняют синхронный балет с карабинами: то нежно прижмут к груди, то отставят на вытянутых руках, и наконец, высоко подкинув над головой, с гулким стуком бьют окантованной сталью приклада в мрамор и замирают. Звучат последние перезвоны и, с первым ударом курантов, уходящий караул делает три первых бесшумных шага, мягко проходит ступеньки, и лишь на брусчатке наконец-то поднимается затекшая в часовом стоянии нога и с силой опускается на древние камни площади — дук! тук! дук! Они идут прямо на Гену, и это всегда его волновало, ведь они не просто люди, они причастны к тайне... Но сегодня Гена стоит твердо, он не ответит взгляда и не струсит. Сегодня он тоже причастен к тайне, к такой тайне, что ее и поведать некому. Они идут, идут! Но прямо перед Генкой — четкий синхронный поворот к Спасской башне. Дрогнули блестящие штыки на карабинах. Проплыли строгие профили в пепельных, под цвет елей, ушанках. И пошли, пошли чеканить, все удаляясь и удаляясь. Появился милиционер, закрыл калитку к мавзолею и снова исчез.

Гену всегда завораживал ритуал смены караула, но еще больше волновала тайна Ленина. Это небольшое здание, чьи очертания известны всему миру, и он — лежащий там, внутри, в хрустальном гробу, как сказочный король. Во всем этом была какая-то невероятная тайна, совсем непохожая на тот бодрый материализм, который охотно давал объяснение по любым вопросам мироздания. Но в этом случае материализм терялся и выдвигал такие аргументы, что стыдно было слушать... А Гена искал смысла, почему Ленина не похоронили? Зачем сделали из него мумию? Гене казалось, что за этим должно быть что-то важное, и если узнать эту тайну, то многое объяснится и станет на свои места. Гена так глубоко задумался, что совсем забыл, где он, а когда пришел в себя, обнаружил, что стоит в совершенном одиночестве посреди площади, перед мавзолеем Ленина, двери которого чуть-чуть приоткрыты. Холодея от страха, Гена почувствовал, что оттуда — из-за дверей — на него кто-то смотрит! Он стоял и

не мог оторвать взгляда от этой щели в дверях, словно сам Ленин подглядывал из своей жуткой усыпальницы...

Получасом ранее под шатром самой маленькой из башен московского Кремля — Царской — стоял Юрий Владимирович Андропов. Он глядел на притихшую ночную столицу, но чувствовал, что перед ним лежит вся страна. Это была красивая минута, он сознательно ее длил и отлично знал это. Как и то, что из дюжины людей, встревоженных тем, что вчерашний председатель КГБ и завтрашний генсек ночью приехал в Кремль и разгуливает по кремлевской стене, ни один не может ни понять, ни оценить всю высоту и значимость момента.

Внутри Кремля, возле Набатной башни, стояла длинная черная машина с зажженными фарами. А рядом с ней несколько темных фигур. «Словно пингвины сбились в кучу, ничего не понимают, а уйти боятся», — усмехнулся Андропов. «Пусть привыкают, скоро будет много необычного, а то в последние годы все стало настолько обыденным, что...» — он поднял воротник пальто и двинулся к Набатной башне. Дул удивительно не ноябрьский ветер, теплый и влажный. Такой ветер бывает в конце марта, в апреле, но не поздней осенью... Да и запах, запах был совсем не осенний, пахло теплой землей и скорым половодьем.

Мало кто знал, что у Юрия Владимировича было обостренное обоняние. Его от природы толстый, почти семитский, с горбинкой и следами перелома нос имел свойство различать самые тончайшие оттенки запахов. Пока он был просто Жориком, запахи были его мучением. Это дополнительное навязчивое знание об окружающем мире утомляло. Но позже не раз помогло, а однажды спасло жизнь, и не только ему. Когда он служил матросом на старом, дымящем всеми щелями толкаче, который водил баржи по Оке между Нижним и Муромом. Ходил толкач на угле, запасы которого занимали две трети судна. Из низкой трубы летели хлопья сажи, и крупные угольные искры шипя падали в воду и медленно тонули. Кормило было еще то, даже туалета не было. Прямо так в воду и ходили, а вода в Оке была чистая... и вот, не проснись он тогда ночью от запаха нефти, вытекающей из баржи в прореху, которую они своим же буксиром и пробили, эта ходка для всей команды была бы последней. За ночь нефть растеклась бы по всей Оке. А команду за вредительство оформили бы в Колымский край, что для тридцать восьмого было делом обычным. Правда, сейчас Юрий Владимирович уже и не помнил, как залатали баржу и доставили до Мурома, но вот запах нефти помнил до сих пор.

Он подошел к самым зубцам стены и взглянул на город. Теперь перед ним лежало Замоскворечье. Нагромождение домов в темноте сливалось в сплошной темный холм. И словно догорающие костры, тлели редкие точки окон. «А вот почему они не спят? Ведь почти два... Завтра на работу, а они не спят... Впрочем, догадаться не трудно, — Юрий Владимирович усмехнулся, — спорят, гадают, кто будет генсеком... мыслители. Глядят из окошек, а ни черта не видят. Одни ждут перемен... другие, наоборот, боятся, как бы пайку не потерять... Сограждане... Все хотят стабильности, порядка, достатка, но почему никто не хочет подчиняться? И наивны, как дети... Взять хотя бы Афганистан... разве объяснишь, что кровь бывает малая и бывает большая... Разве они могут осознать масштаб ответственности? Нация... Республики... страны Блока... А война? Мировая война? Ведь по радио не объявишь, что всё, товарищи, готовьтесь к войне... Да и кто воевать-то будет, если они вот по ночам не спят, все думают, философствуют! А утром бегут в Американское посольство — заберите нас из Союза! Спасите от тоталитаризма! Просим политического убежища... Я, может, и сам бы убежал, если бы было оно — такое убежище... Представляю, — Юрий Владимирович снова усмехнулся, — какая была бы рожа у американского посла! А наши? Что бы они напечатали в Правде?» — Юрий Владимирович негромко рассмеялся, повернулся и двинулся обратно к Спасской башне.

«Ну что же, если их заботит будущее, то пусть спокойно ложатся...» Уж он-то знает, как и что делать дальше. Все давно продумано, все! Столько лет он подчинялся,

работал на других, подстраивался, соглашался, улыбался и молчал... Молчал перед всяким... А чего это стоит? Ведь никто не понимает, какое это проклятье, быть почти у руля, видеть, как год за годом разрушается государство, и быть бессильным что-то изменить!

Прямо над головой куранты прозвонили три четверти. Привычно посмотрел на свои: 01:47 — куранты отстают на две минуты... «Ну вот что это, а? Главные часы страны отстают... а впрочем, это даже символично... Брежнев давно потерял чувство времени, и реальности тоже. Все стало болотом. Любое движение давалось такими усилиями, будто идешь через болото. Только и радости, что голова сверху...»

Он энергично шагал по кремлевской стене, переходя от башни к башне. Словно древний правитель делал обход крепости накануне штурма. «Теперь все будет иначе! Не сразу, конечно. При наших масштабах резкие изменения курса смерти подобны, как сказал бы Ильич... нужно действовать постепенно, исподволь, потому что изменить отношения между людьми непросто. Всю эту азиатчину, взятки, угодничество... Сталин, конечно, прав, люди решают многое. При верной их расстановке и перемещениях можно достичь нужных результатов. Но страх, конечно, необходим. Недаром же за столько тысячелетий ничего лучше не придумано. Потому что без страха нет преданности, и каждый может дать взятку и обойти и партию, и закон... Так не останется ничего незыблемого... Это предательство. Именно предательство! Взятка — предательство! Да! Это отлично, это верная мысль, и ее нужно возвести в степень закона».

Юрий Владимирович не заметил, как прошагал до Арсенальной. Внизу горело пламя Вечного огня, никого не согревая и ничего не освещая. За черными стволами уже опавших лип виднелась пустая Манежная площадь, а еще дальше грязно-желтое здание университета. Утробно урча, выехала из-за Манежа легковая машина. Медленно повернула на улицу Горького и удалилась, оставляя за собой шлейф белого дыма. «Какой все-таки азиатский город... Ну почему в Европе деревенская больница покрашена и ухожена? А у нас — старейший университет как конюшня. А дороги? Да вот, от Лубянки до Кремля доехать и то сколько выбоин насчитаешь!» — Юрий Владимирович повернулся и двинулся обратно. «И еще этот Кремль, хоть и итальяшки строили, все равно азиатский получился. Прав был Пётр — надо всю страну заново, по немецкому образцу перекроить. Может, со временем стоит вернуть столицу на Балтику, поближе к Европе? Не зря же Ленин любил Питер, там само устройство города приучает мыслить трезво и прагматично. А ведь Ильич любил Россию. Конечно, любил, большую, богатую, пускай несуразную и совсем не европейскую... Ильич».

Захотелось сходить к нему. Еще при Сталине, в последние его годы, через Сенатскую башню был сделан тайный проход в мавзолей. В огромном зеркальном лифте вниз и по широкому коридору прямо в усыпальницу. Зачем он понадобился Хозяину — неизвестно. Юрий Владимирович точно знал, что ни разу Сталин им не воспользовался, и загадка притягивала. Иногда Андропов представлял, как в багровом полумраке, возле самого гроба, положив руку с потухшей трубкой на саркофаг и вперив свои черные глаза в лобастый профиль Вождя, стоит, словно злой чародей, Сталин... И страшно даже представить — где он витает мыслями, что вспоминает, с кем незримо беседует...

Юрий Владимирович вошел в Сенатскую башню. Пахло сухим деревом от старинных лестниц, переплетами уходящих вверх, на сторожевую площадку. В старину там стоял дозорный, оглядывая многочисленные посады, прилепившиеся к стенам крепости. «А нынче все дозоры внутри, от самих себя бережемся, смех да и только... Все посты усилены. А зачем? Разве ожидаются народные волнения? Откуда? Коба запугал народ на поколения вперед. Хоть что-то полезное для страны сделал».

Спускаясь в лифте, больше похожем на кабинет в клубе дворянского собрания: панели красного дерева, зеркала, банкетка, обитая бархатом, приглушенный свет, Юрий Владимирович вдруг догадался, для чего Сталину тайный ход в Мавзолей. Для азиатских друзей, для Чан-Кай-Ши или Мао. Да, проход подземным коридором, в

полной тишине и полумраке, сгущавшемся ближе к усыпальнице, это сильно. С такой подготовкой встреча с Вождем была священной. После уже и не знаешь, где ты был: на земле или под землей? Воистину, этот Сталин владыка не только жизни, но и смерти! Да уж... Но даже он не смог предотвратить ни своей смерти, ни того, что случилось потом.

Юрий Владимирович никогда не думал о Сталине так высоко, как было принято в высших партийных кругах. Он хорошо понимал посредственность и трусость Отца народов. Все эти мифы о прозорливости, о гениальности, о скромности, о святости — это ведь не народное творчество, это все шестерки придумали. Сам-то Коба не верил ни в социализм, ни в коммунизм. Жил и вел дела так, чтобы оставаться Верховным, а тем, кто не перечил, позволял как-то жить при себе — любимом. Генералиссимус! Ни разу на фронт не съездил — еще чего! Его жизнь дороже миллионов, без него страна погибнет! Да, в сорок первом его запросто можно было убрать. Сидел на дальней даче и трясся от страха, что придут рабочие с молотками да крестьяне с серпами — и не будет больше у советских детей самого большого друга. Они бы может и пришли, да заняты были — Родину от Гитлера спасали.

Зная о спецэффектах, а теперь догадавшись и о смысле подземного хода, Юрий Владимирович немного волновался, приближаясь к дверям, за которыми покоилось нетленное тело Вождя. Внутри Мавзолея всегда прохладно и сухо, и запах, как в музее. Никогда здесь не думалось о тлении или о бренности, скорее — о вечности. Да и само тело Вождя исполнено тишины и умиротворения.

Всякий раз, стоя рядом с Ильичом и вглядываясь в его лицо, Юрий Владимирович отчетливо осознавал, что всему настоящему, что было в его жизни, он обязан этому человеку. Хотя и понимал, что никакой это не человек, а, так сказать, «образ человека». Но где-то глубоко внутри Андропов чувствовал, что это не просто встреча живого человека с мертвым... Нет, он чувствовал преемственность, словно Ильич завещал ему довести, доделать то, что не удалось самому. Больше того — Юрий Владимирович знал, сквозь весь материализм и атеизм знал, что встреча эта неслучайна в каком-то необъяснимом, высшем смысле. И как ни странно, именно это и давало ему — чекисту и коммунисту — силы решиться, подготовить и сделать все для того, чтобы стоять сегодня на кремлевской стене хозяином, а уже завтра твердой рукой начать возвращать государство на правильный исторический путь.

Он поднялся к двери, ведущей на Красную площадь, и чуть приоткрыл ее. С улицы пахло прохладой и множеством запахов. Посмотрел на часы, скоро смена караула. Юрий Владимирович очень любил этот ритуал. Бывая у курсантов, он с удовольствием смотрел на этих рослых славянских парней, и они казались ему княжескими дружинниками. И это так, власть неотделима от воинской силы. Он смотрел в щелочку двери и видел, что прямо к мавзолею кто-то шел. «Ага, даже в такую ночь кто-то пришел посмотреть смену караула. Это хорошо, это достойно! Вот наша советская традиция», — Юрий Владимирович умиленно улыбнулся. Ему не раз доводилось видеть, как люди, смотревшие на смену караула, наливались гордостью и пониманием чего-то более высокого, чем их обыденная жизнь. И уходили они полными сил и решимости трудиться для будущих поколений, не озлобляясь на житейские трудности. Не сетуя на ничтожность своей судьбы, какой бы тяжелой она ни была.

Караул приближался. Одинокий зритель стоял у самого ограждения, и было видно, что это юноша, студент-первокурсник. Андропов с удовольствием следил за четкими движениями кремлевских курсантов. «Вот так бы и всем делать свое дело, знать, когда нужен напор и смелость, когда выдержка, а когда точное и уверенное движение... Как бы всем понять, что жизнь — это такая же смена караула, и у каждого он — свой. У одного на виду, а у другого в секрете. Но и тот и другой важен и необходим. Да, важен и необходим...»

Ритуал свершился. Юрий Владимирович смотрел на уходящий караул, а потом мельком взглянул на юношу и отпрянул — тот смотрел прямо ему в глаза таким

взглядом, что Андропову стало нехорошо. Такой взгляд просто не укладывался в сегодняшнюю ночь. Юрий Владимирович прислонился к стене и закрыл глаза. «Что происходит, отчего вдруг тревога? Что он здесь делает? Что? Пришел посмотреть на смену караула? Зачем? Если он поэт, лопухий стихотворец, то должен писать что-нибудь о любви, о птицах, о море... Но какой взгляд, взгляд, ищущий ответов, — это всего лишь взгляд мальчишки. Но отчего так тревожно?» — Юрий Владимирович доверял интуиции, и если чувствовал тревогу или беспокойство, то всегда принимал меры. «Нет, он не поэт, никакой он не поэт!» — Андропов снова посмотрел в щель, но там никого не было. «Как же это? Откуда они берутся? Ведь истина так проста — верить партии и правительству, верить старшим, не обманывать, не воровать... например, часовой, о чем думает, что нужно целый час стоять, не шелохнувшись? Это правильно, думать о том, что делаешь — правильно... Но почему у часового в глазах нет победы? Ведь он охраняет двери мавзолея! Это же Сердце Родины, средоточие дум и надежд всего народа... у того в глазах — бой, а в глазах часового нет победы!» — Юрий Владимирович сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Но нехороший осадок оставался. Он спустился к саркофагу, взглянул на Вождя и от неожиданности остановился. До чего же несерьезным и обывательским показался сейчас профиль Ленина. Ему стало не по себе, сомнительно и одиноко. Куда-то пропала уверенность и твердость, что всегда наполняла Юрия Владимировича, когда он приходил к Ильичу. Пусто было на сердце председателя Комитета государственной безопасности, и даже прогулка по кремлевской стене казалась теперь наивной и опереточной. Высокие мысли, грандиозные планы и все проекты на годы — всё показалось вдруг фарсом и миражом... Да и сам Вождь казался страшным средневековым чудом, и как-то глупо и жутко было стоять здесь, перед этим то ли чучелом, то ли мумией. И возник вопрос, страшный в своей простоте. Вопрос, который поразил Юрия Владимировича тем, что никогда раньше не возникал. Но вот теперь вопрос есть, а ответа не было. У председателя КГБ и завтрашнего генсека не было ответа! И еще больше он испугался, когда понял, что вопрос возник не у него, и не родился из воздуха, а передан ему от того проклятого мальчишки! «Так вот что он... так вот о чем... но ответа — нет! Нет, нет и нет! То есть он есть, но ведь это же и так понятно», — Андропов почувствовал, как к лицу прилила кровь. Ему стало ужасно стыдно, почему он не вышел из мавзолея и не приказал часовым стрелять? Почему не достал свой табельный и не положил этого щенка сам, как в тире? Какой же он слабак...

Подойдя к воротам Александровского сада, Гена с удивлением обнаружил, что они закрыты на цепь с большим висячим замком. А в самом саду не горело ни одного фонаря. Это его озадачило — сколько раз он гулял по ночной Москве, но сад ни разу не закрывали. Гена потрогал замок и цепь и вдруг прямо перед собой увидел невысокого коренастого солдата в длинной шинели, в каске и с автоматом на плече. Солдат воровато оглянулся и попросил закурить. Гена не курил. Солдат огорчился и на вопрос, почему сад закрыт, уходя бросил что-то про танки. Гена подумал, что ему послышалось, но взглядевшись в темноту сада, в самом деле различил очертания танков, сколько их там было, не разглядеть. В удивлении от танков в Александровском саду Гена пошел обратно, к площади, там хотя бы было светло.

Поднялся по ступеням Лобного места и посмотрел на здоровенный камень, иссеченный ударами топора и, наверное, не раз залитый кровью приговоренных. А кто теперь знает, правы были судьи или нет? Виновный или оклеветанный человек стоял на коленях, устраивая голову на последнем изголовье? А у палача и не бывает таких вопросов, вся его правда в ремесле. И тут, у плахи, всегда двое — палач и жертва. Топор и шея... Спускаясь по ступеням, Гена заметил, что от ГУМа прямо к нему деловито идет человек. Что-то нехорошее было в этой деловитой походке, и чтобы не встречаться, Гена пошел к Минину и Пожарскому и, уже обходя справа ограду Собора Василия Блаженного, увидел еще одного человека. Он быстро поднимался по Васильевскому спуску Гене навстречу. Гена оглянулся. Первый был уже близко и улыбался. Гена и сам

не понял, как вдруг перемахнул через невысокую ограду и бросился к собору. Первый злобно выругался и побежал в обход слева. Пока второй лез на гранитный парапет, Гена успел обогнуть собор. Он подбежал к задней части ограды, но за ней было метра три и брусчатка внизу. Гена заметался и кинулся к храму, там была тень под козырьком, и замер, всем телом прильнув к церковным камням.

Зорко вглядываясь в пространство, достав фонарики, эти двое исследовали небольшое пространство за Собором. И тут Гена их узнал, это те двое из метро — Горький и Шолохов. Гена мелко задрожал от страха. В голове вертелись шпионские мультики, но для кошмара, который творился с ним, это не годилось. Так он и стоял, зажмурившись, вжимаясь телом в стену храма, не зная, на что надеяться, и лишь беззвучно причитал: «Матушка, царица небесная», точно, как его покойная бабушка. Сколько он так простоял, Гена не знал, но неожиданно дрожь прошла, и он ощутил тепло, покой и такое умиротворение, словно всю свою жизнь, такую короткую и пустую жизнь, искал это самое место. Место, где он наконец-то ощутил себя сыном Отечества, которое, как добрый отец, не требует ежедневного выражения любви; Отечества, которое само — милость и крепость для детей. Словно вокруг Собора была незримая волшебная оболочка, в которую Гена вошел, и на него нахлынуло, ошеломило и пронизало ощущение чего-то огромного, бескрайнего, как высота и бездна одновременно. Он ощутил Историю как живую пульсирующую цепь событий, навсегда связавшую его жизнь с этой страной и ее правителями. С бунтами и войнами, строительствами городов и деревень, с радостями и горестями. Неизъяснимую нитью связывались все когда-либо жившие в России, безвестно погибшие в больших и малых войнах, слизанные языком эпидемий, казненные и умершие от непосильного труда, исчезнувшие в тьме египетской, преставившиеся в просветлении... Вся бесконечность предыдущих поколений проходила через него и вбирала его в себя. И революция, названная великой, уже не отсекала предыдущую жизнь от последующей. Сейчас и она была одним из узлов в этой веренице, и даже не самым важным, не самым решающим и уж никак не великим.

Потрясенный открывшейся ему панорамой, Гена уже не понимал, где он и жив ли он. Вскоре забрезжило что-то еще, неясные, незнакомые, словно сквозь мутное стекло различимые, события и целые эпопеи, громоздясь, разворачивались перед его взором. Что-то тревожное, клокочущее и бушующее виделось ему, но что это было, прошлое, будущее или никогда не сбывшееся — он не знал.

Около черного ЗИМа молча стояли продрогшие члены политбюро, министр обороны и комендант Кремля. Ничего не сказав и никак не выразив своего к ним отношения, Юрий Владимирович забрался в машину. Придержав дверь, посмотрел на коменданта.

— Взяли? — негромко спросил Андропов. Комендант, согнувшись, вполголоса доложил: живым взять не удалось; оказал сопротивление, ранил сотрудника; отчет будет утром. Юрий Владимирович глядел в глаза коменданта, но не видел того, что хотел. Дверь закрылась, машина медленно развернулась, оставляя глубокие следы на мягкой, ухоженной земле кремлевского сада, вековые деревья которого были выращены только из семян, никакие прививки здесь не допускались.

Рассвело. Утренний воздух был чист и свеж. Яркое солнце освещало разноцветные купола собора Василия Блаженного. Из-за зубчатой стены Кремля блестели золотом церкви. А еще выше, почти касаясь огромных, словно горы, облаков, белым столбом высилась колокольня Ивана Великого. По реке стелились остатки тумана, по набережной ехали редкие машины. По Большому Каменному мосту, поеживаясь от холода, легкой походкой шел Гена Андреев. Не понимая причин своего спасения, не сознавая, какую беду от него отвело, он шел навстречу солнцу, и на душе у него было легко и радостно.

Алёна Жукова

Беглянка

Рассказ

После занятий, ни с кем не прощаясь, три студентки музыкального колледжа Оля, Поля и Ляля, которых за неразлучность и непредсказуемость сокурсники прозвали «опля», незаметно улизнули, а теперь стояли в продуваемом дворике, решая, что делать — расходиться по домам или все же предаться всеобщему безумию по поводу празднования Женского дня. Погода не способствовала долгим размышлениям — с неба текло, как из сопливого носа, температура падала, и сопли на глазах превращались в ледяные колючие козявки. Сама идея празднования Восьмого марта почему-то казалась им унижительной, как если бы этот праздник отмечали в общественной бане — «женский день», «мужской»... Глупость какая! Сейчас девочкам хотелось поскорее оказаться где-нибудь в теплом месте, где можно поесть.

Оля, сдув со лба выбившийся из-под шапки жгуче-черный локон, предложила пойти к ней, огласив домашнее меню:

— Бабушка с утра тесто поставила для пирогов. Уже наверняка готовы. С капустой. Еще она варит кутью и компот из сухофруктов. Это по случаю сороковин ее сестры-близняшки, моей двоюродной бабки Рады.

— Что такое кутья? — спросила Ляля, вытянув трубочкой розовые, аккуратно очерченные губки на букве «у».

— Это еда такая специальная, ритуальная. Готовят на похороны и поминки, — объяснила Оля.

Ляля поморщилась:

— А мы тут причем?

— Вкусная, — добавила Оля, — зерна, орехи, изюм. Мне нравится, особенно, если с корицей.

— Хочу кутью и пироги с капустой, — сглотнула Поля и засунула за щеку конфету. Ее и без того пухлые щеки еще больше надулись. Коробка с разноцветным леденцами пошла по кругу. — Давайте скорее решать, промокнем.

— Мне наследство досталось от бабы Рады, — старалась заинтересовать подруг Оля. — Ноты офигительные! Все дореволюционные издания. Им по сто лет. Есть Вертинский девятьсот одиннадцатого, называется «Кокаинетка». Прикол!

Ляля заинтересовалась.

Жукова Ольга Григорьевна (псевдоним — Алёна Жукова) — прозаик, сценарист, кинокритик. Автор ряда книг, в т. ч. «К чему снились яблоки Марине» (2010), «Дуэт для одиночества» (2011), «Тайный знак» (2016), «Странная женщина» (2017). Лауреат нескольких литературных премий. Живет в Торонто. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

— Какие тесситура, тональность? Я потяну?

Поля, поправив на носу модные очки, скривилась, словно ей попал на язык кислый леденец:

— Лялька, очнись, это песни Вертинского. Ты тут причем? Успокойся уже. Лучше аккомпанемент сдай. Ты пианистка, господи прости. Куда тебя несет? Какой вокал, опера? С ума сошла.

Ляля все это пропустила мимо ушей.

— Олик, погнали к тебе, «Кокаинетку» хочу!

Они бежали к остановке автобуса под ледяным дождем. Мостовая все больше напоминала русло небольшой речки, по которой, словно на нерест, отфыркиваясь и толпясь в чудовищных пробках, скользили автомобили, лоснясь влажными спинами и боками. Народу на остановке прибывало. Под навесом не было мест. Девочки скучали, топтались на месте, всматриваясь вдаль — не идет ли автобус.

— Она была музыкантом? — неожиданно спросила Ляля, резко развернувшись.

— Кто? — опешила Оля.

— Ну, та женщина, которая умерла. Имя такое странное... Забыла, напомни.

— Рада? — переспросила Оля и добавила: — Это цыганское имя. Моя бабушка Люба и ее сестра-близнец Рада наполовину цыганки, по отцу.

— А чего молчала? Это ж круто! То-то ты вся такая жгучая.

Оля хохотнула и потрясла плечами, выставив грудь.

— Так кем она была? — напомнила Ляля.

— Билетером в филармонии. Очень музыку любила и на последние деньги ноты покупала.

— Зачем, если не играла? — удивилась Поля.

— Для дочки Марии, только зря. Слушайте, это очень мутная история про Марию, давайте я ее дома вам расскажу.

— А чего тянуть? — зевнула Поля, протирая мокрые очки. — Тоска такая эта слякоть, и автобуса не видно. Давай, начинай.

— Нет, без перчатки нельзя, — загадочно ответила Оля.

Девочки ничего не поняли. Какая перчатка? Почему надо рассказывать об этом в перчатках? Бред какой! Показался автобус, и они ринулись на штурм. Им удалось с боем втиснуться в набитое до отказа душное и влажное нутро.

Оля жила в трехкомнатной квартире, подружки любили там бывать: во-первых, можно было расслабиться, поскольку у Оли была своя, довольно большая комната с раскладным диваном и кабинетным роялем, а во-вторых, им нравилось, что никакого мужского духа там не было. В квартире обитали три женщины: сама Оля, ее мама-разведенка и бабушка-вдова. Приходить к ним в гости девчачьей компанией было одно удовольствие — никто не важничает, не задает дурацкие вопросы, не смотрит футбол и не бросает оценивающие взгляды.

После вкусного поминального ужина, приправленного печалью взрослых и вынужденной сдержанностью молодых, мама Оли, Антонина Петровна, спросила:

— А теперь концерт? Столько музыкантш сразу в одном месте. Такой шанс нельзя упустить. Ляля, споешь? Я слышала, у тебя хорошо получается.

Ляля смущенно кивнула.

— Нам надо порепетировать, — заявила Оля, и девочки ушли в другую комнату, закрыв за собой дверь.

В наступившей тишине часы назойливо тикали. Две женщины — сидя с редкими темными прядками за ушами, другая — черноволосая с едва заметной сединой на висках — остались сидеть у стола, помешивая в чашках остывающий чай и украдкой поглядывая друг на друга. С их лиц сползали приклеенные улыбки. За дверью

послышался смех и первые аккорды неловкого аккомпанемента, потом тоненький голос затянул мелодию песенки «русского Пьеро». Старшая женщина тяжело вздохнула, младшая поперхнулась чаем. Слушать Лялю было невыносимо.

— А помнишь, как Мария это пела? — обратилась к дочери Любовь Марковна.

— Конечно. У меня всегда в носу щекотало от слез, — загрустила Антонина. — И почему весна все никак не наступит? Как Раду похоронили, так все снег да снег с дождем...

Обе повернули головы к окну. Стекла были наполовину залеплены грязной ледяной крошкой. «Как в больнице», — сказали почти одновременно и смутились одинаковости мыслей.

Антонина тяжело встала, опираясь на стол, и пошла в угол комнаты. Там стоял пузатый, полированный под орех комод с небольшим зеркалом. Сколько помнила себя, столько разных Антонин отражалось в нем: сначала, когда научилась дотягиваться, видела лоб и глаза; потом всю голову, с перемазанными вареньем щеками; позже — длинную шею и растущую грудь; потом большой живот, когда Олю носила; а теперь и глядеть не хочется — уже ничего в него не вмещается. Надо худеть, а кому оно надо? Потянула первый ящик. Он давно перекосялся и выдвигался с трудом. Нашупав небольшой альбом, вынула из него фотографию с надписью на обороте: «Мария Любимова. Сольный концерт. Филармония. Январь 1997». Стройная красавица с копной темных выющихся волос, с тонкой шеей и высокой грудью, стоит на сцене, опершись на рояль. Вишневое платье в пол, черные, расшитые бисером концертные перчатки до локтя, в руках букет белых роз.

Любовь Марковна попросила передать ей фотографию.

— Помнишь, когда мы в последний раз ездили на кладбище, Рада попросила купить белые розы, а сама не пошла? Опять сказала, что делать ей там нечего. Нет там Марийки.

— Помню, мама, помню. Не начинай — нет сил это слушать. Ты все понимаешь: Рада сама потерялась после исчезновения Марии. Эти бесконечные покупки нот. Кому, зачем?

— Сердцем чуяла, что дочка жива, просто не может найти дорогу домой. Я вот мультфильм недавно смотрела про рыбку, та тоже потерялась. Наревелась...

— Мам, ты меня пугаешь. Ты всерьез? Мария пропала двадцать лет назад. Ушла прямо со сцены в лютый мороз в одном платье, без документов, денег. Она покончила с собой из-за любви. Ты это знаешь, и я знаю. Рада тоже знала. Давай сегодня не тревожить их души. Они наконец там встретились.

За стеной музыка внезапно прервалась на полуслове диссонансного аккорда. Антонина и Любовь Марковна переглянулись. Антонина пожала плечами и вздохнула: «Видимо, концерт отменяется».

А девочки тем временем, усевшись на диване, приготовились слушать Олину историю про исчезнувшую Марию. Передавая по кругу старую фотографию, вглядывались в молодое, счастливое лицо.

— Красавица, правда? Она исчезла задолго до моего рождения. Ей тут двадцать с небольшим, — объясняла Оля.

— Что-то у вас общее есть, — прищурила один глаз Ляля, — только не говори, что погибла.

— Неизвестно. Возможно, похоронили не ее.

— А зачем было хоронить кого-то другого? — удивилась Поля.

— Вот в этом и весь фокус: ее мать решила, что так можно смерть обмануть. Мол, два раза не похоронят.

— Дикость какая. А как можно хоронить без тела?

— Какие-то части нашли на городской свалке. Вот это все и похоронили.

— Без экспертизы? — не унималась Поля.

— Ага, — кивнула Оля, — Рада отказалась от экспертизы.

— То есть, Мария вполне может быть жива и просто скрывается? — спросила Ляля и добавила: — А может, ее все так достало, что сбежала куда глаза глядят. Небось, еще и любовь-морковь замешана, как всегда. Влюбилась, а маму от парня воротит...

Оля замотала головой:

— Нет, абсолютно не тот случай. Мария полюбила оперного бога, настоящую звезду. Он был намного старше. Что уж там точно произошло, мне никто не рассказывал, но Мария как сквозь землю провалилась. Долго искали. Да, забыла сказать: среди останков была только одна рука, а на ней концертная перчатка Марии. Теперь перчатка у нас.

Девчонки охнули.

— А показать? — спросила, скорее, потребовала Поля.

— Не боитесь? Я лично ее в руки не беру после сна одного — она в нем вместе с кожей снялась. Всего лишь один раз попробовала ее надеть, прям дико захотелось...

— Ты что, крейзанулась? — Ляля округлила глаза. — Вещь с покойника на себя натягивать! Выбрось и забудь, а лучше сожги. Где она?

— Спокойно, подруги, ее бабушка спрятала. Она с ней разговаривает.

— Вау! Еще и говорящая!

— Да нет, она через нее с духом Марии общается.

— Весело у вас тут, — зевнула Поля. — Лялька, так ты будешь петь?

Ляля скривилась.

— Ой, подруги, что-то мне ваша Кокаинетка не пошла на трезвую голову.

— Пойдите, — вспомнила Оля, — есть один любимый романс Марии. Вот, держите, цыганский романс Вари Паниной «К чему скрывать». Моим понравится.

Любовь Марковна собирала со стола грязную посуду, не переставая бухтеть:

— А он, ирод проклятый, когда в ящик сыграл, как все вокруг убивались: «Гений, великий Добужанский!» Ой-ей-ей! Старый хрен. И как она могла в него влюбиться? Поношенный, пропитый. Чем ее взял? Знаю, ты скажешь, талантом. А я, как услышала его в «Риголетто», так и поняла — шут. Шут он и есть. Теперь уж был... Играл с ней, как кошка с мышью. Мария чуть голоса не лишилась в тот вечер. Позвонить ей в примерку, отказаться от выступления, не спеть объявленный в программе дуэт и сбежать перед гастролями! Ну не скотина? Ей на сцену выходить, а она, что твоя рыба на суше, задыхается. Может, этот садист еще чего наговорил, не знаем. Как у нее сил-то хватило? Ведь уж очень вспыльчивая была. Ох, как Радка с ней намучилась! Я вот думаю — прав был твой дед-цыган, что порчи боялся. Говорил — на всех женщин нашего рода она легла через его первую жену Зору.

— Мама, хорош пургу гнать, надоело. И Ольке не смей этим мозги засирать.

— Ой, больше, чем ваши телевизор с интернетом мозги засирают, не придумаешь.

— Согласна, но зачем добавлять? Забыла, наверное — ты сто раз рассказывала, что дед бросил Зору, ушел из табора, закончил школу, потом техникум, женился на нашей бабушке Кате. Как Зора могла насрать на нас порчу, если даже не знала, когда и кто родится?

— Ха, вот ты глупая! Она сначала за нами, а потом за вами по пятам ходила. Обиду на мужа затаила, что нашел другую жену. Думаешь, просто так, ни с того ни с сего, наша мама умерла в родах вместе с братиком младшим? Нам с Радой всего-то по десять было. Зора со своим полюбивником хотела нас выкрасть, но твой дед Марк был здоровый и страшный цыган, своих близняшек-вишеноч оберегал. А потом, когда мы с Радкой замуж по дури неудачно повыскакивали, да и вы с Марийкой друг за дружкой родились, дед опять на страже стал. Нашим мужьям было плевать на всю цыганщину, не понимали они в этом ни черта, поэтому не боялись, а зря. Им-то что? Спились оба

да сгинули, а нам, женам, хлебать. Дед, как сторожевая собака, носом почуял беду. Кто-то из соседей видел, как во дворе к вам старая цыганка подошла. Вы в песочнице сидите, а она вам конфетки сует. Ох, как он расвирепел! Схватил кухонный нож, закричал: «Найду, убью!». Несколько дней по городу бегал, искал ее. Вернулся сам не свой. Сказал, что не нашел, а через пару дней инфаркт обширный. Перед смертью просил внушек окрестить, а по тем временам знаешь, как непросто это было.

— Не помню такого. И что? По-твоему, это Зора к нам подходила?

— Может, и она. Только знаю одно — вы с Марийкой обе с приветом, да и через мужчин пострадались, как мы с Радой. Ты, правда, в детстве была послушная, а в Марийке будто бес сидел: чуть что — крик, слезы, из дому бежит...

— Да, вот это я помню. Все куда-то ее тянуло, и меня с собой звала.

— Вот я и думаю, что в конце концов сбежала.

— Нет, от него бы не сбежала. Он был для нее всем — учителем, отцом, любовником, жизнью. Я слышала их дуэт на репетиции. Как жаль, что тогда на концерте он не прозвучал. Их голоса не просто сливались, они, как тебе лучше сказать, обнимались, эти голоса, перетекая один в другой. Лучших Фигаро и Розины не слышала. Но не судьба была им вместе петь и жить. Все знают, что в тот вечер его сын-инвалид был в реанимации на краю смерти, поэтому Добужанский и позвонил Марии и отменил выступление. Не бросил бы он его. Кто-то должен был уйти. Мария решила, что она. Вот только зачем туда?

— Куда ушла, не знаем. А вот то, что свечи в нашем доме коптят и гаснут, — так это первый признак порчи.

— Господи, ты невыносима! Просто не надо жмотничать. Покупай дорогие, а не дешевку.

Любовь Марковна демонстративно поставила в центр стола подсвечник с толстой свечой, положила возле него книгу, колоду карт и достала из ящика черную перчатку.

— Мам, ты чего? Опять? Я же просила этого не делать. Сколько можно?

— Хорош шуметь. Цыганская кровь в тебе прокисла, а меня еще греет. Гадать будем, девчонкам радость, а я про Марийку спрошу, может, на этот раз чего откроется. Зови музыкантш. Ишь, как надрываются, думают, если Панину поют, то горлом надо брать. Дурочки. Пусть отдохнут. Сил нет слушать.

Антонина постучалась. Девочки с хохотом распахнули дверь. Они наперебой выкрикивали строчки любовных песен из сборника «Либретто для граммофона» издания 1905 года.

— Мам, нет, ты послушай, — стонала Оля:

«Её в грязи он подобрал,
чтоб все достать ей, красть он стал.
Она в довольстве утопала
и над безумцем хохотала...»

Неожиданно для девочек Антонина продолжила по памяти:

«И шли пиры, но дни текли.
Вот утром раз за ним пришли,
ведут в тюрьму...
Она стояла перед окном и хохотала...»

— Мам, неужели ты эту муру помнишь? — удивилась Оля.

— Не мура, дорогая моя. Слова, между прочим, поэта Аполлона Майкова. Эта баллада написана к поэме Пушкина «Цыгане». Знаете такую?

Молодежь смутилась, а бабушка усмехнулась:

— Читайте дальше. В этой книжице перлов много. Стихи наивные, но от сердца. Все, что от сердца, наивно. Ну что, девицы, начнем? — хитро подмигнула она.

— Что начнем, бабушка? — спросила Оля.

— Никто не хочет погадать?

Девочки только сейчас заметили на столе свечу, книгу, перчатку и застыли на пороге.

— А как гадать, Любовь Марковна? Научите, — попросила Ляля.

Бабушка загадочно улыбнулась и подозвала девочек к столу.

— Смотрите, вот цыганская книга судеб, приворотов и заговоров. Через нее с душами умерших говорить будем. Может, и с Марийкой поговорим.

Она прижала к груди перчатку и открыла книгу. Подружки боязливо рассаживались вокруг стола, поглядывая на Олю. Антонина, поджав губы, села в стороне, а потом и вовсе ушла в свою комнату.

Любовь Марковна с трудом зажгла свечу, которая тут же закоптила. Вместо магических заклинаний, неожиданно для всех, начала читать молитву. Потом, на незнакомом языке, спела нудную песню и заголосила, подняв руки к потолку: «Мариюшка, отзовись! И ты, Рада, сестра моя любимая. Родненькие мои, как вы там? Уже встретились? Радочка, если Марийки там нет, подай знак. Будем ее на этом свете искать».

И вдруг на входной двери истерично зазвенел звонок. Девочки от неожиданности заверещали. Антонина выскочила из комнаты и, шикнув на них, пошла открывать.

На пороге стоял красивый парень лет двадцати, похожий на геолога или на то, как изображали когда-то романтиков Севера: брезентовая ветровка, высокие сапоги, суровой вязки свитер с воротником под горло, за плечами рюкзак. В руках он держал коробку конфет и бутылку вина. Антонина решила, что парень, видимо, ошибся адресом, но он, белозубо улыбаясь, обратился к ней по имени:

— Антонина Ивановна? Не ошибся? Я Николай, ваш племянник, Марии Любимовой сын.

У Антонины подкосились ноги. Она сползла по стене и закричала.

Из комнаты выскочили перепуганные девочки. Ляля прихватила подсвечник, а бабушка нож.

— Мама, это сын Марии. У Марии родился сын! Значит, она жива! — еле ворочала языком Антонина. Теперь пришла очередь бабушки: она охнула, закатила глаза и стала заваливаться на спину. Девочки вовремя подхватили. Оля побежала за водой.

Когда крики утихли, а слезы высохли, было уже не до гаданий.

Николай рассказал свою историю буквально в нескольких предложениях: родился в Зауралье, там и жил. Маму ни живой, ни мертвой не видел — сразу после родов она заболела и умерла. В семье даже фотографий ее не осталось. До недавнего времени считал себя сыном Петра Перепёлкина, автомеханика гаража, но отец признался, что Коля не его сын, приказал приехать в этот город и найти мамину родню, а может, если получится, и родного отца.

Оказывается, тогда, двадцать лет назад, с Петром Перепёлкиным случилось то, чего Николай никак не мог знать. Потеряв когда-то в страшной автомобильной аварии жену и сына, да и в придачу собственную ногу до колена, Пётр влюбился так, что лишился разума, иначе не взвалил бы на себя такую обузу. Было ему в то время немногим за сорок. Он вышел на пенсию по инвалидности и «сошел на берег», проплавав до аварии механиком на судах дальнего плавания. Вернувшись в родной

город и устроившись на полставки в гараж, затосковал по морю. Как-то однажды, когда было совсем невмоготу, он решил навестить старого друга-моряка, который жил теперь неподалеку от портового города. Пару суток поездом — и вот оно, море.

Встреча друзей прошла сыто, пьяно и горько. Маятник воспоминаний раскачивался с нарастающей амплитудой от счастливых дней до сегодняшнего мрачного времени. Потом друзей занесло в мертвую точку политических противоречий. Друг был непреклонен и непримирим — сказывалась старая закалка коммуниста. Он не успокоился, пока Пётр не ушел, хлопнув дверью, хромя сильнее, чем обычно. В город Пётр поехал один. В его глаза, и без того мокрые, сыпало дождем и снежным песком, задувало со всех сторон и сбивало с ног, но Пётр добрался до порта. Весь день глазел на корабли и дышал морозным морским ветром. Его поезд был ночной. Он основательно замерз, нога ныла, но очень не хотелось возвращаться в душный вокзальный зал ожидания. За четверть часа до отхода поезда Пётр, еле волоча ногу в протезе и тяжело опираясь на палку, зашел в зал и увидел ее. Молодая женщина сидела на скамейке, безучастно глядя вокруг. Раньше таких диковинных красавиц он только в кино видел: платье до пят, блестящие перчатки по локоть, темные локоны до плеч. Королева. На коленях у нее лежал большой букет, она его методично ломала, отрывая одну за другой цветочные головы. Потом встала, сняла блестящие перчатки, бросив их на скамейку рядом с ворохом сломанных цветов, и ушла. «Наверняка актриса», — решил Пётр. Еще раз обернулся и заметил, как уборщица, громко матерясь, подошла к скамейке, сгрэбла все и бросила в ведро, а потом, присмотревшись, вынула оттуда черный блестящий комок и сунула в карман. «Жаль, красивые были перчатки», — подумал Пётр.

В купе оказался один — редкая удача, но это ничего не значило, могли посадить кого угодно. И действительно, за минуту до отправления дверь с грохотом скользнула влево, и на пороге появился проводник с той самой актрисой.

— Ну, располагайтесь, билет, вроде, правильный. Только как же без багажа? Женщина, вы точно в Оренбург? Это двое суток пути...

Актриса улыбнулась и молча кивнула. Села, откинув голову, и закрыла глаза.

Пётр долго не решался с ней заговорить. Поезд деловито стучал, набирая ход, покачиваясь и вздрагивая. Голова женщины болталась в такт движению, как у сломанной куклы. Петру было больно на нее смотреть.

— Извините, вам плохо?

Женщина открыла глаза и улыбнулась.

— Уже хорошо.

Очень скоро выяснилось, что она не помнит, как тут оказалась, но знает, что едет на гастроли. Документов при ней не было. Собственно, при ней ничего не было, только билет в Оренбург. Странная попутчица пугала Петра, но и нравилась очень. Наверное, стоило заявить в милицию, потому что женщина была явно не в себе: без багажа, все ждала, что появится какой-то знаменитый певец, с которым ей выступать в Оренбурге, но так никто и не появился. Заявлять Пётр не стал, потому что влюбился с первого взгляда. Попутчица всю дорогу красиво пела, а он ее кормил, заботился, купил на станции теплую одежду. На вопрос, как ее зовут, написала на бумаге: «Та-та-та». Петр стал звать ее Тата.

Доехав до Оренбурга, женщина наконец вспомнила, что зовут ее Мария, даже фамилию назвала. Вспомнила многое, но не обо всем рассказала. Возвращаться в свой город она не собиралась. Пётр предложил помощь и крышу над головой. Мария согласилась. Вот тут и началось самое страшное.

Первый раз Мария исчезла через месяц. Пётр уже понимал, что жить с ней, как с женой, ему не светит, что она беременна и хочет избавиться от ребенка, который уже вовсю бился. Мария плакала и хотела умереть. Петру пришлось ходить за ней по пятам, прятать под замок ножи, веревки. Правдами и неправдами удерживал в доме. Уговорил родить, а потом — твоя воля, делай с собой, что хочешь.

Побег Марии не удался. Выкрыв у Петра ключи, она сбежала среди ночи. На трассе чуть не угодила под колеса грузовика. За рулем был клиент Петра, часто бывавший в гараже. Про странную женщину, которую Пётр называл племянницей, слышал, даже однажды видел их вдвоем на городском рынке. Такую красавицу не забудешь. Даже хотел по-свойски подкатить к Пете: «Познакомь, мол», но понял, что девушка в положении. Интерес к ней пропал. Как вдруг — нате вам: одна, ночью, почти раздета. Пришлось силой затолкать в машину и вернуть Петру.

Второй побег случился чуть ли не перед самым рождением ребенка. Пётр расслабился, решил, что она с таким пузом не далеко уйдет. Перестал за ней следить, уехал по делам.

Марию, воющую от схваток, нашла в лесопосадке старая знахарка, собиравшая лечебные травы. Ей показалось, неподалеку скулит избитая собака, да так жалобно, что бросилась спасать. Оказалось еще страшнее: под кустами в грязи лежит женщина и вот-вот родит. Знахарка думала к трассе идти, но поняла — пока доковыляет, эти оба не дождутся. Сняла с плеч платок, расстелила, вынула перочинный нож, чтобы пуповину отрезать, дала роженице хлебнуть из термоса отвара травяного и скомандовала дышать и тужиться. Она сразу почуяла в женщине родную цыганскую кровь. Спросила: «Ту ман шунэса? Сар бушес?», но та не ответила. Пришлось повторить по-русски: «Ты меня слышишь? Как тебя зовут?», та еле прошептала: «Мария».

После часа мучений на свет появился мальчик — светленький, не в маму. Знахарка смотрела на вспотевший лоб роженицы, искусанные губы и не находила самого важного в лице — радости. Не было даже простого интереса к ребенку: мальчик ли, девочка. «Проклята, как пить дать, — подумала знахарка. — Тяжело по-цыгански проклята, аж духом могильным разит. Кто же ее так, за что? Эх, умеют наши сестры напакостить. Слыхала как-то про одну такую. О ней среди своих молва идет, что против цыганских законов пошла, решила детей мужа извести. Никого не пожалела, порчу на весь род навела, да сама от этой порчи и погибла. Нашли ее с кухонным ножом в сердце на окраине какого-то города. Так оно и должно быть. От чужого зла можешь спрятаться, от своего — некуда. Странно, что эта «порченная» Мария родила живого мальчика. Обычно у таких, как она, сыновей сразу туда забирают. Может, кончилось проклятие?»

Знахарка устала, но надо было идти на трассу, искать помощь, только бы эта несчастная ничего с дитем не сделала. Укутав орущего младенца в платок, пошла к шоссе, еле волоча ноги. Всю дорогу думала, как поступить: можно ведь вообще не возвращаться, а ребенка себе оставить, чтобы мать его в могилу за собой не утянула. А можно наоборот — попробовать спасти мать, избавив от порчи, тогда и сына своего она в обиду не даст. Только где эту силу взять? Надо бы с нашими посоветоваться.

Она долго шла и молилась разным богам: Иисусу, Аллаху и немножечко своему — цыганскому, которого сама себе придумала. Он был бедовый и щедрый, богатый и красивый, хитрый и справедливый — настоящий цыган. Видимо, кто-то из них услышал молитву. Первая появившаяся на трассе машина была старенькая инвалидка, жигуленок Петра. Он возвращался из города, накупив всего, что может понадобится ребенку.

Услышав от знахарки, что там, в лесопосадке, лежит только что родившая женщина, ни минуты не сомневался, о ком идет речь.

Имя мальчику дали не сразу, потому что ребенка Мария никак не называла, говорила: «Его сын». Молока у нее не было, поэтому на крик его не шла, да и не могла бы — ноги не держали, все время падала. В больнице провели обследования, ничего угрожающего жизни не нашли. Сказали — послеродовая депрессия. Выписали таблетки. Она выпила все сразу. Пётр не доглядел. Опять больница, промывание, капельницы. Мария бредила, звала маму Раду и Николая. Все твердила: «Коленька, послушай, как звучит», — и тихонько поскуливала. А потом, когда казалось, что уже самое страшное позади, остановилось сердце. Как ни старались его запустить, не удалось.

Пётр решил, что мальчик будет Николай, если уж это имя ей так дорого. Записал на свою фамилию. Растил двадцать лет, а как разменял седьмой десяток, отнялась и вторая нога. Испугался, что уже не встанет, и тогда рассказал Николаю все как есть.

Любовь Марковна, глотая слезы, открыла перед гостем семейный альбом, который лежал на виду, потому что Антонина, как всегда, забыла положить его на место, но сейчас это было кстати.

— Смотри, Коля, это твой отец, — ткнула она в одну из фотографий, на которой человек в галстук-бабочке был похож на Николая, но и не похож одновременно. — Народный артист, знаменитый баритон Николай Добужанский. Слышал о таком? — спросила Люба. — Его портретами и афишами полстраны были обклеены.

— Я не меломан, простите. Не слышал. И где он гастролирует?

— На том свете, — злобно проворчала она.

— Ясно, — похоже, совсем не огорчился Николай. — Вы мне лучше маму покажите.

Марийкиных фотографий было много: вот она совсем маленькая на деревянной лошадке; Мария октябренок; Мария в кружевном платье у рояля; Мария в роскошном костюме на сцене оперного театра. Девочки охали, разглядывая ее красоту и наряды. Николай поглядывал на часы.

— Вы торопитесь? — спросила Антонина.

— Да, ночной поезд. Все сделал, как папе обещал. Надо же, еще вчера о вас ничего не знал. Мне в паспортном отделе отказали — пойди докажи, что я внук Рады, но хоть сообщили дату смерти. И на том спасибо. Кладбищенские парни выручили. Все фамилии раскопали, помогли вас найти. Вот только одного не пойму — рядом с могилой Рады памятник с маминым именем. Как такое может быть? Она же у нас похоронена.

— Николай, поверьте, это очень странная история, — встряла Оля.

Антонина и Любовь Марковна переглянулись и поняли друг друга без слов.

— Надо Раду перезахоронить, — сказала Антонина. — Все заботы возьмем на себя. Урну с ее прахом привезем. Вы, Николай, только адрес оставьте. Рада двадцать лет ждала дочку: то верила, то не верила в ее смерть. Сегодня сорок дней, как отмучилась. Пусть наконец будут рядом. Ах, как жаль, что Рада умерла, не узнав про внука.

— А давайте все вместе поедem, — предложила Оля, заметив, как Лялька и Николай поглядывают друг на друга.

Сдвинутая на край стола, еле тлеющая и почти оплывшая свеча неожиданно затрещала и разгорелась веселым огнем.

— Ух ты! — выдохнула Оля, вздрогнув. — Наконец-то. А то все коптит и коптит. Надо бы форточку открыть, душно.

Она легко запрыгнула на подоконник, выдернула задвижку и потянула накрепко залипший квадрат рамы. В комнату вместе с потеплевшим ветром ворвался шум проливного дождя и тарахтящего, булькающего, шелестящего города. Оля просунула голову в окно и втянула сырой воздух.

— Чувствуете? Наконец-то весной запахло. Как хорошо!

Юрий Арабов

Звезда Ништяк

Воскрешенье Иуды

4 евро назад
мне стукнул полтинник.
А 8 евро назад
я пошёл в детский сад.
Там я встретил букет из невинных рептилий —
инфузории в туфельках шли на военный парад.
Грипп ещё не родился, собака не знала намордник,
мощи в гранитной коробке доказывали, что чудо
может сделать любой, например, землекоп или дворник.
Мне сказали, что Бог не воскрес, а воскреснет Иуда.
В воскрешенье Иуды поверило полстраны.
А с другой половиной было не всё в порядке —
она колосилась, как сор, поперёк грядки,
и, чтобы в неё, наступить, закатывали штаны.
Она была холодней, чем в прозекторской — потолок,
горячее, чем лёд и прохладнее корвалола.
По ней не ходили ни Маркс, ни Игнатий Лойола,
и каждая ходка была на предельный срок.
Можно было скостить по УДО, если бегать не лень...
«Наконец-то Иуда воскрес, — мне сказал участковый, —
это и есть настоящий прогресс, а не ваша трень-брень,
выглядит, правда, как труп, но что здесь такого?...»
Так сказал участковый, следящий за улицей Морг.
Он был вещью в себе и одет в галифе-шаровары.
Штангенциркуль (оружие троичника) был в канцтоварах.
Я его прикупил и сражался с черчением, как мог.
Мне вручили военный билет, аттестат и диплом,
стёрли кровь с молоком, прилепили депру и напасти.
Раньше был «Гастроном», а теперь тут построили молл,
где для баб продаются трусы, а для прочих — запчасти.
И воскресший Иуда гоняет народ топором,
но внутри его — пряник, чуть чёрствый, как честное слово.
Ты живёшь при пришествии чуда, а смотришь ослом....
Что тут можно сказать? Только вновь перечесть Богослова....

Арабов Юрий Николаевич — поэт, прозаик, сценарист. Родился в Москве. Окончил ВГИК. Один из организаторов неформального клуба «Поэзия» в Москве (1986). Заведует кафедрой кинодраматургии во ВГИКе. Лауреат премии Каннского фестиваля (1999), Государственной премии России (2001) и многих других.

Звезда Ништяк

Если раньше тебе светила звезда Полюнь,
то теперь тебе ярко светит звезда Ништяк.
Реновации — мимо, и газ православный зарин,
есть повод, чтоб выпить, но что-то с тобою не так.
Это «что-то» всего лишь деталь, невидимая в микроскоп,
усллада натуралиста, на воздух набрасывающего чулок.
В чёрном небе — остатки маршальского мундира:
то сверхновая гавкнет, то вообще не найдешь командира...
Настасья Филипповна — плохое кино и курьёз,
князь Мышкин пошёл на сцену и скоро получит ленту.
Они ведь тебе не ровня, так что ты принял всерьёз
дары простаков-волхвов?...Они принесли не ренту.
И звезда Ништяк, возможно, равна дыре,
то ли чёрной космической, то ли слегка вагинальной.
И кто из неё родится в рубашке или коре,
огурец-Капитолий иль просто ремонт капитальный?...
Я б из двух выбрал лучше звезду Полюнь,
она честнее лубочного позитива,
Она — эсперанто, понятнее, чем псалтырь.
Ведь Бог теперь говорит не с помощью нарратива
И если звезда Полюнь отдаёт тебе то, что может:
ядовитую воду, нуклиды, атомный перманент,
то звезда Ништяк распрямляет тебя, как хочет,
если даже сутулый, как арбалет.
С нею опасно играть в непонятки и фанты,
она начисляет гранты, ты должен быть на виду,
А потом на сухие ветки хипстер повяжет банты,
и ты с новогодней ёлкой в одном ряду.
И если Господь со своей славой
едет в первом вагоне с конца состава,
то твой бизнес-класс ему явно не в кайф...
Но это не значит, что кончится дольче лайф,
Это не значит, что гавкнет, как пёс, внезапно
всё, что приносит тебе миражи в пустыне:
видишь оазис, лес, и дева идёт, как цапля,
но как ты догонишь её на своей дрезине?....
Ты думаешь, что упадёшь всей тяжестью баобаба,
мир заплачет, солдаты выстроятся в каре...
И кто-то гитару возьмёт, как чужую бабу,
и на бедрах подцепит ми или ре....
Но в сухом остатке тебя никто не заметил,
не заметят жизни, заметят лишь полный крэш.
И звезду Ништяк, сорвавшуюся с петель,
на мусорном полигоне засунут обратно в печь.

Жизнь прошла

В старости делаешься суетливым,
Боишься быть сукою или гением
Выглядеть сонным или пытливым,
Менять окраску и оперение.

В старости делаешься незнакомым
Тому, кто пользуется дензнаками.
Пьёшь чай и дружишь с вором в законе,
Когда по телеку он калякает.

В старости ходишь в стеклянной каске
адресной помощи и одежде
с прожитой жизни... Железной маске
всегда не хватает слоновьей кожи

той же, что в юности, но иначе:
смерть — биссектриса или константа.
К тебе подкатился весёлый мячик.
Ты бьёшь... а это была граната.

Беззубый Вася, счастливый зять
своей могилы... ну что ты воешь?
И ты не можешь никак понять,
что Бог, он, в общем, тебе не кореш.

Ты рос изгоем, но был везде,
Читал, работал, блудил с астралом....
Так церковь, сделанную без гвоздей,
Подбивают гвоздями, чтоб не упала.

Илья Данишевский

Тени над мутабор

Рассказ

Почти каждый день я прихожу к нему и трем его братьям. А в другие дни мы приходим ко мне. Самый младший из его братьев всегда лезет обниматься; мы смотрим «Лангольеры», большие комки плоти поедают время, гоняются за экипажем корабля, большие дворовые собаки, как бы вывернутые наизнанку, — только липкая сторона и слюни. Он спрашивает меня, как это летать на самолете, я рассказываю. Когда я прихожу, его мать всегда завязывает волосы косынкой, она тоже смотрит с нами фильмы, игнорируя их возрастные ограничения. Иногда слышно, как она плачет на кухне, мы увеличиваем звук, чтобы не вторгаться к ней, чтобы она с одной стороны знала, что мы знаем, а с другой — что не знаем всего от начала до конца. На контрольных по математике мне разрешают писать оба варианта, чтобы его не избил отец. Потом мы идем по улице, когда теплеет — это может длиться очень долго, он говорит, что будет продавать лохам шарики для пейнтбола (сотки, битки, карточки с покемонами и героями «Смертельной битвы»), потому что ему надо купить брату тамагочи. Когда темнеет, мы иногда продолжаем ходить, скорее кругами вокруг неработающий котельной, разделяющей наши дома, а когда совсем темно — идем к нему, где его мать укладывает его братьев. Смотрим фильмы без звука, иногда на перемотке, только любимые моменты, например, когда в «Звездном десанте» жук-мозг всовывает жгут в человеческий череп и высасывает нейроны, или когда в «Лунатиках» кто-то втыкает зрителю кладбища карандаш в ухо. Его отец бреет меня машинкой, а мой вывозит нас на большое озеро, тихие огни растворяются, почему-то падают в воду, хотя это должны быть светлячки или ошибки зрения дружбы, которую рассматривают через стекло. Я очень подробно смотрю, как он замороженно ловит рыбу. Это время, когда мы не разговариваем очень долго, хотя пустые водоемы отвлекают от времени, и хотя они пусты, и почти ничего не ловится, словно он держит удочку под неверным углом, азимут проходит где-то еще — далеко. Когда мы возвращаемся, он сразу идет домой, чтобы убедиться, что с матерью ничего не случилось. Когда мы гуляем вокруг котельной, ему важно иногда смотреть, как окна его квартиры светятся. Он любит вспоминать сестру, мутно, как вещь из глубоких слоев, разглядывая, чтобы убедиться. Он думает, какая из девочек должна ему нравиться. Потом не принимающий решений плавный запах осени, он думает вслух о Насте, Полине, Маше, о том, как что-то чпокается, издает звук, похожий на полиэтилен с пупырышками, как что-то между нами всегда происходит, когда он говорит их имена, смотрим на большие скопления стоячей воды у железной дороги.

Илья Данишевский — прозаик, поэт, книжный издатель. Учился в Литературном институте им.А.М.Горького и на факультете истории религии в РГГУ. Стихи и проза печатались в журналах «Воздух», «Новый Мир», «Зеркало», «Волга» и др. Автор романа «Нежность к мёртвым» (2015). В «Дружбе народов» публикуется впервые.

* * *

А его (2; next или second?) больше всего тревожило имя Кузьма. Он запинался, когда нужно было представиться, его желание иерархии было больше про то, что все они знают твое имя и не нужно представляться, — хотя бы этого больше нет. Он гуляет в майке «Distemper», а спит в обнимку с большим котом, в его квартире запах паркета. Каждый раз, когда мы идем на карьер — всю дорогу — все время — каждый подъем — он напоминает, что, может быть, мы придумаем что-то другое, он слишком толстый для этого скучного дерьма. Потом он демонстративно прыскает себе в горло. Ему нравится рассказывать про астму, что она может вызывать судорогу, кровавую пену, которая поднимается наружу, как у рыжего кота — когда он был мелким и ему впервые гоняли глистов — лоснящиеся черви ползли не только из задницы, но и через рот; этот кот, который уменьшился, сблевав всех червей, буквально сдулся, был для него синонимом его астмы — особым оправданием, чтобы отгородиться, замереть в пространстве, начать смотреть вперед, разглядывая приступы и призывы. Он несколько дней не пускал кота в кровать, а когда мы — каждый раз — оказываемся у карьера, он начинает, что слишком толстый, чтобы раздеться, даже — или особенно — если мы здесь совсем одни. Ему бы хотелось быть командиром флагманского крейсера темных эльдаров, но ничего не остается, кроме как залезть в воду. Он так убого плавает, что это становится для меня особенно важным, слегка *преследующим*, нерасторопным, но большим, даже увеличивающимся (с каждым нашим днем) у меня внутри, иногда *слишком*, а иногда — когда мышцы затекают от воды, *тем, что нужно*, чтобы это казалось действительно настоящим не только в момент, но даже чуть позже — даже совсем потом. У его дома большой магазин с тканями, мы часто смотрим за теми, кто входит и выходит, не понимая, зачем кто-то покупает ткани, как это возможно, и пытаюсь оправдать их — странных чуваков, покупающих ткани. Мы сидим рядом с каштанами, которые раньше других про осень, а возвращаясь домой, я всегда переживаю, вдруг мы больше не пойдем *куда-нибудь*, вдруг это было ровно это и всё, ничего большего, но мне становится легче от обилия его секретов — того, как он однажды вытер сперму котом, как он убого плавает, того, как надо делать ингаляцию, если он пойдет кровавой пеной — словно они должны уберечь от этого, отклонить. Иногда эти секреты рассказываются с громким оповещением, вибрацией, на ускоренной съемке, только для того, чтобы продлевать и не испытывать тревоги, что мы не *окажемся* где-нибудь и почти рядом.

* * *

С ее балкона был виден небольшой двор, дальше — железный забор, за которым свалка поездов, не прошедших отбора на экспериментальном кольце. К осени земля там становится почти жидкой и только поэтому притягательной. Когда мы гуляли с собаками вдоль забора, мы знали, о чем говорить. Она хотела быть эмо, но говорила, что армянкам нельзя быть эмо, волновалась, что ей все еще не нужен лифчик, а я рассказывал ей книжки, чтобы она не тратила время на их чтение. Мы мыли своих псов — каждый своего, потом занимались английским. Она говорила, что ей нравится осень, потому что папа умер, ну и вот. Да, было понятно. Сидя на балконе, я читал ей вслух «Кладбище домашних животных» (на обложке русского издания — жилистые мужские руки, поднимающиеся из могилы, хотя ни один взрослый мужчина так и не стал живым мертвецом), играли в d&d, и «именем королевы эльфов» она спасала мир, а потом просила словесной порнографии. Мы подробно обсуждали кто и куда трахает ее прекрасную воительницу, что она чувствует, что он чувствует, что она думает (и он), ее успокаивало, что этот воображаемый мужчина не имел никаких бесконтрольных ощущений, его слова, его мысли были проговорены и безопасны. Когда ей надоедало, когда становилось больно, что все это происходит совсем не с ней, она что-нибудь рассказывала, слишком обильно, почти оттесняя, но при этом все же придавая какое-то содержание этому сюжету — что я оказался на этом балконе, чтобы слушать *более внимательно*, чем готовы другие. Как умер ее отец (просто умер, не очень долго болея), что у них нет денег и никогда не будет, потому что она знает, что она не сможет получить хорошее образование, и потому что она знает, что все предпочитают трахать не таких, как она. У нее были темные, почти слишком, волосы, но она знала, что они

не помогут ей. Папа тоже мало зарабатывал, но пока он был жив, она об этом не думала, — не потому, что он ее защищал (хотя бы от этого), а просто она была маленькой. Даже английский как бы выскальзывает из нее. И вообще. Мы курили, разглядывая вечер, особенно похожий на нас над железнодорожными поездами, — позже, когда три четверти года мне приходилось просыпаться в темноте, чтобы ранней электричкой проезжать мимо второго фронта свалки, чтобы успевать к первой паре, я уже видел, что периметр той жизни был значительно меньше, чем мне казалось, все эти поезда и наши дома на их фоне — были почти незначительны, хотя и тогда я чувствовал, что они отстроены *просто так*. Она раскаляла эти разговоры, словно что-то потом будет не так, но мне нравился этот сюжет тем, что это отведенное нам время заканчивалась, а не слова и не ее желание говорить. Однажды она захотела рассказать мне самую большую тайну, но чтобы я тоже рассказал свою:

она рассказала, что когда отец уже болел, она услышала, как они с матерью занимаются сексом и решила подсмотреть — раньше ей не было интересно, но сейчас, когда отец уже был похож на кусок вареного мяса, она подумала, что ее это касается... я рассказал ей про first one и second one, чтобы выполнить обещание и чтобы мы — ну, условно, дружили вечно, как настоящие друзья.

* * *

Пока его нет в школе, нас предупредили, как надо себя вести. Мы должны быть аккуратными, внимательными, но не говорящими об этом. Мы не должны говорить, что знаем, что его трехлетняя сестра пропала, но мы должны вести себя так, чтобы ему казалось, что мы его поддерживаем. Многие из нас хотели бы пропасть — это все означало известное направление, мы хорошо знали, как разлагаются кошки и как собаки, как они могут увязнуть в гудроне, в липком асфальтовом волокне, как их тело вначале как бы вздрагивает (потому что мертвая собака, мертвая кошка как бы выбрасывают в воздух споры, и воздух становится мутным), а потом его запах становится спертым, уже не умершим, а немного спрятанным запахом. Напоминание о том чувстве десны, когда выбивают зуб, — солоноватые провалы в то, о чем вроде бы не пожалуешься. И это про то, как Клайд провалился в болото, — я сразу подумал, что он утонет, что сейчас он будет визжать, а я буду беспомощным, потом он будет медленно уходить под воду, а я слегка ждать, чтобы он поскорее замолчал, чтобы язык перестал в панике прятаться в солоноватом провале, потому что я не знал, что мне делать; я знал, что потом пойду по улице заплаканным, потому что моя собака утонула, и потому что ну вроде бы да, это действительно говорилось, что мы не должны уходить от хорошо освещенной панельной геометрии. Мне не нравилось гулять с собакой, потому что это унижительно. Я не думал, как его вытащить, или может ли он выбраться сам, конечно, я не думал, что кто-то будет его вытаскивать, даже если бы кто-то был. Несмотря на то, что мы с Клайдом справились, и многое другое весьма себе разматывалось против течения, никто не сомневался, что его трехлетняя сестра не просто растворилась, чтобы потом вернуться, но нам стоило сказать, что мы верим в лучшее. Нам купили открытку, чтобы каждый из нас — передавая с парты на парту — написал для него что-то хорошее. Потом я постоянно смотрю на него на уроках, я не могу сосредоточиться, мне кажется, что мне бы хотелось ему что-то сказать — потому что, может быть, ему бы хотелось, чтобы с ним поговорили, казалось, что мне бы на его месте — хотелось — теперь это известным образом называется ставкой на чудо или внезапным разрывом мембраны, неким сообщением, которое неожиданным образом приносит — в общем-то, приносит (что бы это ни было) крайне редко, потому что я ничего ему не сказал. Мне казалось, что моя слишком острая жалость и вовлеченность будет заметна, или что его пропавшая сестра волнует меня больше, чем его, или что он не захочет говорить/не со мной. Я немного думал о том, что Клайду тоже было три года, когда мы справились, но это было совсем другое — я откладывал поговорить с ним, потому что «а почему только сейчас?», может быть, я был даже немного влюблен от сострадания. Когда Клайд был спасен, я думал только о том, что у меня насквозь мокрые штаны, и нам нужно идти через три улицы, чтобы все видели, и Клайд барахлил, я думал о том, что даже моя собака не может просто взять и исчезнуть, и у меня тоже нет выхода, потому что утонуть в болоте не так легко. Когда мне было четыре — я даже вспоминал это, чтобы

не так слышать, как Клайд визжит в болоте, но не более минуты, даже половины минуты, потому что потом я все же полез за ним — мать больше не хотела читать мне вслух мои глупые книжки, и, если мне хочется, она будет читать мне то, что читает себе. Мы жили на двадцать первом этаже, мне нравилось кататься в лифте и смотреть, как с моим зрением я ничего не могу различить с балкона, и тогда — то есть это все началось именно тогда — было розоватое начало заката, лето, мама очень красивая, еще с длинными волосами, в черной футболке с Ramones, мы недавно вернулись в нашу квартиру (я скучал по размытому виду с балкона), и она сказала, что дядя Саша всё, и мне больше не надо его вспоминать (а когда мы жили у него, мне нравилась его ванная, там я чувствовал себя спокойно, и шампунь, в каждом пузырьке которого плавал пластиковый динозавр; я уговорил его скупить их все, потому что нуждался, чтобы у меня был каждый из них или, может быть, чтобы у каждого из них был каждый из них, а также — респектабельные дворы без борщевика, немного скучные, слишком декоративные), она прочитала мне не больше двух страниц — там, где в «Оно» тело мальчика плывет по канализации рядом с удушенным цыпленком, использованным презервативом, башмаком, такой же, как они, по трубам, которые будут скручиваться в спирали, а водопады грязной воды растащат мальчика, цыпленка, презерватив и башмак в стороны, а потом я больше никогда не верил в мутабор (даже в мутабор), ни во что больше. Она разрешила мне погулять одному, потому что ну не затащат же меня в канализацию, и я рубил палкой борщевик во дворе, думая о том, как Шон Коннери хорошо рубит головы, но больше не чувствуя, что я где-то близко к этому. Потом — но до того, как его сестру похоронили — мне долго казалось, что мне есть, что ему рассказать, но если я и рассказал, то только после похорон. Нас всех отправили туда на арендованном автобусе, все радовались, что уроков не будет и это как экскурсия. На похоронах он был в пиджаке, который был ему великоват, с цветами такими же, как у родителей. А он — взамен — рассказал, что долгое время читал «Холодное сердце» Гауфа по кругу, потому что чем больше читаешь одно и то же, тем почему-то становится интереснее, и очень трудно переключиться, и что лучше бы ее вообще никогда не нашли. Он сказал, что мы могли бы сбежать, потому что у его отца двуспальная палатка, но Клайд застрял в болоте на самой черте города, мы не сможем уйти далеко, что-то обязательно случится. На следующее лето мы пытались поджечь белые одуванчики на поле, чтобы все поле сгорело (и, вдруг, весь город), а потом мы виделись не реже, но не так кадрированно, без напряженного монтажа усилий, которые приходилось прикладывать, чтобы разговаривать, и — еще раз потом — мы больше не разговаривали из какого-то химического надрыва, из липкого ощущения речи. Он рассказывал, что хоккей охуенно прочищает кровь, и если так пойдет дальше, почему бы ему не пойти в олимпийский резерв. Я отвечал ему — почему бы и нет.

* * *

Когда мы переехали, и я стал ходить в школу, пересекая город с другого края — первое время рассматривал его, измерял этот свершившийся изгиб, перемену центра тяжести ежедневного движения. На моей двери не было замка, но они не входили без стука и вообще входили достаточно редко, то, что там могло бы (но обычно нет) происходить, редко заставляло их стучать, а сюжеты, кажется, изменили свои приоритеты, потому что в их динамику входила локальная близость — мы больше не сидели на балконах, не виделись каждый день, мы никуда не спешили, и я больше не знал, что происходит — чуть больше, чем *все нормально*, — а потом, когда я проезжал на поезде, свалка справа пропадала достаточно быстро, чтобы я тоже не думал об этих сюжетах, хотя бы целенаправленно; из окна мне казалось, что все вагоны скручены в тот же самый орнамент, как раньше, но при этом я прикладывал усилие, чтобы не задерживаться на этом, на этих сюжетах, на том, что они закончились *просто так*. Даже когда мы виделись, мы никогда не обсуждали их, нам было неловко (хотя никто ни с кем не переспал), мы старались, чтобы этого не случилось, но если вдруг — мы никогда не обсуждали, с чего все началось, как это было для другой стороны, мы не задавали друг другу вопросов. А потом мы, конечно, больше не виделись, а когда — однажды/дважды — приветствовать друг друга было как-то не неприлично, но противоестественно: взрослые, которые умели откладывать в сторону, так, наверное, не делают, и мы не здоровались.

Полина Иванушкина

Снится дом усталый, одинок

Рассказы

Вторая линия моря

На Кипре у них был домик. Они так и говорили: «Поедем в домик? Ну когда уже!» Белая вилла на второй линии моря, белые розы, которые подкармливал и обрезал кто-то невидимый, белое вино каждый раз ждало уже охлажденным. Не роскошь, — белой яхты у них не было, — но очень прилично. Англичанка по соседству натаскивала по языку мальчика, просто так, от большого количества свободных солнечных дней и любви к чужим детям, заменявшей ей подвиг собственного материнства. Шелковая юбка до щиколотки, неизменное «Как сегодня ваши дела?», пыльная — в этом году были бури — маленькая машинка с резидентскими номерами. У них до сих пор была арендная, с красными. Ольга так и не научилась ездить с правым рулем. Везде ходила пешком. Расстояния невеликие: пляж, супермаркет, сувенирная улочка... Пина колада на обед, креветки на гриле, пожаренные прямо во дворе, чуть сбрызнутые лимонным соком, на ужин... Три раза в год, а если повезет, сложится расписание и будут свободные деньги — четыре. Дом их ждал. Дышал под всегда синим небом, грелся, настаивался... Летучие мыши кружили над цветущей изгородью ближе к ночи, под крышу забирались маленькие саламандры, неизвестные науке слизкотные слизи на рассвете прижимались влажным исподом к раздвижным стеклянным дверям на кухню... Котин график, тянущийся, как резина, позволял подолгу жить у моря, даже когда по ночам температура опускалась до 5 градусов тепла, а в горах начинали вылезать грибы с красными шляпками — Ольга так и не смогла узнать у киприотов, как они называются... Вино возили коробками с любимой винодельни. Плавали долго, до синих губ, даже в высоких волнах. По ночам не закрывали ставен.

Был один момент, почему-то мерещился, хотя пустяк, но почему-то всплывал в московские будни, стоило подумать о домике. Домик — и сразу этот кролик. Мокрый, с заплывшим глазом, казалось, окоченевший, но нет, живой, просто недвижимый и собранный в грязный пуховый снежок — они с сыном нашли его на обочине, видимо, попал под машину, может, выбросили из заезжего цирка, или бежал от хозяев, может, покинул дикий лес в поисках лучшей доли, Ольга ничего не знала о судьбе кроликов на Кипре, уже собралась маленькая толпа из мам с колясками, дети радостно кричали на своем, и они заспешили, попятились, прочь... Ольге почему-то казалось, что он пересек океан. Выброшен бурей на берег. Безумный, но дивный побег. Хотя о чем это, про местных кроликов она так ничего и не узнала, и вправду. Надо просто не думать об этом, зачем?..

Иванушкина Полина Сергеевна — журналист. Окончила журфак МГУ. Работает в еженедельнике «Аргументы и факты». Автор-составитель «Детской книги войны» (М., 2015). Лауреат премии правительства РФ в области СМИ. Живет в Москве. Предыдущая публикация в «ДН» — № 2 за 2017.

Что все однажды закончится, они не боялись — они это знали. По крайней мере, Коте казалось, что она все знает — и не боится. Черпали полной чашей, ибо ведали, — дом выставлен на торги. Их домик, белая вилла на второй линии моря, прекрасное, как говорили, вложение средств, свадебный подарок его — ей — продается. Вяло, долго, не сразу — но они знали, что это случится. Ольга не вникала: долги, аукционы, что-то пошло не так в этом дивном свободном графике... Муж тоже переживал, но свое, мужское, не чувствуя, как нарастает — чтобы оборваться — сила звука, как подступает высокая нота, ведь со стороны казалось, что Ольге всего лишь мелко, но до слез жаль детской кровати, в которой вырос белокурый мальчик, кровати, изгрызенной его новыми зубками, баобаба — она так и не выучила, как называется эта пальма — у парадного подъезда, даже этих несчастных слизней, ставших уже частью недвижимого имущества... А ведь у нее роман был с этим домом, и муж даже не ревновал. Она была вся его — с потрохами, со школы, ему иногда становилось даже тяжело под грузом этого доверия, поэтому он был не прочь поделиться. Слава богу, Ольга выбрала дом, эти безобидные стены, а не кого-то там... Пусть девочка иногда живет в своем мире, это для всех полезно, он тоже ведь устает. Как витала в облаках всю их жизнь, так и витает...

Один раз всего попросила, один. Котя, может, лучше продадим московскую квартиру? Или новый кредит?.. Котя погладил ее по влажным, как светлая, из-под дождя, шерстка, волосам, покачал головой, поцеловал куда-то мимо макушки... Нашли ее через три дня, выбросило за мысом Корал Бэй, почти целую, хотя странно, ведь скалы.

В сентябре дом был уже чужим.

Шурик

Квартира номер пять в доме по улице Арбат, по человеческим меркам старуха, память имела отменную. Вечное дежа вю.

Уставшая, раздувшаяся, всегда беременная, как библейская Сарра... Стены не могут столько вместить. Семьдесят два жильца! Это линейно, только в пространстве, а если еще брать во времени... Голова болела только от дня сегодняшнего. Клетушки, по которым рассовали пролетариат, в основном пришлый, иногородний, тонкими простенками больно впивались в бока. Стены вело, вечно где-то капало, текло, уплывало, корежило, рабочий люд в форменных робах бесконечно где-то стучал, подлатывал, клеил... Дом плыл по Арбату, изумрудный, как Зимний дворец, и безнадежный, как баржа угля. От первого этажа до второго. Ночами иногда удавалось вздохнуть — хотя все равно обязательно кто-то не спал. Храп, мелкая, душащая ругань под общим одеялом, у кого-то зубки... Дом набирал полные легкие, отдувался, ждал утра, отвратительного самим своим фактом. Жестяные тазы там, где были приняты фарфоровые чаши, нужник во дворе на месте нанятой конюшни, забитые деревяшками, кажется, еще с войны, окна с натянутыми простынями вместо занавесей тяжелого бархата над жардиньерками... Сопело, раздирало веки, распалялось, вилось, как дым из трубы, рассеивалось над Москвой, готовилось к бою — город один на всех... Брань, плач, горе, горе, какое-то беспощадное, непроходимое и неизбывное, как нищета...

Только Шурик спал безмятежно, не оставляя жалких человеческих испарений, доцент-словесник, которого никак не повышали в его институте. Жилец второго этажа, из разрубленных парадных комнат, был, наверное, — тогда и там — единственный и счастлив, и за это дом был ему благодарен. Счастлив три месяца, слепо, не различая пути, как его Наташа не различала вдали черт знакомых лиц... Оба были близоруки, он — от любви, она — от природы. Жили в каком-то безвременье, оба, в снятой за последние гроши клетушке, старуха заломила цену, но до университета было недалеко и хотелось угодить свекрам. И первая ночь их была там, с февральской вьюгой, занесшей снегом подоконник, пока заглядывала внутрь из любопытства. Парадные комнаты были так дивно нарезаны, что Ивановым досталась голландская печь,

видевшая вечность, — и рояль, и кринолины, и свежее счастье, достался один ее голландский бок, белые изразцы, зимой хотя бы было тепло. Шурик убежал еще до рассвета, в библиотеке на Моховой уже дрожал, по вечерам где-то добывал кусок хлеба, что-то писал, поденщина, из-под пиджака топорщились крылья... Наташа учебу бросила. Шурик любил ее и так. Ей надо было пока осмотреться. Но взгляд ни на чем никак не мог сфокусироваться... Им все было для нее уже предназначено: четверо детей, супружеская страсть, шумная ревность... И ею ему — тоже: и талия ее баснословная, весь Арбат ахал, и все строки, и смерть в 37, уже скоро.... А она пока примеривала на себя эти тяжелые робы, девятнадцать лет, только приехала из Калужской области, вышла замуж поперек сестер. Душно, душил своею любовью, соседки смеялись, вспоминали, воспел — каждую, достался — Наташе. А она — не видит, слепая... В очереди за лучший кусок не бьется, на коммунальной их кухне над плитой не страждет, на второй этаж, в квартиру номер 5, всегда течет вяло, на лавочке не посидит, вся в себе, и видно, видно — не сдался ей наш Шурик... Лучшей доли что ли ждала, да куда уже, и так засиделась в девках у себя там в Калуге.

Дому за жильца было обидно. Вот Шурику бы можно было доверить, этот точно бы понял, один из всех, которые, может только по школьной программе... Доверить — как дом вздрогнул той ночью от грохота колес по брусчатке: налетели, молодые, горячие, пропивали перед свадьбой, наутро — венчаться, уже чинный обед в бальной зале, а через две недели — первый раут, Натали, замученная стихами и ночами, уже в роли хозяйки, вышитый бисером ридикюль до сих пор лежит за стеклом. Печка, нетронутая, видевшая, как залепило жильцу со второго той февральской вьюгой все зеницы, и как хватило еще надолго, на все три московских месяца, пока не уехали в Питер. Начала исполняться судьба, в северной столице было проще, осели. Потом умер там. Убили. Какая-то драка, за городом, на красной ветке, говорят, из-за жены, три дня потом еще мучился... Канул в вечность. Дом бормотал, путался в воспоминаниях, линиях судеб, жильцах... Замуж повторно Наташа вышла быстро, Ивановой быть перестала. Второго мужа любила горячо, как будто отдавая долг. Прозрела. Талии только уже не было.

Все сбылось.

С 1972-го жильцов в дом больше не пускали. Музей. Квартира.

Дом скучал.

Занавес

Окно горело на стене.

Зимами и в межсезонье — по вечерам, а летом зажигалось иногда, в ночь. Торлец того дома так неладно стоял по отношению к Валиному собственному окну, что свет, единственный на всей погасшей после рабочего дня стене, она всегда различала явно, ждала его, время по нему уже сверяла, но жизнь, которая при том свете текла в доме на противоположной стороне улицы, ей была совершенно недоступна, сюжет оставался в тени. Да и не только из-за географии и архитектуры, собственно... Валя была старой девушкой, постной и сухой, в офис ходила в шерстяных длинных юбках, летом меняя их на хлопковые. И что бы ни происходило по вечерам, когда закрывались конторы и в здании оставалась одна охрана, за тем окном, этого никогда не могло произойти в ее, Валиной судьбе...

В ящике стола, рядом с бумагами, она держала чётки и витамины в пластиковой коробочке. В сумочке лежали иконка, таблетки от давления, как у старушки, и последние газетные гранки, которые она носила домой, потому что дома никто не ждал и надо было ещё как-то дожить до отбоя. Когда редакция перешла на Индизайн и носить домой стало нечего, на Валью обрушилась паника, думала даже уволиться, но ничего другого, кроме как вычитывать чужие тексты, она не умела, да и бабушка, слава богу, отговорил. И потом... она не могла уже без этого окна, без этого света... Своих догадок о его природе... Это был тоже чужой текст, но он был восхитителен

своим совершенством: в нем ничего не надо было править — его можно было заново творить. Рамки были заданы, заведено место на полосе, окно очерчено фасадом, и каждый вечер чья-то рука неотвратимо нажимала на выключатель... Два часа спектакля, действие разыгрывалось прямо у Вали на исподе век, чуть прикрытых — коллеги расходились четыре раза в неделю ровно в шесть, по пятницам задерживались, а редакционная охрана корректоршей не интересовалась. Четыре раза в неделю ровно в шесть за Валиной спиной захлопывалась дверь, гас монитор, остывал чай и — занавес! Реквизит был подобран ею из любовно проглоченных и тщательно переваренных романов и изредка попадававшихся пристойных газетных текстов... В окне напротив по вечерам ей виделись мельхиоровые рюмочки с тонкой талией, так же тонко нарезанный лимон и теплый коньяк, весь день ждавший, как в антракте, в шкафчике — возможно, таком же скучном и сером, как у нее. В следующем акте — шторы занавесом колыхались на приотворенном окне — были тяжелые розы, полные вазы, сумерки, опускавшиеся на ковровин ... Она никогда не доходила до края, всегда занимаясь более сценой, нежели героями: художник-постановщик, никак не актриса, она же видела свое отражение в зеркале... И всегда останавливала себя там, где воздух в комнате набухал грозой и вступал оркестр. Да и батюшка бы это, в конце концов, не одобрил.

Когда однажды вечером свет погас неурочно и через минуту из подъезда напротив вышли он и она — Валя часто видела их в кафе на обеде, садились, как чужие, за разные столики, такие знакомые ей, платье в немодную крупную клетку и выпущенная из джинс рубашка, они были вовсе и не красивые, почти такие же, как она сама, — все было кончено.

Она больше никогда не задерживалась на работе.

Она вообще там больше не работала. Ей теперь было можно все, можно тоже. Даже прийти однажды, под занавес, с коньяком к охраннику, самому молодому, еще краснеющему под тонкой кожей, из какого-то дальнего райцентра, и выйти за него замуж, любить, как он долго смотрит на нее молочными утрами, заправляя вихор обратно за прозрачное ухо, и больше ничего не читать.

А окно и без нее так и продолжало гореть — непричастным.

Чертополох

Дом он начал продавать по зиме, время странное: еще не бум середины весны, но уже и не осенний риэлторский гон. Снега. Белые. Пробки на выезде, пробки на въезде, дворники до головокружения метут туда-сюда, и кажется, что зеленого не будет уже никогда, только вечный красный, последний — светофор уже на подъезде к дому перекликался в его голове с густой, плотной рубиновой каплей, вмонтированной в чуть тронутые серебром, светлые буазери по стенам первого этажа... Дом этот тянул жилы, как тянула их очередная зима, был где-то в мозжечке мелкой, но больной, как пустяшная заноза, мыслью, что как же так и что же, господи, дальше... Продать, сбыть его быстрее, и даже не чтобы свои четыре процента — хотя правду говори, и ничего кроме правды, таких четырех процентов у тебя никогда не было и уже никогда не будет, если ты вообще останешься в бизнесе после этого дома — не чтобы свои четыре процента получить, а чтобы наконец все закончилось, и забыть, забыть всех этих химер, с голодными глазами бросающихся на тебя, когда ты только переступаешь с очередным покупателем порог и химеры опять молча скулят: не она, не та, не та!

Ключи передавали ему архитекторы, муж и жена, к дому прикипевшие даже не потому, что заказчик — первый раз в практике — все время энергично уточнял: «А можно дороже?» и они делали дороже, а потому, что на это дороже удалось построить сказку, выплеснуть в него все, чему учились и что любили, и никаких ограничений, сроков, рамок, просто постройте нам замок для нашей принцессы. И они построили. Они же, отдавая ключи, отходя от дома, в котором никто никогда так и не пожил, как от любимого покойника, как от сданного в приют дитя, держа лицо и болея, натаскали его немножко по интерьеру. Про системы кондиционирования, управление шторами

и прочие «эффектные конструктивные элементы в виде величественного камина, отделанного ониксом и лепными элементами из шамота» (да, по дому была выпущена даже брошюра, так он был не похож на прочее подмосковное домостроительство), про это он и сам мог напеть, но вот вся эта райская атрибутика, единорог — символ чистоты и невинности, готические аллюзии, квадрифолии, по-русски четырехлистники, вписанные куда только влезло, и прочая цветущая сложность, заложенная в доме, это он не тянул, он — только хорошо продавал, но как продать вот это... Дом-замок, маленький нойшвайнштайн, карманный дворец с заставки диснеевских мультфильмов, обитель для подрастающей принцессы — на начало строительства ей было, говорили, лет пять... Как ты это продашь? Дом, казалось, вздыхающий от слез, и *нервюры* (это он запомнил) по потолку, жилки крестового свода, вздымающиеся ребрами спящей принцессы, уколотой веретеном (чертополох, терновник, репейник, содомские колючки — *частые*, как оказалось, *элементы готического декора*) — кому это все теперь, куда?..

Сад тоже спал, тоже плакал, он открывал калитку в повторяющихся рубиновых каплях, смахивая талую воду с аккуратного дверного молотка, и золоченые, в патине голуби, которые должны были веселить свою маленькую хозяйку, пытались проклянуться из-под шапки снега, нахлобученной на них северным ветром, беспомощно выворачивая на него шеи и медно звеня: не она, не она! Больше всего он боялся горгулий, видел их однажды «в полный рост» в Париже, те были устрашающи, да, но крохи с ониксового камина, они были маленькие, как будто игрушечные и... живые, тем ужаснее во сто крат. И им надо было живых. Чтобы пили по ночам молоко из холодильника или пуляли по кухне разноцветными макарони, которые она так любила, — пока не полюбила другое — чтобы в ванной, похожей на римские термы — простор и мрамор и все эти люстры с изморозью подвешенных снежинок — пахло лавандовым шампунем с эффектом легкого расчесывания... Дом был кунсткамерой, гротом волшебницы, у которой отняли колдовские чары, как будто все страшные сны, все фантазии, все, что тревожит — *мама, вдруг оно выскочит из-под кровати!* — до того, как начинает тревожить дневное (кредиты, пробки, какого черта ты мне звонишь), как будто все детские страхи уменьшили в объеме и придали благородный, приемлемый вид, перемешали с райскими животными и евангельскими цветами, и под сводами дома оказался вход в кроличью нору, собственную живую сказку, личный эдем, где все чарованье и прелесть, где все можно трогать и они не укусят, только задирай повыше голову, выше и ничего не бойся, иди... До дневного морока, до этих лет, которые терзали сейчас его, принцесса не дожидая, рукава закатывала высоко, когда кусала запретное яблоко, и голову всегда закидывала назад, как будто ища что-то наверху, когда ей тропили по вене дорожку, и плыла по-над...

Он пытался представить себе, что она там видела, там, где все случилось, где началось и закончилось — подробностей он не знал, откуда? — и видел только деревянные ребра замка, выступавшие из плоти светящегося и недостижимого потолка, *нервы*, он называл их нервами, да. Родители узнали уже поздно, был процесс, и многие головы полетели, но поздно, поздно, не спасли... Укололась веретеном — и мертвый сон.

А ему — продавай вот теперь это все. Он проходил спящей под снегом аллеей, как будто недостаточно проявленной на фотографии, блеклой, садился на стул, который был скорее, конечно, троном, посреди девственной, как единорог, как Мария, кухне, на которой никогда не шипело масло, опускал голову в руки, ждал звонка от очередных просмотрщиков, вздрагивал хребтом, *всеми нервами*, когда наконец дожидаясь... Пустые стеллажи, рисунок которых повторял бифории просветов, как будто на окнах были каменные шторы; гардеробные, которые проектировали под кринолины, не меньше; холодная, сквозняковая гостиная, в проекте писавшаяся через тире — игровая, никто же не знал, что к 14 принцесса будет играть в совсем другие игры, а здешних слуг, после ее смерти тоже как будто задремавших в ожидании ее пробуждения, никогда не погладит, не отругает, не одарит... Заповедное царство, память о небывшем, он вздрагивал, когда хрустел под его эковским начищенным ботинком паркет, ждал и боялся наткнуться то ли на девочку в чем-то пышном, как у Брюллова, то ли на не

ему предназначенное веретено... Говорили, он так и не понял, что именно: по-видимому, передоз... Как когда можно съесть все пирожные-макарони, и ты их ешь, неостановимо, до боли в животе, а потом рвет, и глазам больно от съеденной радуги. Говорили, что удивительно, как так все вышло, потому что девочка, несмотря на всех барби, на все праздники с клоунами, на машину с водителем, на английский колледж, ну вы сами помните, как там было, в 90-х, несмотря на все это, она что в пять свои, что в четырнадцать была ангельским ребенком, не воображалай, такой, какой и положено быть принцессам, тихой водой, и как ее могло затянуть в это, когда был уготован ей такой райский сад... И все расчислено, вот, доченька, строим тебе дом, и когда ты вырастешь, все принцы будут в гости к нам, и деньги хорошо вложены, и все надежды, все умерло, захлебнулась рвотой, светлые волосы так и запеклись в ней у рта... Говорили, подростковый бунт, говорили, сглаз, много чего несли...

Родители все продали и уехали в какую-то рыбацкую деревушку на Сицилии, волшебный замок повесили на него, а он все никак. Уже много лет. То ли провал рынка извечный, то ли снова несезон, то ли ценник безусловно невероятный, то ли он тряпка, распустил сопли, соберись, соберись, эти, сегодняшние, они уже съехали со МКАДа, и именно цветы — *каллы, ирисы, геральдические лилии — органично внедренные в готические орнаменты, витражи, мраморные инкрустации и лепнину, добавляют интерьеру романтизма*, ты же помнишь. Как же жить дальше, почему так жалко, так безумно жаль принцессу, которая никогда не смахнет пыль с книжек на этом стеллаже, не надкусит земное яблоко, закутавшись в штору и задумчиво рисуя пальчиком у себя на коленке, и не запоем ангельский хор, и почему, господа, эта несчастлившаяся судьба, этот пропавший мир так отзываются ему и говорят о его, о его пустом сосуде, в котором вот настоящего только что — этот замок маленькой девочки, которая не спала в его опочивальнях ни одной ночи? Почему он продает этот дом уже тринадцать лет, начиная со своей собственной молодости, когда, показалось, сорвал куш, прижал этот город к ногтю и вот-вот, уже завтра, уже сейчас продаст волшебный замок на тридцатом километре Новой Риги, и все, все, он в дамках — да кукиш, замок-то заколдованный... Он состарился с этим домом, понял, что не продаст его никогда, и не принцессу было на самом деле жаль и не четырех процентов, ему до одури было жаль себя, того пробивного и светлого мальчика из Калуги, у которого ума и совести было ровно столько, чтобы заниматься именно этим делом, продавать дорогие домашние очаги, картинки из воображандии (а не скурвиться в шиномонтаже или в мелком шрифте банковских договоров), и который сейчас барахтался в мелководье обступившего его быта, беременной вторым жены, бросающей трубки на фоне токсикоза, незалатанной прорехи в бюджете и похеренной мечты когда-нибудь выехать все-таки из двушки в Чертаново, оплаченной первыми годами его московской молодости... Привязан он к этому дому перевитыми, адская готика, в шипах, цепями, как Прометей к вечности, в которой спит на самом деле он, а вовсе не героиновая дева, улетевшая за счастьем... Этот дом не купят, зачем же он снова выстоял эту чертову пробку, нашарил ключи, пригревшиеся в катушковом кармане куртки, рядом с гладким, шелковым каштаном, оставшимся сувениром с их с женой медового месяца в Ялте, когда казалось, что все случится, что он тоже будет счастлив, что купит его, счастье, себе... Он ущипнул себя через замшевый рукав за предплечье, хотел очнуться, как будто набрел, нащупал мысль и ее испугался, но они позвонили.

Встретил ли ее там голубь чистый?..

Сегодняшние удивленно проводили его беглый, скрипучий по аллее шаг, и последним, прощальным жестом он смахнул у калитки снег с позолоты, чтобы голубкам не приходилось больше в ожидании вытягивать шейки.

Что-то кольнуло в кармане. Ключ. Коготь. Чертополох. Веретено.

Свобода.

Свод небесный над головой скрипел каждой жилкой, каждым нервом, каждым ребром.

Диана Светличная

Шырдак

Рассказы

Черные аисты

— Что она там сидит? Будущее себе уже, поди, отморозила! Зови чай пить, — с раздражением говорит Асель сыну и добавляет в заварной чайник щепотку чабреца.

Очаг в юрте горит весь день, тонкая струйка дыма летит в небо через открытый тундук, крича мужу: «Я тебя жду!»

Последние три дня дым срывает голос, а мужа все нет.

Максат, не глядя на мать, запахивает овчинный тулуп и, морщась от мелкой снежной крошки, направляется к озеру.

Жюли сидит на том же камне, что и всю предыдущую неделю, и смотрит на покрывшуюся тонким льдом воду.

Проснувшись с холодным солнцем, она залпом выпивает пиалу ароматного чая и, взяв с собой войлочный коврик и одеяло, идет к озеру ждать аистов.

— Вставайте, мама зовет обедать, — подойдя чуть ближе, чем обычно, говорит по-кыргызски Максат. Он уже почти привык к этой их странной гостье и даже может исподтишка взглянуть на нее. Правда, из этого не выходит ничего хорошего: каждый взгляд, брошенный на ее большие глаза, белую шею, красные волнистые волосы, вызывает какую-то противную дрожь в коленях и сухость в горле.

— Почему они не прилетают? — спрашивает Жюли по-французски и, не моргая, смотрит на Максата своими зелеными инопланетными глазами.

— Одно лето на это джайлоо семья приезжала. С ними дед был — Кадырбек звали, так он, как вы, все сидел и сидел на одном месте и не ел совсем. И умер осенью. Вон — холм видите? Там его и похоронили, — отвечает ей Максат и показывает на бугорок на горизонте.

— Да нет же, они прилетают не в горы, а на озеро. Я это точно знаю. Мне рассказывали, — трясет головой Жюли. — Я должна их дожждаться. Ты еще маленький, не поймешь.

— Когда я был маленьким, мама рассказывала, что здесь, на озере, живут черные аисты. Они большие и сильные. А еще они едят детей. Я однажды видел птицу с черным крылом, она летела за мной и хотела съесть. Было очень страшно, хорошо, что я быстро бегал.

Из юрты высунула голову Асель и закричала на сына низким протяжным голосом. Горы отозвались эхом, волки в арчовых лесах подхватили мелодию, вода в озере дрогнула.

Диана Светличная родилась в 1979 году в Томске. Журналист. Работала в различных СМИ. Преполагает в Киргизско-Российском славянском университете на факультете международных отношений. Печаталась в журналах «Идиот», «Слово Кыргызстана», «Лампа и дымоход», «Идель», и других. Живет в Бишкеке. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

По дороге в юрту Жюли снова увидела свою новорожденную дочь — прекрасное, чистое лицо ангела. «Софи — радость. Софи — счастье. Софи — музыка», — зашептал ветер. У Софи красивые крошечные пальчики и огненно-красные завитки на макушке. Софи пахнет хлебом и не дышит. Совсем.

Глядя в темные воды озера, Жюли пытается утопить воспоминания из той больницы, где ей внушали, что все будет хорошо, привязывает к ним тяжелые камни и забрасывает на глубину. Только одно воспоминание она хранит с нежностью и надеждой — разговор с пожилой арабкой, потерявшей в один день сына и веру.

«Вернуть потерянных детей могут только черные аисты, прилетающие на озеро в горах. Там снег и ветер, там нет людей. Аисты прилетают ненадолго. Дождаться и накормить. Больше ничего не нужно», — словно молитву, повторяла раскачивающаяся арабка.

Когда Жюли и Максат подошли к юрте, пошел настоящий снег. Максат приоткрыл Жюли войлочный полог в юрту, зажмурился и твердо решил: «Вырасту, женюсь на ней».

Шорпо из баранины в большом казане на арчовых дровах способно согреть самого замерзшего путника. Густой ароматный бульон, словно жидкий янтарь, растекается по белым берегам пиалы, гонит печаль, наполняет силой.

«Где же ты, Арстан? Вот и бешбармак, и боорсоки с каймаком — все на столе. А тебя нет. Неужели послушал родственников? Десять лет мы с тобой от них отбивались. Да, не с юга я, по-другому плов готовлю. Но разве ж это беда? Или преступление? Как же сердце болит. Чувствует, что не просто так отвез ты сюда нас с Максатом. Осенью джайлоо пустеют. Одни мы тут остались. Вот и снег уже. Неужели в городе свадьбу празднуешь? Правильную келинку в дом родителям привел? Двоеженцем стал? Ах, Арстан, не наша это традиция. Чужая», — думала над огнем Асель и сама своих мыслей боялась.

— Мама, волки воют вторую ночь, и снег пошел. Мы тут что, зимовать останемся? — почти шепотом спросил Максат.

— Не бойся, сынок. Ничего не бойся, — ответила Асель и отвернулась.

— Снег пошел, а аистов все нет, — поддержала разговор Жюли.

— Ты хоть что-нибудь понимаешь, что она говорит? — спросила Асель сына.

— Она говорит, что ей хорошо у нас, — ответил Максат.

— Сходи за дровами, нельзя, чтобы очаг остывал.

Максат вышел из юрты, все вокруг было белым. Острые вершины гор кололи синее небо. Там, где еще днем зеленели арчовые заросли, сейчас высились ледяные замки. Дорогу вниз, бесконечный серпантин в их прошлую жизнь, засыпало, спрятало, накрыло холодной белой тканью. Где-то в городе остались его книжки, одноклассники, конструктор лего. Все это казалось сейчас каким-то призрачным, будто ненастоящим. Настоящими были ветер, острые ледяные комья с неба и черные аисты, летящие через замерзшее озеро. Больше Максат их не боялся.

Алые маки

Раздеваться в присутствии чужой женщины было совестно, хотелось прикрыться, укутаться хотя бы в белую простыню, что привезла из дома мама. Высокая блондинка расстилала эту простыню на узком столе и не обращала на нас внимания.

— Что будем делать? — спросила она высоким голосом лампу и щелкнула выключателем. Помещение тут же наполнилось холодным, ярким светом. У меня перед глазами поплыли черные кляксы.

— Нам все, полностью. Чтобы гладко и красиво. У нас завтра свадьба! — гордо ответила блондинке мама.

— О! Поздравляю! — продолжая копаться в своих баночках и салфетках, воскликнула блондинка, и меня снова начала бить мелкая дрожь.

Знаю, что нужно взять себя в руки, но ничего не могу с собой поделать. Пальцы одеревенели, не слушаются, коленки подгибаются, зубы стучат. Один раз со мной такое уже было: тогда мы ходили с классом кататься с горки. Одежда тогда у меня промокла, пальто висело, как ледяной мешок, тянуло к земле, думала, не дойду до дома. Сейчас нет снега. Солнце печет. Платье, пока ехали, к спине прилипло от пота. А тело не слушается, как тогда.

— Сахаром будем убирать или воском? — спросила блондинка саму себя и повернулась к маме.

— Сами посмотрите, как лучше, — ответила ей мама и, чуть смутившись моего голого тела, поправила простыню.

— Ох! — выдохнула хозяйка кабинета, обернувшись ко мне. — Вы и ноги, и руки, и все хотите сразу? — спросила она.

— Да-да! Говорю же, украдут завтра нашу Зульфию! — ответила ей мама и отвела глаза в сторону.

— Давайте попробуем. Несладко тебе придется, девочка. Волосы густые, толстые. Вытерпишь? — спросила меня, словно ребенка.

Я хотела улыбнуться, но не смогла. Лицо, как и пальцы, — деревянное. После того как к нам в гости приехала тетя Нигора и мама сообщила мне о замужестве, с моим телом и случилось все это безобразие. Хожу, как заводная кукла, ни улыбнуться, ни прищуриться не могу. И еще сердце стучит не там, где обычно, а в горло поднялось, дышать мешает. Вчера качала сестренку, хотела песню ей спеть, а сердце лезет наружу, давит голос, даже разговаривать больно.

— Ложись. Вот так. Сейчас будет больно, ты на счет «три» сделай выдох — будет легче, — предупредила блондинка.

А я знаю, что когда больно, нужно правильно дышать. В учебнике по акушерству написано. Я же хотела врачом стать. Но в институт на врача берут только после одиннадцатого класса. Мама говорит, что после замужества я больше не пойду в школу. А вдруг муж разрешит? Я один раз его видела. Мы в гости ездили к родственникам, и он там был. Красивый. Глаза большие. Может быть, будет добрым мужем.

— Ну, ты как? Терпимо? Герой! — похвалила меня блондинка и намазала своей липкой жидкостью там — внизу живота. Трудно представить себе больший позор, чем все это. Когда мы совсем еще маленькими девчонками собирались на чай у тети или все приходили к нам, я слышала, как много говорили старшие женщины про эту область внизу живота. И слов столько специальных есть для этой части тела, и историй. Но это только для женских ушей. Нельзя, чтобы хоть слово услышал мужчина. Даже муж. Особенно муж.

«Женское счастье между ног. Это все, что у нас есть», — однажды сказала мне соседская бабушка. Ей, кажется, сто лет, она ходит, опираясь на клюку, и видит мертвых. Говорят, в молодости она была первой красавицей и родила двенадцать детей. Трудно представить, что когда-то она была молодой.

А мамина сестра предупредила меня, что перед мужем нужно будет раздеться. И сделать все, что он скажет. Но я его видела. Он красивый. Он не заставит меня делать дурное.

— Кожа тонкая, волоски толстые. Не надо бы все разом убирать! Она вся горит! — голос блондинки обращается к маме.

— Завтра у нас свадьба! — уставшим голосом отвечает ей мама. И мне становится так ее жалко. Со стола видны все ее морщинки: у глаз, у носа, у губ. И седая прядка торчит из-под платка.

Уйду завтра в чужой дом, а она останется одна. Младшие братья разве ей помогут? Сестренка совсем еще маленькая. И лагман тянуть маме одной, и клевер на манты собирать, и двор, и огород — все теперь на ее плечах.

Красивая моя мамочка! Тоже в пятнадцать замуж отдали. Неужели и она вот так без одежды лежала и чужая женщина ошипывала ее, как курицу, и во все места своими руками лезла?

Боль притупилась, жар разливался во всему телу. Мне казалось, что лежу я уже не только без одежды, но и без кожи. Свежее, красное мясо. Халяль.

— Доченька, тебе совсем плохо? — откуда-то издалека услышала я мамин голос. И от этого ее голоса стало так хорошо. Будто прохлада опустилась на землю.

— Может, воды на лицо плеснуть? — там же вдалеке прозвучал высокий голос блондинки.

— Доченька, давай отменим, если тебе плохо! Если хочешь, все отменим! И свадьбу отменим! — сбиваясь, говорил мамин голос. И это было самое сладкое мгновение в моей жизни. Я лежала и чувствовала, как из глаз прямо в уши текут слезы, и слышала звук речки, что сразу за нашими огородами, и видела бесконечные алые поля — это цвели маки, их было много-много — целый океан.

Я лежала и думала: «Только с мужем пусть не будет так больно!» И маковый океан шумел и бурлил и что-то мне обещал.

Белый саван

— Женщины не омывают мужчин! — сказал кто-то ей в ухо и попытался вывести из комнаты.

— Это не просто мужчина. Это мой муж, — тихо и страшно ответила Анна и убрала от себя чужие руки.

— Это не по правилам! Это нарушение всех законов! — заголосили женщины из соседней комнаты.

Еще полчаса назад Анна всматривалась в застывшее лицо с надеждой. Ей казалось, что вот, мышца дрогнула, ресницы приподнялись, губы шевельнулись. Сердце ее замирало, миллионы барабанов устремлялись к вискам, били вразнобой, у нее начинала кружиться голова, она жмурилась, считала до десяти и снова всматривалась в замершее лицо.

Теперь в ней было пусто: надежда умерла, барабаны смолкли. Тишина снаружи, тишина внутри.

Анна закрыла дверь в комнату на ключ, намылила губку и стала водить ею по холодному телу. По груди, на которой спала, по плечам, на которые бросалась после каждой разлуки, по рукам, которые были такими сильными и нежными, по животу, который чуть выпирал вперед, по бедрам, коленям. По всему этому родному, знакомому, любимому. В какой-то момент она с силой вдохнула воздух и поняла, что все это нагромождение костей, волос, кишок — больше не Чингиз. Тело больше не пахло им. Оно вообще ничем не пахло.

Ужас охватил Анну, ее приподнятая рука застыла в воздухе вместе с намыленной губкой, тишину разрезал вопль. Анна кричала неженским голосом, глаза ее стали мутными и больными.

Двухстворчатая дверь вылетела под натиском мужских плеч. В комнате появились родственники Чингиза — его брат, зять, дядя. Анна мало кого из них знала лично. Родители Чингиза так и не одобрили невестку, она так и не вошла в семью. Встречи с родней стали редкими, почти случайными.

— Ну-ну... — сказал голосом, очень похожим на голос Чингиза, его брат и забрал из рук Анны губку. — Не надо было тебе его мыть...

Другие мужчины взяли ее под руки и вывели из комнаты. На кухне, опершись о стол, сидели женщины. Несколько из них по-звериному скулили. В центре сидела та сморщенная, темнокожая ведьма, которая при первой же встрече сказала Анне: «Никогда!» Тогда она казалась Анне высокой, статной, колючей. Сейчас же выглядела маленькой, состарившейся, беззащитной.

Увидев Анну, она встала, сделала шаг навстречу. Анна испугалась, что ведьма сейчас ее заколдует, превратит в лягушку. Ведьма закусила губу, сняла со своей головы платок. Анне показалось, что Чингиз сейчас стоит с ней рядом, подталкивает ее под

локоть. Ведьма сделала еще шаг и надела платок на голову Анны. Женщины в комнате завывали.

— Что с ним произошло? — спросила Анну женщина с непокрытой головой.

— Врач сказал: инфаркт, — ответила она.

— Познакомишь меня с Андреем? — спросила женщина.

— Угу, — кивнула Анна.

— Он похож на Чингиза? — спросила ее женщина.

— Он похож на вас, — ответила ей Анна.

Когда из квартиры выносили тело в саване, Анне показалось, что по всей земле пошел снег. Она держала за руку самую родную из чужих женщин и мысленно крестила белый саван.

Ложка мёда

Третий день она металась по горячей подушке и беззвучно кричала: «Мё-ё-ду!»

— Мё-ё-ду, — вытягивались в трубочку ее белые губы, но сноха читала по ним: «во-о-ду!» и вставляла в рот свекрови носик детского поильника с водой. Старуха злилась, отворачивалась, вода текла по ее подбородку.

— Че строить из себя красный крест? У нее есть две дочери! — сквозь гул самолетов и взрывы снарядов слышала старуха.

— Да никого у нее нет, — различила она второй голос и почувствовала, как где-то в груди закипел бульон, нужно было снять пену, которая булькала и ползла вверх.

«Ложку! Сейчас перельется!», — забеспокоилась она и застонала, пытаясь приветать. Кипящий бульон дрогнул, запузырился и полился через край, обжигая ребра, бока, живот. Раздался взрыв, звон, гул. Все вокруг запылало огнем, разрушенные стены медленно поползли вниз. Каменная крошка, пыль, гарь — все смешалось.

— Настя! — кричала откуда-то из дыма мама. — Настя! — голос мамы срывался, она закашливалась. Было жарко, и хотелось спать.

Проснулась Настя от шума. Мужчины в форме помогали детям и женщинам подниматься в вагоны, забрасывали туда же тюки и мешки. Настя лежала на какой-то деревянной телеге, с неба на нее падали капли дождя, вокруг бегали и сустились люди, человек со свистком подгонял нерасторопных женщин, женщины обнимали мужчин, плакали. Настя приподняла голову в поисках мамы, но мамы нигде не было.

— Мама! — закричала Настя что есть мочи.

— Ну-ну-ну! — сказал ей почти ласково чужой мужчина с усами и, словно куклу, завернутую в какое-то колючее пальто, понес к вагону.

— Мамамамама! — кричала Настя.

— Ч-ч-ч, — успокаивал ее солдат.

— Сколько тебе лет, девочка? — спросила Настю уже в вагоне чужая женщина и дала крошечный сухарик. Настя показала ей, как учила мама, три пальца и съела угощение.

— Ты завалишь весь проект! Если даже родные дочери не стали забирать ее из больницы, это что-то да значит! — разобрала сквозь шум колес и гудок поезда уставшая старуха. Хотелось сойти с поезда. В щели товарного вагона, в котором они вместе с доброй незнакомой женщиной и еще целой толпой народа ехали целую вечность, она видела поле, желтые и синие цветы. Хотелось выйти в поле. Остаться там. Хотелось, но было нельзя. Ей еще предстояло положить веточку на холмик могилы доброй женщины с сухариком сразу после прибытия в теплую солнечную страну.

Разгружались медленно, радости от прибытия на лицах не было, покинув вагон, люди сначала подолгу стояли у поезда, а потом, раскачиваясь и широко расставляя ноги, шли куда-то прочь.

— Мама? — спросила Настя свежий холмик и почувствовала во рту неприятный вкус, перед глазами запрыгали черные мушки.

— Ч-ч-ч, — снова сказал ей какой-то незнакомый человек и, взяв за руку, повел по пыльной дорожке в маленький домик под большими деревьями. У домика бегали дети и черная собака.

— Ну-ка, съешь ложку мёда, — распорядилась с порога большая черноволосая женщина и сунула качающейся от бессилия Насте ложку сладкой гущи. — Ну, вот ты и дома.

— А золовки-то твои знают, что их мать умирает у тебя? — жужжит, как пчела, голос. И нельзя от него ни отмахнуться, ни уменьшить громкость.

— Мама, ведь ты никогда не умрешь? — шепчут по очереди на ушко Насте ее ангелы-погодки. И по телу растекаются мёд и нежность. И сладкие слезы смывают все, что было темное, страшное. Верочка и Любочка — крошечные носики, светлые глазки, русые мягкие локоны. Набрать воды дождевой, ромашку заварить в банке, чтобы купать по очереди это счастье. Чтобы самыми красивыми росли эти девочки. И целовать макушки и розовые ладошки, задыхаться от аромата молока и мёда. Заслонить от ветра и невзгод, подстелить на каждом скользком повороте соломки. Утром чуть свет подоить корову и парного молока в постель своим изюминкам. Чтобы щечки розовые, глазки веселые. Расчесывать их густые волосы, вплетать в косы алые ленты. Любоваться и молиться.

— Хоронить тоже сама будешь? Пока они там дом делят. Давай.

Из ценного в доме только расписные тарелки. Стоят в серванте на самом видном месте. Это все, что осталось от Гришеньки. На них еще такие цветы красивые, яркосиние, и каемочка золотая. Шесть больших тарелок, шесть поменьше. Всего-то пару раз из них и ели-то. Награда! «Почетный шахтер» с другой стороны на одной тарелке написано. А Гриша над тарелками теми смеялся. Да он надо всем смеялся. Как смеется, так все время и закашливается. Кашляет и говорит: «В себе уголек ношу». Глаза у него до последней минуты блестели, как угольки. Весело с ним было всегда. То историю какую расскажет, то просто смотрит глазами своими горящими, и хорошо. С работы приходил, на стул у стола садился, ногу на ногу закидывал, детей брал на руки по очереди, качал, песни сочинял на ходу. Жизнь вокруг него всегда кипела, как-то умел он оживить все. «Мёд ты мой!» — говорил Насте. А у Насти от слов этих сразу щеки горячие, и в животе так хорошо, будто взлетела вверх на качелях.

Когда выносили Гришеньку из дома, Настя ни разу не заплакала, только повторяла, что вообще это не весело. А вернулась с кладбища — танцевать стала и петь, как Гришенька, — про все, что вокруг. Закружилась, упала, ударилась о косяк. Дети к ней бросились, помогают подняться, а Настя им: «Только одна у меня просьба: чтобы положили потом вместе с папкой. Соскучилась. Сил нет». Вечерами, как оставалась одна дома, с тарелками разговаривала.

— Ты хоть Игорю-то сообщила, что пока он там, жених, в меду купается, его мать тут выпускает дух?

Игорь родился, когда Верочка с Любочкой уже в школу ходили. Крепкий, красивый, настоящий куленок. Глаза отцовские — угольки круглые, волосы твердые, ежиком. Всей больницей любовались, такой ладный ребенок. Умный, ласковый. Только с ним Настя поняла, что значит обожать. Смотрит на него и тает сразу, умиляется, и не надо больше никакой другой картинки. Потому что нет картинки краше, чем сын. Для сыночка все самое лучшее. Пусть у самой пальто прохудилось, на локтях протерлось до сеточки, главное — сыночку ботинки новенькие и шапку кроличью. Зима-то вон какая лютая! Ножки куриные из супа — только Игорю, мяско красное, чтобы сил больше было. И самый сочный кусок из пирога разделить между сыночком и Гришенькой. И слушать с замиранием сердца все, что Игорь рассказывает. Все интересно, все важно. И про муравьев, что кислой палочку делают, и про мальчишек, что ныряют с моста, как лягушата, и про школу, сколько там всего непонятного, и про железнодорожный институт, и про Аню, у которой ямочки на щечках. Да, про эту Аню постоянно. А что та Аня? Что там с ямочек на щечках взять? Отняла у матери последнюю радость. Сказала, что жить они в городе будут. А он за ней бегом. И плевать на дом отцовский, на слезы матери. Откуда только взялась та Аня.

— Анют, она глаза открыла! Пришла в себя, кажется, — прожужжал ставший уже знакомым голос.

Солнечный свет, словно луковый сок, больно кольнул глаза, Настя попыталась зажмуриться, но получилось только прикрыть веки. Под прикрытыми веками заиграли цвета: красный, синий, зеленый, поплыли цветные разводы и кляксы. Настя попыталась собраться и вспомнить, кто она. Вена на виске напряглась, вздулась, сердце застучало быстрее. Но она так и не смогла выбрать из представших в воображении образов подходящий. Вроде бы она и девочка в разрушенном доме, и девочка в поезде, а то женщина, что гонит корову на пастбище, и та, что кричит на кушетке, разрываемая изнутри новой жизнью и сыплющая горстку земли вслед ушедшей жизни, и еще одна, и еще много других. Ее снова охватил животный ужас, она снова погрузилась в кошмар. Седые волосы снова стали влажными и прилипли к вискам.

— Ч-ч-ч... — услышала Настя откуда-то издалека. — Сейчас я смочу вам водой губы... Ч-ч-ч...

Настя замерла, и перед ее глазами возникла четкая картинка. Она вдруг вспомнила серые стены больницы, жизнерадостного таракана, бегущего по спинке кровати, засаленную наволочку, запах хлорки и спирта. Вспомнила свою дряблую, пятнистую руку под капельницей, боль в пояснице, в груди, в висках. Вспомнила боль. Вспомнила, что ей семьдесят два года, что она живет вдвоем с кошкой Шпонкой. Вспомнила, что у нее есть дочери и сын. Вспомнила, что она очень устала.

— Все будет хорошо, мама, — услышала она над собой и немедленно открыла глаза.

Остывший бульон, едва покрывшийся пленкой, снова дрогнул и забурлил. «Какая я тебе мама? — хотелось крикнуть ямочкам на щеках. — Десять лет как мы чужие люди, что тебе от меня надо?» Но сил сказать все это не было. Губы не слушались, голос кончился. Только зеленые глаза, будто мхом покрылись, еще гуще цвет сделался. Округлились два болота, замерли.

— Хотите куриный бульон? Давайте, мама, хоть ложечку... — и тянется со своей ложкой. И никуда не денешься. А свет яркий, солнечный. Обои в цветочек — розовые. Подушка мягкая, пахнет свежестью. Вот оно, наказание.

Ой ты, дура! Жизни не знала, не видела. Городская, избалованная кукла! На всем готовом всю жизнь. Борща варить так и не научилась. Ямочками своими мозги-то Игорю и запудрила! Пустоцвет ты несчастный.

— А вот сейчас еще ложку, и сразу сил наберетесь! Мы еще повоюем! — и улыбается, а у самой слезы в глазах, будто не вижу. Будто не знаю тебя, нюню. Чуть что, слезы близко. Размазня ты бесхребетная.

— Вот и щеки порозовели. Совсем другое дело! Какая красавица! Игорь приедет, а мы к нему — своими ногами!

И вот здесь еще много всего вспомнилось. И то, что пять лет ни весточки от сына. С новой девицей укатил на край света, и ни письма, ни звонка. И дочери, как стервятники, глотки друг дружке грызут, кому дом достанется. И Шпонка кричит вечерами с голоду — ни шавля, скотина, ни картошки звать не желает.

А еще вспомнилась старуха с окраины, к которой фотографию Аньки носила вечером, чтоб старуха та свечи сожгла, землю растолкла, пустила по ветру, чтобы нутро Аньки опустошила-высушила, да откинула Аньку подальше от Игоря.

И от этого далекого, забытого воспоминания отчего-то так холодно сделалось. И укрыться захотелось одеялом тяжелым, толстым. И перекреститься. Или Аньку перекрестить. Да только сил в руках никаких. Будто и нет рук совсем.

«Прости!» — одними губами попыталась сказать старуха, но бестолковая Анька снова прочитала «воды» и опять поднесла свекрови детский поильник.

«Откуда у нее детская посуда?» — последнее, о чем успела подумать старуха.

Издалека доносилось «Ч-ч-ч... Ну-ка, съешь ложку мёда... Ну, вот ты и дома».

Любовь Колесник

Исчезающая провинциада

* * *

череда смертей, привыканий и тренировок
человек человеку робкий морозов павлик
мы глядим друг на друга, извлекаемые из коробок
наши вены вою(ю)т с сильнейшей из всех гидравлик

наши нервы распаиваются из схематик
повинуясь законам случных случайных чисел
я иду вперед на проржавленном автомате
впереди тебя нет, не придумано, не случилось

впереди только дно с устоявшим на нём камазом
покатившимся с горки под тяжестью перестройки
я играю в классики рока с рабочим классом
ты уходишь из жизни вбивая в асфальт набойки

держим курс как лом на прожорливейшую топку
потеряли заряд на излуцинах сложных скобок
и господь открывает в бесконечность свою коробку
выключает нас и укладывает бок о бок

* * *

ДК

Где гостиница рядом с тюрьмою,
где забитые стрелки в пруду,
я ладони холодным умою
и, наверное, дальше пойду.

В небесах, в зеленеющем хлоре —
отражение земного сукна,
растворение килокалорий,
остывание сердца до дна.

Осенеет, синеет, смотри-ка:
за крестями казенных домов —
корабли журавлиного крика,
опустелые тени холмов.

Исчезающая провинциада,
ожидание ржавых пружин.
Не держи мою руку, не надо,
и добра на меня не держи.

Прямо некуда, слева помойка,
справа голубь сидит на вожде.
Одиночество, вечная стойка
ржавой стрелки в недвижной воде.

* * *

Журчание в батарее,
бурчание в животе.
Любовничья сыть не греет,
растёт трава пустотел.

Едальня да раздевалка
на сонм человеческих сот.
Кто ближний твой?
Радиатор
из рёбрышек и пустот.

* * *

Между стихами, городом и заводом,
финистом-Соколом, Щукинской и Тверской
петлями трасс я затягиваю свободу,
чтоб попытаться выменять на покой.

Бодрый мертвец напевает, что день-то прожит,
а ты жива, дурёха, — чего ещё?
Но тяжело и холодно жить без кожи,
где маршируют поднятые в ружьё.

Слепит до слёз некончающаяся встреча,
раненый мегаполис кровит толпой.
Вечно течет мазутом чёрная речка,
тени становятся кругом на водопой.

Будет теплей, если сделаться честной частью.
Будет надёжнее ждать, когда позовут.
Нет никакого покоя, тем паче счастья,
есть только город, музыка
и мазут.

* * *

Жизнь покажет — а не хочу смотреть,
говорит Вологда-гда-гда-гда.
В маленькой комнатке умереть,
не вставать в шесть зато никогда.
Стол стоит, скрытый для шестерых,
и сидят, седьмого никто не ждёт.
Из окна видать голубей сырых,
и дождя достаточно, но идёт.
Тычет в небо кольями палисад,
заедает песенкою резной.
Сядь, запой, запей, не смотри назад,
жизнь покажет, ты посмотри со мной.

* * *

я не настоящий поэт, просто нашла эту маску
надела, села в песочнице и сижу
слушаю музыку революции, мировую тряску
тяжелую поступь гроба, идущего к гаражу
ногами насильных носильщиков, на гамаке полотенец
не заварить эту кашу на безопасных щах
я просто седая женщина, сырой сиделец
наблюдаю мир, стоящий на трёх черепах
мор, глад, блед; марс, энгельс и тошно
песок подо мной расплывается, жёлт, как йод
и маска, словно черный челн с мертвецом киношным
перевернувшись на спину, мимо меня плывет

Илья Фаликов

Борис Слуцкий: Майор и муза

Главы из книги

Грозные шестидесятые

В мемуарной книге «Голубой зверь» Вяч. Вс. Иванов вкратце рассказал о том, как в новогоднюю ночь 1960 года Давид Самойлов, находясь у него на даче, надерзил Пастернаку: вас, дескать, не поймешь, за красных вы или за белых. Слуцкий, когда Пастернак предложил выпить его здоровье, сказал:

— Я уже здоров.

Так начинались шестидесятые.

Вспоминается стих Еvtушенко: «Компании нелепо образуются».

Тридцать первого мая 1960 года в Переделкине умер Пастернак. Семен Липкин: «Мы встретились после похорон Пастернака. Слуцкий нервно стал расспрашивать меня о похоронах... Слуцкий вбирал в себя каждое слово. Мне стало его жаль».

Хоронили в Переделкине 2 июня. Об этом много написано. В этой книге уместней всего привести свидетельство Бориса Ямпольского, саратовского друга Слуцкого (о нем — дальше).

В солнечной тишине сада шмель гудел.

От ворот к даче спешили трое: грузная особа в черном казакине и с ней двое молодых людей, тоже в черном, с музыкальными инструментами в футлярах. Она семенила вразвалку, но так энергично, что можно было подумать, будто распалена чем-то, и кому-то достанется от нее сейчас. Боком-скоком преодолела четыре ступеньки и в дверь вошла, как снаряд в ствол. Молодые люди — робко следом.

Минут через десять дача, тягостно молчавшая до того, словно перевела дух — из окон в сад поплыло что-то свирельное, грустно-светлое, как горних ангелов полет.

Несколько пареньков появились, перешептываются поодаль. Седая, как лунь, женщина в белом с ниткой жемчуга на увядающей шее ходит, нервничая, вдоль терраски.

На мою скамейку подошли, присели двое мужчин. Один у другого:

— Будет ли, интересно, Паустовский? Он в Москве? Не знаете?

— Был в Тарусе.

— А вынос на четыре назначен?

— На четыре.

Оглядывается бросить окурок и шепчет:

— Виктор Борисович с женой.

Маленький плотный человечек с голым черепом, беретом в кулачке, и за ним, едва поспевая, остренькая женщина. Не успел я опомниться, они уже вошли в дачу.

На территорию двора мягко вползла черноникелевая машина с венком во всю крышу. «Уж не от Нобеля ли?» — мелькнуло в моей провинциальной голове. Оказалось: «Борису

Леонидовичу Пастернаку — Корней Чуковский». Венок понесли в дачу. Машина, не разворачиваясь, задом ушла со двора.

Шкловские вышли. Теперь можно было войти и мне. Она задержалась на терраске с той, седой, в жемчуге. А он сошел с крыльца и опустился на скамейку. Сидит, моргая покрасневшими веками. Через некоторое время они еще раз побыли в доме и ушли совсем.

Расслаживаться мне было нехоти: тянуло вобрать в себя, унести максимум этого дня.

В прихожке на вешалке уже висел чей-то плащ. Поколебавшись, свой тоже повесил. Хочу войти, но вижу: чуть ли не бегом (едва успел посторониться) всклокоченный мужчина в защитного цвета курточке. Влетел мимо меня и замер в коридорчике перед раскрытой дверью. На скуле желвак прыгает, кулаки стиснуты — того гляди, закричит или не знаю что сделает. А он выкинул вперед руку:

— Данте!

И развернулся, выскочил на терраску. Припал к столбу, затрясся весь. Откуда-то взялся кто-то в пенсне. Обхватил его за плечи.

— Успокойтесь, товарищ. Ну, что вы, успокойтесь.

— Прос... тите... меня, — сквозь всхлипы тот, — я... проездом... Я... летчик... Всю войну провоевал... — он выхватил из нагрудного кармана сборничек, — с вот этой вот... книжкой его... А они, суки!.. хряки вонючие!.. Что с ним!

— Ну что вы, что вы. Не надо. Ну, мы вот, — взглянул на меня, — просим вас. И потом — помните? — «Тишина, ты лучшее из всего, что слышал».

Последний довод явился магическим: достал пачку папирос, оказалась — пустая. Скомкал, хотел бросить, спохватился и сунул в карман.

От ворот к даче приближалась импозантная пара.

Она — перманентная блондинка в черном, кроваво-красные тюльпаны в руках. Он — в сером от лучшего портного костюме с иголки. Я не сразу узнал в нем Ливанова. До самого крыльца шли мало сказать вместе — воедино. А тут внутренне разъединились и поднимались на крыльцо каждый сам по себе. Прежде чем войти, он заглянул в дверь, как заглядывают в пропасть.

Я прислонился к косяку.

Стоял он таким отрешенным от всех и вся — среди людей один на один с покойным, — что всем не шелохнуться было, не кашлянуть. У меня затекла нога, но перенести тяжесть тела на другую я был гипнотически не в состоянии.

Эту магию нарушила самим приходом своим вошедшая из сада. Она положила цветы и опустилась на колени.

А следом худой, как штатив, молодой человек. Нервно перебирая пальцами, словно комкая что-то невидимое, он склонился губами к руке и тут же отошел.

За ним — еще одна пожилая женщина в парусиновом пыльнике и соломенной шляпке ведерком. Тянется положить в ноги ландыши. Посланица того «сырого оврага»?

У меня перехватило глотку. Хочу выйти, оборачиваюсь, а коридорчик переполнен уже. Я, оказывается, в проходе торчу. Никто, однако, и касанием руки не попросил меня посторониться.

А там расступаются, вижу, теснятся друг к другу — дают проход. Кому же? Паустовскому. Дорогу, дорогу гасконцам!

Он вошел, я вышел.

За час-полтора народу набилось — полон двор.

Появились и корреспонденты. В основном иностранные, похоже.

Перевалило за полдень. Солнце пекло всю. Семи—восьмичасовое напряжение начало сказываться. Ноги отяжелели, во рту пересохло. Напиться бы да присесть где-нибудь. Но — где там! Слоняюсь, слышу обрывки разговоров.

— ...Лидин за границей. А Казакевич хотел быть, но у него сегодня ответственное совещание. Сможет ли?

— ...Ну что вы! Анна Андреевна в больнице. У нее же жуткий спондилоартроз...

— ...Это верно, что машины сюда задерживают?

— Милицию у моста я сама видела. Очевидно, так и есть.

— ...Рад вас видеть здесь.

— ...Кома Иванов? Ну как же! Он прилетел.

— ...Вы, кажется, искали Каверина? Так вот он.

Доступ к телу был прекращен. Это сразу разнеслось. Разговоры смолкли. Стали сходиться на линию от крыльца до ворот. Ждут. Тишина. Застрекотали киноаппараты. Выносят.

В проход, над толпой, над головами, чуть покачиваясь — в последний путь. Его лицо обращено к небу. За ним, заполняя проход, толпа на глазах превращается в процессию, вытягивается из ворот. Сворачивает на дорогу вдоль штакетника.

Погребальный автобус, ожидавший у ворот, молча отвергнут. Понесут на плечах. Будут ежеминутно на ходу подменять друг друга. И не всем еще достанется.

Неправомерно коротким кажется мне этот последний путь. Еще нести и нести бы, вот так, над головами, трижды вокруг Москвы! А мы уже спустились к мосту и сворачиваем на кладбищенский кособок. Моим путем обратно, на то самое сельское кладбище.

Передние придерживают гроб на плечах, задние поднимают во всю длину рук. Процессия рассыпается и окружает открытую под тремя соснами могилу.

Я уже стиснут так, что платка из кармана не достать. То и дело запрокидываю голову, чтобы свежего воздуха глотнуть.

Напряженная тишина... Слышу, что начался уже траурный митинг, но слов от волнения не разберу. «Кто выступает?» — шепчет примостившийся с блокнотом у меня на спине паренек. И женский шепот: «Асмус, профессор МГУ».

Асмус говорит о человеке, который одинаково уважал труд плотника и труд музыканта. О невысокомерном художнике. О гражданине, что расходился не только с нашим правительством, но с правительствами всех времен и народов. Придя к концу жизни, Борис Леонидович отрицал всякое насилие и в этом был не прав. Однако, и не соглашаясь с убеждениями Бориса Леонидовича, нельзя не уважать его убеждений.

Свою короткую речь Асмус закончил обращением к покойному: «Дорогой наш...». И предоставил слово чтецу Голубенцеву:

О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью — убивают,
Нахлынут горлом и убьют!..

На этом, сославшись на нелюбовь поэта к многословью, хотели и «закончить митинг». Из заволновавшейся толпы потребовали слова. «Может, не стоит, товарищи?» — попытался сдержать Асмус. «Почему это?», «Пусть!», «Не регламентируйте там!» А к могиле протискивался уже вихрастый паренек. Он поднял руку, просит тишины. Читает, как камнями в кого-то:

...Я один! Всё! тонет! в фарисействе!
Жизнь прожить — не поле перейти!

Раздались, а потом хлынули аплодисменты, выкрики. Запомнилось: «Да святится имя твое, творец!»

Отсюда все как в бреду пошло. Выступали, читали стихи. Сперва протискиваясь к могиле, потом с мест.

То прежний голос твой провидческий звучал, не тронутый распадом:

Прощай, лазурь Преображенская
И золото второго Спаса,
Смягчи последней лаской женскою
Мне горечь рокового часа.

Бросающая вызов женщина!
Я — поле твоего сраженья.

Прощайте, годы безвременщины.
Простимся, бездне унижений

Прощай, размах крыла расправленный,
Полёта вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство.

Застучали, как по пустому ящику, комья земли. Через головы стали бросать цветы. Зашуршали лопаты. Холм покрылся венками.

Когда я опомнился, густо смеркалось. Молодежь разводила костры. Я побрел на станцию. Ждала Анна Ивановна¹.

У меня, с утра не присевшего, ноги, спина — как не мои. Уже на перронной скамейке вспомнилось, что, когда ехал сюда, вроде бы что-то в руках было. Ну конечно — плащ, оставленный в прихожей дачи. Жена сказала бы: как ты голову еще там не оставил.

Подсел мужчина:
— С погребения?
— Нет, с вознесения.

¹ Перед этим Ямпольский сообщил: «Наезжая в Москву, останавливался чаще всего у Анны Ивановны Ходасевич. В ее домике-гномике на Смоленском бульваре». Цитирую по книге Б.Ямпольского «Избранные минуты жизни».

«Август» Пастернака идеальным образом совпал с картиной его похорон.

В лесу казенной землемершею
Стояла смерть среди погоста,
Глядя в лицо мое умершее,
Чтоб яму вырыть мне по росту.

Слуцкий прекрасно помнил эти строки, впоследствии обыграв их у себя:

Мне б не ругать и не судить —
всё это слишком просто, —
а мне бы дерево свалить,
сосну себе по росту.

(«Кому какая боль больней...»)

Конечно же он говорит о сосновом гробе.

В те годы пришла новая волна женской поэзии. Еще царила живая Ахматова, несколько проигрывая невиданному, беспрецедентному валу Цветаевой. В силу входили Белла Ахмадулина и Юнна Мориц. Но приходили новые, и они, похоже, были вне пары, а как-то в некоторой непросчитанной группе. Такую одиночку — посреди других — распознал Слуцкий.

В журнале «Октябрь» (1961, № 1) появился его панегирик «Первые стихотворения Светланы Евсеевой»:

Бывают стихи, похожие на дома, срубленные из отдельных бревен. Такие стихи легко цитировать. Часто они — просто цитаты, находки, строки или строфы, к которым пристроены подъездные и выездные пути объяснений.

Бывают стихи, похожие на людей. Из человека — трудно цитировать. Отдельная рука — это отрубленная, мертвая рука. Она ничуть не похожа на живую, теплую руку, работающую и дарящую.

Двенадцать стихотворений Светланы Евсеевой, опубликованные «Юностью», не поддаются пересказу. Проще всего их прочитать, благо под последней страницей журнала стоит завидная цифра — 510000 экземпляров.

А моя задача — написать о них позавлекательнее, чтобы читателю захотелось взяться за журнал, даже не дочитывая этой статьи до конца.

Есть коммивояжеры, которые раздают проспекты. Есть другие коммивояжеры, более опытные. Они раздают образцы.

Вот стихотворение «Мать»:

В нашем домике допотопном
Помню женщин одних в семье.
Помню: туфли твои дотоптаны,
Платье выцвело на спине.

Я мечтала тогда девчонкой,
Как бы мне суметь накопить,
Снять самой с тебя мерку бечёвкой,
Платья в городе закупить...

<...> отрубать стихотворение не хочется. Хочется, напротив, чтобы оно продолжалось. Стою перед ним, не как перед домом, а как перед человеком. <...>

Дальше можно прочесть нечто, начисто расходящееся с репутацией Слуцкого как отрицателя метафоры:

Потом — метафоры. Самый наглядный, бьющий в глаза элемент евсеевского дарования. Последнее время не везет ему в русской поэзии. Даже величайший метафорист наш в конце своего пути сокрушенно говорил: «Ищем речи точной и нагой».

И все-таки «пресволочнейшая штукавина» — метафора — существует, и Евсеева пишет о рыбачках, три дня и три года ждавших возвращения мужей из плавания: «Уши — раковины морские: в них все время гремело море». <...>

Товарищи из «Юности» на этот раз (как и во многих других случаях) не поскупились на полосы, не просто представили поэта, а показали его во весь рост.

В том же номере еще три цикла, еще три фотографии, три молодых девичьих лица: Новелла Матвеева, И.Кашежева, Т.Жирмунская.

Уитмен когда-то вполне ошибочно заявил:

Молодые женщины — красивые,
Но старые гораздо красивее.

Очень хорошо, что «Юность» представила сразу четырех поэтов-женщин и что все они молоды и талантливы.

Есть ли основания отказывать Слуцкому в офицерской галантности?

Заметим сознательный прокол Слуцкого. «Пресволочнейшей штукавиной» Маяковский называл всю поэзию целиком. Выходит, Слуцкий уравнивает эти вещи: метафору — и поэзию.

Слуцкий возносит хвалу Евсеевой, а в кулуарах была молва: влюбленная Евсеева сутками напролет очарованно ходит вокруг дома... Давида Самойлова.

Так она и растворилась в ночном пространстве.

Вышло нерядовое издание — альманах «Тарусские страницы», Калуга, 1961. У Слуцкого там были сильные стихи, крупная подборка: «Надо думать, а не улыбаться...», «Творческий метод», «Чистота стиха...», «Изобретаю аппараты...», «Футбол», «За ношение орденов!», «Ресторан», «Рассказ солдата», «Белый снег — не белый, а светлый...», «На двадцатом этаже живу...», «На экране — безмолвные лики...», «Умирают мои старики...», «Старухи без стариков», «Широко известен в узких кругах...», «Преимущества старости», «Музшкола имени Бетховена в Харькове».

Не везде можно было напечатать такое:

Я не хочу затягивать рассказ
Про эту смесь протеза и протеста,
Про кислый дух бракованного теста,
Из коего повылепили нас.

(«Футбол»)

Правда, в том же году вышло совсем не нужное Слуцкому издание — сборник «Советская потаенная муза», Мюнхен, где были и его стихи. На вопросы по этому поводу он не отвечал никак.

У «Тарусских страниц» яркая история. Альманах возник по инициативе тогдашнего сотрудника Калужского издательства — поэта Николая Панченко, предложившего включить туда лучшие произведения, не принятые центральными журналами и издательствами, это напоминало будущий «МетрОполь». Официальным составителем значился писатель и драматург Николай Оттен, фактически же подготовил книгу Константин Паустовский при участии Панченко, Оттена, Владимира Кобликова и Аркадия Штейнберга. Ответственность за выход сборника взял на себя секретарь обкома по идеологии Алексей Сургаков, разрешивший не пропускать тексты через московскую цензуру. Состав сборника превосходил представимые возможности советского уровня. 42 стихотворения и проза Марины Цветаевой с предисловием Всеволода Иванова, 16 стихотворений Наума Коржавина (первая публикация после ссылки), Николай Заболоцкий, Борис Слуцкий, Давид Самойлов, Евгений Винокуров, сам Николай Панченко, а также Владимир Корнилов и Аркадий Штейнберг. Это только поэты. Проза тоже радовала: повесть Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр»,

повесть Бориса Балтера «Трое из одного города» (в более поздней версии — «До свиданья, мальчики»), Константин Паустовский «Золотая роза» (2-я часть с главами о Бунине, Олеше, Блоке, Луговском), Владимир Максимов «Мы обживаем землю», Надежда Мандельштам (под псевдонимом Н.Яковлева), Фрида Вигдорова, три рассказа Юрия Казакова. Иллюстрации — картины Борисова-Мусатова.

Произошел взрыв. Издание было признано ошибкой на уровне ЦК КПСС, главный редактор издательства был уволен, директор получил строгий выговор, Сургакову поставили на вид. Выпуск тиража был остановлен, уже выпущенные экземпляры изъяты из библиотек. Хотя в выходных данных указан тираж 75 000 экз., фактически напечатан лишь первый завод — 31 000 экз. А что — мало? Последующие выпуски альманаха (планировалось выпускать по одному в 2-3 года) не состоялись.

Лучшими вещами «Тарусских страниц» многие считали стихи Слуцкого.

Цензура не дремала. Со своими книгами у Слуцкого было посложней.

Весной 1961-го Слуцкий получает письмо из Алма-Аты от Олжаса Сулейменова. Это было ярчайшее, кометоподобное имя поэтических шестидесятых.

Но для начала — предыстория этой дружбы, в увязке с другими именами¹.

О. Сулейменов: <...> Помню, году в 59-м я подошел к классику советской поэзии Илье Сельвинскому, вручил ему тетрадку своих первых стихов. Он посмотрел. «У вас есть профессия?» — «Есть. Я геолог». — «Вот и занимайтесь геологией. Стихи у вас все равно не получатся». О! Вот после этого я начал писать!

Через три года, 17 декабря 1962 года, состоялась знаменитая встреча Хрущева с творческой интеллигенцией. Он собрал на Воробьевых горах триста человек и высказывал нам свои взгляды на искусство. Мы сидели за накрытыми столами, перед каждым стояла бутылка сухого вина. Напротив меня сидел Сельвинский. Он долго меня разглядывал. Наконец, говорит: «Молодой человек, у вас очень знакомое лицо». «Я подходил, — отвечаю, — к вам однажды в литературном институте, занял 25 рублей. Теперь хочу отдать». «Да-а-а, я многим помогал!» Он действительно мне тогда помог — но не деньгами, а своей оценкой моих стихов. Я выложил ему четвертак, он взял.

С. Янышев: Выходит, вы брали у него старыми деньгами (до деноминации 1961 года), а отдавали новыми!

О. Сулейменов: Мы всегда отдаем новыми, да (*смеется*). Так же точно, когда я написал «Аз и Я», мне всюду — и в Академии наук, и на Бюро ЦК — наперебой говорили: пишите стихи, не занимайтесь больше лингвистикой, не занимайтесь историей... Вот тогда я стихи перестал писать (1975 год. — *И. Ф.*). И начал заниматься историей. И лингвистикой.

С. Янышев: А какие еще значимые встречи были в вашей жизни?

О. Сулейменов: Была замечательная встреча с поэтом Борисом Слуцким. Когда у меня кончались студенческие деньги, я поднимался на четвертый этаж общежития, там жила моя подруга Суламита из Литвы. Девочки, они более экономные, у них всегда было что перекусить. Эта Суламита завела конторскую тетрадь, которую клала передо мной: «Напиши стихотворение, тогда покормлю». И покуда она жарила на кухне котлеты, я сочинял. И так, между прочим, набралась целая тетрадка стихов. Она взяла и отнесла эту тетрадку Слуцкому.

И однажды: «Борис Абрамович тебя приглашает». Мы зашли к нему домой, он покормил нас, полистал тетрадь и говорит: «Я хочу, чтобы вы подарили мне одну строчку». «Да всю тетрадь забирайте!» — отвечаю. «Нет, только строку. Я пишу сейчас о своем друге Назыме Хикмете — и никак не могу начать. Не знаю, от чего оттолкнуться. А ваша строчка “Ребята, судите по мне о казахах” сразу породила нужный ритм и все прочее». «Пожалуйста, — говорю, — берите». Я действительно с тех пор эту вещь нигде не публиковал и совсем о ней забыл. Слуцкий же написал очень хорошее стихотворение: «...судите народ по поэту. / Я о турках сужу по Назыму Хикмету. / По-моему, турки голубоглазы...» и так далее. Слуцкий отнес этот мой сборничек своему другу Леониду Мартынову. Тот сделал подборку для «Литературной газеты» и пожелал мне «доброе пути». С этой публикации началась целая традиция «доброе пути», а также — моя поэтическая карьера. Было это летом 1959 года.

¹ В 2007 году молодой поэт Санджар Янышев, узбек, пишущий по-русски, взял интервью у Сулейменова, сделав вступление: «Со знаменитым русским поэтом, послом республики Казахстан в ЮНЕСКО Олжасом Сулейменовым мы встретились в его парижской резиденции, недалеко от Елисейских полей».

Итак, письмо Сулейменова:

Здравствуйте, Борис Абрамович!

Простите, что мне не удалось к вам дозвониться перед отъездом («вам» я писал не с заглавной не ради оригинальности. Прошу прощения. Ночью 2 февраля я не посмел звонить, а утром было поздно.

Вам — запоздалое «спасибо» за доброе отношение, которым я был награжден так недавно.

Приехав в Алма-Ату, я пытался пустить в редакциях слух, что благополучно перешел на заочное¹, но меня встретили слишком вежливо, и я понял — «узук кулак» уже сработал («уз. кул» — длинное ухо — подстрочный перевод. «Беспроволочный телеграф» — смысловой, художеств<енный>).

До меня дошли слухи, что я бил Шав.² вначале бутылками, потом сбросил с лестницы, потом разбил ему нос и в конце добил тремя топорами. Здесь всему верят, кроме разбитого носа.

Месяц хожу по ред<акциям> насчет устройства, все кричат, что они страшно рады, но мест нет. Чему рады, так и не ясно.

Наше высшее заведение, оказывается, написало о причинах моего отбытия из Москвы вплоть до ЦК КП Казахстана. Я стал важной персоной. Достаточно обидеть одного подлеца, как о тебе начинают говорить даже в этих организациях. Аллаху, наверное, тоже отписали. Если так, то зря. Аллах заступится за грешника. <...>

В редакции журнала «Простор» я завязал дискуссию о вашем творчестве. Когда я намекнул им, что знаком с вами лично, зав. отделом прозы Михаил Роговой, человек, убеленный не одной сединой, страстно пожелал стать моим поклонником. Вас, Борис Абрамович, в Алма-Ате очень знают и спорят о Вас. Я даже удивился — мой любимый город обычно не читает стихов, а тут!..

После этого разговора меня начали представлять начинающим графоманам как московского поэта и под шумок заставляют бесплатно писать ответы на корреспонденцию журнала.

Дочке моей уже 2,4 года. Я ее учу говорить — «Папа — дурак». Получается.

Пишу вам и отдыхаю. Честное слово! Как урсын! («Пусть хлеб ударит» — подстрочный перевод.) Простите мою игривость. Проветриваюсь. Сейчас, после письма, начну одну работу. Если буду в Москве, покажу ее вам.

Настроение бодрое... Все — в сторону, буду писать серьезную вещь.

Если не допишу — считайте коммунистом. Но обязательно допишу.

Как вы сами? Здоровье? И вашей семьи?

Я очень жду ответа — «как лета». Честное слово, каждая весть из Москвы меня страшно радует, даже если новость не из самых приятных.

Напишите, если будет время.

Ваш Олжас

Привет горячий Леониду Николаевичу Мартынову <...>

С прошедшим праздником Вашу жену. Я не знал адреса и не мог дать телеграммы. И потом — имя-отчество.

Была и приписка к письму:

Борис Абрамович!

Только сейчас вспомнил. Не подумайте, ради аллаха, что письмо написано ради этой просьбы.

Не смогли бы вы прислать мне коротенькую рекомендацию в Союз Казахстана. Ваше слово может сыграть первую партию (Москва меня отвергла, и Москва не рекомендует).

И потом, просто хотелось бы мне самому.

Не огорчайтесь, если не сможете. Напишите ответ.

Очень жду.

Еще раз — *Ваш Олжас*

10 марта 1961

Алма-Ата

¹ На самом деле Сулейменова исключили из Литинститута за драку. Потом восстановили.

² Лицо неустановленное. Возможно, это поэт Юрий Шавырин — известный драчун.

В рамочке в углу листа:

Алмаатинская публика
просит Ваших стихов.
Я — ее рупор. Это
самая дерзкая моя просьба.
Прошу (в этом письме
получаются сплошные
«прошу»).

Я буду их читать
широкому кругу
друзей и знакомых.
Не литераторам.

Это было не единственное письмо от Сулейменова. В 1962-м, без точной даты, он информирует Слуцкого о своих делах и местном интеллектуальном климате:

Недавно вышла моя книжка «Солнечные ночи». Полтора месяца ее сигнальные экз. лежали в высоких инстанциях. Наши испуганные казахи решили, что она недостаточно интернационалистична и на многих обсуждениях в Союзе, издательстве и в ЦК показывали мне свои знания марксизма. И грамматики. Кстати. Инструктор ЦК Изотов, человек, переживший 5 первых секретарей (он руководит работой Союза писателей и издательства) написал против нескольких стихотворений свое личное мнение и мнение органа, который он представляет — «Поцифизм»!!! Красным карандашом. Когда я ему это заметил, он стал защищаться: «Вы что? Думаете, что я идиёт?»

Я сказал — пусть лошадь думает, а я говорю не думая. После чего дали читать секретарю ЦК Джандильдину. Тот накричал на меня и на Изотова, и на всех — у человека сев срывается, целина горит, а тут с какой-то брошюркой!.. Но все-таки прочел, побоялся — и дал команду «Вперед».

Но все-таки несколько вещей выбросили, несколько поправили, и сейчас я ее держу в руках. Тираж у ней три с половиной тысячи. Для меня главное — что вышла. А в Москву я ездил как делегат съезда комсомола. Попал в общежитие, встретил друзей и не попал ни на одно заседание съезда. Меня сейчас и за это греют.

Я сейчас член Союза.

Борис Абрамович, напишите свое мнение. Мне здесь совершенно не с кем посоветоваться, войдите в мое положение. Скучно очень. Сейчас отвожу душу на письмах. Сегодня pošлю книжки Вам, Мартынову и Эренбургу. Начну собирать автографы, как и подобает провинциалу.

До свиданья.

Жму руку, любящий Вас

Олжас

Автор писем прожил бурно и живет долго. Это фейерверк, можно ослепнуть.

Его стиховые книги, изданные в Алма-Ате, передавались из рук в руки, и еще громче стихов прозвучала книга «Аз и Я. Книга благонамеренного читателя»: его лингвистика, основа которой — поэтический подход к языку «Слова о полку Игореве», обнаружение тюрко-русского билингвизма на Руси, двуязычия автора «Слова» и тому подобное, в результате чего научная среда во главе с благородным академиком Лихачевым дала отповедь азийским фантазиям дерзновенного дилетанта.

Было многое. И диковинная отрасль науки «тюркославистика», им основанная, и утверждение приоритета тюрков в доисторической Месопотамии, и шумные наезды в Москву с появлением в гостиничном номере милицейского наряда, и автоавария под Алма-Атой, в которую они с Вознесенским попали совместно, и триумфальные выезды в Америку и Европу, и общественная деятельность, связанная с запрещением ядерных испытаний на родной земле в Семипалатинске и вообще во всем мире от Невады до тихоокеанских атоллов, и головокружительная карьера — депутатство во всяческих верховных советах, делегатство на всяческих съездах, секретарство в писательском Союзе, и ранг казахстанского посла в Риме (по совместительству в Греции и на Мальте), и наконец — Париж: представительство в ЮНЕСКО в качестве посла...

Но все это прокатило уже мимо Слуцкого.

Фронтное братство было чуть ли не наполовину сестринством.

Юлию Друнину, фронтную медсестру, прославило стихотворение в четыре строки:

Я столько раз видала рукопашный.
Раз наяву. И тысячу — во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

1943

Слуцкий отмечает и другие:

— Хуже всех на фронте пехоте!
— Нет! Страшнее сапёрам.
В обороне или в походе
Хуже всех им, без спора!

— Верно, правильно! Трудно и склизко
Подползать к осторожной траншее.
Но страшней быть девчонкой-связисткой.
Вот кому на войне
всех страшнее.

(«— Хуже всех на фронте пехоте!..»)

Были и другие фронтовые профессии. Слуцкий не терял дружбу с Еленой Ржевской и ее мужем Исааком Крамовым. Все началось до войны и уже не кончалось.

Елена Каган попала на фронт под Ржевом — отсюда и псевдоним — военным переводчиком в штаб 30-й армии. Во время штурма Берлина лейтенантом участвовала в поисках Гитлера, в проведении опознания и расследовании обстоятельств его самоубийства. Обо всем этом написала книгу «Весна в шинели» (издательство «Советский писатель», 1961). Слуцкий отозвался о книге в «Литературной газете» (№ 29), 8 марта 1962-го.

В начале книги героиня — военная переводчица допрашивает пленного — немецкого летчика.

«Я спросила, ранен ли немец.

— Хуже, пожалуй, избит. Он бомбил деревню, и зенитчики зажгли самолет, он выпрыгнул, приземлился на поле. А там бабы пашут. Решили, что немецкий десант, и давай его молотить лопатами».

Весна 1942.

Фашисты в Ржеве.

Ровно через три года, в Берлине, в ночь на третье мая разведчики отдыхают в первом попавшемся доме. Среднего достатка квартира. Хозяева — пожилые люди в стеганых халатах.

«Я спросила у хозяйки, чья это лавка внизу в их доме... и давно ли она заколочена. Хозяйка ответила, что эта москательная лавка принадлежала ее мужу.

— Мы нажили ее честным трудом. О, она не так-то легко досталась нам. Мы долго шли к этой цели. А теперь вот... — Она тихонько вздохнула. — Gesch?ft macht kein Spa? mecht (Торговля не доставляет больше никакого удовольствия). <...>

Четыре военных года, четыре весны в шинели понадобилось нам, чтобы не только бомбежка мирных деревень, но и мирная частная торговля перестали доставлять гитлеровцам какое бы то ни было удовольствие.

О том, как это случилось, я написала «Весну в шинели»».

У книги необычная структура. Две документальные повести — «Под Ржевом» и «В последние дни». Между ними — мостик: пять военных рассказов, коренящихся несомненно в тех же записных книжках. В конце книги — повесть о мирном времени. У книги, у ее военных

двух третей, необычный лирический герой — военная переводчица. Это значит, свой угол зрения, свой особенный запас сведений и соображений, своя судьба — личная и писательская.

«Задача нашей разведгруппы — захватить главарей фашизма, засевших в имперской канцелярии».

Вся вторая повесть — об этом.

«Врач Геббельса, вскоре обнаруженный разведчиками в рейхсканцелярии, рассказал Быстрову: он заранее получил распоряжение держать наготове яд. Его вызвали в ночь на первое мая. Он посоветовал Геббельсу отдать детей и жену под защиту Красного креста, а самому отравиться. Геббельс ответил: “При чем тут Красный крест, доктор, ведь это дети Геббельса”. Вместе с женой Геббельса, Магдой Геббельс — врач разжимал рот усыпленным морфием детям, клал ампулу с ядом на зубы и сдавливал челюсть до тех пор, пока не раздавался хруст стекла». Это страница из истории современности. Как хорошо, что свидетелем и участником событий столь значительных был не просто дельный и храбрый человек, но писатель с писательской дополнительной остротой зрения.

Где-то совсем рядом с последним листком семейной истории Геббельса — последний лист семейной истории бойца Куркова, погибшего при штурме имперской канцелярии.

«Жена, — рассказывал, — когда первую дочку носила, на улицу выходить стеснялась, очень молода была. А когда пришел час ей родить, за мою шею ухватилась — хрустит шея. Ну, думаю, выдержи, тебе хуже теперь приходится».

Ржевская приводит отрывки из сохраненных ею писем жены Куркова.

«Коля, Люда у нас очень болела, а теперь опять бойкая... Коля, мы время проводим быстро. Сначала дрова рубили, потом в огороде копали». Видимо, не только муж о жене, но и жена о муже думала: «Выдержу, тебе хуже теперь приходится».

Замечу, что во второй документальной повести — сенсационные вещи: история того, как были найдены трупы Гитлера и Евы Браун, история того, как опознали Гитлера. Однако история рядового бойца Куркова и его жены и немецкого рабочего Губера, упрямо доказывающего: немецкий рабочий такой же пролетарий, выглядит и значительней, и интересней.

Девятнадцатый век А.Блок называл железным. А двадцатый век? Какие слова нужно знать, чтобы рассказать о нашем времени? Думаю, что Е.Ржевская такие слова знает.

Продолжалось противостояние нового со старым на сталинской подпочве. Блистали перья. В №2 журнала «Звезда» за 1962 год помещен шедевр В.Назаренко «В глубинах подсознания. Фельетон».

...Поэт страдал. Миллионы читателей ждут не дождутся его новых стихов. Измаялись в ожидании. А он — что? Стол есть. Бумага есть. Перо есть. Обед есть. А мысли — нет. Поэт страдал.

В голову лезла все какая-то ерунда. Ерунда... И вдруг...

— Эврика! — вскрикнул он. — Ерунда — это же тоже вещь!

И, сияя, произнес мгновенно родившийся благотельный афоризм: «Похожее в прозе на ерунду, в поэзии иногда Напомнит облачную череду, Плывущую на города...»

— Ерунды жажду! И побольше! — вдохновенно воззвал он.

Что-то лязгнуло, хлопнуло. Съехав по каким-то трухлявым ступенькам, он погрузился в подсознание.

Встал. Огляделся. Подсознание как подсознание. Известное дело — под сознанием. Подвальное помещение. Темно. Пахнет мышами. Где-то из трубы капает. Всякая ерунда валяется: старая галоша; обрывок провода; декадентские вирши; ветхий циферблат от стенных часов; прохудившиеся рифмы; ржавая шпора; ложное глубокомыслие. И тому подобное.

Посредине — некий агрегат: змеевики; выжиматели ассоциаций; клапаны принудительной версификации. Не то самогонный аппарат, не то стиральная машина. В общем — механика подсознания. <...>

Задорно напевая: «Кроме тика, кроме тика...», он продолжал доить подсознание. Из обрывка провода выдоилась оригинальная мысль: «Поэт — не телефонный, а телеграфный провод...» Вообще работа спорилась. Скрипела механика подсознания. Капало из трубы. Пахло мышами.

Набив карманы стихами и выкарабкавшись, наконец, к свету сознания, он вдруг приуныл. «А ну как скажут: ерунда — всегда ерунда, что в прозе, что в стихах. Авось не скажут... Как-никак, в этом самом журнале, куда я это понесу, только что напечатана как раз такая статья, которая теоретически обосновывает как раз такое творчество». И, лихо напевая: «Нет, недаром в нашей речи прочно офицерское словечко “точно”!», он умчался в сторону Тверского бульвара.

Шел сентябрь 1962 года. Готовился XXII съезд КПСС. Все крутилось вокруг Сталина. Партии надо было окончательно решить вопрос с недавним вождем. На этом фоне писалось чуть не все литераторами противоположных взглядов, даже если речь шла о поэзии, как в книге Ильи Сельвинского «О времени, о судьбах, о любви». Слуцкий отозвался рецензией на нее. Сельвинский написал ему.

Дорогой Борис!

Поздравляю Вас с праздником¹. Желаю счастья! Вы его вполне заслужили.

Прочитав Вашу рецензию о моей книжечке, тут же захотел Вам написать, но мне сообщили, что Вы на следующий день уезжаете в Болгарию. Рецензия мне понравилась. Помните у Гамсуна редактора Люнне? Он писал всего 7 строк, но они опьяняли всю Норвегию. Ваша рецензия в этом духе. Большое спасибо Вам за нее.

Тата (Татьяна Ильинична Сельвинская, дочь поэта. — *И. Ф.*) передала мне, что Вы звонили и что у Вас очень радужное настроение. Вы сказали, что наступает что-то новое и свежее, но об этом нельзя по телефону. Моя практика пока этого не чувствует. «ЛГ» попросила у меня чего-нибудь на праздник. Я дал совершенно невинный диалог в прозе между Лениным и Горьким (из драм[атической] поэмы «Москва молодцов видала»). Отрывок понравился, но ИМЭЛ² тут же запретил его без объяснения причин. «Известия» просят тоже чего-нибудь на праздник. Послал им диалог Сталина со статуей Ленина из драм[атической] поэмы «Трагедия мира». Спрашивать ИМЭЛ «Известия» не станут, но и печатать не будут. Но я иду на это: этот диалог пойдет по рукам, и то, что его не разрешили, создает вокруг него ореол. Дай боже, чтобы я ошибся, а правы были Вы. Но ходят ужасные слухи, будто кто-то в ЦК поднял вопрос о... реставрации авторитета Сталина. Пока сорвалось, но у нас ведь все может быть. Никто не считается с эмоциями народа. А надо бы. Тут речь идет об авторитете партии с е г о д н я. Это важнее авторитета Сталина вообще.

Жму Вашу руку, дорогой. Привет Вашей красавице-жене.

Ваш Илья Сельвинский.

Сельвинский вряд ли забыл свои тридцатые годы: 21 апреля 1937 года — резолюция Политбюро против его пьесы «Умка — Белый Медведь», а 4 августа 1939 года — резолюция Оргбюро ЦК о журнале «Октябрь» и стихах Сельвинского («антихудожественные и вредные»). Параллельно ему тогда предложили возглавить Союз писателей — он уклонился.

В сороковых — своя история. Его вызвали в Москву с фронта, где он видел место расстрелов керченских евреев и написал стихотворение «Я это видел», широко распечатанное по многим изданиям. Сначала вышли два постановления Секретариата ЦК, от 2 декабря и от 3 декабря 1942 года, в которых партийно-государственный гнев поделили два писателя — Сельвинский и Михаил Зощенко. Общее обвинение — дискредитация подвига советского солдата. Но затем поэта отметили персонально отдельным постановлением Секретариата ЦК от 10 февраля 1944 года «О стихотворении И. Сельвинского “Кого баюкала Россия”».

Сама — как русская природа
 Душа народа моего:
 Она пригреет и уroda,
 Как птицу, выходит его.

(«Кого баюкала Россия...», 1943)

В «урode» усмотрели Сталина, каковой и сам участвовал в работе Секретариата, на котором разбирали дело Сельвинского. Походя вождь обронил как бы в сторону: — Сельвинского очень любили Троцкий и Бухарин.

В постановлении было сказано: «Сельвинский клеветает в этом стихотворении на русский народ». Его, подполковника, уволили из армии. Сидя в Москве, он рвался на

¹ Видимо, с годовщиной Октябрьской революции.

² Институт Маркса — Энгельса — Ленина.

фронт. Писал про Сталина — много и пылко. Наконец в апреле 1945-го он был восстановлен в звании и отправлен военным журналистом на Курляндский плацдарм.

Кладовая памяти Сельвинского была полным-полна, но в середине века заперта на ключ.

Еще в 1959 году Марлен Хуциев задумал ленту «Застава Ильича» как верность истинному Ленину в пику несдающемуся сталинизму, и осуществить великое это дело должны молодые. Любовь юноши к девушке, строительство новых домов, писание новых стихов, огромное лицо бронзового Маяковского во весь экран — все подтверждало этот замысел. Фильм делался долго, трудно и вдохновенно. Поэтов пригласили сниматься в ноябре 1962-го на сцене Политехнического музея. Массовку набрали по объявлению, работали неделю.

Слуцкому было не совсем уютно на тех съемках. Для него этот вид деятельности был, мягко говоря, непривычным. Слепящий свет прожекторов, духота, жесткая воля режиссера. Общий сюжет поэтического эпизода был прост. Михаил Светлов представлял поколение революции, о войне напоминали три фронтовика — Слуцкий, Булат Окуджава, Григорий Поженян, остальные — бурное, свежее сегодня. Слуцкий понимал, что они со Светловым и Пожениным исполняли вторые роли — на авансцене блистали Евтушенко, Ахмадулина, Вознесенский, Рождественский. Окуджава со своей песней о комиссарах в пыльных шлемах оказался ближе к молодым за счет молодости своего жанра и собственной стройной молоджавости. За кулисами была своя иерархия. В фильм вошло далеко не все. Не слишком звездную Римму Казакову показали на экране, а крутого почвенника Сергея Поликарпова вычеркнули, сокрушительно ударив по его дальнейшей судьбе. Слуцкий у микрофона отчетливо прочитал Кульчицкого и Когана, тем самым затушевав себя самого, — логично для фильма, в итоге получившего название «Мне двадцать лет». Слуцкого юные зрители Большой аудитории приняли с почтением, но горячие симпатии достались младшим поэтам, уже кумирам. Слуцкий говорил о том, что было «ровно двадцать лет назад», половины его слушателей тогда не было на свете. Так выглядела проблема отцов и детей — их единство, чреватое конфликтом.

Фильм познал все рогатки цензуры. В том числе — шипы от коллег, не обязательно бездарных. 6 мая 1963 года на студии имени Горького на очередном скуловоротном обсуждении ленты Татьяна Лиознова высказалась отрицательно, но довольно точно относительно внутреннего смысла картины, обращаясь к Хуциеву:

— Ты неправильно решил, неправильно сделал акценты, неправильно расставил свою армию и не туда выстрелил. Я тебе не верю. И скажу, почему. Правильно сказал Стасик (Ростоцкий): ты не любишь силой.

Лиознова в точку попала. Не лучший актер этого фильма, Слуцкий отказывался от любования силой, от права сильных.

Художник Борис Жутовский прошел огонь, воду и медные трубы посещения Никитой Сергеевичем Хрущёвым выставки в Манеже, приуроченной к 30-летию МОСХа¹. Это было 1 декабря 1962 года. Это было началом конца оттепели.

Прошло много времени. Жутовский много нарисовал, ярко прожил и много помнит. 13 мая 2017 года его пригласил в студию на программу «Культ личности» ведущий Леонид Велехов.

Леонид Велехов: У меня еще один предельно общий вопрос. Как в вас такой авангардист и реалист-портретист сожительствоют?

Борис Жутовский: Это все равно реакция на окружающий тебя мир. Как, например, застывшую лаву перенести на холст? Не скопировать, а перенести! Как заставить массу, которую

¹ МОСХ — Московское отделение Союза художников РСФСР.

ты положил на холст, покрыться кракелюрами, как ей полагается от природы? Как это сохранить? Вот задача! Как нарисовать то, что ты видишь — от деревьев до лица?

Это желание запечатлеть то, что я вижу, в качестве, в котором мне хочется. Вот и все!

Леонид Велехов: Слушая вас, я вспомнил то, что сказал Борис Абрамович Слуцкий, поглядев на ваши абстрактные картины. Он сказал: «Это не абстракция. Это написано на другом языке».

Борис Жутовский: Да. Мы с ним познакомились в Подмоскowie, в Малеевке. Я там ходил, рисовал что-то. В Малеевке все в отпуске, все общаются. И мы тоже с Борисом Абрамовичем общались. Я был молодой, очень наглый человек. Я говорю: «Борис Абрамович, садитесь». И нарисовал его портрет. Он посмотрел и говорит: «Хорошо, что я здесь на Африку похож. А сделай мне, пожалуйста, портрет для собрания сочинений». (Смех в студии.) Я ему сделал в профиль небольшой такой портрет. А после этого знакомства в Малеевке, через некоторое время он пришел ко мне в мастерскую. Надо сказать, что он был человеком очень любопытным, любознательным, не чурался и не стеснялся знакомиться и приходить. Я был значительно моложе его. Я из другого поколения. Он ходил, смотрел. Я понимал, что все, что он видит, он должен сформулировать и произнести. Вот ему от этого было комфортно.

Леонид Велехов: Его и поэзия такая — в очень точных формулах.

Борис Жутовский: Конечно. Он ходил, смотрел, смотрел серию, она в другой мастерской висит у меня. Серия называется «Страсти по человеку». Говорит: «Да, это, конечно, настоящий реализм, но на другом языке». Вот такой вот был приговор. <...>

Леонид Велехов: Это счастье художника, что он свою жизнь может запечатлеть и навсегда оставить. И свою собственную жизнь и свое время... Как вам Слуцкий сказал?

Борис Жутовский: Он сказал: «Боря, вы же умеете рисовать. Давайте, рисуйте время!»

У Александра Городницкого есть стихотворение «Портреты на стене».

Художник Жутовский рисует портреты друзей.
Друзья умирают. Охваченный чувством сиротства,
В его мастерской, приходящий сюда, как в музей,
Гляжу я на них, и никак мне не выявить сходства.
.....
Художник Жутовский, налей нам обоим вина.
Смахнём со стола на закуску негодные краски
И выпьем с тобой за улыбку, поскольку она
Зеркальный двойник театральной трагической маски.

Есть и более подробные вещи, о которых говорит Городницкий:

У моего друга, художника Бориса Жутовского, есть серия портретов, которую писатель Фазил Искандер, также в нее попавший, назвал «Последние люди империи». <...>

Борис Слуцкий вошел в мою жизнь в 1959 году, хотя стихи его, конечно, мы знали раньше. Их тогда практически не печатали, и распространялись они на слух или в списках. <...> Впечатление было таким сильным, что до сих пор я читаю стихи Слуцкого с листа вслух. <...>

Преклонению моему не было предела. Помню, в ноябре 1961 года, во время встречи в Москве с Иосифом Бродским в доме общего нашего приятеля — поэта и прозаика Сергея Артамонова, меня страшно шокировало, что молодой Иосиф фамильярно называет этого выдающегося поэта Борух. «Как ты можешь, — возмущился я, — говорить о Борисе Абрамовиче в таком тоне?» — «А как же его прикажешь величать? — искренне удивился Бродский, особой скромностью в те годы не отличавшийся. — Все эти Борухи и Дезики — только для тебя поэты. Их можно поставить в одну шеренгу и рассчитывать на “первый-второй”. Все это останется бесконечно далеким от истинной поэзии, которую представляю только я». <...>

Так или иначе, но известие о том, что Борис Слуцкий приезжает в Ленинград читать стихи в Технологическом институте и университете, мигом облетело весь город...<...> Внешний облик Слуцкого, увиденного на сцене в Технологическом институте, где он выступал вместе с Евгением Евтушенко, произвел на меня серьезное впечатление, так как полностью совпал с ожидаемым представлением об авторе услышанных стихов. Полувоенный френч, строгий и независимый вид — никаких улыбочек и заигрываний с аудиторией. Седые, аккуратно подстриженные усы. Подчеркнутая офицерская выправка, усугубляемая прямой осанкой и твердой походкой. Лапидарные рубленые фразы с жесткими оценками, безжалостными даже к самому себе. Помню, кто-то попросил его прочесть уже известное нам тогда стихотворение «Ключ» («У меня была комната с отдельным входом...»). Он отказался. «Почему?» — спросили

его, и он строго ответил: «Потому что это — пошляцкое стихотворение». «Господи, — подумал я, — если он к себе так безжалостен, то что же он скажет о наших стихах?» <...>

На этом грозном фоне выступавшего перед Слуцким молодого Евгения Евтушенко, читавшего, кстати сказать, очень неплохие стихи: «О, свадьбы в дни военные, обманчивый уют, слова неоткровенные о том, что не убьют...», мы почти и не заметили.

Не помню уж, кому и как (возможно, тому же Рейну) удалось уговорить его встретиться с нами — молодыми ленинградскими поэтами. Встреча состоялась у Леонида Агеева, жившего со своей тогдашней женой Любой и только что родившейся дочерью в конце Садовой, на Покровке, именуемой площадью Тургенева, в коммунальной квартире на первом этаже огромного, с несколькими дворами, по-ленинградски закопченного старого доходного дома. В тесную комнатушку Агеева набилось человек двадцать поэтов, их жен и подруг. Было закуплено сухое вино, к которому, однако, прикасаться не разрешалось до прибытия высокого гостя. Наше ЛИТО было, кажется, в полном составе: кроме меня и хозяина дома, присутствовали Елена Кумпан, Нина Королева, Олег Тарутин, Володя Британишский, Шура Штейнберг, Саша Кушнер, Глеб Горбовский, Яков Виньковецкий, Андрей Битов, Евгений Рейн и еще несколько поэтов и болельщиков. Все изрядно волновались, хотя вида старались не показывать, поэтому разговор не клеился.

Наконец прибыл Слуцкий, не один, а со своим старым, как он сказал, другом — полковником Петром Гореликом. Этот курчавый черноволосый полковник, снявший штатское пальто и оказавшийся в щегольской офицерской диагоналевой гимнастерке, перехваченной в талии скрипучим ремнем и увешанной орденами и медалями, был для нас, вчерашних блокадных мальчишек, как бы наглядным воплощением того недоступного нам всем фронтового героизма, поэтическим олицетворением которого являлся Борис Слуцкий. Это усилило всеобщее смущение. Борис Абрамович строго посмотрел на нас, прищурился и неожиданно произнес: «Вот вы, ленинградцы, все время без конца твердите, что любите и хорошо знаете свой родной город. Кто из вас сейчас перечислит мне двадцать общественных уборных?» Мы были шокированы этой «чисто московской» шуткой, однако напряжение начало спадать. Пошли в ход сухое вино и самодельный винегрет хозяйки Любы. Разговор, однако, приобрел характер вопросов и ответов, причем спрашивали не мы гостя, а он нас. Строго и пунктуально он требовал немедленной информации о нас самих, о наших специальностях, зарплате, кто где печатается или не печатается и почему. Кажется, не было ни одной мелочи, к которой он не проявил бы живейшего интереса. О том, чтобы задать какой-нибудь вопрос ему, не было даже речи.

Дошло дело до стихов. Слуцкий вел себя властно и на первый взгляд бесцеремонно. Он мог оборвать читающего, сбить его каким-то совершенно неожиданным вопросом или категорическим мнением. При всем этом стихи он слушал с огромным вниманием, как будто сразу безошибочно определял их качество. Больше других ему понравились стихи Лёни Агеева, и он тут же об этом заявил: «Вот настоящий поэт. У него ничего не придумано, а все прямо из жизни, а не из книжек. И стихи жесткие и суровые, в них виден будущий мастер. Вот кто будет большим поэтом!» Как ни странно, стихи Глеба Горбовского, который тогда ходил у нас в главных гениях, произвели на него меньшее впечатление. Александру Кушнеру он сказал: «Скучные стихи. Правда, стихи, но унылые. И фамилия — Кушнер. Еврейская фамилия. С такой фамилией печатать не будут». — «Но у вас же тоже еврейская», — возразил кто-то робко. «Во-первых, не еврейская, а польская. А во-вторых, меня уже знают», — отрезал он. <...>

«Если, начиная писать стихи, — сказал он нам, — ты заранее знаешь, чем кончить стихотворение, брось и не пиши: это наверняка будут плохие стихи. Стихотворение должно жить само, нельзя предвидеть, где и почему оно кончится. Это может быть неожиданно для автора. Оно может вдруг повернуть совсем не туда, куда ты хочешь. Вот тогда это стихи». <...>

Рассказывал он и о мало еще известных в то время своих однокашниках — ифлийцах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. <...>

Рассказывал Борис Слуцкий и о неукротимом характере Кульчицкого. Говорил, что, когда Кульчицкого друзья-поэты (им тогда было по девятнадцать-двадцать, а многим так и осталось) обвиняли, что он порой брал у них понравившиеся ему строчки и беззастенчиво использовал в своих стихах, тот отвечал: «Подумаешь! Шекспир тоже обкрадывал своих малоодаренных современников».

Удивляться не приходится. Глазков, например, рассуждал так:

...Кульчицкий познакомил меня с поэтом Кауфманом (то есть с будущим Давидом Самойловым) и отважным деятелем Слуцким. Я познакомил Слуцкого с учением небывализма, к чему Слуцкий отнесся весьма скептически... Был еще Павел Коган. Он был такой же умный, как Слуцкий, но его стихи были архаичны.

Весь Литинститут по своему классовому характеру разделялся на явления, личности, фигуры, деятелей, мастодонтов и эпигонов. Явление было только одно — Глазков.

Наровчатов, Кульчицкий, Кауфман, Слуцкий и Коган составляли контингент личностей...

В сущности, речь о «малоодаренных современниках».

Однажды Глазков вызвал на тайную сходку — и не куда-нибудь, а к памятнику Гоголю — Кульчицкого и Слуцкого. Встретились в назначенное время. Инициатор встречи объявил: «Я провозглашаю новое течение — “небывализм”. (Присутствовавшие расширили глаза.) Его три кита — алогизм, иррационализм (ну, это было в русле поведения оратора!) и... народность. (Глаза еще больше расширились.) Но — какая? — выдержав паузу, риторически спросил и победно заключил Глазков, — негритянская!» Неожиданная концовка очень радовала Слуцкого.

Городничий передает слова художника Бориса Биргера о Слуцком: «у него были дырки вместо глаз» (другие мемуаристы говорят не о «дырках», а о «гвоздиках»). Видимо, Слуцкий видел работы Биргера несколько слабее, чем, скажем, Алексея Зверева или Олега Целкова. Он не был арт-критиком. Не ставил себе задач истолкования живописи как таковой. У него — другое.

Малявинские бабы уплотняют
Борисова-Мусатова
усадыбы.
Им дела нет, что их создатель
Сбежал от уплотнений за границу.
Вот в чём самодвижение искусства!

(«Самодвижение искусства»)

Из вступления Слуцкого к альбому «Маяковский — художник» (1963):

Рисовали многие русские поэты. Некоторые рисовали прекрасно. Наброски Пушкина далеко обогнали свое время и кажутся сделанными сегодня. Недаром Н.В.Кузьмин иллюстрировал пушкинский роман в манере рисунков Пушкина.

И тем не менее, перо Пушкина рисовало, как он сам говорил, «забывшись». Для Пушкина рисование было отдыхом, развлечением, бивуаком между поэтическими битвами. И оружие Пушкин-художник применял подручное, то самое, которое стояло на столе Пушкина-поэта, — перо, редко — карандаш. Пушкин-художник был любителем, правда, удивительно талантливым. А Маяковский был художником-профессионалом, действовавшим во всеоружии. <...>

Этот его талант обнаружился раньше всех прочих. <...>

Учились с ним вместе (в Училище живописи, ваяния и зодчества. — *И. Ф.*) К.Лихачёв, В.Чекрыгин, Л.Шехтель. Часто виделись с ним — Удальцов, Лентулов. Во множестве записанных, опубликованных и неопубликованных воспоминаний все то же — упорнейшая учеба, постижение всего хорошего, что было создано раньше, упорнейшее нежелание подражать, следовать, решимость найти свою дорогу... Был Маяковский в те годы очень беден, «ботинки у него были в таком состоянии, что даже пальцы были видны» (К.Лихачёв).

«Года труда и дни недоеданий» — эта перед смертью написанная строка — обо всей жизни и особенно о годах ученья.

Но бедность не раздавила Маяковского. С нею ужилась непобедимая страсть к всезнанию, к мастерству. Маяковский учился. Несмотря на аресты и нищету. Учился — и выучился.<...>

Он стал мастером и был мастером, проложившим свои особые пути не только в поэзии, но и в искусстве.

Вовне это сказалось хотя бы в том, что по крайней мере десять лет (1911–1921) он занимался живописью почти ежедневно, часто с утра до вечера.

В том, что он считал себя художником, называл себя художником и неоднократно выставлялся рядом с крупнейшими русскими художниками того времени — Машковым, Кончаловским, Ларионовым.

В том, что на протяжении многих лет главным или важным способом заработка для

Маяковского была его вторая профессия. В пору мировой войны — лубки. В пору гражданской — «Окна РОСТА».

В том, что он активно участвовал в жизни художников, много и влиятельно писал о живописи, избирался художниками в руководство их профессиональных организаций.

В том, что Маяковского многие крупные художники того времени — от Репина до американца Геллерта, от Дейнеки и Адливанкина до Лентулова — считали мастером.

В том, что Маяковский в своей живописной профессии (так же, как и в литературной) умел делать все — от карамельной заправки до «нормального» станкового пейзажа, от экспериментального кубического автопортрета до комплекса эскизов декораций к «Мистерии», где экспериментальность не была исключена массовостью зрителя, где Маяковский мог бы сказать вместе с Пикассо: «Я не ишу. Я нахожу».

Все эти черты мастерства в Маяковском-живописце важны и необходимы.

Однако создание нового, неповторимого тесно связано с «Окнами РОСТА».

Маяковский — экспонент выставок «Союза молодежи» был в ряду талантливых молодых художников своего времени.

Маяковский «Окон РОСТА» — самостоятельный мастер, более того, создатель новой живописной манеры, в годы гражданской войны наиболее влиятельной, наиболее народной в России. <...>

Художник Нюрнберг рассказывает, что, однажды проработав всю ночь и сделав 25 листов плакатов, он на два часа опоздал со сроком сдачи. «Я знал, что Маяковский мне этого не простит.

— Маленько опоздал... — сказал я подчеркнуто мягко, кладя на его стол плакаты. — Нехорошо... Сознаю...

Маяковский мрачно молчал.

— Я плохо себя чувствую, — безуспешно пытался я смягчить его гнев, — я, очевидно, болен...

Наконец Маяковский заговорил:

— Вам, Нюрнберг, разумеется, разрешается болеть... Вы могли даже умереть — это ваше личное дело... Но плакаты должны были быть здесь к десяти часам утра». <...>

В альбоме представлены некоторые из военных лубков Маяковского. Их было немного. Дело в том, что Владимир Владимирович не разделял шапкозакидательской идеологии лубков. Он делал их с изрядной долей иронии. В то же время лубки — часть работы человека, каждое движение которого было талантливым. Мы сочли необходимым дать представление и об этом роде его искусства. <...>

Среди любимых художников Маяковского — Гольбейн, Серов. «Маяковский Серова очень полюбил» (Келин). В Петербурге Маяковский часто бывал в Эрмитаже, любил старых немцев, голландцев, итальянцев. Любимейшие из французских художников — Сезанн и Ван Гог. Об этом сказано в стихах: «Один сезон наш бог Ван Гог. Другой сезон — Сезанн». В стихах же высоко поставлено имя Врубеля. Наиболее ценимые современники — Машков, Давид Бурлюк, Гончарова, Филонов. Вспомним о том, что Филонов — художник, «без сна писавший три ночи» (Асеев) декорации к первой трагедии Маяковского. Маяковский хорошо знал современных ему французских художников и написал интереснейшие очерки «Смотр французского искусства 1922». Особенно высоко ценил Маяковский Пикассо, Леже, Гросса. Из русских плакатистов ближе всего были ему Иван Малютин, Черемных и Родченко.

Натурализм, в том числе «красный», Маяковский ненавидел. Ненавидел и презирал он и эстетизм, в том числе «красный». Защищал эксперимент, новаторство, поиски новых средств выражения.

Но прежде всего Маяковский не искал, а находил. «И мы реалисты, — говорил он с гордостью и добавлял, — но не на подножном корму, не с мордой, уткнувшейся вниз». Это сказано о поэзии, но относится и к живописи Маяковского.

Оформила альбом Маяковского Варвара Родченко — дочь Александра Родченко и Варвары Степановой («амазонки русского авангарда»¹), родившаяся в 1925 году. Художник-график, она вместе с матерью работала в издательстве «Искусство», оформляла альбомы Сергея Эйзенштейна и Эсфири Шуб. Поработала практически во всех советских издательствах, оформила более 200 книг, в том числе первую посмертную книгу Слуцкого «Стихи разных лет: Из неизданного» (1988). С ее отцом Слуцкий мог

¹ Одна из нескольких амазонок, к каковым относятся Наталья Гончарова, Ольга Розанова, Александра Экстер, Любовь Попова, Надежда Удальцова и их менее известные современницы. Кроме того, Степанова и ее муж — *конструктивисты*.

встречаться в доме Лили Юрьевны Брик, бывшей фотомodelью Родченко с давних времен: ее лицо украшает обложку книги Маяковского «Про это» (1923), и сама по себе она сидит за рулем «Рено» Маяковского, и в доме, и на улице — везде, где Маяковский, и без него; одна из первых ню в фотоискусстве, и автор снимка — Родченко (или О.Брик). С ним Маяковский сотрудничал долго и плодотворно. Плакаты, фото — их не счесть. Так что в какой-то мере Слуцкий ощутил-таки живое дыхание Маяковского. Графикой Родченко проиллюстрированы книги Слуцкого «Продленный полдень», «Сроки», «Стихи разных лет».

А в том 1963-м ушел человек Маяковского, один из учителей Слуцкого.

Асеев уходит чёрным дымом,
а был весёлым, светлым дымком,
и только после стал нелюдимым,
серым от седины
стариком.

Асеев уходит чёрной копотью.
Теперь он просто дым без огня.
И словно слышится: «Дальше топайте.
Только, пожалуйста, без меня».

(«На смерть Асеева»)

Десятого мая 1963 года «Литературная Россия» дает информацию:

7 мая в Москве начало свою работу IV Всесоюзное совещание молодых писателей.

Открыл его вступительной речью первый секретарь правления Союза писателей СССР К.ФЕДИН.

От имени комсомольцев и всей молодежи страны участников совещания приветствовал первый секретарь ЦК ВЛКСМ С.ПАВЛОВ.

Затем с интересными речами выступили Н.РЫЛЕНКОВ (о молодой поэзии), В.ДРУЗИН (о молодой прозе), А.СОФРОНОВ (о молодой драматургии) и А.СУРКОВ (о проблемах традиций и новаторства в советской литературе).

На вечернем заседании выступили: Ю.ГАГАРИН, старейший украинский поэт П.ТЫЧИНА, молодые литераторы И.ВОЛГИН, В.КУЗНЕЦОВ, П.ХАЛОВ, Г.СЕЛАГАЗАКИС, У.УМАРБЕКОВ, секретарь ЦК ВЛКСМ Украины Ю.ЕЛЧЕНКО, председатель подмосковного колхоза Б. ЖЕЛЕЗНОВ, помощник начальника Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота по комсомольской работе А.ЛИЗИЧЕВ.

8 и 9 мая проходили занятия семинаров.

Сегодня IV Всесоюзное совещание молодых писателей продолжает свою работу.

Этому событию предшествовала большая подготовка.

В журнале «Молодая гвардия» (1962, № 12) под шапкой «Участникам четвертого всесоюзного» были опубликованы напутствия мэтров: Ш.Рашидова, Л.Никулина, Б.Слуцкого, Ю.Бондарева, М.Бубеннова, Г.Бакланова, Л.Обуховой, И.Абашидзе.

Слово Слуцкого называлось «Поэты-театры и поэты-книжки».

Четвертое Всесоюзное совещание молодых собирается на три года позднее, чем следовало бы. Очередное поколение советских писателей встало на ноги, сформировалось, завоевало народное признание задолго до 1962 года.

Обсуждать придется не начинающих, а начавших талантливо, зубасто, смело. Поэтому я ограничусь несколькими мыслями о том, как, может, мне хотелось бы, чтобы прошло Пятое Всесоюзное. Иными словами, хочется попорочествовать о том и о тех, кто идет на смену Ахмадулиной, Вознесенскому, Евушенко, Рождественскому, Цыбину. (Читатель, конечно, отметит, что я строго блюду алфавитный порядок.)

Смена, конечно, не означает ни отмены, ни замены. Сейчас в молодом поколении преобладает тип поэта-театра. Евушенко и его сверстники обращаются главным образом не к читателю, а к слушателю. Поэтому они громогласны — надо быть услышанным не только во втором, но и в сорок втором ряду зала эстрадного театра. Поэтому они многословны. Надо же

растолковать свою поэзию не только лоящим на лету стихолюбам, но и людям, к стихам не привыкшим. Поэтому они откровенно публицистичны. Ведь именно у них, в театрах Евтушенко, Рождественского, Вознесенского, состоялись премьеры многих идей и тем, важных и нужных нашему народу. Я за то, чтобы росли и крепились поэты-театры, где пьеса (то есть стихотворение) значит не более актерской игры (то есть исполнения) и режиссуры.

Но мне хочется, чтобы к Пятому Всесоюзному совещанию молодых укоренился тип поэта-книжки, поэта, обращающегося не к массовому слушателю, а к единоличному читателю. Хочу, чтобы появились книги молодых, рассчитанные на внимательное чтение, перечитывание, вчитывание, вдумывание. На чтение наедине, вдвоем, в семье, в дружеском кружке. В таких книгах многословность, громогласность, прямая публицистика, фельетонность и т.д. будут невозможны.

Поэты-книжки на подходе. Их начинают читать. Назову нескольких. Светлана Евсеева. Ее книга «Женщина под яблоней» только что вышла в «Молодой гвардии». Я думаю, что это лучшая книга молодого поэта за последние годы. Говорю «поэта», потому что согласен с Анной Ахматовой и делю нашу профессию на поэтов и поэтесс не по половому, а по деловому признаку.

Олжас Сулейменов. Казах, пишущий по-русски, живущий в Алма-Ате. Там за последние годы вышло три книги его стихов. Последняя по времени и лучшая — «Солнечные ночи». Мне кажется, что в нашей поэзии ни разу так подлинно не говорила русская Азия.

Леонид Агеев. Геолог, проработавший несколько лет на Северном Урале и в Удмуртии. Главный инженер геологической экспедиции. В издательстве «Советский писатель» недавно вышла книга его стихов «Земля», удивительная по неброскому, некрасивому, достоверному реализму.

Могу назвать еще два десятка имен поэтов этого направления, так сказать, будущих молодых. Урожай сейчас на поэтов неслыханный, не идущий количественно ни в какое сравнение ни с предвоенным, ни с послевоенным поколением. И это очень хорошо.

Сразу следом за Слуцким молодых наставляет Александр Прокофьев («Заблещут новые имена...»):

Я надеюсь, что Всесоюзное совещание молодых писателей даст ощутимые результаты. Оно, мне кажется, сможет преодолеть косность, бытующую в нашей среде, когда некоторые товарищи за деревьями не видят леса! В данном случае я говорю о пресловутой обойме, сложившейся среди молодых поэтов москвичей. Я не называю имен, но людям, думающим о литературе, о ее судьбах, эта «обойма» ясно видна.

Каково? Мэтры бодаются.

Затем идут стихи молодых. Среди оных есть и имя двадцатичетырехлетнего Олега Чухонцева. Журнал не совсем понимает — или делает вид непонимания, — что читателю подсовывают крамолу:

У вас указ — не иначе.
Указ везёт гонец.
А мы, на печке сидючи,
Прибудем во дворец.

А в царстве замечается —
Дела идут не так.
А в царстве заручаются —
Сиди себе, дурак.

Просвещенный читатель, конечно, знает, откуда ноги растут. Мандельштам:

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет.
Как подкову, дарит за указом указ —
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него — то малина
И широкая грудь осетина.

(«Мы живём под собою не чуя страны...»)

В общем, дела идут не так.

«Вопросы литературы» (1963, № 10) публикуют статью М.Зельдовича и Л.Лившица «Натура бойца (О творческой индивидуальности критика)», в которой говорится:

Однажды Борис Слуцкий, рецензируя публикацию стихов очень талантливой Светланы Евсеевой, уподобил всех критиков двум разрядам коммивояжеров: одни раздают проспекты, другие — более опытные — образцы. К счастью, сама рецензия Слуцкого — не рекламное действо. В ней явственно ощутимо своеобразие Слуцкого-художника: от мыслей до сравнений и синтаксиса.

В начале шестидесятых безумно популярный журнал «Юность» проводил цикл вечеров в Ленинграде, туда приехала большая группа авторов журнала, в том числе Слуцкий. Каждый раз зал бывал битком набит, толпа у входа, милиция, даже с билетами было непросто пробиться

На одном из вечеров Слуцкий решительно сказал Лазарю Лазареву:

— Будете выступать передо мной.

Пародии — жанр заведомого успеха на эстраде. Когда, закончив выступление, Лазарев шел на место, Слуцкого объявили к микрофону, и он на мгновение задержал пародиста:

— Вы сорвали мне выступление.

Это он так радовался.

Это могла быть пародия на него, Слуцкого, сочиненная Лазаревым плюс Ст.Рассадиным и Бен.Сарновым, под названием «Древесина»:

От ёлки
и в ельнике мало толку.
В гостиную
ей вовсе цена — пятак.
Как
надо
использовать ёлку?
Ёлку
надо
использовать так.
Быль. Ни замысла и не вымысла.
Низко кланяюсь топору.
Родилась, а точнее — выросла,
а ещё точнее — всё вынесла
ёлка
в нестроевом бору.
Наконец-то до дела дожила:
в штабеля
по поленьям
сложена...
Всех потребностей
удовлетворение,
всех — еды и одежды кроме!
Дровяное отопление,
паровое отопление.
Это — в мире опять потепление,
в мире — стало быть, в доме.
Я сижу с квитанцией жакта.
Мне тепло. Мне даже — жарко.
Мне теперь ни валко, ни колко,
а какого ещё рожна!
Человеку нужна не ёлка.
Человеку палка нужна.

Нечто похожее произошло в Москве. Случай описан Татьяной Кузовлевой:

Переполненный зал Политехнического. Выступают лучшие из лучших. Где-то в середине вечера объявляют великолепного поэта-пародиста Александра Иванова. Зал лежит от хохота. Так продолжается все десять минут его выступления, да и после зал никак не может успокоиться. Следующим объявляют Слуцкого. Он выходит к микрофону и после небольшой паузы негромко начинает одно из своих коронных, трагических стихотворений «Лошади в океане»:

— Лошади умеют плавать, — произносит он. Зал в ответ автоматически — после Иванова — взрывается хохотом.

— Но не хорошо, не далеко, — продолжает Слуцкий невозмутимо.

И снова — хохот.

Лишь к середине стихотворения устанавливается гробовая тишина, переломившая веселье в зале и заставившая вслушиваться в строки Слуцкого.

Вырисовывается групповой портрет Бориса Слуцкого. Что за притча? Это как? Все просто. Это — Слуцкий и другие, Слуцкий на фоне, Слуцкий во взаимоотношениях и взаимоотталкиваниях — словом, Слуцкий. Которого много. Которых много. Который один. Один приятель сказал о нем: на свадьбе он думает, что он жених, а на похоронах, что покойник. Своеобразный артистизм Слуцкого мало сообщался с театром как таковым.

Это был артистизм того же толка, который он отметил в Корнее Ивановиче Чуковском, написав о нем эссе «"Чукоккала" заговорила» («Советский экран», 1970, №7). Слуцкий отмечает фильм о Чуковском, о его альбоме «Чукоккала»:

Корней Иванович был не только поэтом, стихи которого знали наизусть все поколения советских людей, не только ученым-лингвистом и знатоком Некрасова, не только переводчиком, не только заведующим детской библиотекой в подмосковном поселке Перedelкино.

Он был также актером.

Есть в альбоме две чистые страницы. Глядя именно в них, пел некогда Шаляпин, и в память о его пении страницы навсегда оставлены чистыми. После фотографии Шаляпина, который поет, аккомпанируя себе на рояле, за кадром слышится: «...просто взял этот альбом и спел небольшую арию, так в этом альбоме (в кадре появляется Чуковский) есть ария Шаляпина, чего я вам, к сожалению, сейчас спеть не могу».

Как это сыграно!

Между прочим, в этой рецензии названо и имя Е. Рейна — в качестве сценариста фильма.

Насчет театра, однако, были исключения. Театровед Константин Рудницкий говорит:

В 1957 году в Москве гастролировал брехтовский «Берлинер ансамбль». Слуцкого эти спектакли, особенно «Кавказский меловой круг», привели в большое возбуждение, Брехт вообще был ему духовно сродни. Поэтому я несколько не удивился, когда узнал, что все зонги и стихи для постановки «Доброго человека из Сезуана», с которой начался театр Юрия Любимова на Таганке, написаны Слуцким. Потом я увидел его на репетициях «Павших и живых». В этом спектакле военные стихи Слуцкого читал Вениамин Смехов.

— Тебе нравится, как он читает? — спросил я Бориса.

— Хорошо читает, — ответил он. — И вообще, это вот — мой театр. Это вот — настоящий театр.

Высоцкий с радостью пел эти зонги и рассказывал об их возникновении:

Брехт написал не только драматический текст, он еще написал несколько зонгов. Зонги — это стихи, положенные на ритмическую основу. Зонги Брехта стали знаменитыми на весь мир. Например: «Зонг о баранах», «Зонг о дыме»...

Их можно было просто прочитать со сцены, а можно было и исполнить. Мы пошли по второму пути. Наш советский поэт Слуцкий перевел эти зонги, и они поются на протяжении

всего спектакля. Их исполняют почти все персонажи. Музыку к этим зонгам написали актеры нашего театра, Борис Хмельницкий и Анатолий Васильев.

В самом начале спектакля они выходят — два бородатых человека, усаживают зрительный зал, просят людей успокоиться. Начинают петь от имени театра. Зонги иногда вводят вас в курс дела, иногда завершают какую-то сцену, иногда помогают точно определить, о чем в том или ином эпизоде шла речь.

Многие музыкальные фрагменты написаны для того или иного персонажа. Каждый персонаж имеет свою музыкальную тему, под которую он работает. Иногда эта музыка обязывает людей двигаться не так, как в жизни. Меняется пластический рисунок роли. Например: Петров, который играет цирюльника, как бы подтанцовывает, потому что для него написана шуточная, флиртовая музыка. Через несколько минут после прихода в театр вы уже будете разбирать, кто сейчас выйдет на сцену. Из-за кулис зазвучала мелодия того или иного персонажа.

На мои выходы написана тревожная мелодия со свистом. И я хожу как бы прямыми углами. Подчеркиваю, что в этом городе прямые улочки. Для Зинаиды Славиной написана целая музыкальная тема, которая позволяет вымарать несколько страниц текста, довольно скучного, объяснительного текста.

Вместо этого она просто играет пантомиму под музыку, написанную специально для нее. Это еще одна сторона того, как используется музыка в этом спектакле. Музыка помогает развитию событий на сцене. Главная героиня кричит, когда поняла, что все ее надежды рухнули: «Он не любит! Не любит больше!» Она уже не в состоянии больше говорить. И в это время выходят Хмельницкий и Васильев и поют замечательные стихи Марины Цветаевой «Мой милый, что тебе я сделала...» Но ближе всего для меня — это песни персонажей. Это похоже на то, что я делаю. Это песни действующих лиц, которые поются от первого лица. Их поет актер, но не от себя, а от персонажа, роль которого он исполняет.

Например, в этом спектакле я играю роль безработного летчика. Его выгнали с работы, ему надо дать взятку начальнику ангара, чтобы его опять приняли. Действие происходит не у нас, а у них, поэтому там дают и берут взятки. Он пытается каким-то образом добыть двести серебряных долларов. Ему встречается девушка, обещает помочь. Но в конце второго акта он понимает, что все рухнуло, ничего не произойдет, денег он не достанет. И вот в сцене свадьбы этот безработный летчик выгоняет всех гостей со сцены, всех участников свадьбы. Свадьба рушится. В этот момент я играю так, что, как написал один критик, «пол ходит ходуном». Жилы набухают. Кажется, выше никуда не простучишься, уже потолок. Такое нервное напряжение и такой уровень темперамента, что выше прыгнуть уже нельзя. И тогда на помощь приходит песня, «Песня о Дне Святого Никогда», которая позволяет вспрыгнуть еще на одну ступеньку выше, еще сильнее воздействовать на зрителя.

Песня моего персонажа — Янг Суна — не только не отвлекает людей от того, что происходит на сцене, а, наоборот, усиливает понимание характера человека, которого я играю.<...>

Мы продолжали делать поэтические представления. Поставили спектакль, который называется «Павшие и живые». Это спектакль о поэтах и писателях, которые погибли в Великой Отечественной войне, о тех, кто остался жив, прошел войну, писал о ней.

Из прошедших войну — это Слуцкий, Самойлов, Сурков, Межиров, Симонов... Из погибших — Кульчицкий, Коган...

Коган, например, вызывался возглавить поиск разведчиков и погиб. Он похоронен на сопке Сахарная Голова. Молодые, двадцатилетние ребята остались там, на полях сражений. Чтобы отдать им дань, мы поставили этот спектакль. <...>

В конце спектакля «Павшие и живые» я играл роль замечательного нашего поэта, Семёна Гудзенко. Это один из самых талантливых военных поэтов.

Он пришел в конце войны к Илье Эренбургу. Пришел после ранения и госпиталя. Сказал: «Я хочу почитать вам свои стихи».

Эренбург пишет в своих воспоминаниях: «Я приготовился, что сейчас начнутся опять стихи о танках, о фашистских зверствах, которые многие тогда писали».

Он сказал: «Ну, почитайте...» — Так, скучно сказал.

Гудзенко начал читать стихи, и Эренбург настолько обалдел, что носился с этими стихами, бегал в Союз писателей, показывал их. Стихи прочитали, напечатали. Вышла книжка. Выяснилось, что это один из самых прекрасных военных поэтов.

Свой зонг «День святого Никогда» Брехт написал в 1941-м, Слуцкий перевел в 1957-м.

В этот день берут за плотку зло,
В этот день всем добрым повезло:
И хозяин, и батрак —
Все вместе шествуют в кабак,
В день святого Никогда
Тощий пьёт у жирного в гостях.

Речка свои воды катит вспять,
Все добры, про злобных — не слышать.
В этот день все отдыхают,
И никто не понукает —
В день святого Никогда
Вся Земля, как рай, благоухает!

В этот день ты будешь генерал!
Ну, а я бы в этот день летал...
Ванг уладит всё с рукой,
Ты же обретёшь покой —
В день святого Никогда,
Женщина, ты обретёшь покой!

Мы уже не в силах больше ждать!
Потому-то и должны нам дать — <да, даты! — >
Людам тяжкого труда
День святого Никогда,
День святого Никогда
День, когда мы будем отдыхать!

Слуцкий много и охотно переводил Бертольда Брехта — эти самые зонги, просто стихи, пьесу «Горации и Куриации». Одним из его неосуществившихся планов было перевести и издать большую книгу стихов Брехта в серии «Литературные памятники».

Он припоминал:

Я в первый раз увидел МХАТ
На Выборгской стороне,
И он понравился мне.

(«Я в первый раз увидел МХАТ...»)

Было у него и курьезное воспоминание:

В Харьков приезжает Блюменталь,
«Гамлета» привозит на гастроли.
Сам артист в заглавной роли.
Остальное — мелочь и деталь.

Пьян артист, как сорок тысяч братьев.
Пьяный покидая пир,
кроет он актёров меньших братью,
что не мог предугадать Шекспир.
.....
Зрители ныряют в раздевалку.
Выражаю только я протест,
ведь не шатко знаю текст, не валко —
наизусть я знаю этот текст!

(«Мои первые театральные впечатления»)

Актерское прошлое сказывалось на некоторых поэтах, безвозвратно ушедших в стихописание. Выдающийся пример тому — Павел Антокольский. Дело не в декламации, репрезентуемой поэтом на каждой читке своих вещей. Дело в самих вещах, проникнутых особой артикуляцией, дикцией сугубо актерской. Он еще не порвал со сценой, когда написал «Санкюлота», и этот шедевр — чистый образец сценического искусства, вживания в роль, в образ, далекий от автогероя:

Мать моя — колдунья или шлюха,
А отец — какой-то старый граф.
До его сиятельного слуха
Не дошло, как, юбку разодрав
На пелёнки, две осенних ночи
Выла мать, родив меня во рву.
Даже дождь был мало озабочен
И плевал на то, что я живу.

Это истинные, большие стихи, но вот что характерно: драматическая поэма «Робеспьер и Горгона» — на ту же тему — не стала фактом драматургии, завоевавшей театр. Не оттого ли, что самой поэзии в ней больше, чем надо сцене?

Старая коллизия. Блок не стал репертуарным драматургом. Кошмаром блоковской жизни оказался отказ Станиславского ставить его «Розу и Крест».

О том и речь. Есть какая-то — разделительная — черта между этими видами творчества.

В 1969 году Григорий Козинцев напряженно работал над постановкой фильма «Король Лир» по Шекспиру. Его не устраивали кое-какие места текста — лишние и неясные применительно к экрану кино. Он обратился к Слуцкому за помощью. Слуцкий отписал Козинцеву (штемпель: Ленинград 25.1.1969): «Дорогой Григорий Михайлович! Посылаю Вам сценарий с легчайшей правкой. Рифмы убраны. Вы (и актеры) правы <...> » Работа Слуцкого не пригодилась, Козинцев попросту убрал из сценария все лишнее.

Через полгода Слуцкому стукнуло пятьдесят. 21 мая 1969 года в «Литературной газете» было опубликовано поздравление Союза писателей и приветственная заметка Межирова. К концу года вышли две книги — небольшое избранное «Память» (издательство «Художественная литература») и «Современные истории» (издательство «Молодая гвардия»). Козинцев написал Слуцкому летом:

21.VI.69.

Дорогой Борис Абрамович!

Вчера я вернулся из экспедиции на Азовское море, где снимал «Лира», и прочитал в старом номере «Литературной газеты» известие о Вашем юбилее. Как обидно, что не удалось вовремя Вас поздравить. Раньше я очень любил Ваши стихи, а за последние годы лучше узнал и какой Вы благородный и добрый человек и полюбил Вас уже не как поэта, а, извините, почти как родственника. От всего сердца хочется пожелать Вам самого доброго. Буду с нетерпением ожидать Ваших новых книг, и очень хочется Вас повидать.

Артист Театра им. Вахтангова Николай Стефанович в 1941 году попал под фугасную бомбу, угодившую в театр, чудом уцелел, был найден в развалинах, испытал необратимое потрясение, со сценой по инвалидности покончил, стал переводчиком зарубежной поэзии. Поэтом он был недюжинным.

Сейчас я немощен и стар,
Но, как и прежде, у балкона
Повис задумчивый комар
На нитке собственного звона.
И то же всё до мелочей,
До каждой трещины на блюде,
Когда я слышу: Мальчик, эй!,
Я не могу не оглянуться.

Вечный мальчик? Да. Но дело обстояло куда хуже.

Я ужасом охвачен непосильным,
Бесформенным и чёрным, как провал...

Вся его поэтическая жизнь ушла на преодоление онтологического ужаса, увенчавшись множеством настоящих стихотворений и трех поэм, пронизанных мистико-религиозными переживаниями. Они опубликованы посмертно. Но лишь когда началась печатная судьба этого поэта, обнаружилось то, о чем бродили еще прижизненные толки: Стефанович — до войны, до бомбы — испытал свой первый, пожизненный ужас, вылившийся в донос на тот круг молодых московских интеллигентов, в котором обретался он сам. В 1937-м был суд, Стефанович выступил в качестве

главного свидетеля обвинения, невинных людей осудили, среди них — поэты Татьяна Ануфриева и Даниил Жуковский. Затем, в 1947-м, он сдал Даниила Андреева, по делу которого село двадцать человек, получив сроки от 10 до 25 лет. Чудовищную роль преподнесла ему драматургия свирепых времен.

Ему — как поэту — симпатизировала Ахматова, его ценили Самойлов, Наровчатов, Шервинский, Глазков, Чулков. Пастернак надписал одну из своих книг: «Дорогому Николаю Владимировичу Стефановичу ко дню его ангела 19 декабря 1953 г. с пожеланием здоровья и счастья и с предсказанием, что он когда-нибудь прогремит и прославится. Б.Пастернак». Этого-то как раз Стефанович не хотел. Он укрылся от глаз людских в свое нищенское жилище и в переводы. Слуцкий читал и сохранил у себя дома машинопись в переплете — «Стихи» Стефановича, а также его поэмы «Блудный сын», «Во мрак и в пустоту», «Страстная неделя».

Привел Стефановича в Гослитиздат — Слуцкий. Переводил он прежде всего восточных поэтов, в частности Рабиндраната Тагора, а также восточнославянских авторов. Стефанович неплохо знал языки народов Югославии, поскольку его отец был серб. Слуцкий устроил ему три небольших публикации в альманахе «День поэзии».

В евтушенковской антологии «Десять веков русской поэзии» читаем:

Однажды, в ранних шестидесятых, я застал у Бориса Слуцкого сухошавого сдержанного человека в возрасте примерно моего отца. Незнакомец посмотрел на меня с изучающим любопытством, но даже не попытался быть приветливым. Чувствовалось, что ему не до того. На его лице лежала явная тень какой-то внутренней боли. Он уже уходил и представился, произнеся фамилию Стефанович с ударением на «е», что было несколько необычно.

— Он из реабилитированных? — спросил я Слуцкого.

— Нет, — ответил Борис, — он никогда не сидел.

Слуцкий рассказал Евтушенко историю Стефановича и прочел, назвав гениальным, четверостишие:

Связует всех единый жребий:
Лишь стоит ногу подвернуть —
И в тот же миг в Аддис-Абебе
От боли вскрикнет кто-нибудь.

Вот на чем сошлись Пастернак и Слуцкий. Милость к падшим.

Владимиру Леоновичу, ученику Слуцкого, навсегда запомнился регулярно задаваемый вопрос Слуцкого:

— А как у нас с величием души?

Этой строкой он начал и одно из стихотворений, немного переменив ее: «А как у вас с величием души?»

Евтушенко, соединив несоразмерные вины Стефановича и Пастернака, призывает соотечественников:

Когда моя мама пришла из архива Лубянки,
молчала и с прошлым не впала она в перебранки.
Она утопила в подушке лицо на неделю.
И так и лежала. Глаза на людей не глядели.

А после сказала:
«Туда не ходи.
Там все подписи не за черняшку и сало.
А деда прости.
Это даже не страх — это боль подписала».

Давайте простим переживших допросные ночи,
когда вырывали у них пассатижами ногти.

Давайте простим
 всех, кто сами себя не простили,
 покаявшись не в показном, — в христианнейшем стиле.

Не надо читать их безумные показания.
 Они оплатили их пытками собственного наказания.

(«Давайте простим»)

В Союзе писателей шло заседание бюро творческого объединения поэтов. Разбирались разные кляузы, жалобы, просьбы. Все шло как обычно. Вполне обычной была и та жалоба, о которой я хочу рассказать. Она исходила от одного провинциального поэта. Поэт этот был инвалид войны, тяжело больной человек, прикованный к постели, почти ослепший после тяжелого черепно-мозгового ранения. В общем, что-то вроде нового Николая Островского. Восемь лет тому назад он послал в издательство «Советский писатель» сборник своих лирических стихов. Рукопись была одобрена и принята к печати. Автору было обещано, что на следующий год она будет включена в план выпуска. Но прошел год, за ним второй, третий, а рукопись несчастного поэта так и лежала без движения. И никаких шансов увидеть свет у нее, кажется, уже не было.

Зачитав эту жалобу, председательствующий предоставил слово заведующему редакцией поэзии издательства «Советский писатель», потребовав, чтобы тот дал объяснение этому вопиющему факту.

Заведующий не отрицал, что все изложенное в письме — чистая правда. Но книга слабая. В ней есть несколько приличных стихотворений, редакция надеялась, что автор дотянет остальные до их уровня. Но этого, к сожалению, не произошло. Издать книгу в том виде, в каком она сложилась, не представляется возможным.

Начались прения. Все выступавшие выражали сочувствие обманувшемуся в своих ожиданиях поэту. Но в то же время признавали серьезными и резоны работников издательства. Обсуждение, похоже, зашло в тупик.

И тут слово попросил Слуцкий. И произнес такую речь.

— У нас только среди членов бюро по меньшей мере десяток поэтов фронтового поколения, — сказал он. — Неужели мы не протянем руку помощи нашему товарищу, попавшему в беду? Чего же стоит тогда наше фронтовое братство!.. Вот мое предложение. Пусть каждый из нас, поэтов-фронтовиков, напишет в эту книгу по стихотворению. Давайте спасем эту книгу нашими общими усилиями, как мы, бывало, выносили из сражения на своих руках раненого товарища!

Слуцкий — из тех поэтов, для которых категория времени существует безусловно и принимается как императив. Вряд ли есть смысл рассуждать о потенциях поэзии относительно свободы от времени. По сути, такой вид существования поэзии невозможен. Дело в пропорциях и приоритетах. Слуцкий почти всю жизнь считал свое время вот именно своим. Его позднее трагическое открытие состояло в том, что он осознал свою чужеродность и ненужность той современности, на служение которой он положил эту самую жизнь. Одновременно он, еще до заката, в расцвете лет, ощущал утрату своего времени. Хрущёва он недолюбливал, считал дураком, хотя и воздавал ему должное за освобождение сотен тысяч эзков; с Брежневым было то же самое, в вариации одобрения за долгий мир на планете.

Смещение одного другим он откомментировал так:

Сласть власти не имеет власти
 над власть имущими, всеми подряд.
 Теперь, когда объявят: «Слазьте!» —
 слезают и благодарят.

Теперь не каторга и ссылка,
 куда раз в год одна посылка,
 а сохраняемая дача,
 в энциклопедии — столбцы,
 и можно, о судьбе судача,
 выращивать хоть огурцы.

А власть — не так она сладка
 седьмой десяток разменявшим:
 не нашим угоди и нашим,
 солги, сообрази, слукавь.

Устал тот ветер, что листал
 страницы мировой истории.

Какой-то перерыв настал,
 словно антракт в консерватории.
 Мелодий — нет. Гармоний — нет.
 Все устремляются в буфет.

(«Сласть власти не имеет власти...»)

Что было чуждо ему в том времени?

Люди смётки и люди хватки
Победили людей ума —
Положили на обе лопатки,
Наложили сверху дерьма.

Люди сметки, люди смекалки
Точно знают, где что дают,

Фигли-мигли и ёлки-палки
За хорошее продают.

Люди хватки, люди сноровки
Знают, где что плохо лежит.

Ежедневно дают уроки,
Что нам делать и как нам жить.

(«Люди сметки и люди хватки...»)

Это нам что-то напоминает. Не так ли?

Нынче бушует и вовсе чужое время. Оно развеяло, разметало, рассыпало в прах все основные представления Слуцкого о человеке и стране, в которой данный человек обитает. О том и другом он думал лучше и не так, как и чем все тут у нас обернулось.

Его монументальная непреклонность выглядит нынче воздушной грезой о разумности бытия. Те степени свободы, которые он отвоевывал для себя одну за другой, отличаются от нынешних, как немое кино от звукового.

Двадцатые годы, когда все были
Двадцатилетними, молодыми,
Скрылись в хронологическом дыме.

В тридцатые годы все повзрослели —
Те, которые уцелели.

Потом настали сороковые.
Всех уцелевших на фронт послали,
Белы снега над ними постлали.

Кое-кто остался всё же,
Кое-кто пережил лихолетье.

В пятидесятых годах столетия,
Самых лучших, мы отдохнули.
Спины отчасти разогнули,
Головы подняли отчасти.

Не знали, что это и есть счастье,
Были нервны и недовольны,
По временам вспоминали войны
И то, что было перед войною.

Мы сравнивали это с новизною,
Ища в старине доходы и льготы.
Не зная, что в будущем, как в засаде,
Нас ждут в нетерпении и досаде
Грозные шестидесятые годы.

(«Двадцатые годы, когда все были...»)

Карибский кризис (1962). Новочеркасский расстрел рабочих (1962). В параллель сему — встреча руководителей партии и правительства с художественной интеллигенцией в Манеже (1962) и Кремле (1963). Снятие Хрущёва (1964). Суд над Синявским и Даниэлем (1965–1966). Парижский студенческий бунт 1968-го. Пражская весна и ввод советских танков в Чехословакию (1968). Советско-китайские бои за остров Даманский (1969). Война во Вьетнаме (1965–1974).

В творчестве Слуцкого остро чувствуется присутствие Смелякова — его стиха, его фигуры.

Где-то в Сети я увидел: Смеляков — поэт-шестидесятник. Очень неточно. Более того, неправильно. Он пришел тридцатью годами раньше. Сверстников — и тех, кто постарше, — оставалось негусто, но они были, и некоторые из них прошли похожий путь.

Есть парный снимок: Твардовский и Смеляков. Лица из простонародья, внуки крепостных, по-актерски бритые, в галстуках и строгих костюмах, исполненные значительности, с печатью отменного самоуважения. А ведь кабы не пролетарская революция, не было бы ни того, ни другого — таких. Как же им было не благодарить ее? Как не служить ей по гроб жизни?

Вопросы риторические.

В определенное время, на фоне дискуссии на тему «физики и лирики», Смеляков задел Слуцкого:

Я даже и не с тем поэтом,
хоть он достаточно умен,
что при посредстве Литгазеты
отправил лирику в загон.

(«Не то чтоб все стихотворенья...»)

Книга Смелякова «Работа и любовь» (1932), переизданная с дополнением в 1963-м, отзывается в самом названии книги Слуцкого «Работа» (1964). «Любовь» у Слуцкого действительно почти отсутствует. Но книгу он посвящает Татьяне Дашковской, своей Тане.

На выход книги довольно дружно откликнулись рецензенты, состав которых сильно изменился по сравнению с прежними критиками поэзии Слуцкого. В отзывах ленинградских критиков А.Урбана («Стихи и работа» — «Звезда», 1965, №1), В.Соловьева («Юность» — 1965, №3), Е.Калмановского (статья «Язык стихов, язык поэтов» — «Урал», 1966, № 4), московского поэта И.Федорина («Слова о главном» — «В мире книг», 1965, №1) вместе с положительными оценками всей книги и отдельных стихотворений наличествовал аналитический разбор содержания и поэтики творчества Слуцкого. Впрочем, остался верен себе А.Дымшиц: его рецензия называлась «А что, коль это проза?» («Москва» — 1965, №5) и представляла собой, по удачному выражению неведомого автора аннотации, вписанной в библиографическую карточку одной из московских библиотек, «разбор недостатков и некоторых удач».

Он отправил книгу людям, которых ценил. Корней Иванович Чуковский откликнулся письмом:

Дорогой Борис Абрамович,
спасибо за подарок. Ваши стихи, помимо тех качеств, которые были отмечены критикой, обладают еще одним: они цитатны. В них такие концентраты смыслов, причем эти смыслы пережиты так свежо, неожиданно, ново, что стихи так и просятся в эпиграфы. Для моей книжки «Живой как жизнь» — для ее нового издания, для той главы, где я хвалю варваризмы, невозможно не взять эпиграфом:

Я за варваризмы
И кланяюсь низко хорошему,
Что Западом в наши
Словесные нивы заброшено.

А для воспоминаний о Михаиле Зощенко, которые я закончил сейчас, — к той главе, где говорю о двадцатых годах:

В старинный, забытый и древний
Период двадцатых годов.

И в статью о Хлебникове:

А под нами тихо вращался
Не возглавленный им шар земной.

Новизна Ваших стихов не в эксцентризме, не в ошарашивании криками и судорогами, а в неожиданном подходе к вещам. Тысячи поэтов на всех языках прославляли День Победы, 9 Мая, но только у Вас это 9 Мая раскрывается через повествование о том, как один замполит батальона ест в ресторане салат — и у него на душе —

Ловко, ладно, удобно, здорово...

И это стихотворение — по своей «суггестивности» — стоит всех дифирамбов 9 Мая. Или Ваше стихотворение «Бог» — и тут же рядом о «Хозяине». И вот еще цитата, стоящая множества стихов:

За высоту,
за белую кору
тебя
последней спутницей беру.

За высоту,
за белую кору
тебя
последней спутницей беру.

Не примирюсь со спутницей
иною!
Берёзка у освенцимской стены!
Ты столько раз
в мои
врассталяла сны!
Случись,
когда придётся,
надо мною.

Слуцкого похоронили под тремя березками.

Здесь нам надо обговорить одно обстоятельство. В разных публикациях первая буква строк Слуцкого, когда строка начинается не с нового предложения, дается то с прописной, то со строчной. Есть смысл следовать за основным публикатором Слуцкого — Ю.Болдыревым. Хотя у него тоже — то так, то этак.

Можно предположить, что автор — Слуцкий — не всегда противился редакционному своеволию, соглашаясь на вкус или правила того или иного издательства, общим установлениям спущенного сверху правописания. В данном же случае — все проще: адресат «Берёзки в Освенциме» был, что называется, в курсе.

Бывают случайные сходства, по сути неслучайные.

В «Переправе» Твардовского:

И увиделось впервые,
Не забудется оно:
Люди тёплые, живые
Шли на дно, на дно, на дно...

У Слуцкого в «Лошадях...»:

Кони шли на дно и ржали, ржали,
Все на дно покуда не пошли...

Есть и более точный отзыв, прямая, неприкрытая реакция на тёркинскую переправу:

Дали мне лошаденку: квёлая,
рыжая. Рыжей меня.
И сказали кличку: «Весёлая».
И послали в зону огня.

Злой, отчаянный и голодный,
до ушей в ледовитом огне,
подмосковную речку холодную
переплыл я на том коне.

Мне рассказывали: простудился
конь
и до сих пор хрипит.

Я же в тот раз постыдился
в медсанбат отнести свой бронхит.

Было больше гораздо спросу
в ту войну с людей, чем с коней,
и казалось, не было сносу
нам
и не было нас сильней.

Жили мы без простудной дрожи,
словно предки в старину,
а болеть мы стали позже,
когда выиграла войну.

(«Переправа»)

По-видимому, в основе этого стихотворения лежит тот факт, что ранней весной 1942 года Слуцкий переплыл на коне ледовитую подмосковную речку.

Твардовский, прочитав и заприметив «Лошадей...», не преминул заметить, что «рыжие и гнедые — разные масти». Сходным образом его покорило и лебедь Заболоцкого: «животное, полное грёз». Деревенское происхождение настаивало на своем.

Стихи про большую войну Твардовского и Исаковского Слуцкий предпочел даже стихам Сельвинского и Кирсанова.

Четырнадцатого февраля 1966 года Слуцкий подписал письмо двадцати пяти деятелей советской науки, литературы и искусства Первому (Генеральным он станет в апреле) секретарю ЦК КПСС Л.И.Брежневу, которое тут же пошло по интеллигентской Москве.

Глубокоуважаемый Леонид Ильич!

В последнее время в некоторых выступлениях и в статьях в нашей печати проявляются тенденции, направленные, по сути дела, на частичную или косвенную реабилитацию Сталина.

Мы не знаем, насколько такие тенденции, учащающиеся по мере приближения XXIII съезда, имеют под собой твердую почву. Но даже если речь идет только о частичном пересмотре решений XX и XXII съездов, это вызывает глубокое беспокойство. Мы считаем своим долгом довести до Вашего сведения наше мнение по этому вопросу.

Нам до сего времени не стало известно ни одного факта, ни одного аргумента, позволяющих думать, что осуждение культа личности было в чем-то неправильным. Напротив, трудно сомневаться, что значительная часть разительных, поистине страшных фактов о преступлениях Сталина, подтверждающих абсолютную правильность решений обоих съездов, еще не предано гласности.

Дело в другом. Мы считаем, что любая попытка обелить Сталина, таит в себе опасность серьезных расхождений внутри советского общества. На Сталине лежит ответственность не только за гибель бесчисленных невинных людей, за нашу неподготовленность к войне, за отход от ленинских норм в партийной и государственной жизни. Своими преступлениями и неправыми делами он так извратил идею коммунизма, что народ это никогда не простит. Наш народ не поймет и не примет отхода — хотя бы и частичного — от решений о культе личности. Вычеркнуть эти решения из его сознания и памяти не может никто.

Любая попытка сделать это поведет только к замешательству, к разброду в самых широких кругах. Мы убеждены, например, что реабилитация Сталина вызвала бы большое волнение среди интеллигенции и серьезно осложнила бы настроения в среде нашей молодежи. Как и вся советская общественность, мы обеспокоены за молодежь. Никакие разъяснения или статьи не заставят людей вновь поверить в Сталина; наоборот, они только создадут сумятицу и раздражение. Учитывая сложное экономическое и политическое положение нашей страны, идти на все это явно опасно. Не менее серьезной представляется нам и другая опасность. Вопрос о реабилитации Сталина не только внутри политический, но и международный вопрос. Какой-либо шаг в направлении к его реабилитации безусловно создал бы угрозу нового раскола в рядах мирового коммунистического движения, на этот раз между нами и компартиями Запада. С их стороны такой шаг был бы расценен прежде всего как наша капитуляция перед китайцами, на что коммунисты Запада ни в коем случае не пойдут.

Этот фактор исключительного значения, списывать его со счетов мы также не можем. В дни, когда нам, с одной стороны, грозят активизирующиеся американские империалисты, а с другой — руководители КПК, идти на риск разрыва или хотя бы осложнений с братскими партиями на Западе было бы предельно неразумно.

Чтобы не задерживать Вашего внимания, мы ограничиваемся одним лишь упоминанием о наиболее существенных аргументах, говорящих против какой-либо реабилитации Сталина, прежде всего, об опасности двух расколов. Мы не говорим уже о том, что любой отход от решений XX съезда настолько осложнил бы международные контакты деятелей нашей культуры, в частности, в области борьбы за мир и международное сотрудничество, что под угрозой оказались бы все достигнутые результаты.

Мы не могли не написать о том, что думаем. Совершенно ясно, что решение ЦК КПСС по этому вопросу не может рассматриваться как обычное решение, принимаемое по ходу работы. В том или ином случае оно будет иметь историческое значение для судеб нашей страны. Мы надеемся, что это будет учтено.

Акад. Л.А.Арцимович,
лауреат Ленинской и Государственной премий

О.Н.Ефремов,
главный режиссер театра «Современник»

Акад. П.Л.Капица,
Герой Социалистического Труда,
лауреат Государственных премий

В.П.Катаев,
член Союза писателей,
лауреат Госпремии

П.Д.Корин,
народный художник СССР,
лауреат Ленинской премии

Акад. М.А.Леонтович,
лауреат Ленинской премии

Акад. И.М.Майский

В.П.Некрасов,
член Союза писателей,
лауреат Госпремии

Б.М.Неменский,
член Союза художников,
лауреат Госпремии

К.Г.Паустовский,
член Союза писателей

Ю.И.Пименов,
народный художник РСФСР,
лауреат Госпремии

М.М.Плисецкая,
народная артистка СССР,
лауреат Ленинской премии

А.А.Попов,
народный артист СССР,
лауреат Госпремии

М.И.Ромм,
народный артист СССР,
лауреат Госпремий

С.Н.Ростовский (Эрнст Генри),
член Союза писателей,
лауреат премий Воровского

Акад. А.Д.Сахаров,
трижды Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской и Госпремий

Акад. С.Д.Сказкин

Б.А.Слуцкий,
член Союза писателей

И.М.Смокуновский,
член Союза кинематографистов,
лауреат Ленинской премии

Акад. И.Е.Тамм,
Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской и Госпремий,
лауреат Нобелевской премии

В.Ф.Тендряков,
член Союза писателей

М.М.Хуциев,
заслуженный деятель искусств РСФСР

Г.А.Товстоногов,
народный артист СССР,
лауреат Ленинской и Госпремий

С.А.Чуйков,
народный художник СССР,
лауреат Госпремий

К.И.Чуковский,
член Союза писателей,
лауреат Ленинской премии

Председатель КГБ В.Семичастный обратился в ЦК с запиской.

15 марта 1966 г.
ЦК КПСС

Комитет государственной безопасности докладывает, что в Москве получило широкое распространение письмо, адресованное первому секретарю ЦК КПСС, подписанное 25-ю известными представителями советской интеллигенции, в том числе: академиками Таммом И.Е., Капицей П.Л., Майским И.М., Арцимовичем Л.А., писателями Паустовским К.Г., Катаевым В.П., Чуковским К.И., Тендряковым В.Ф., актерами и режиссерами Плисецкой М.М., Роммом М.И., Товстоноговым Г.А., Смокуновским И.М., художниками Кориным П.Д., Пименовым Ю.И. и другими.

В основе письма лежит мнение подписавшихся о том, что в последнее время якобы наметились тенденции, направленные на частичную или полную реабилитацию Сталина, на пересмотр в этой части решений XX и XXII съездов партии. В связи с этим авторы письма считают, что реабилитация Сталина приведет к расколу между КПСС и компартиями Запада, к серьезным расхождениям внутри советского общества, вызовет большое волнение среди интеллигенции, серьезно осложнит обстановку среди молодежи и поставит под удар все достижения в области международного сотрудничества, поэтому они выражают свой протест против какой-либо реабилитации Сталина.

Инициатором этого письма и основным автором является известный публицист Ростовский С.Н., член Союза советских писателей, печатающийся под псевдонимом Эрнст Генри, в свое время написавший также получившее широкое распространение так называемое «Открытое письмо И.Эренбургу», в котором он возражает против отдельных положительных моментов в освещении роли Сталина.

Сбор подписей под названным документом в настоящее время намерены продолжить, причем инициаторы этого дела стремятся привлечь к нему новых деятелей советской культуры: дал согласие подписать письмо композитор Д.Шостакович, должна была состояться беседа с И.Эренбургом по этому поводу, обсуждается вопрос, стоит ли обращаться за поддержкой к М.Шолохову и К.Федину, предполагается, что письмо будет подписано также некоторыми крупными учеными-медиками. Причем, каждому подписавшемуся оставляется копия документа.

Известно, что некоторые деятели культуры, а именно писатели С.Смирнов, Е.Евтушенко, режиссер С.Образцов и скульптор Конёнков отказались подписать письмо.

Как видно, главной целью авторов указанного письма является не столько доведение до сведения ЦК партии своего мнения по вопросу о культе личности Сталина, сколько распространение этого документа среди интеллигенции и молодежи. Этим, по существу, усугубляются имеющие хождение слухи о намечающемся якобы повороте к «сталинизму» и усиливается неверное понимание отдельных выступлений и статей нашей печати, направленных на восстановление объективного, научного подхода к истории советского общества и государства, создается напряженное, нервное настроение у интеллигенции перед съездом.

Следует отметить, что об этом письме стало известно корреспонденту газеты «Унита» Панкальди, а также американскому корреспонденту Коренгольду, который передал его содержание на США.

Приложение: 3 листа¹.

Председатель Комитета госбезопасности

В. Семичастный

Подписант Слуцкий не упомянут тов. Семичастным — были фигуры и помасштабней. Вскоре обнаружили их столь же крупные единомышленники. Появилось еще одно письмо, теперь — в Президиум ЦК КПСС:

25 марта 1966 г.

В Президиум ЦК КПСС

Уважаемые товарищи!

Нам стало известно о письме 25-ти видных деятелей советской науки, литературы и искусства, высказывающихся против происходящих в последнее время попыток частичной или косвенной реабилитации Сталина.

Считаем своим долгом сказать, что мы разделяем точку зрения, выраженную в этом письме.

Мы также убеждены, что реабилитация Сталина в какой бы то ни было форме явилась бы бедствием для нашей страны и для всего дела коммунизма. XX и XXII съезды партии навсегда вошли в историю — не только нашу, но и мировую — как съезды, безоговорочно осудившие чуждый духу коммунизма культ личности. Политическая и моральная сила нашего народа выявилась в той принципиальной решительности, с какой это было сделано. Не случайно решения съездов нашли такую горячую поддержку у советских людей и были одобрены абсолютным большинством компартий мира. Идти назад, отменить хотя бы часть сказанного и постановленного, перерешить вопрос хотя бы наполовину, с оговорками, это нанесло бы тяжелый удар по авторитету КПСС и у нас, и за рубежом. Ничего не выиграв, мы бы многое потеряли.

Те из нас, кто по поручению партии и правительства поддерживают контакты с зарубежными сторонниками мира и Советского Союза, знают по опыту, какое огромное значение имеет вопрос о культе личности для всех наших друзей за рубежом. Сделать шаг назад к Сталину значило бы разоружить нас при дальнейшем проведении этой работы.

Как и 25 деятелей интеллигенции, подписавших письмо от 14 февраля, мы надеемся, что пересмотра решений XX и XXII съездов по вопросу о культе личности не произойдет.

1. Действ[ительный] член Академии Мед[ицинских] наук, лауреат Ленинской и Государств[енных] премий П.Здрадовский

2. Действительный член АМН СССР В.Жданов

3. Старый большевик-историк И.Никифоров, член партии с 1904 г.

4. Писатель, лауреат Ленинской премии С.Смирнов

5. И.Эренбург, писатель

¹ В приложении было Письмо 25.

6. Игорь Ильинский (народный арт[ист] СССР)
7. В.Дудинцев, писатель
8. А.Колмогоров, академик
9. Б.Астауров (чл[ен]-корр[еспондент] АН СССР)
10. А.Алиханов (акад[емик])
11. И.Кнунянц (акад[емик])
12. Г.Чухрай (засл[уженный] деятель искусств РСФСР, лауреат Ленинской премии, кинорежиссер)
13. Вано Мурадели

Чем кончилось дело? Гипотетическим обращением по тем же адресам представителей военного мозга страны — академиков А.П.Александрова, Н.Н.Семёнова и Ю.Б.Харитона. Говорят, именно после их письма в верхах нажали на тормоза. Сталин во весь рост отменялся. Но тень от него разрасталась. Оттепель кончилась окончательно.

Евгений Рейн в Малом зале ЦДЛ, где собрались друзья поэзии Слуцкого в связи с 80-летием поэта (1999), вспомнил и рассказал сюжет знакомства — своего и Бродского — со Слуцким (1960). Молодые ленинградцы, потчваемые мэтром, прочли стихи. Слуцкий благосклонно отнесся к тому и другому. Никакой передачи лиры не произошло. Однако Рейну было сказано, и сейчас немолодой Рейн охотно поддерживает эту мысль, что ему-де вредит некое адвокатское красноречие.

Наверно, в такой метафорике сам Слуцкий — обладатель красноречия прокурорского.

Похоже. Но в целом — несправедливо.

Тем не менее в эпитете Слуцкого относительно молодого поэта содержалось точное ощущение — на уровне тонкого наблюдения. Обвинительный уклон времени подспудно вымещался тоном защиты в отношении самой жизни, ее нерегламентированных проявлений. Проще говоря, время добрело.

Добрело оно, разумеется, весьма условно. Но, если иметь в виду Бродского, тунеядец — все же не враг народа. Сам факт встречи поколений за столиком с выпивкой и закуской свидетельствовал о возможности естественного течения жизни без убийственных разрывов в ее, жизни, взаимосвязях.

В этом контексте позволю себе воспроизвести мимолетный эпизод и своего пересечения с живым Слуцким. В апреле 1967-го в Москве прошел фестиваль (кажется, так это называлось) поэзии Сибири и Дальнего Востока. Я прибыл из Владивостока.

Меня занесло на улицу Воровского во двор журнала «Юность» (наверно, заглядывал в журнал). В солнечных лучах головокружительной весны, под взглядом бронзового бородато-бровастого Льва Толстого мелькнул феерический Антокольский, блеснула нездешняя Ахмадулина. Они были видениями. Физической реальностью стал Слуцкий. Он не просиял — он проходил рядом твердым шагом. Я остановил его, представился. Больше белесый, нежели рыжий, он поднял бровь углом.

— Кто у вас там главный поэт?

Я ответил коротко:

— Я.

Ему понравилось, он кивнул, как бы в знак согласия, и мы расстались. Может быть, он просил звонить ему. Кажется, он куда-то уезжал из Москвы. Развития знакомства не последовало.

Я в двадцать лет горланил:

И юность Паши Когана
становится моей!

Уехал я в тот же день вечером.

Или так: «Я говорил от имени России...» (Слуцкий).

Перемахнув через времена, завершу эту часть моего разговора о Слуцком опять-таки лично-эмпирическим мотивом. Во второй половине 1980-х годов участилось (раз в месяц — это часто) мое — телефонное по преимуществу — общение с Александром Межировым. В каждый наш разговор со стороны Межирова залетало имя Слуцкого. Я хорошо помнил, как еще в 1967 году, при нашем первом свидании у него дома, Межиров обронил: после войны Слуцкий бездомно скитался по Москве на огромной дистанции от официального признания и тем более житейских благ. Не менее ясно я помнил и тот тусклый позднелесной день, когда Слуцкого хоронили из покойницкой кунцевской лечебницы.

Помнил Межирова в дорогой дубленке и пышной ондатровой шапке, из-под которой куском серого льда мерцало несчастное лицо, когда-то голубоглазое. Помнил шоковый шорох, прошедший по скорбной толпе, когда сквозь нее в тесном помещении к изголовью гроба приближался Куняев и затем произнес свою речь.

На даче у Межирова уже в 1986-м мы за бутылкой водки, принесенной хозяином дачи от нежадного соседа — Евтушенко, вели вечернюю беседу до поздней ночи с названием имен, и чаще всего возникали имена Смелякова и Слуцкого. Особенно его — Слуцкого. Межиров, как всегда, читал наизусть, и его чтение потрясало.

Я — ржавый гвоздь, что идёт на гроба.
Я сгложусь судьбине, а не судьбе.
Когда обильны твои хлеба,
Зачем я тебе?

(«Завяжи меня узелком на платке...»)

Было совершенно ясно, что Межиров говорит о первом, на его взгляд, поэте эпохи. Я понимал, что присутствую при подведении итогов. Кончилось многодесятилетнее ристалище. Венок победы доставался сильнейшему.

Межиров наверняка знал стихотворение «Обгон», ему посвященное, поскольку оно было помещено в книге Слуцкого «Неоконченные споры».

А. Межирову

Обгоняйте, и да будете обгоняемы!
Скидай доспех!
Добывай успех!
Поэзия не только езда в незнаемое,
но также снег,
засыпающий бег.

Вот победитель идёт вперёд,
вот побеждённый,
тихий, поникший,
словно погибший,
медленно
в раздевалку бредёт.

Сыплется снег,
но бег продолжается.
Сыплется снег,
метель разражается.
Сыплется, сыплется
снег, снег, снег,
но продолжается
бег, бег, бег.

Снег засыпает белыми тоннами
 всех — победителей с побеждёнными,
 скорость
 с дорожкой беговой
 и чемпиона с — вперёд! — головой!

Это свой вариант того, что Межиров назвал «полублоковская выюга». Впрочем, Межиров когда-то сказал:

В Москве не будет больше снега,
 Не будет снега никогда.

Сила вещей

Можно видеть вещи так: имярек — мой первый поэт. Однако сила вещей такова, что первый поэт — общее достояние и понятие общее. С ним мы и имеем дело, говоря о Слуцком. Или, может быть, о Бродском.

Вопрос ставится так, потому что заноза этого вопроса, помимо прочего, создала нарыв, разрешившийся стайным антипастернаковским гноем 1958 года. Ведь то был дворцовый переворот в «стране поэзии»: с трона сбрасывали ее царя. Самойлов свидетельствует — через много лет Слуцкий сказал о Бродском: «Таких, как он, много». Чувал угрозу чужого первенства? Вряд ли. Веет идеологией. В 1964-м, когда шел суд над Бродским, Самойлов записал: «Слуцкий довольно мил, пока не политиканствует. В частности он старается преуменьшить дело Бродского, утверждая, что таких дел много». В бумагах Слуцкого немало стихов Бродского — машинопись «Посвящается Ялте», «Речь о пролитом молоке», «Стансы городу» и прочая будущая классика. Следил.

В то время он приветствовал другого поэта («Лодка, плывущая далеко» — «Знамя», 1965, № 4):

Игорю Ивановичу Шкляревскому 25 лет¹. Он издал две книги стихов: «Я иду!» и «Лодка». Обе вышли в Минске. У каждой тираж 2,5 тысячи экземпляров. В Москву и вообще ко всесоюзному читателю книги не попали. Даже магазин «Поэзия», что на Пушкинской, не заказал ни одного экземпляра. Для сравнения приведу цифры тиражей последних книг сверстников Шкляревского. Рождественский «Избранная лирика» — 180 тысяч, Матвеева и Казакова — 140-145 тысяч экземпляров. Вознесенский «Антимиры» — большая книга, по сути дела, одностомник избранных произведений — 60 тысяч экземпляров. Я называю имена заведомо талантливых поэтов. Тиражи их книг заслуженны. Шкляревский талантлив, но не заведомо. Покуда он поэт одного города — Минска. Цель этой статьи — помочь ему сделаться заведомо талантливым, помочь ему дойти до всесоюзного читателя.

Думаю, это право он заработал. <...>

Общая болезнь молодой поэзии многоглаголение, — вызвавшая десятки поэм-левиафанов, увеличившая размер среднего газетного стихотворения до ста-двухсот строк, — эта болезнь, обусловленная законами эстрады, необходимостью повторить и разжевать поэтическую мысль, даже самую нехитрую и банальную, с тем чтобы она дошла до всех сорока рядов зала, — эта болезнь Шкляревского покуда миновала. <...>

Покуда Шкляревский пишет для незаслуженно узкого круга читателей. Цикл в «Знамени» — едва ли не первая предоставленная ему возможность большого разговора. Нужно, чтобы до людей, не только минских, но и московских и дальневосточных, дошли книги Шкляревского.

К поэмам-левиафанам Слуцкий прежде всего мог отнести Евтушенковскую «Братскую ГЭС», прогремевшую под редакцией Смелякова в этом же апреле на страницах «Юности».

¹ Ошибка Слуцкого: И.Шкляревский 1938 года рождения.

Через четыре года он окончательно утвердился во мнении о выходе из Белоруссии и под конец шестидесятых выразил его с новой решимостью («Судьба и удача» — «Знамя», 1969, № 10):

В поэзию пришел новый человек, новая живая душа. Раздавшийся при этом первый крик достаточно резок и пронзителен, чтобы удостоверять: душа действительно живая. Новый человек отрекомендовывается в издательской аннотации: «...работал литейщиком, разнорабочим, матросом торгового флота, был боксером». Конечно, издательские аннотации, как и красноармейские книжки у тяжелораненых, вернувшихся в часть из госпиталей, заполняются «со слов», без документов. Однако из книжки, из стихов ясно: да, был литейщиком, штамповщиком, матросом. Да, много ездил, плавал, бродяжил на Севере и на Востоке. <...>

Одни стихи о работе и рабочих, а их в книге добрая половина. Написаны они живо и сердечно, дают автору право на читательское внимание. Однако автор, он же лирический герой «Фортуны», не только работает, но и отдыхает, многое видит, многое слышит, многое чувствует. Думает он меньше. Впрочем, это специально декларировано: «Я молод. И свобода чувств дороже мне полета мысли».

Пока он бежит и не оглядывается. Пока ему кажется, что все бегут в том же темпе. В книге много движения, в простейшем смысле — перемещения в пространстве. Бегают, плавают, плывут на пароходе, боксируют, таскают мешки. Правда, от времени до времени вспоминают, что надо написать «вольнолюбивую балладу»... <...>

В то же время это здоровая книга здорового человека. Едва ли не единственное в ней стихотворение о болезни так и называется «Выздоровление». Его стоит привести:

На больничной койке засыпаю,
будто вниз на палубу лечу,
руки в кровь о ванты раздираю,
в небо что-то жуткое кричу...
И опять от смерти убегаю!
На широких лыжах ухожу.
На рыбацкой лодке уплываю.
Собственною шкурой дорожу.
Я не шкурник, и своею шкурой
я не собираюсь торговать.
Просто шкура новая, и сдуру
неохота мне её терять!

Действительно, шкура автора совсем новая, то есть молодая и прочная. Когда Шкляревский приглядывается к старым, пожилым или больным людям, в стихах слышится не только искреннее желание им добра и здоровья, но и уверенность, что я еще, мол, молодой, что мне еще долго быть молодым и здоровым.

Чаше всего в книге встречаются слова «свобода» и «тоска». В русской поэзии эти слова из самых любимых. Когда-нибудь напишут их историю, скажем, у Пушкина — от «вольности» до «тайной свободы».

У Шкляревского «свобода» больше похожа на древнюю «волю». Простор. Очень много пространства и времени в запасе. Что же касается «тоски», то она у Шкляревского главным образом для красного словца. Оттого, что так принято, а не так чувствуется. Чехов некогда писал жене по поводу «Трёх сестёр»: «Хорошо ли ты играешь, дуся моя? Ой, смотри! Не делай печального лица ни в одном акте. Сердитое, да, но не печальное. Люди, которые давно носят в себе горе и привыкли к нему, только посвистывают и задумываются часто».

Все это имеет непосредственное отношение к Шкляревскому. Его молодая и здоровая книга, кроме того, — веселая книга. <...>

Книга названа «Фортуна» — словом, под которым подразумеваются и судьба, и удача, и простое везение. Все это есть в книге: и судьба, и удача, и простое везение. Кроме того, молодость и яркая даровитость.

Итак, душевное здоровье в соотношении со свободой-волей — точка пересечения раздумий Слуцкого, может быть прежде всего о самом себе. В лице Шкляревского он предъявлял всем его ровесникам, включая Бродского, образец поэтического действия и гражданского поведения.

Каждый поэт пишет свой травелог (слово о странствиях). Каждый поэт — путник. Слуцкий не исключение. Его Одиссей по существу погиб.

Я, продутый твоими ветрами,
 Я, омытый дождями твоими,
 Я, подъятый тобою, как знамя,
 Я, убитый тобою во имя.
 Во какое же имя — не знаю.
 Называть это имя — не хочешь.
 О Москва —
 Штыковая, сквозная:
 Сквозь меня
 Ты, как рана, проходишь.

(«Словно ворот...»)

Юра Болдырев сразу сказал «ты», и я, обращающий внимание на такие вещи, счел это совершенно естественным. Он вел себя как старый знакомый.

Чаше всего мы пересекались в Нижнем буфете ЦДЛ, в том, так сказать, низовом отсеке, где и поныне, кажется, кормится-поится не самая богатая публика, среди которой, впрочем, все меньше и меньше лиц литературных, по крайней мере узнаваемых или знакомых.

От Болдырева веяло подлинностью человека, делающего свое дело.

Когда я получил бумажку из еще единого Союза писателей Москвы на открытие кладбищенского памятника Слуцкому, мне было ясно — это Болдырев, его приглашение.

Сам памятник оказался слишком стильным, слишком современным и не шибко соответствовал моему пониманию Слуцкого. Но, может быть, скульпторы — Владимир Лемпорт и Николай Силис — правы. Может быть, Слуцкий — такой. Не знаю...

Большая голова из белого гранита на фоне флага из черного мрамора.

Слуцкий сам выбрал этот портрет в мастерской Лемпорта.

Есть и другое впечатление от этой работы. Омри Ронен (очерк «Грусть»):

Героическая грусть — вот Слуцкий. Героизм держал его в жизни, его увела от жизни грусть.

Его надгробье работы В.С.Лемпорта, голова, осененная черным знаменем, несет глубокий смысл, это иллюстрация к страшным стихам Бодлера: «l'Espoir, / Vaincu, pleure, et l'Angoisse atroce, despotique, / Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir». «Надежда, / Победённая, плачет, и самовластная свирепая Тоска / Над моим черепом поникшим водружает свой чёрный флаг».

Такая властительная грусть погубила Слуцкого.

Впрочем, глаз художника — особая оптика. Скульптор Владимир Лемпорт видит людей так:

Появился Борис Слуцкий, высокий, бравый, плотный, похожий на большого сытого кота. Передо мной его портрет в камне и известке.

Точно, похож на кота-копилку.

Без свиты он не ходил, а иногда сам сопровождал известных по тем временам людей. Вот он привел турецкого поэта Назыма Хикмета, личность слишком знаменитую, чтобы его описывать...

В другой раз привел огромного и толстого Пабло Неруду, похожего на чудовищного какаду.

С представителями соседнего цеха не всегда просто. Бывали и скандальчики. Чисто артистические. Послушаем скульптора Николая Силиса:

Вспоминается один любопытный эпизод, не относящийся непосредственно к его общественной деятельности, но характерный для самого поэта. Вдова Марка Бернеса попросила нас сделать памятник на Новодевичьем кладбище всенародному любимцу. Лемпорт нарисовал, а я вырубил в камне, переведя рисунок на язык рельефа. Портрет общественности не понравился. Все оказались во власти того кинематографического стереотипа, который сложился

в головах даже близко знавших его друзей. Особенно возмущался на церемонии открытия поэт Костя Ваншенкин. С кладбища мы ушли расстроенные, но не переубежденные. История с портретом возникла вновь, когда однажды Борис пригласил нас пообедать с ним в ресторане ЦДЛ. Слуцкий любил иногда это делать. Заказывал целиком столик на четыре — шесть, а то и больше персон и угощал друзей. Попытку принять участие в оплате стола воспринимал как личное оскорбление. В меню литературской кухни он разбирался хорошо, и недовольных не было.

В момент одной из таких трапез я увидел, как к нашему столику пробирается взволнованный Костя Ваншенкин. Увидел это и Лемпорт. Борис сидел спиной к подходившему и не сразу смог вмешаться в разыгравшийся скандал. Лемпорт издали понял намерения Ваншенкина и первый перешел в нападение.

— Я знаю, Костя, что ты хочешь сказать, — без предупреждения начал Володя и продолжал: — Ты хочешь сказать, что наш памятник Бернесу — говно. Так вот, стихи твои тоже говно!

Костя затряс контуженной головой и смог ответить только бессвязным взвизгиванием. Все присутствовавшие в зале с любопытством повернули головы в нашу сторону.

И вот каким образом повел себя Слуцкий. Он встал и попытался примиренческим жестом остановить Лемпорта. Но ровно настолько, чтобы не помешать ему высказать еще пару ядовитых фраз. Ваншенкин, видимо, это почувствовал. Повернувшись, молча удалился, предоставив нам лицемереть оскорбленную спину. После инцидента Слуцкий ни словом упрека не обмолвился по этому поводу. Обед прошел в благодушных шутках по поводу случившегося, и нам было ясно, что он на нашей стороне.

Было и посерьезней.

...раздался телефонный звонок. Я был в мастерской один. В трубке услышал знакомый голос Бориса. Слегка взволнованный и необычно низкий:

— Вы, наверное, знаете, что Таня умерла. (Короткая пауза.) Ее похоронили («похоронили», а не «похоронил») на Пятницком кладбище. Я хочу, чтобы вы взяли за сооружение памятника Тане. Это должен быть большой черный камень, и на нем должна (должна!) быть изображена бегущая лань.

Предложение это мне сразу же показалось странным и неприемлемым. Неприемлемым хотя бы потому, что с самого начала исключалась возможность творческого поиска. Это уже было не похоже на того Слуцкого, которого мы знали. Чувствуя внутреннее напряжение в тембре голоса говорящего, я не стал вступать в дискуссию по поводу образа (потом разберемся!). Мне важно было узнать некоторые детали чисто профессионального характера: где достать камень, какой камень, габариты участка и так далее.

В качестве поясняющей справки хочу добавить. К мемориальному жанру мы всегда относились отрицательно. Брались за эту работу неохотно и большей частью из чисто гражданского долга. Так было с памятниками Н.Заболоцкому, Назыму Хикмету, Марку Бернесу и другим. В данной ситуации отказаться мы не имели права. Я спросил Бориса, когда мы встретимся, с тем чтобы вместе съездить на кладбище и совместно обсудить некоторые детали предстоящей работы.

— Сейчас, — безапелляционно и даже как-то зло сказал Слуцкий.

— Сейчас невозможно. Нет Лемпорта, а завтра с утра мы на неделю улетаем в командировку на установку нашей работы.

— Нет. Только сейчас! — так же жестко повторил голос из телефонной трубки.

Я несколько растерялся от необычной неделикатности и настойчивости Бориса. Пустился в пространные объяснения причин невозможности нашей сиюминутной встречи. Слуцкий меня не слышал. Не хотел слышать.

— Ну ладно! — с нажимом сказал он и опустил трубку. Это и был мой последний с ним разговор.

Приходится говорить о личном.

Личное в данном случае таково, что мой отец жил в Саратове, а я на другом конце земли, и мы переписывались с детских моих лет. Отец присылал мне в письмах стихи Слуцкого. «Бог», «Хозяин», «Покуда полная правда...» — эти стихи я получил по почте.

В том же 1967-м, о котором я здесь уже говорил, я посетил Саратов. Сейчас понимаю — «ты» Болдырева оттуда. Мы явно повстречались там, но я запомнил ту встречу.

Сейчас мне кажется, что я вижу тот свой визит в книжный магазин, где Юра состоял в директорах-продавцах.

Поскольку речь о Слуцком, надо сказать — о Борисе Ямпольском. (Я уже приводил его воспоминания о дне похорон Пастернака.) Это саратовский Ямпольский, не тот, не московский.

Этот человек походил внешне на Дон Кихота — высокий, костистый и рыжий. Думаю, ему было лет 45. Он и был саратовским слуцковедом, если не слуцкофилом или даже слуцкоманом. Он своеручно создал — отобрал стихи, отпечатал на пишмашинке, собрал и переплел — четыре тома своего Слуцкого. Вокруг него кучковалась интеллигенция и молодежь, озабоченная литературой. В частности, Любовь Кроваль, уже тогда известная в цехе пушкинистов, ведущая переписку с Булатом Окуджавой в основном на предмет Пушкина, а в миру пребывающая на должности администратора саратовской гостиницы в центре города.

Мой отец был охвачен неистовой деятельностью этого человека по пропаганде Слуцкого. Оттуда шли эти копии, пересылаемые мне. Между прочим, у Ямпольского в гостях я впервые увидел живой почерк Пастернака: письмо Ямпольскому. С этим неподражаемым *БП* без всяких точек в финале эпистолы.

Ямпольский отсидел 10 лет. Его взяли в мае 1941-го за то, что он, старшеклассник, с друзьями-одноклассниками разговаривал о литературе. В качестве вешдока было хранение портрета Троцкого. В процессе реабилитации отсидяга запросил показать ему тот самый портрет. Это была выдранная из школьного учебника фоторепродукция — Луначарский в революционном френче и пенсне.

Ямпольский зарабатывал на жизнь малеванием киноафиш. Художник в некотором роде. Он усмехался по этому поводу.

Был такой вечер. В Саратов из соседнего волжского города приехал довольно известный эстрадный актер с программой в духе Райкина. Ямпольский мне сказал: мы с ним поделники, нас проходило по делу много человек, а осталось только двое, пойдем с тобой на концерт, потом вместе у меня (жена Ямпольского — тоже оттуда, из зоны) посидим-поразговариваем.

Концерт был так себе, мы шли по вечернему Саратову разрозненными кучками, и вдруг ко мне подошел Ямпольский с белыми глазами.

— Он тебя боится, извини.

Пришлось мне развернуться, уйти.

Потом Ямпольский объяснял страх товарища тем, что тот после первой отсидки еще пару раз навещал места не столь отдаленные и больше туда не хочет.

Я передаю воздух эпохи. Чтобы было ясно, как по этому воздуху распространялся Слуцкий. Как и почему.

Я совершенно уверен, что саратовского юношу Юру Болдырева заразил Слуцким Борис Ямпольский, художник захолустного кинотеатра. Так и есть. «В те приснопамятные времена я и познакомил моего стихочера со стихами “из стола” Слуцкого, а самого Слуцкого с моим стихочеем».

Б. Я.

Я слишком знаменитым не бывал,
но в перечнях меня перечисляли.
В обоях, правда, вовсе не в начале,
к концу поближе — часто пребывал.

В двух городах лишь — Праге и Саратове, —
а почему, не понимаю сам, —
меня ценили, восхищались, ратовали,
и я был благодарен голосам,
ко мне донёсшимся из дальней дали,
где почитатели меня издали.

(«Я слишком знаменитым не бывал...»)

Болдырев, не указав инициалы посвящения, написал в примечании к этому стихотворению, что ему неизвестен адресат Слуцкого. Это результат размолвки с Ямпольским. Они по-разному смотрели на принцип издания Слуцкого: Болдырев хотел обнародовать много, Ямпольский требовал отбора. По этой же причине Ямпольский не упомянут в интервью М.Белгородскому (см. ниже), даже в сюжете знакомства Болдырева со Слуцким.

С Борисом Яковлевичем Ямпольским мы больше никогда не виделись. Задним числом я узнал о том, что в самом начале семидесятых у него были недоразумения с КГБ, в которых был замешан и Ю.Болдырев вместе с другими саратовскими «стихочереями», но дело замяли, поскольку одна из потенциальных подследственных покончила с собой и власти во избежание излишнего шума тихо по-партийному отделались газетной статьей «У позорного столба», и фигуранты незаведенного дела рассыпались по стране. Ямпольский оказался в Петрозаводске, а потом в Ленинграде. Перед этим он написал цикл рассказов «58» (имя статьи, по которой сидел, и количество рассказов) и, исчезая из Саратова, запрятал рукопись в подвале своего дома.

Когда повеяло гласностью, что называется, без дураков, я приехал за рукописью — а ее, к ужасу моему, на том месте не оказалось. После уличной встречи с одним из следователей КГБ мне стало понятно, что он знает рукопись, читал ее, и что, значит, она — у них. Могло быть так: за мной как за старшим в тот злополучный вечер послали проследить. Я же, прежде чем войти в свой подъезд, подошел ко входу в подвал убедиться, что он не заперт. Это и насторожило посланного за мной. Увидев, как я спустился со свертком, а вернулся с пустыми руками, он вошел следом и отрыл рукопись. Знать бы мне тогда, что рукопись мою выкрадут — даже не изымут!..

Единственный, кто читал рукопись целиком, — Борис Слуцкий. Память об этом — надпись на подаренной книжке: «Борису Ямпольскому от Бориса Слуцкого. В надежде славы и добра, в надежде и уверенности».

О Слуцком можно смело сказать — *ни дня без строчки*. Книгу под именем Юрия Олеши с таким названием, сшитую другими людьми (М.Громовым при возможном участии В.Шкловского) из разрозненных записей Олеши, Ямпольский не полюбил, а Олешу любил. «Законченное тонет в сырье. Афродита не вышла из пены морской. Но видишь ее! И так соблазнительно вывести!» Что он сделал? Свой собственный монтаж тех же листков из груды папок — по существу и чаще всего стихотворений в прозе. Под рукой Ямпольского первоисточник преобразовался в другую книгу, закруглив ее, то есть выстроив в сюжет от начала жизни героя до конца, оказавшегося вздохом по детству. Олеша считает себя поэтом, и это правильно. Уже где-то на середине пути он говорит, невольно переключаясь с определенным мотивом Слуцкого, далекого от пейзажной лирики:

Береза действительно очень красивое дерево. Я просто, родившись на юге, воспринял ее с настороженностью, с насмешкой, скорее думая о литературных надоевших березах, чем о настоящих.

Некоторые из них очень высоки, объемисты. Белый ствол, прозрачная, ясная листва. Черные поперечные взрезы на коре ствола похожи на пароходы, топоры, на фигуры из диаграмм. В листве сидят чижики, сами маленькие и зеленые, похожие на листья. Одна на пригорке смотрела на меня, как женщина, раздвинувшая вокруг лица края шали...

Надо написать книгу о прощании с миром.

Книга «Прощание с миром» увидела свет в 2013 году (СПб: ИЦ «Гуманитарная Академия»).

В 2017 году в питерском издательстве «Пушкинский фонд» вышла книга «Стихи»: собранные Ямпольским воедино четыре томика, с предисловием Никиты Елисеева¹.

¹ Н.Елисеев ошибся, приписав Л.Лазареву составление и редактуру первой книги Слуцкого. На самом деле это был В.Огнев.

Редакция поблагодарила вдову — Аллу Яковлевну Ямпольскую — «за бережное сохранение “самиздатского” оригинала этой книги, сделавшее возможным ее публикацию». Инициалы посвящения стихотворения «Я слишком знаменитым не бывал...» приведены в этом издании.

Ямпольский, победоносно претерпев нервную битву за вступление в Союз писателей (вкуче со всплывшими обвинениями в когдатошнем якобы предательстве поделльников) и закончив трудовую стезю в качестве мастера по ремонту лифтов, ушел в 2000 году.

Путь Болдырева к Слуцкому начался, по существу, с детства, когда мальчик, оставшийся сиротой, перенес перелом шейных позвонков и на долгие годы залег за чтение. Был тяжелый детдом в Хвалынске, затем саратовский университет, истфак, директорство в магазине «Букинист», собрание самиздата, недреманное око КГБ, изгон из Саратова, Переславль-Залесский, Загорск, семья, скудные литературные заработки на критической ниве и почти все это время — Слуцкий. Сперва — дистанционная любовь к Слуцкому. Читал все, что выходило в свет, собирал все, что ходило по рукам. Потом они сблизятся, и Слуцкий пошутит, сказав Тане:

— Если ты уйдешь от меня, я женюсь на Юре Болдыреве и буду издавать в год по книжке!

В 1989 году Болдырев ответил на вопросы своего старого знакомого Михаила Белгородского:

А познакомились мы осенью 1961 года, в День поэзии. Тогда это был действительно праздник, действительно День, то ли субботний, то ли воскресный. Поэты по книжным магазинам выступали, надписывали книги, разговаривали с читателями, а вечером у памятника Маяковскому шумел поэтический митинг. Я был как раз под впечатлением от той пачечки непечатных стихов Слуцкого и приехал в отпуск в Москву с целью увидеть его, познакомиться, получить автограф. Но с утра позвонил в тот магазин, где должен был выступать Слуцкий, чтобы узнать, как до них добраться, и мне сказали, что он отказался от выступления. А я так настроился на эту встречу! И бросился исправлять оплошность судьбы: в писательской книжной лавке узнал номер его телефона и позвонил. Как я умолял его о какой угодно и где угодно (хоть на улице, хоть в метро) встрече! Как он отрешивался, отпихивался от меня, от моей настырности! А со мной, вовсе не нахальным, будто что-то случилось, будто я услышал зов трубы — я упрашивал, настаивал. И наконец, сдался он: сказал, что через час пойдет в поликлинику и будет проходить мимо станции метро «Сокол», где я должен его ждать. Так мы и встретились. Пока я провожал его, он надписал мне свою первую книгу «Память» (я ее специально вез из Саратова), вписал две строки, выброшенные редактором или цензурой, в стихотворение «Зоопарк ночью» (в одном из изданий будущего года эти строки будут восстановлены), мы поговорили, и он, приглядевшись ко мне, разрешил звонить, когда я буду в Москве. В следующий приезд я уже был приглашен им домой, и впервые передо мной была положена папка с машинописью неопубликованных стихов.

Долгие годы большинство наших встреч происходило по одному и тому же сценарию. Я звонил (а звонить ему я начинал из телефонов-автоматов Павелецкого вокзала), он назначал день и час (или сразу, или просил перезвонить через два-три дня, осведомившись, сколько я пробуду в Москве). Чуть помандражировав перед дверью, я нажимал на звонок, входил, меня на столе ждала папка со стихами, я погружался в нее, выбирая неизвестное мне. Он же в это время кому-то звонил, ему звонили, писал письма, иногда подходил и вставал за моей спиной, всматриваясь в то, что я в эту минуту читал, что-то говорил или отходил молча. Наконец, я переворачивал последнюю страницу, захлопывал папку и подавал ему отобранное мною. Он просматривал, кое-что (немногое) откладывал назад, говоря: «Это не дам», — а все остальное уже окончательно перекочевывало в мой портфель. У нас с ним была договоренность: я мог брать только то, что было в папке в 2–3–4-х экземплярах. Но иногда я не выдерживал, отдельно складывал и то, что было в одном экземпляре, и упрашивал его выдать мне это на несколько дней, соблазняя его тем, что я и на его долю напечатаю.

Когда заканчивалась эта, почти ритуальная часть встречи, начинался разговор. Он состоял из вопросов Слуцкого и моих ответов. О, вопросы Слуцкого! В первый раз они поразили меня донельзя. Да какое дело, думал я, поэту до цен на картошку в Саратове, до положения филологической науки в тамошнем университете, до моего личного бюджета, до того, как

разошлась та или иная (не его) книжка, до наших вернисажей и филармонических концертов, до состояния и наполнения саратовского городского транспорта и до многих подобных вещей? <...>

А еще поражала его необыкновенная чуткость к языку. Стоило возникнуть в моей фразе какому-нибудь необычному, просторечному поволжскому словцу, как Слуцкий коршуном бросался, выхватывал его и спрашивал: что означает? когда и как применяется? насколько распространено? <...>

А потом он говорил: «Ну все, Юра, мне пора». Мы собирались, выходили, и я провожал его то до какой-либо редакции, то до учреждения, то до чьей-то квартиры. Если он не торопился, мы шли пешком. Ходить он любил, ходок был великолепный, 3-4 километра по Москве для него были в удовольствие. <...>

На улице разговоры были повольнее, поразбросанней. Были уже не только вопросы и ответы, но и обмен мнениями, насколько я, всегда очень робевший перед внешне суровым Слуцким, был на него способен. Говорили прежде всего о новых книгах, причем Слуцкий очень любил предупреждать о предстоящем: от него я узнал, что в Калуге выйдет интереснейший альманах «Тарусские страницы», что ожидается выход первой книги Арсения Тарковского, который тогда вовсе не был известен как поэт, только как переводчик.

Как раз с книгой Тарковского «Перед снегом» связан новый, что ли, виток наших отношений. Когда эта книга вышла, я как раз снова был в Москве и купил ее в писательской лавке. Тут же прочитал и тут же (что обычно мне несвойственно) написал рецензию. И отнес ее в «Литературную газету». Одновременно показал Слуцкому. Отпуск мой кончился — я уехал. Через некоторое время получаю от Слуцкого открытку, что он ходил к заместителю главного редактора «ЛГ» Тертеряну хлопотать за мою рецензию. Еще через некоторое время — еще одну, что рецензия появится в одном из ближайших номеров. Все же кому-то рецензия не показалась и в печати не появилась ...<...>

Мы шли из его дома, кажется, в редакцию «Юности». По Ленинградскому проспекту. В разговоре коснулись одного известного поэта. Его стихи тогда оставляли меня совершенно равнодушным, и я отозвался о нем с молодой максималистской небрежностью. Слуцкий остановился, как бы подчеркнув этим важность того, что он сейчас скажет, и произнес следующую тираду: «Юра, нельзя осуждать писателя за невеликий талант. В этом человек не волен и не виноват. Писателя следует судить по тому, как он свой талант — большой или малый — использует. Если не пропивает его, не лжет, если трудится во всю силу своего малого таланта — он заслуживает уважения. Если же большой талант сорит им, использует его во зло — тогда другое дело, тогда судите его, у вас есть на это право». <...>

В 1963 году он предупредил, чтобы я не пропустил первую книгу Арсения Тарковского. Через год он рекомендовал мне выходящую коллективную книгу стихов «Общежитие» и потом спросил меня, кто мне понравился более всего. Сам Слуцкий представлял в этой книге читателю поэта В. Павлинова. Помявшись, но расхрабившись, я ответил: «Сухарев». «Вы правы», — отчеканил Слуцкий. С Дмитрием Сухаревым я познакомился много лет спустя, на исходе 1974 года, но до сих пор считаю, что свел нас Слуцкий, которого обаятельнейший Сухарев любит преданной любовью.

— Чем же вы мотивируете свою оценку Слуцкого — «крупнейший советский поэт»?

— «Крупнейшим» я его не называю — так я думал о нем в 60–70-е годы. Я его называю «великим», последним великим русским поэтом XX века. И произнес это впервые над его хладным телом за несколько минут до того, как оно исчезло в печи Митинского крематория, думаю, немало ошарашив этим тех, кто присутствовал на панихиде. <...>

На чем основано это мое убеждение? Прежде всего на том, что Слуцкий думал не до стиха и не оформлял свои мысли в строки, как долго говорили о нем. Он думал стихом и сам не всегда понимал то, что в стихе сказало. Проблемы ремесла, мастерства для Слуцкого как бы не существовало. Это был поэтический «сосуд избранный», стихи лились из него свободно. В его рукописях почти отсутствуют помарки. Однажды, проснувшись ночью, Слуцкий записал стихотворение длиной в 60 строк за 23 минуты — время, достаточное только для записи, но не для «сочинения», не для «творческих мук». Когда в 1977 году умерла его жена Татьяна Алексеевна (оговорка; Татьяна Борисовна. — И. Ф.) Дашковская, поэт, прежде чем навсегда замолчать (для него наступили 9 лет депрессии, когда он не мог уже даже рифмовать), три месяца работал как одержимый, выплескивая все новые и новые стихи, заполнившие несколько объемистых гроссбухов. <...>

И еще одно. Слуцкий — пророк. Литератору средней руки, хоть и талантливому, это качество не дано. А внимательно читая стихи Слуцкого, видишь тьму пророчеств, как уже сбывшихся, так и еще не проверенных, но поражающих силой иеремиад. Задолго до Чернобыля, до первых известий о СПИДе написано его стихотворение «Пока на участке молекулы...», предвещавшее генетическую опасность, с которой мы столкнулись лицом к лицу лишь сейчас.

К концу жизни пророческий элемент у Слуцкого учащается и усиливается. Он прозревает даже в те эсхатологические времена, когда на Земле исчезнет органическая жизнь:

...но я с надеждой не расстанусь,
в отчаянии не останусь.
Ну что ж, уверуем, друзья,
в геологическую данность.
Когда органика падет
и воцарится неорганика
и вся оценочная паника
в упадок навсегда придет,
тогда безудержно и щедро —
Изольду так любил Тристан —
кристалла воспоеет кристалл,
додекаэдр — додекаэдра.

<...> Поэтическое наследие Слуцкого — это 4000 стихотворений, то есть 8–9 томов, из которых при его жизни была опубликована лишь четверть. Эта цифра настолько огорошивает, что люди, знакомые с поэтическим трудом, часто переспрашивают: «4000 строк?» — «Нет, стихотворений!» <...>

Он ненадолго обманулся после антихрущевского переворота, поверив, что «оттепель» возвращается и наконец-то социалистический идеал будет воплощен в жизнь. Гораздо быстрее других писателей, уже через несколько месяцев, Слуцкий понял тщету этих надежд, и тогда его вера рухнула моментально и окончательно. Во второй половине 60-х годов он начал рвать со всем этим:

Я в ваших хороводах отплясал.
Я в ваших водоёмах откупался.
Наверно, полужизнью откупался
за то, что в это дело я влезал.

Я был в игре. Теперь я вне игры.
Теперь я ваши разгадал кроссворды.
Я требую раскола и развода
и права удирать в тартарары.

<...> Хочешь не хочешь, можешь не можешь — книгу о Слуцком надо писать. А я хочу. Значит, надо и смочь. Ведь на сегодняшний день, если говорить без ложной скромности, я больше, чем кто-либо, знаю о нем и понимаю в нем, в его судьбе, в его поэзии.

Такой книги не произошло. Юрий Болдырев ушел в 1993-м на пятьдесят девятом году жизни. Его похоронили в могилу Слуцкого, а потом и его жену.

Март 1968 года. Дома, в Лаврушинском переулке, мертвый Сельвинский лежал на скамье. Вошедший в квартиру Слуцкий, ни с кем не здороваясь, направился прямо к Сельвинскому и поцеловал его в лоб.

Неладно было и в Харькове, с родителями Слуцкого. Грубо говоря — коммунальная склочка. Пришлось ходить по инстанциям, родился документ (исх.828 5.П-68):

Прокурору гор. Харькова
Старшему советнику юстиции
тов. Бобкову Д.Н.

Уважаемый Дмитрий Никитович!

В Харькове, по адресу Московская ул., д.11 кв.31 проживают престарелые родители известного советского поэта Б.А.Слуцкого, занимающие одну комнату в двухкомнатной квартире. Их соседи по этой квартире — гр-ка Чигина Г.А. и ее муж постоянно терроризируют, оскорбляют стариков, лишая их покоя и отдыха. Мать т.Слуцкого — старая учительница, пенсионер, сообщает, что они были вынуждены пожаловаться в завком по месту работы Г.А.Чигиной, которая в связи с этим получила предупреждение и это в течение некоторого времени сдерживало ее. Но затем издевательства возобновились.

Секретариат Правления Союза писателей СССР просит Вас поручить проверить жалобы А.Н. и А.А.Слуцких и принять по отношению к гр-нам Чигиным необходимые меры предупреждения.

Не откажите в любезности известить нас о результатах.

С уважением

К.Воронков

Секретарь Правления Союза писателей СССР

Чем дело кончилось, неизвестно.

В том 1968 году обострилась борьба за Маяковского. Начиная с 1964 года под Лилию Юрьевну Брик гласно и тайно велся подкоп давними недоброжелателями, продолжателями своих предшественников из двадцатых — тридцатых годов. Они группировались вокруг Музея Маяковского, с 1937 года находившегося в Гендриковом переулке, где Маяковский жил с Бриками, в 1967-м закрытого по инициативе сестры Маяковского Людмилы Владимировны, а в 1968 году переехавшего на Лубянский проезд, где поэт застрелился. Директором музея и одновременно помощником идеолога партии М.Суслова был В.Воронцов, который в паре с литкритиком А.Колосковым напечатал фельетон «Любовь поэта» («Огонёк», 1968, № 16), затем А.Колосков уже без соавтора продолжил погром статьей «Трагедия поэта» («Огонёк», 1968, № 23, 26). Тираж французской газеты «Юманите» со статьей Эльзы Триоле в защиту Лили Юрьевны в СССР был конфискован.

Основная идея кампании состояла в том, что Брики с их бражкой угробили гения, это было повтором анонимных телефонных звонков тридцатого года в квартиру Брик (угробили Маяковского!), а главной героиней его лирики была не Лиля, но Татьяна Яковлева. Имена героинь идентифицируют их национальную принадлежность и существо идущих боестолкновений.

У Маяковского на самом деле был роман с этой русско-парижской красавицей, и стихи были замечательные («Письмо Татьяне Яковлевой»), и Лиля Брик претерпела нешуточное смятение в ту пору, но эти женские фигуры в судьбе Маяковского совершенно несопоставимы.

Грешки и грехи Лили Юрьевны Слуцкому были хорошо известны, но истина дороже. Да, первой героиней его лирики была не она — Мария «Облака в штанах» возникла из сплава Софьи Шамардиной и Марии Денисовой, но Лиля отменила всех предыдущих и последующих, нередко безжалостно разрушая его матримониальные планы. Она оставалась единственной. Однолюбцу Слуцкому это было понятно как никому.

Бесстыдная возня вокруг Маяковского возмутила многих. Константин Симонов дважды, 29 декабря 1966 года и 13 мая 1968 года, пытался опубликовать открытые письма (первый раз в «Известиях», второй — в «Литературной газете») по поводу скандальных статей Воронцова и Колоскова, фальсифицирующих биографию и литературное наследие Маяковского. Письма Симонова не были напечатаны.

Семен Кирсанов в письме в ЦК КПСС от 11 июня 1968 года также просил «принять меры» против «<...> кампании травли и клеветы по отношению к женщине, которая была любимой подругой Маяковского до конца его жизни». С аналогичными письмами в ЦК КПСС обращались также К.Симонов (20 мая 1968) и З.Паперный (19 июня 1968).

Слуцкий написал первому человеку государства:

28 июня 1968 г.

Генеральному секретарю Центрального Комитета КПСС
Брежневу Л.И.
от члена КПСС Слуцкого Б.А.

Уважаемый Леонид Ильич!

Хочется привлечь Ваше внимание к некоторым обстоятельствам литературной жизни.

На протяжении последних лет литературоведы Воронцов и Колосков выступают со статьями, посвященными отношениям Владимира Маяковского с его семьей и друзьями.

Главная задача этих выступлений — опорочить Лилию Юрьевну Брик, самого близкого Маяковскому человека, женщину, которую он любил всю жизнь и о которой писал всю жизнь.

Таким образом, накануне юбилея поэта ставится под сомнение большая часть его любовной лирики.

С развязной грубостью, в манере детективного бульварного романа, Воронцов и Колосков пытаются доказать, что ближайшие друзья Маяковского — Асеев, Третьяков, Осип Брик, Кирсанов активно участвовали в травле, подготовившей самоубийство поэта. В том же

уничжительном духе трактуются многие выдающиеся деятели советской культуры, например, Илья Эренбург.

Оскорбляются люди, которых Маяковский любил, мнением которых он дорожил, вместе с которыми он строил советскую культуру. Замалчиваются десятки печатных заявлений Маяковского с высокой оценкой этих людей.

Оспорить эти утверждения Воронцова и Колоскова в печати практически невозможно. Я (так же, как и многие другие литераторы), обращался в «Известия» и «Литературную газету», но мне было отказано.

Таким образом, совершенно новая «концепция» жизни и творчества Маяковского утверждается не в результате научной дискуссии, а с помощью лживых и сенсационных фельетонов «Огонька».

Прошу Вашего вмешательства.

Борис Слуцкий,
член КПСС с 1943 года. Партийный билет № 4610778.

На стол генсека это письмо было положено с недоброжелательной сопроводительной справкой:

Автор письма Б.Слуцкий считает неправомерным появление в журнале «Огонек» (№№ 16, 23, 24, 26 за 1968 г.) статей об отношениях В.Маяковского с его семьей и другими.

Тов. Слуцкому сообщено, что редакция газет и журналов предоставлено право самим решать вопрос о целесообразности публикации тех или иных статей, не имеющих официального характера.

Зам. зав. Отделом пропаганды ЦК КПСС Т.Куприков
Зав. сектором В.Власов

4.VI.68г.

На справке помета: «В архив. 8.VII/68 г. Яковлев».

Дело тянулось долго. В 1978 году вышел первый том 12-томного Собрания сочинений В.В.Маяковского (издание «Библиотеки “Огонька”»). В первом томе в пространный комментарий к одному месту автобиографии «Я сам»: «РАДОСТНЕЙШАЯ ДАТА. Июль 915-го года. Знакомлюсь с Л.Ю. и О.М.Бриками» — было повторено все, что писалось в огоньковских статьях. Была не напечатана реплика Симонова «О пользе добросовестности», написанная в октябре 1978 года для «Нового мира» по случаю выхода первого тома.

И вечный бой...

В августе 1968-го советские войска вошли в Чехословакию, Евтушенко написал «Танки идут по Праге». Стихотворение мгновенно разлетелось по всему миру. Реакция Слуцкого на эту вещь нам неизвестна, но можно предположить: не одобрял. Государственник думал о стойкости державы и прочности связей с союзниками. Но камень на душу лег наверняка. Тем более что на Красную площадь вышли восьмеро молодых людей с протестом, зачитанным с Лобного места, и были тут же арестованы. Старой знакомой, некогда пламенно непримиримой комсомолке, он сказал с усмешкой:

— Если вы не вышли на Красную площадь, значит — постарели.

В Чехословакии очень любили Слуцкого, всегда тепло встречали, считали его одним из крупнейших поэтов XX века, щедро печатали его стихи в литературной периодике и в антологиях, но первая книга на чешском языке появилась в 1985-м. В 1961-м в Братиславе вышла первая зарубежная книга Слуцкого — переведенная на словацкий язык книга «Время».

Он был не один в таком состоянии. То же самое испытывал Твардовский.

В ту пору — сентябрь 1968 года — Самойлов писал Слуцкому:

Здравствуй, Борис!

Я уже больше двух недель в больнице. До этого чувствовал себя очень скверно, как оказалось, для этого были серьезные основания. Мой друг детства профессор Рожнов посмотрел меня и нашел, что нервы, а также (и особенно) сосуды сердца у меня в прескверном состоянии. Велел немедленно прекратить пить (ни грамма!). Он предложил мне лечь в его отделение при

(не пугайся!) институте Сербского. Отделение это наркоматическое, т.е. здесь отучают, и кажется успешно, от алкоголя. Я решил пойти сюда, несмотря на всю непривлекательность обстановки, ибо считал, что в обычном кругу пить не брошу, да и не смогу толком организовать лечение. Место своего пребывания я держу в секрете, потому что неохота, чтобы это разошлось кругами по Москве, да еще с обычными прибавлениями. Так что и ты никому не говори, где я, а слухи опровергай.

Неясное, неопределенное время. О том своем личном времени Самойлов сказал:

Приобретают остроту,
Как набирают высоту,
Дичают, матереют,
И где-то возле сорока
Вдруг прорывается строка,
И мысль становится легка.
А слово не стареет.

(«Приобретают остроту...»)

Следил ли Слуцкий за своим возрастом? С его любовью к счету это было неизбежно.

В октябре 1969 года ушел патриарх словесности Корней Иванович Чуковский. Слуцкий проводил его в последний путь прочувствованным словом:

Весь русский XX век читал его. Все возрасты были покорны этой любви. Сначала это были старшие возрасты, интересовавшиеся думскими отчетами. К.И. рассказывал мне, когда разговор почему-то зашел о П.Н.Милюкове, что тот выписывал ему едва ли не первый крупный гонорар — сторублевку. <...>

Корней рос не как дерево, а как большой завод. Не из случайно брошенного семечка, а по обдуманному плану. Только план он сам обдумывал и сам осуществлял.

Подтверждаю фактами.

Корней первый детский поэт в истории не только советской, но и русской поэзии. Однако «Крокодилу», написанному в 1917 году, предшествовала статья «Лидия Чарская», короткая и безжалостная расчистка почвы для всего, что было впоследствии сделано в детской литературе.

Вот как эта статья начинается:

«Слава богу: в России опять появился великий писатель, и я тороплюсь поскорее обрадовать этой радостью Россию.

Открыла нового гения маленькая девочка Леля. Несколько лет назад Леля заявила в печати:

«Из великих русских писателей я считаю своей любимой писательницей Л.А.Чарскую».

А девочка Ляля подхватила:

«У меня два любимых писателя: Пушкин и Чарская».

«Своими любимыми писателями я считаю Лермонтова, Гоголя и Чарскую».

Эти отзывы я прочитал в детском журнале «Задумчивое слово», где издавна принято печатать переписку детей, и от души порадовался, что новый гений сразу всеми оценен и признан. Обычно мы чествуем наших великих людей лишь на кладбище, но Чарская, к счастью, добилась триумфов при жизни. Вся молодая Россия поголовно преклоняется перед нею, все Лилечки, Лялечки и Лелечки». <...>

После удара, нанесенного Белинским, от Бенедиктова кое-что осталось, например книги в «Библиотеке поэта», выходящие и в наше время.

После расправы с Чарской — ничего: ни рожек, ни ножек.

В той же книге «Лица и маски» есть статья «Некрасов и модернисты» — предтеча всего чуковского некрасоведения; статья «О детском языке» — набросок книги «От двух до пяти»; статья «Шевченко», предшествовавшая его многолетним работам над литературой советских народов.

Когда это писалось и печаталось, общим местом было обвинение Чуковского в легковесности, в эстрадности. Его ставили рядом с Петром Пильским. От него хотели отшутиться.

А на самом деле вышло, что он один из самых сознательных и последовательных литераторов нашей литературы, что работы, начатые в 25 лет, продолжались и в 75, а в 80 лет — завершились.

На каких людей заносил свое легкое перо Корней! Список его противников, его жертв, его оппонентов — захватывающее чтение. Всякая легкая и ранняя слава настораживала его, заставляла пустить в ход свои контрольно-измерительные инструменты.

Какие люди пытались от него отшутиться!

Оказалось, что с Корнеем шутки плохи.

Проверим — через 60, 50, 40 лет — его оценки, пересмотрим его приговоры.

Разве мы не думаем о прозе Мережковского и о стихах Гиппиус того же, что Чуковский осмелился 60 лет тому назад сказать об этих славных и знаменитых тогда писателях?

ОН БЫЛ ПРАВ. Если Чуковскому-критику будет поставлен отдельный памятник, на нем следовало бы написать именно эти слова. Он был прав, если не всегда, то слишком часто.

Он был прав, когда смеялся над эгофутуристами и когда извлек из забвения Слепцова. За одного Слепцова ему полагается вечная память и вечная благодарность.

Он был прав, когда в маленькой статье «Мы и они» предсказал появление массовой культуры и дал набросок ее теории. Он был прав.

Слуцкий не имел детей.

В 1971 году он напечатал в «Юности» (№8) стихотворение «Отец».

...Я помню, как я приехал,
вызванный телеграммой,
а он лежал в своей куртке —
полувоенного типа —
в гробу — соснового типа, —
и когда его опускали
в могилу — обычного типа,
тёмную и сырую,
я вспомнил его
выключающим свет по всему дому,
разглядывающим наши письма
и дающим нам образование.

В рукописи после опубликованного текста — запятая и строка «и тихо заплакал».

Так и начались его семидесятые годы.

В семидесятых рождались уже поэтические правнуки Слуцкого. В 1974 году на Урале родился Борис Рыжий. После его ранней самовольной кончины в 2001 году Д.Сухарев писал: «Для него остались значимы и поэты Великой Отечественной (в первую очередь Борис Слуцкий), и поэты тридцатых (больше других Владимир Луговской)». Не только.

Там тельняшку себе я такую купил,
оборзел, прокурил самокрутками
пальцы.
А ещё я ходил по субботам на танцы
и со всеми на равных стройбатовцев бил.
Боже мой, не бросай мою душу во зле,
я как Слуцкий на фронт,
я как Штейнберг на нары,
я обратно хочу — обгоняя отары,
ехать в синее небо на чёрном «козле».

(«Горный инженер»)

У мальчиков, рожденных в семидесятых, были по преимуществу другие предпочтения. Бродский, в основном. Немногие из них догадывались, что кроме отцов бывают и другие (пра)родители...

Крутизна, правдивость, жалостливость, рыжизна, «мальчик-еврей», «я обратно хочу», общага и реврамантика, пионерские горны, Первомай и 7 ноября, рабочая окраина и последний трамвай — весь разброс советской знаковости в неумолимом потоке новых времен. Слуцкий присутствует при сем как *авторитет*. В общем и по частностям.

Я долго не мог понять, откуда у Рыжего появилась такая тяга к поэту Николаю Огареву. Он вспоминает его не раз, в частности:

Парк осенний стоит одиноко, и к разлуке и к смерти готов. Это что-то задолго до Блока, это мог сочинить Огарёв.	Что написано, по крайней мере в первых строчках, припомни без зла. Не гляди на меня виновато, я сейчас докурю и усну — полсгнившую изгородь ада по-мальчишески перемахну.
--	--

(«Осыпаются алые клены...»)

Не исключено, что здесь надо искать Слуцкого, намного раньше тоже не раз окликавшего не слишком знаменитого предшественника:

И печаль — это форма свободы.
Предпочел ведь ещё Огарёв
стон, а не торжествующий рёв,
и элегию вместо оды.

Право плача,
немного знача
для обидчика —
можно и дать, —
в то же время большая удача
для того, кому нужно рыдать.

И какие там ветры ни дуют,
им не преодолеть рубежи
в тёмный угол,
где молча тоскуют,
и в чулан, где рыдают в тиши.

(«Происхождение элегии»)

Разумеется, не все так просто — взял да увел у старшего поэта мысль или героя. Но Рыжий это делал. Слуцкий, что называется, дает наводку. То есть учит. Ученик усваивает. Начальной строкой Слуцкого «Мои друзья не верили в меня» он открывает одно из своих стихотворений, без ссылки на автора. Слуцкий и сам берет, например, у Пушкина целиком строку «Над вымыслом слезами обольюсь» («Элегия») в концовку своего стихотворения «Желание поест». В другом стихотворении Рыжего («До пупа сорвав обноски...») эпитет «седеющей груди» пришел к Рыжему от Слуцкого: «Старые мужа, бия в грудь свою, седую и худую...» («Вот ещё!»).

До пупа сорвав обноски,
с нар полезли фраера,
на спине Иосиф Бродский
напортачен у бугра.

Начинаются разборки
за понятия, за наколки.
Разрываю сальный ворот:
душу мне не береги.
Профиль Слуцкого наколот
на седеющей груди.

Домашняя бесцеремонность законного наследника.

Аркадий Подкопаев

Первая кровь

Рассказ

На днях сын привел домой девушку. Увидев Катю, я почувствовал сильный укол зависти — в его возрасте я бы никогда не решился подойти к такой красавице.

Жена накрыла на стол. Мы выпили за знакомство и закусили. Повисла пауза. Катя обвела глазами комнату. Ее взгляд остановился на нашей свадебной фотографии.

— Вы такие молодцы, — сказала Катя. — Целых двадцать лет вместе! А как вы познакомились?

Мы с женой переглянулись.

— Мы в школе вместе учились, — промямлил я.

— Да не скромничай ты! — жена взяла меня под руку и прижалась щекой к плечу. — Володя отбил меня у солнцевского авторитета.

— Да вы что! — восхитилась Катя.

— Папа у меня ого-го, — подтвердил сын с набитым ртом.

— А какие он мне письма писал! — воскликнула жена. — Хотите, почитаю?

— Хочу! Хочу! — захлопала Катя в ладоши.

Я осторожно высвободил руку. Краем глаза увидел, как на пиджаке расплывается пятно от майонеза. И склонился над тарелкой с борщом, чтобы никто не заметил, как я покраснел.

Двадцать лет назад наша семья переехала в только что отстроенное Ново-Переделкино. Между полупустыми многоэтажками гуляло гулкое эхо. В самом дальнем от центра районе наш дом был последним — сразу за ним на дороге стоял знак с перечеркнутым словом «Москва». За окном до самого горизонта простирался лес. Едва не задевая верхушки деревьев, пассажирские лайнеры заходили на посадку во Внуково. И временами их подрезали бумажные самолетики, которые кто-то запускал с последнего этажа соседней башни.

С двенадцати лет я мечтал о том, чтобы начать свою жизнь с чистого листа. И для этого не было лучшего места, чем только что открывшаяся школа, где все будут

Подкопаев Аркадий Вадимович родился в 1974 году, окончил Московский государственный лингвистический университет по специальности «переводчик с португальского и английского языков». Учился в мастерской киносценаристики на Высших курсах сценаристов и режиссеров, в Нью-Йоркской киноакадемии. Работал корреспондентом на радио «Голос России», переводчиком и оператором на нефтяных платформах в Каспийском море. Управлял компанией в сфере морского транспорта и логистики. Печатался в журнале «Искусство кино». В «Дружбе народов» его первая публикация.

новенькими. Там, находясь в равных стартовых условиях с одноклассниками, я рассчитывал наконец стать тем, кем являлся в глубине души — обаятельным заводилой, остроумцем и душой компании. В предыдущих школах, куда я приходил зачастую посреди учебного года, мне мешала раскрыться давно сложившаяся иерархия. Я также надеялся, что в своем десятом «А» встречу, наконец, первую любовь. Или хотя бы расстанусь с тяготившей меня девственностью.

Накануне 1 сентября, задыхаясь от предчувствия счастья, я записал в дневнике:

«Супермен — моя цель

Супермен — мой идеал

Мой супермен — неповторим

Я буду им!

Рельефная мускулатура, умение переносить все физические трудности, пусть не насвистывая песню, а сжав зубы, гордая походка, вечно стройный с развернутыми плечами, ходить, не делая лишних движений, то есть не стараться придавать лицу что-то особенное и не обращать внимания на различные случаи».

К дневнику прилагался подробнейший график занятий, которые мне помогут довести себя до совершенства. Уже в шесть утра я должен был отправиться на пробежку, после совершить водные процедуры, в семь — повторить английский, ровно в восемь — зайти в класс — бодрым, подтянутым и излучающим уверенность. При моем появлении одноклассники тут же замолкают, их взгляды обращаются на меня — девушки смотрят с восхищением, мальчики с завистью. Я же буду вести себя со всеми подчеркнуто дружелюбно. Чтобы не терять ни минуты, на уроках я буду незаметно упражняться с кистевым эспандером.

Планируя новую жизнь, я заснул далеко за полночь. И проснулся от того, что мама трясла меня за плечо.

— Ты не заболел? — тревожилась она. — Уже полвосьмого.

Часом позже я ввалился в свой класс — на щеке не до конца рассосался рубец от подушки, волосы были всклокочены, на лице подсыхали остатки яичницы, второпях приготовленной мамой. Одноклассники встретили меня смехом и издевательскими репликами.

Я опоздал всего на пятнадцать минут. За это время все ученики перезнакомились. И тут же безошибочно схватили свои роли, словно пальто и куртки в гардеробе. К моему приходу в классе уже были заводила, весельчак, красавчик и силач. Равно как ботан, тихоня, толстяк и горстка серых изгоев.

Мне же, как всегда, пришлось довольствоваться ролью человека вне системы. Не свой и не чужой. Ни рыба, ни мясо. Ни то, ни се. Пятое, десятое.

На переменах я держался особняком. Украдкой наблюдая за резвящимися одноклассниками через отражение в стекле, под которым висели фотопортреты членов Политбюро. Я не хотел никому навязывать свою компанию, но внутренне трепетал от ожидания, что вот-вот кто-то подойдет ко мне с предложением дружбы. Тиская в кармане эспандер, я растер ладонь до кровавых мозолей.

И тут ко мне подбежал паренек из нашего класса. Кажется, его звали Кеша.

— Ты на Шолохова живешь? — торопливо проговорил он.

— На Боровке, — ответил я. — А ты?

— Тебя уже прописывали?

— Не знаю, — сказал я. — Пропиской родители занимаются.

— Ты че, тупой? — удивился Кеша. — Звездюлей от солнцевских еще не получил?

Мы как переехали, мне сразу нос сломали.

Он не без гордости показал на чуть свернутый вправо нос.

— За авторитета у них Мага, — сообщил Кеша. — Настоящий зверь. Его даже менты ссут.

Я изменился в лице.

— Да ты не бзди, — успокоил меня Кеша. — Пацаны с понятиями. Бьют до первой крови. А если с бабой идешь, вообще не трогают.

— Давай дружить, — мой язык с трудом провернулся в пересохшем рту.

Но Кеша уже преградил путь двум другим одноклассникам. И горячо заговорил, показывая на сломанный нос.

У меня засосало под ложечкой.

Переезжая вслед за отцом по военным гарнизонам, за десять лет учебы я поменял ровно столько же школ. И за все это время меня ни разу не били. Не потому, что мне так везло с соседями по двору или по парте. И уж, конечно, не потому, что со мной боялись связываться. Просто я всегда предпочитал конформизм конфронтации. Иначе говоря, был труслив, но при этом находчив и изворотлив. И еще умел сносить унижения с невозмутимым видом, заставляющим моих обидчиков усомниться в том, что они действительно причиняют мне страдания. В замешательстве они опускали руки и разжимали кулаки.

Помню, классе в пятом мы играли на перемене в прятки. Я затаился за кустом, выжидая удобного момента. В это время мимо проходил кто-то, напевая песенку из мультфильма:

— Теперь я Чебурашка, и каждая дворняжка при встрече сразу ...

Тут за кусты заглянул здоровяк из шестого «Б».

— ... лапу подает, — закончил он куплет и протянул мне руку, и я немедленно пожал ее с заговорщической улыбкой, которая словно говорила «тссс, только не спали меня».

Выкручивая мне руку, он заорал дурным голосом:

— Ребзя, тут в кустах дворняжка. Ату ее!

Согнувшись пополам от боли, я принялся тявкать и вилять воображаемым хвостом. Здоровяк отпустил мою руку и в замешательстве попятился, будто у меня было бешенство. А потом развернулся и бросился бежать.

И в продолжение той же темы: всякий раз, когда моей сменкой или шапкой играли в собачку, я делал вид, что получаю от игры не меньшее удовольствие, чем мои мучители. И они тут же теряли ко мне интерес.

Я также принуждал обидчиков логически обосновать необходимость издевательств или насилия. Сначала я сбивал их с толку неожиданным комплиментом.

— Вот ты, кажется, хороший парень. Из интеллигентной семьи, — загнанный в угол, говорил я дворовому питекантропу в тот момент, когда он заносил над моей головой палку с гвоздем. — Но ведешь себя будто пэтэушник.

— Откуда ты знаешь, что я учусь в ПТУ? — пугался он, будто столкнувшись с ясновидящим.

Пользуясь его замешательством, далее я предлагал задуматься, чего он пытался добиться своей агрессией.

— Ты вот скажи, что я тебе сделал? Зачем ты хочешь пробить мне голову? Что тебе это даст? Ты станешь счастливее? Тебя будут любить девчонки?

Питекантроп в сердцах сплевывал под ноги, отбрасывал палку и уходил прочь, жалобно бормоча под нос что-то неразборчивое.

Бывало, конечно, и такое, что, несмотря на все мои психологические уловки, агрессоры все равно жаждали крови. И тогда мне ничего не оставалось, как бежать. К старшим классам я быстрее всех преодолевал стометровку. И меня даже зазывали в школу олимпийского резерва по легкой атлетике.

Между тем вокруг Кеши сгрудились старшеклассники. Наслаждаясь вниманием, он в лицах изображал пережитую им расправу. И предвещал всем в скором времени такую же участь. Парни горячо заговорили, обсуждая план спасения.

Я подобрался поближе и прислушался.

Самые воинственные хорохорились, грозясь дать солнцевским решительный отпор. Они обменивались рецептами набивания костяшек. Призывали друг друга завести толстые куртки, которые будут поглощать кинетическую силу ударов. И купить штаны свободного кроя, которые не будут препятствовать махачу ногами. И, конечно же, не обошлось без демонстрации приемов единоборств, почерпнутых из шаолиньских фильмов в видеосалоне. Так Кеше во второй раз сломали нос. Жалобно завывая, он побежал в туалет замывать кровавые сопли.

Более осторожные предлагали сплотиться перед лицом общей опасности. Встать плечом к плечу и спина к спине. Или, другими словами, сбиться в шоблу и повсюду ходить вместе. Но практически все они были из хороших семей с интеллигентными родителями. А значит, были патологически не способны договориться о том, кто в банде станет главным.

Разругавшись из-за власти, после уроков одноклассники разбрелись по домам.

Я же переминался на школьном крыльце, никак не решаясь сделать первый шаг во враждебный мир.

— У меня дома есть самоучитель по каратэ, — ко мне подошел высокий и тонкий, как макаронина, Вячик. — Хочешь, дам почитать?

Я с готовностью согласился. Прижимаясь друг к другу, мы зашагали к его многоэтажке.

Позднее я понял, что Вячик просто хотел, чтобы я проводил его до дому.

Но это его не спасло.

Мы прошли в подъезд и зашли в лифт. Вячик нажал на кнопку своего этажа. Двери уже почти закрылись, когда между створками вдруг просунулась чья-то рука.

— В-И-Т-О, — успел я прочесть фиолетовую татуировку на желтых от никотина пальцах.

Следом появилась вторая рука. Двери разжали, и в кабинку ввалился коротышка в спортивных брюках и кожаной куртке.

Умея чувствовать опасность, я немедленно похолодел.

— Извините, мы вас не видели, — сказал Вяча. — Нам десятый. А вам?

Коротышка достал сигарету, неторопливо прикурил от зажигалки. Не дождавшись ответа, Вяча потянулся к кнопке, но коротышка с силой ударил его по руке.

— Уя, — вскрикнул Вяча, и глаза его мгновенно наполнились слезами.

Коротышка поднес огонек зажигалки к кнопке десятого этажа. Мы заворуженно смотрели, как плавится, желтея, пластмассовый кругляш. Кабина наполнилась едким дымом.

Коротышка встал в дверях, поднял лицо к шахте и пронзительно свистнул. Через секунду сверху донесся ответный свист.

Коротышка вернулся в кабину, нажал на последний этаж. Двери закрылись. Лифт поехал вверх.

Это был лифт на эшафот.

Коротышка затягивался сигаретой, не сводя с нас немигающих глаз. Мы с Вячиком смотрели в пол, словно надеясь, что, когда мы наберемся храбрости и поднимем глаза, там никого не будет.

Кабина, дернувшись, остановилась. Двери разъехались в стороны. Коротышка подтолкнул меня к выходу. Я уперся в дверной проем, и тогда он с размаху вцепил мне поджопник. Я вылетел из лифта, как пробка. Следом торопливо вышел Вячик.

Коротышка пошел к лестнице. Он не оглядывался, зная и так, что мы покорно следуем за ним.

Мы вышли на лестничную площадку.

Там стояли пятеро. Они сосредоточенно грызли семечки, курили и беспрерывно сплевывали.

Мой мозг заметался в черепной коробке, как крыса в западне.

— Мага, принимай товар, — коротышка подтолкнул нас к высокому, плечистому кавказцу. В отличие от подельников в спортивных штанах и кожаных куртках на Маге был костюм-тройка и до блеска начищенные штиблеты. Он читал книгу, поднеся ее к тусклому свету лампочки. Присмотревшись, я увидел на обложке название «Cien acos de soledad».

Мага нехотя оторвался от книги. Нетерпеливым движением головы смахнул с глаз челку. Посмотрел на нас умными, внимательными глазами. И перевел взгляд на нашего провожатого.

— Мне никак не понять, — заговорил Мага. — Вас двое, Вито — один. Почему вы не оказали ему отпор? Он ведь слаб и неразвит.

Мага ссутулил плечи и втянул грудь, изображая немощь Вито. Гопники гыгыкнули. Вито обиженно шмыгнул носом.

— И в самом деле, почему? — подумал я. А вслух горячо возразил:

— Что вы! Он такой сильный!

Я даже было потянулся, чтобы пощупать бицуху Вито, но тут же отдернул руку, боясь, что мое движение истолкуют как акт агрессии.

Солнцевские весело рассмеялись. Мы с Вячиком тоже разулыбались, довольные, что атмосфера разрядилась.

— Вас уже прописывали? — все еще смеясь, спросил Мага.

— Нет, — улыбнулся Вячик в ответ.

— А меня да, — весело ответил я. Едва удержавшись, чтобы не подмигнуть заговорщически.

Вячик возмущенно посмотрел на меня. Он хотел что-то сказать, но промолчал.

— Да ну, бля? Кто? Где? Когда? — посыпались вопросы с разных сторон.

— На Мухина. Месяц назад. Мне даже нос сломали, — сказал я. — Смотрите.

Я показал им свой нос, сломанный три года назад при падении с велосипеда.

— Дюша, — позвал Мага.

Ко мне подошел белобрысый качок. Взяв меня за лицо, он поднял мою голову ближе к свету. Громко сопя, он сосредоточенно изучал мои лицевые кости, как пластический хирург, проводящий осмотр.

— Гонит, — уверенно сказал Дюша. — Я свою работу знаю.

— Ложь — это грех, — заметил Мага. — Даже если она во спасение.

Мага показал на меня.

— Вито, Дюша и я займемся этим внизу. А вы этого обработайте. Но помните — только до первой крови.

Гопники неохотно кивнули. Было видно, что это правило им не по душе.

Меня подтолкнули к лестнице.

— Я же вижу, — тут я схватил Магу за руку. — Я же вижу, вы интеллигентный человек. Не какой-то там пэтэушник.

— Да, — сказал Мага. — Я учусь в испанской спецшколе. И собираюсь поступать в МГИМО. Но вот Дюшу и Вито выгнали из профтехучилища. И я не потерплю снобизма по отношению к моим друзьям из другой социальной страты.

— Но чего вы этим добьетесь? — возопил я. — К чему вам чужие страдания?

— Нашим миром правит зло, — сказал Мага. — Ему невозможно противостоять.

Но его можно возглавить. Загнать его в жесткие рамки. И исподволь свести на нет. Пять лет назад, когда я переехал в Солнцево, на районе царил беспредел. А сейчас у нас кодекс чести: бить до первой крови, лежащего не трогать, парня с девушкой отпускать с миром.

Гопники переглянулись и закатили глаза.

И тут, исчерпав арсенал словесной защиты, я рухнул на колени. И обхватил ноги Маги руками.

— Миленький, хороший, пожалуйста, простите меня, — бормотал я. — Пожалуйста, я больше не буду.

Меня рывком подняли на ноги. И столкнули вниз по лестнице. Я кубарем пролетел по ступеням, чудом не упав. Очутившись внизу, забился в угол.

Ко мне неторопливо спустились Мага, Вито и Дюша. С площадки сверху донесся глухой звук удара.

— Уя, — жалобно вскрикнул Вяча.

Удар.

— Уя.

Я нащупал на правой ладони мозоль от эспандера. Зажмурившись, полоснул по ней ногтем. Из-под сорванной кожицы засочилась сукровица.

— Смотрите, — крикнул я, поднимая руку. — Первая кровь!

— Что, менструа пошла с перепугу? — спросил Вито. Дюша заржал, как сумасшедший.

Мага внимательно осмотрел мою ладонь.

— Дома обязательно промойте и присыпьте стрептоцидом, чтобы заражения не было, — сказал он. — А вообще, в военное время за самострел полагалась казнь.

Мага отошел в сторону.

— Давайте уже, мутузьте его скорее, — сказал он, раскрывая книгу. — А то у меня от него голова болит.

Вито схватил меня за рукав джинсовой куртки.

— Снимай, — скомандовал он. — А то закапаем.

«Здесь вроде сухо», — подумал я. А сам торопливо стащил с себя куртку. И отдал ее Вито.

— Джинсы тоже, — сказал Вито. — И кроссовки.

Вскоре я стоял в одних семейниках. Бетонный пол обжигал холодом босые ступни.

Вито бросил ворох одежды на ступени. Металлическая пряжка ремня громко лязгнула о камень. Скинув свои стоптанные кеды, Вито принялся обувать мои кроссовки. Дюша запрыгал передо мной в боксерской стойке. Я закрыл глаза.

— Что это? — вдруг раздался голос Маги.

Я открыл глаза. Мага вертел в руках офицерский ремень.

— Ремень, — сказал я. — Отцовский.

Что-то его зацепило в моей интонации. И он вдруг спросил:

— А где отец?

И тут я почувствовал, как потянуло сквозняком. Это приоткрылась спасительная лазейка.

— Отец умер, — сказал я. — В Афгане погиб. Ремень ношу в память о нем.

Дюша опустил руки. Вито прекратил шнуровать кроссовки. И оба посмотрели на Магу.

Троица отошла в сторону. Они яростно заспорили, жестикулируя и бросая на меня взгляды.

— Но Мага, — расслышал я слова Дюши. — Этого нет в кодексе.

Тут Мага что-то проговорил негромко, и из его напарников словно выпустили воздух.

— Живи, — повернулся ко мне Мага. — И больше не позорь память отца.

Потом Вито свистнул. Сверху сбежали трое. Один из них потирал правую руку. Я увидел кровь на его костяшках.

Шайка проследовала к лифту.

Я отказывался поверить в чудесное спасение. Мне казалось, их уход был частью изощренной пытки и они обнадежили меня только затем, чтобы вернуться. И лишь когда послышалось гудение уезжающего лифта, я наконец перевел дух.

Чуть погодя, сползая по перилам, спустился Вячик. Он тоже был раздет до трусов. Его губы были разбиты в кровь.

Отвернувшись, я быстро мазнул по лицу окровавленной ладонью. И у Вячика не возникло вопросов.

Мы спустились в квартиру Вячика. Он дал мне свою старую одежду и ботинки. Но я не мог заставить себя выйти на улицу, боясь, что меня будут поджидать у подъезда. Мы молча сидели перед выключенным телевизором под мерное тиканье настенных ходиков. Перед нами на столе лежала ксерокопия самоучителя по каратэ.

Через три часа пришли его родители. Мать охала и причитала, обрабатывая раны Вячи перекисью водорода.

— Уя, — скулил он тоненько.

— Что ты домой не идешь? — спросили меня его родители. — Поздно уже.

— А вы не могли бы меня проводить? — попросил я.

— А сколько их было? — опасно спросил отец Вячика.

— Сиди дома, — сказала его жена. — Сам доберется.

Выпив для храбрости, отец Вячи все же довел меня до подъезда. По дороге мы старались держаться света фонарей. Отца Вячика била мелкая дрожь, будто он замерз.

Моих родителей еще не было дома. И я успел переодеться до их прихода.

За ужином я украдкой бросал на отца виноватые взгляды.

«А вдруг я на папу смерть накликал?» — в страхе думал я. И был с ним, как никогда, ласков и предупредителен, называя его папочкой. Расчувствовавшись, отец сказал, что завтра у него выходной и после школы он даст мне урок вождения; я уже больше года упрашивал пустить меня за руль.

Когда родители заговорили о прописке, я обронил вилку на пол. Что-то у них там не складывалось. Не хватало каких-то справок.

Вечером, распалаясь от героики «Бошетунмая» в наушниках, я сделал запись в дневнике:

«Спасибо вам, ребята, за то, что дали мне понять, кто я такой. Я сделал необходимые выводы. Моя политика ускользания оправдала себя и на этот раз, но она не должна стать главной. Ведь я супермен! Не бояться до одури никого и ничего, смотреть прямо в глаза, но не пристально. Не обходить дебилов стороной, но и не лезть на рожон, идти по выбранному маршруту, выбирая удобный путь и отмечая мнимые преграды. Быть всегда настороже и не прекращать делать зарядку».

Я переделал график, решив себя не щадить. Вместо шести должен был встать в пять. К пробежке добавил отжимания на кулаках, растягивание на шпагат и подтягивания на турнике. Поколебавшись, заменил душ на обливания холодной водой.

Но забыл завести будильник и опять проспал.

На перемене меня и Вячика окружили пацаны из нашего класса. Вяча с гордостью демонстрировал все еще кровавую брешь в зубах. Я давал пощупать застарелый перелом носового хряща. Кеша недоверчиво качал головой, словно чуя подлог. Одноклассники смотрели на нас с плохо скрываемой завистью. Им только

предстояло пройти через то, что для нас уже было в прошлом. Я снисходительно смотрел на искаженные страхом лица.

После уроков я, не торопясь, шел домой, твердо ступая, как хозяин земли. Ярко светило солнце. Дул нежный ветерок. В плеере играл «Последний герой». В песочнице без песка играли дети. Они подняли головы и приветливо мне улыбнулись.

«Как прекрасна, — думал я, — как прекрасна жизнь без страха».

Впереди у подъезда, возбужденно чирикавая, воробьи клевали рассыпанные семена подсолнуха. Тротуар ярко поблескивал на солнце, будто в асфальте были вкрапления слюды. При ближайшем рассмотрении они оказались россыпью густых харчков. К моим ногам упало два дымящихся окурка. За спиной у меня просигналил автомобильный гудок, и я сделал шаг в сторону, уступая машине дорогу.

И тут я увидел Магу, Вито и Дюшу. Они сидели на спинке скамьи, спустив ноги на сиденье. Вито и Дюша, как заведенные, лущили семечки, сморкались и сплевывали. Мага был погружен в чтение толстой книги. При этом он страдальчески морщился: его раздражали издаваемые напарниками звуки.

Завидев меня, Вито и Дюша застыли, словно их поставили на паузу. На губах у них налипла черная шелуха. Очнувшись, они подались вперед, собираясь спрыгнуть со скамьи. Но я распахнул куртку так, чтобы была видна пряжка офицерского ремня. И прошел мимо на подкашивающихся ногах. В плеере кстати заиграла «Группа крови».

Чувствуя спиной буравящие взгляды, я ожидал услышать все, что угодно. Грязное ругательство. Грубый оклик «сюда иди!» Топот нагоняющих меня ног.

— Сынуля, — вдруг послышалось позади. — Сынуля, постой.

Я обернулся. К подъезду подкатился наш старенький «Москвич». Из окна выглянул отец.

— Я тебе сигналю, а ты не слышишь, — сказал он. — Садись за руль.

Отец вышел из машины и сделал приглашающий жест рукой.

Мага медленно поднял на меня глаза. Потом перевел взгляд на отца. Вито и Дюша раззявили от изумления рты.

— Тамать-копать, — синхронно поразились они.

— Простите, вы меня? — попятился я.

— Тебя, тебя, — рассмеялся отец. — У меня нет других сыновей.

— Товарищ, я вас не знаю, — строго сказал я.

Улыбка исчезла с лица отца.

— Сынуля, ты не заболел? — заботливо спросил он.

— Не называйте меня так! — выкрикнул я. — У меня нет отца.

Папа растерянно смотрел на меня.

И тут мне под ноги шлепнулись три смачных плевка. Это был смертный приговор, вынесенный судом-тройкой. Черная метка. Три зернышка от апельсина. Или их было больше?

Я подхватил под мышку дипломат и со всех ног бросился домой. Когда через пять минут в квартиру зашел отец, я метался в горячечном бреду.

— Ты все испортил! — рыдал я. — Ты все испортил!

Мама измерила температуру и вызвала неотложку. Врач сказал, что у меня нервный срыв.

— Наверно, переутомление, — предположил он. — В школе сейчас такая нагрузка.

Меня на неделю освободили от занятий. Целыми днями я выглядывал в окно, прячась за шторой. Во дворе, как всегда, не было ни души. Только в песочнице без песка возились хмурые дети. Чувствуя мой робкий взгляд, они одновременно поднимали глаза. И я в страхе отшатывался от окна.

Каждый день я умолял родителей, чтобы мне позволили обучаться на дому.

Говорил, что не удовлетворен качеством обучения. Родители со смехом отмахивались. И когда температура спала, велели собираться в школу.

Тогда я записал в дневнике:

«Какой же я трус и ублюдок! Но все, я хочу попрощаться с тобой, слабый и глупый человек! Лучше умереть в бою стоя, чем жить на коленях. Вперед, на бастионы жизни!»

Сделав запись, я тщательно принял душ и переоделся во все чистое. Так, я слышал, поступают приговоренные к смерти.

И потом я начал собираться в школу.

Прокравшись в бабушкину комнату, я вытащил у нее из-под подушки увесисто позвякивающий узелок. Там хранились советские пятаки, выпущенные до шестидесят первого года. По словам бабушки, в этих монетах было повышенное содержание меди. Всякий раз, когда у нее разыгрывалась мигрень, она повязывала на голову белый платочек. И подкладывала медяки в два ряда на лоб и виски.

Я составил монеты в столбик. Туго обмотал фольгой в несколько слоев. Взял столбик в правую руку и, сжав кулак, несколько раз нанес в воздух увесистые хуки. Такой же самодельный кастет был у главного героя в одной детективной повести, опубликованной в журнале «Смена».

Потом я залез в шкаф, где висел парадный мундир отца. Отцепил от портупеи офицерский кортик, с которым он маршировал по Красной площади 7 ноября. Приладил его к своему ремню так, чтобы тот свисал внутри штанины. И, встав к зеркалу, невольно залюбовался рельефной выпуклостью в области паха.

Напоследок я достал с антресолей нунчаки из спиленных табуретных ножек. Сделал пробный замах крест-накрест. Первым же ударом я разбил плафон на люстре. Вторым попал себе по виску и рухнул без сознания в постель. И на следующий день вновь нарушил свой график.

Когда я бежал, опаздывая, на урок, подвешенные под мышкой нунчаки дробно стучали, как кастаньеты. Кортик путался между ног. Штаны сползали под тяжестью бабушкиных монет.

Пока меня не было, в нашем классе прописали почти всех пацанов. Мага и его банда работали методично, словно вызывали к доске по журналу. Над партами склонялись забинтованные головы. Из расквашенных носов на тетради сочилась юшка. Руки в гипсе тянулись вверх, спрашивая позволения выйти. В писсуары струилась розовая моча. Словно на что-то обозлившись, в эту неделю солнцевские свирепствовали, как никогда раньше. Связанные кодексом чести, они старались нанести жертвам максимальный физический ущерб до того, как прольется первая капля крови. Доходягу Заводнова, страдающего малокровием, выбившийся из сил Дюша вообще был вынужден в конце концов покусать.

— Кстати, они про тебя спрашивали, — подошел ко мне на перемене Петроченко. Обе его брови были рассечены, и на его лице застыла трагическая маска Пьеро.

— И что говорят? — обмер я.

— Привет папе передают.

После уроков я сидел в опустевшем классе, пока меня не выгнала уборщица. Потом прятался в спортзале. Там на меня наткнулся совершавший обход охранник. Он вытолкнул меня на улицу и закрыл дверь на ключ.

Передо мной простирался лабиринт многоэтажек, и где-то там бродил Минотавр. На улице не было ни души, как в городе, куда вот-вот войдет вражеское войско. Дома смотрели на меня мертвыми глазами окон. На детской площадке скрипели пустые качели, словно в них раскачивались призраки. Вместо воздуха легкие втягивали в себя удушливый газ. Холодная испарина липла к телу, как саван из паутины. К горлу подкатила тошнота, и меня вырвало прямо на школьные ступени.

Когда я разогнулся и вытер рот, на другой стороне дороги показался мужчина в спецовке строителя. Он направлялся в ту сторону, где был мой дом.

«При взрослых не тронут», — мелькнула спасительная мысль.

Едва не попав под автобус, я перебежал дорогу и пошел за строителем, прячась за его широкой спиной. За пару кварталов до моего дома строитель вдруг свернул в сторону. Но я продолжал идти за ним след в след, как альпинист в связке. До тех пор, пока не повстречался дворник, шагающий нам навстречу. Я тут же переметнулся к нему за спину. Вместе мы дошли до перекрестка, и дворник повернул к школе. Я следовал за ним, пока не увидел мужчину, выгуливающего собаку. С ним мы часто останавливались, терпеливо выжидая, пока собака не закончит свои дела.

Так, в поисках защиты, я метался между редкими пешеходами, словно перепрыгивал по кочкам бездонную трясину. Мои провожатые оборачивались с опаской, перекладывали кошельки во внутренние карманы и ускоряли шаг. Но оторваться от меня у них не было ни одного шанса.

Путь домой вместо обычных пятнадцати минут занял три часа. Солнце давно зашло, но фонари еще не зажигались. Сумерки окутали район серой пеленой. Я замерз и натер на ногах мозоли. На плеере садились батарейки, и «Группа крови» звучала, как похоронный марш.

Моим последним провожатым оказалась немолодая женщина, которая тащила за собой хозяйственную сумку на колесиках. Почувствовав меня за спиной, она оглянулась и пошла быстрее. Я тоже прибавил шаг, стараясь не отставать.

Под ногами у меня вдруг что-то захрустело. Сделав шаг, я едва не поскользнулся, словно ступив в гнездо слизняков. Во тьме на уровне моего плеча заплесали два алых светлячка. Мои ноздри, испуганно раздувшись, втянули табачный дым.

Пару раз мигнув, зажегся фонарь. Выхватив из темноты, как сценический прожектор, Магу, Вито и Дюшу. Они топтались у подъезда, словно поджидали кого-то. Их взгляды заматались между мной и моей попутчицей. Похоже, они никак не могли взять в толк, кем мы приходимся друг другу.

В два прыжка я поравнялся с женщиной и схватил за ручку сумки. Женщина вскрикнула и потянула сумку на себя.

Троица смотрела на нас во все глаза.

— Женщина, вам помочь? — спросил Дюша.

Женщина посмотрела на меня, перевела взгляд на гопников. Кажется, она не могла решить, кто из нас представляет большую опасность.

— Мама, мамочка, — залепетал я. — Идем домой. Уже поздно.

Женщина ошалело уставилась на меня. Вдруг она выпустила сумку и побежала к дому.

— Мамочка, стой, — крикнул я и, подхватив ее сумку, бросился следом.

Женщина заскочила в первую же дверь. А мой подъезд был последним. Пролетающие до него сто метров я пролетел одним махом. За спиной у меня что-то громко хлопнуло, будто я преодолел звуковой барьер. Позже я понял, что это взорвалась банка с огурцами в хозяйственной сумке.

Я заскочил в подъезд. Залетел в лифт. Нажал на свой этаж. Двери закрывались бесконечно долго. Прислонившись к стене, я выставил впереди себя кортик. Обмирая от того, что сейчас в проеме опять покажется рука Вито.

Но вот створки сомкнулись, и лифт пошел вверх. Тут силы покинули меня, и я съехал по стене на зассанный пол.

За ужином я сидел, не поднимая глаз от тарелки. Сперва я похоронил отца. Потом прилюдно от него отсекся. Сегодня назвал чужую женщину своей матерью. Неужели я смогу пасть еще ниже? Больше так продолжаться не может.

Я раскрыл дневник, перечитал старые записи и, вдруг заплакав, закрыл тетрадь.

На следующий день мы узнали, что Магу и его дружков повязала милиция. Говорили, что они, не разобравшись в темноте, прописали молодого участкового. Солнцевских посадили на пятнадцать суток.

Судьба подарила мне еще одну отсрочку.

К тому времени из непрописанных в нашем классе оставался только красавчик Вольнов.

— Ему хорошо, — завидовал Вяча. — Он с бабой гуляет. Вот его и не трогают.

У Вольнова был роман с Левицкой из параллельного. Про них перешептывались, что они уже спят вместе. Вольнов и Левицкая расхаживали под ручку по району в любое время дня и ночи, никого не боясь. Их любовь служила им охранной грамотой. И я впервые позавидовал чужому роману по причине, не имеющей отношения к возможности интимной близости.

И тут меня осенило.

Дома я достал фотографию нашего класса, сделанную на 1 сентября. И принялся под лупой рассматривать одноклассниц.

Еще в первый день школы я с горечью убедился, что моим мечтам о любви и здесь не суждено было сбыться. Ни одна из девочек мне категорически не понравилась. Точнее, среди них были симпатичные и даже очень. Но я убедил себя в том, что все они либо недостаточно красивы, либо чересчур вульгарны и, следовательно, недостойны моего внимания. Иначе мне бы, как всегда, пришлось мучиться от того, что не могу с ними заговорить, рассмешить шуткой и позвать гулять после уроков.

Моя трусость заключалась не только в страхе быть избитым.

От случайно скользнувшего по мне девичьего взгляда мои глаза начинали обильно слезиться, как у больной чумкой собаки. Когда я проходил мимо хихикающих девчонок, мои коленки, казалось, принимались выгибаться в обратную сторону. Решившись однажды пригласить девочку на «медляк», я упал, не дойдя до нее нескольких шагов, — у меня отказали ноги. Обращаясь за ластиком к соседке за партой, я заикался так, что она не могла разобрать, что мне нужно.

Теперь же любовь представлялась мне вопросом жизни и смерти. Только я никак не мог определиться со своей избранницей.

Тут ко мне неслышно подошла бабушка. И заглянула мне через плечо.

— Какая тебе девочка нравится? — спросила она, надевая очки.

— Ни одной нормальной, — пожаловался я.

Бабушка наклонилась поближе.

— Вот хорошая девочка, — показала бабушка пальцем на Анну Середу. — Скромная.

Я едва не расхохотался.

Бабушка всегда безошибочно вычисляла самую некрасивую девочку в школе.

Анна была похожа на девочку-старушку. Под школьным пиджаком она носила растянутую кофту. Толстые рейтузы обтягивали ее короткие, кривоватые ноги. Ходила она сутулясь и шаркая стоптанными туфлями. Мышиного цвета жидкие волосы были убраны в мышиный же хвостик. Она единственная из девчонок не пользовалась косметикой. И от нее всегда пахло потом. Ей дали прозвище Ханна. В одном детективном фильме, недавно показанном по телевизору, Ханной звали уродливую служанку, которую ее хозяйка-злодейка, замечая следы, пыталась утопить в помоях.

— На стену кончили, тараканы выходили, — однажды охарактеризовал Середу красавчик Вольнов.

— Обнять и плакать, — подгыгыкнули его дружки.

Но у Ханны было одно неоспоримое достоинство. Она жила в моем подъезде

двумя этажами ниже. Провожая ее домой, я мог обеспечить себе безопасность практически до дверей своей квартиры. Мы с ней несколько раз сталкивались в лифте, но я никогда не здоровался. Опасаясь, что она превратно истолкует мое дружелюбие. И станет навязываться в школе. Тем самым подвергая меня насмешкам.

Чтобы ее покорить, мне было достаточно шевельнуть пальцем.

— Бабуля, спасибо! — расцеловал я бабушку.

На следующий день в школе я бросал на Ханну вороватые взгляды. Набираясь мужества, чтобы подойти к ней, я выискивал в ней все новые и новые недостатки. Но странное дело, к своему неудовольствию, я замечал, что в определенных ракурсах она была вполне ничего. У нее был милый вздернутый носик. Пухлые губки. И лучистые серые глаза. Так мое подсознание включало привычную защитную реакцию.

Перед каждой переменной я клялся, что подойду к ней и заговорю. Не зная, что именно сказать, я исписал общую тетрадь подробнейшими диалогами. Не умея шутить, вспоминал всевозможные анекдоты.

Но всякий раз, как звонил звонок с урока, я находил причину нарушить свою клятву. С ней все время рядом оказывался кто-то из одноклассников, и я не хотел, чтобы меня подняли на смех. На большой перемене, когда она, наконец, стояла одна у окна, читая книгу, я уже было направился к ней на ватных ногах, но за пару метров до цели прошел мимо, будто двигаясь по баллистической траектории. Я лишь успел заметить, что книга была, кажется, на испанском.

Если бы только она улыбнулась мне. Или хотя бы дала понять, что вообще видит меня. Но даже глядя на меня в упор, она будто смотрела сквозь. Я убеждал себя в том, что виной тому ее близорукость.

Но вот закончились уроки. Одноклассники стали расходиться по домам. До освобождения Маги оставалось меньше двух недель, и я должен был сейчас решить, что для меня страшнее — заговорить с некрасивой девочкой или вновь попасться ему на пути.

Я выбежал из школы. Увидел, что Ханна переходит дорогу. Мое сердце бешено заколотилось. В ушах пульсировала кровь. Меня пошатывало. Жизнь в страхе настолько изнурила мой организм, что я всерьез опасался, что мое сердце не выдержит еще одного потрясения.

И все же я перебежал через дорогу. Нагнал Ханну. И без лишних слов рванул ее портфель на себя.

Она испуганно обернулась.

— Ты кто? — вскрикнула она.

Честно говоря, я ожидал чего угодно. Был готов к тому, что она будет меня горячо благодарить. Бросится мне на шею. Дойдя до дома, отдастся мне прямо в подъезде.

Но я и предположить не мог, что она даже не знает, что мы учимся в одном классе.

В поисках правильного ответа я принялся листать общую тетрадь со шпаргалками. Слезы смущения застилали мне глаза, и буквы расплывались в арабскую вязь.

— К-к-как к-к-кто? — сказал я, сильно заикаясь. — Аниканов. Мы вместе учимся.

— Что-то я тебя не видела.

— Последняя парта у окна.

— Ну, допустим. И чего тебе?

— Ты ведь в пятьдесят шестом доме живешь?

— Ну.

— И я тоже. Давай портфель донесу.

— Еще чего.

Она вырвала у меня портфель и ушла вперед.

Я растерянно смотрел ей вслед.

Ханна удалялась все дальше. И вместе с ней таяла моя надежда на спасение.

«Да за кого она себя принимает, — вдруг возмутился я. — Крыса!»

Гнев придал мне сил. И я бросился ее догонять.

Я нагнал Ханну и пошел рядом.

— Тут это, хулиганы ходят.

— И что?

— Я буду тебя защищать.

— Ты? — она вдруг прыснула со смеху. А я обиделся.

— Стой. Смотри!

Она остановилась. Я подпрыгнул на месте и с разворота выбросил вперед ногу.

У меня впервые получился этот удар. Но дистанцию я не рассчитал. Нога попала Ханне в голову, и она рухнула, как подкошенная. От удара ее старушечий капор слетел в грязь.

Я бросился ее поднимать.

— Прости, я не хотел, — лепетал я. — Сильно больно?

Ханна поднялась, отряхнулась как ни в чем не бывало.

— Техника нормальная, — сказала она, поднимая капор. — А удар слабый. Тебе бы подкачаться.

Ханна двинулась вперед. Я зашагал следом.

Она опять остановилась.

— Слушай, не ходи за мной, — сказала она. — У меня уже есть парень.

Я едва не рассмеялся.

— Из нашего класса? — спросил я. — Кто?

— Кто надо! — ответила она. — Если он тебя со мной увидит, тебе конец, понял?

Я не сомневался, что она выдумала своего ухажера. Я слышал, что девчонки любят набивать себе цену намеками на то, что у них есть и другие кавалеры.

Я шел за ней до самого подъезда. Она кричала на меня, топала ногами. Один раз даже схватила камень и сделала вид, что сейчас его бросит, будто отгоняя привязавшегося пса.

Оказавшись в лифте, Ханна попыталась закрыть двери перед моим носом. Но, вспомнив урок Вито, я, как силач, развел створки в стороны.

— Завтра как всегда? — спросил я, когда лифт остановился на ее этаже.

— Пошел ты! — крикнула она и выбежала на площадку.

Раззадоренный ее отпором, вечером я засел за первое в своей жизни любовное письмо. Я писал о том, какие у нее прекрасные глаза. Какая замечательная улыбка. Как сильно я хочу быть с ней рядом. Я распалялся от собственного любовного слога. И даже ощутил первую за долгое время эрекцию. Тут я вспомнил, что не прочил еще со Дня знаний. Видимо, все это время борьба за выживание подавляла мое либидо.

Я писал это письмо не Ханне, но той единственной и неповторимой, которую я все еще надеялся рано или поздно встретить. И потому на всякий случай подложил под бумагу копирку.

В школе, постеснявшись передать ей письмо у всех на глазах, я засунул конверт в карман ее пальто в раздевалке.

На следующий день Ханна вела себя так, будто между нами ничего не произошло.

«Наверно, она не любит прозу», — подумал я. И тем же вечером от отчаяния принялся сочинять стихи:

День улетает за днями
Цепь серых будней длинна
Счастье мне не доступно
Если не вижу тебя

Я не знаю, что такое веселье
Я не слышу пения птиц
Я не чувствую запаха розы
Если нет тебя в калейдоскопе из лиц

Солнца свет освещает пространство
Но не властен он над душой
Только ты, улыбаясь, способна
Озарить меня светлой мечтой

Ну и так далее.

Подбросив стихи в ее пальто, я всерьез опасался, что она расчувствуется и бросится мне на шею на глазах у одноклассников. Но Ханна продолжала вести себя как ни в чем не бывало.

Заподозрив ее в меркантильности, я украл у бабушки флакон «Красной Москвы» и подкинул Ханне в мешок со сменкой. Далее туда же перекочевало мамино ожерелье из фальшивого жемчуга. Вскоре оба подарка были обнаружены в нашем почтовом ящике удивленным отцом.

Я стал частым гостем на кладбище в Переделкино. Там я выбирал на писательских могилах гвоздики посвежее, просовывал их в ручку двери Ханны, нажимал на звонок и убегал.

Ханна не реагировала.

И тогда меня начали посещать сомнения.

«Неужели я ей не нравлюсь? — думал я, любясь своим отражением в зеркале. — Но как это возможно?»

На всякий случай я начал следить за своим внешним видом. Наотрез отказавшись от того, чтобы меня, как всегда, стриг папа, выпросив у него три рубля, я обзавелся модельной стрижкой. В одежде я разработал собственный стиль, отдавая предпочтение белым носкам и офицерскому шарфу такого же цвета. Втайне от мамы обильно душился ее поддельным «Пуазоном». И ходил по школе, распространяя облако приторного запаха.

Доведенный до отчаяния равнодушием Ханны, я, наконец, начал следовать своему графику. По утрам делал зарядку. Отжимался до потери пульса. Усаживал себя на шпагат, разрывая ветхое нижнее белье. И однажды даже сделал выход силой на перекладине.

Постепенно я стал увереннее в себе. И начал ловить на себе благосклонные взгляды других девочек. Однажды мне даже улыбнулась красотка Шамрина. Ханна же, единственная, не замечала происходящих со мной метаморфоз. Я все так же ходил после школы за ней тенью. Как если бы ее тень простиралась на сотню метров — ближе к себе она меня не подпускала. За это время я и правда превратился в тень того, кем был раньше. Родители переживали, что я заболел.

«Надо бы Володе анализы на глисты сдать», — подслушал я, как мама говорила папе.

Между тем время шло неумолимо. Синяки на лицах побитых одноклассников бледнели и сходили на нет. Ссадины затягивались Проломленные теменные кости зарастали.

До выхода Маги на свободу оставались считанные дни. А Ханна все не отвечала мне взаимностью.

И тут я начал паниковать.

Раз осада не дает результатов, крепость нужно брать штурмом.

«Надо ее засосать», — решил я. И внутренне ахнул от собственной смелости.

Учась целоваться на помидорах по совету Вольнова, я извел весь запас томатов для маминых закруток на зиму. После чего меня на день скрутил понос. Что еще больше ослабило изнуренный страхом организм.

Когда мы ехали в лифте, я примерялся к губам Ханны, как коршун, прицеливающийся, как бы половчее схватить полевую мышь. Всмотривался в нее остекленевшими от концентрации глазами. Непроизвольно вытягивал губы в трубочку. И мелкими шажочками сокращал дистанцию между нами. Чувствуя неладное, Ханна становилась лицом в угол.

И выходила на своем этаже нецелованной.

А в день, когда должны были выпустить Магу, Ханна не пришла в школу.

С ее стороны это был акт высочайшей подлости. На такое вероломство способна лишь женщина. Я чувствовал себя как боксер, ошеломленный нокдауном. Лица одноклассников расплывались у меня в глазах. Обращенные ко мне вопросы учителей словно доносились с другой планеты.

Я сбежал после второго урока, рассчитывая разминуться со своими палачами.

У моего подъезда переминалась одинокая фигурка. Подойдя ближе, я с облегчением понял, что это Ханна.

Она повернулась ко мне, и ее лицо озарила радость. Она даже помахала мне рукой. Мгновенно простив ее предательство, я ускорил шаг, едва не срываясь на бег. Когда между нами оставалось несколько метров, я вдруг понял, что она смотрит не на меня, а на кого-то, кто был у меня прямо за спиной.

За то время, что я учился выживать в каменных джунглях, у меня обострился слух и развилось латеральное зрение. Не поворачивая головы, я увидел высокую фигуру в костюме. В руках Маги вместо привычной книги был букет роз. Почему-то я подумал, что цветы предназначаются мне — возможно, согласно кодексу чести, их нужно было бросить на бездыханное тело врага.

Я стремглав бросился к Ханне и, заключив ее в свои объятия, впился в ее губы. Зрачки ее расширились, вырываясь, она заколотила меня руками в грудь. Но, окрепнув от утренних зарядок, я держал ее железной борцовской хваткой. Глаза Ханны металась между мной и Магой. Казалось, что она о чем-то беззвучно его молила. Я развернул ее боком, чтобы держать Магу в поле своего зрения.

А он деликатно отвернулся в сторону. И выбросив букет, зашагал прочь. Но перед тем я успел заметить его лицо, искаженное странной гримасой. Словно ему было очень больно.

Чем дальше уходил Мага, тем слабее становились удары Ханны. Постепенно она затихла и обмякла в моих объятиях. Ее руки безвольно повисли вдоль туловища.

Схватив за руку, я затащил ее в подъезд.

«Тут какой-то паучок нашу муху уволок», — вспомнился мне детский стишок.

В лифте силы вдруг покинули меня, и я почувствовал ужасную слабость. Я равнодушно отстранился от Ханны. Наверно, так мужчины теряют интерес к нелюбимой женщине после того, как овладевают ею. Мне вдруг захотелось закурить, и я пожалел, что у меня нет с собой сигареты.

По лицу Ханны катились крупные слезы.

«Строит из себя целку, — раздраженно думал я. — Уже и поцеловать нельзя».

Первый поцелуй меня разочаровал. Я не почувствовал ничего, кроме солоноватой влаги. И еще легкий привкус колбасы, которой, наверно, позавтракала Ханна.

Она вышла на своем этаже, не сказав ни слова. Я услышал, как в двери

проворачивается ключ. Не глядя, я ткнул в кнопку своего этажа и вскрикнул от боли. Мой палец увяз в горячей оплавленной пластмассе. Отдергивая руку, я шарахнулся к стене. И с трудом оторвал подошвы, прилипшие к вязкой слюне. Под ногами хрустнула шелуха подсолнечника. Наверно, похожий звук издает чека гранаты, выдернутая побеспокоенной растяжкой. Я запоздало заметил тлеющий в углу бычок.

Закрывающиеся двери разжали с другой стороны.

Передо мной стояли, нехорошо улыбаясь, Дюша и Вито. Не раздумывая, я схватил Вито в охапку и швырнул его под ноги Дюше. Они забарахтались на полу. Мне успело подумать, что вот так в плохих триллерах, преследуя жертву, беспомощно валяются грозные злодеи, натолкнувшись на пустяковое препятствие вроде стула или кадки с цветами.

Перескочив через гопников, я метнулся к двери в тот момент, когда Ханна готовилась ее закрыть. Я втолкнул ее в квартиру. Захлопнул дверь и накинул цепочку.

В дверь замолотило две пары кулаков.

Но я уже покрывал поцелуями лицо Ханны. Она стояла безвольно, не отстраняясь. Мои руки ухватились за ее твердые груди, как хватается за буйки выбившийся из сил пловец.

— Что ты делаешь? — очнувшись, она попыталась меня оттолкнуть. — Пожалуйста, уходи.

— Не прогоняй меня, — шептал я, как в бреду. — Мне без тебя не жить.

Она не могла не почувствовать, насколько я был искренен в своих словах. Ханна замерла. И тут я впервые почувствовал, что в броне ее равнодушия появилась брешь. И нанес туда решающий удар.

— Неужели ты не понимаешь? — проговорил я, задыхаясь. — Я люблю тебя.

Признаваться в любви оказалось на удивление легко. Особенно, когда на кону стоит моя жизнь.

Ханна обмякла, словно я произнес магическое заклинание. Я подхватил ее на руки. И отнес в спальню.

Оказалось, что у нее большая красивая грудь. Непонятно, зачем она скрывает ее под бесформенной кофтой. Я не сразу понял, куда именно надо входить. Мне всегда казалось, что у девочек это находится прямо на лобке. Твердость кости я принял за девственную плеву. Наконец, Ханна направила меня внутрь своей рукой.

В своих сладострастных фантазиях я трогал девочек везде. Или зашупывал, как говорили пацаны. Но даже в самых смелых грезах никогда не заходил дальше, словно там был мрак, непроницаемый для моего неопытного воображения. А тут просто оказалось мокро и немного неудобно.

Минуту спустя я стал мужчиной.

— Неужели, — сказала Ханна, отодвигаясь от меня подальше, когда все было кончено. — Неужели ради меня ты даже готов умереть?

— Почему обязательно умереть? — удивился я.

— Ты же знал, что Мага меня любит.

— Мага? Тебя? — я чуть не рассмеялся в голос. — Да ты гонишь.

— Он за меня даже участкового отмудохал. За то, что тот ко мне клеился.

— Постой, — приподнялся я на локте. — А откуда ты знаешь Магу?

— Мы вместе ходим на подготовительные курсы в МГИМО. Он сказал, что женится на мне сразу после выпускного. Я так его ждала, пока он был в тюрьме. Так ждала! А тут ты... Откуда ты такой взялся?

Она всхлипнула и закрыла лицо руками.

Я окаменел.

— Но значит, не судьба, — проговорила Ханна. И, видимо, желая закрепить свое

падение, она начала ласкать меня внизу. А я почувствовал, как там все втягивается внутрь, подобно моллюску, которого на пляже пытаются выковырять из раковины дети.

— Еще не отдохнул? — удивилась Ханна.

Я выскочил из постели, будто там была раскаленные угли. Стал натягивать брюки, путаясь в штанинах. При этом я кричал что-то неразборчивое.

Я надеялся, что еще можно все исправить. Объяснить Маге, что произошло чудовищное недоразумение. Бухнуться ему в ноги и попросить прощения. В конце концов, мне было не привыкать.

Я выбежал из квартиры. Прислушался. Было тихо. Встав на цыпочки, стал подниматься по лестнице. За спиной у меня вдруг раздалось хлюпанье. Как будто вантузом прочищали засорившийся унитаз.

Я обернулся как ужаленный.

Привалившись спиной к мусоропроводу, на полу сидел Мага. Он плакал навзрыд, хлюпая носом и размазывая по лицу слезы.

— Зачем? — всхлипывал он. — Зачем ты растоптал нашу любовь?

Я бросился бежать вверх по лестнице. Через минуту я был дома.

На следующей день перед уроками Ханна пересела за мою парту. И словно этого было недостаточно, томно положила голову мне на плечо. Девочки зашушукались. Вольнов и его дружки заржали, как сумасшедшие.

Я густо покраснел.

— Не здесь, — прошипел я сквозь зубы, грубо отстраняя ее.

С этого дня Ханна не упускала ни единой возможности продемонстрировать, что мы вместе. В разговоре называла меня не иначе, как «мой». Снимала с моего рукава невидимые ниточки. Заботливо повязывала мне шарф. После уроков порывалась нести мой портфель. Однажды даже попыталась завязать волочившийся за моим ботинком шнурок.

Мне кажется, она прекрасно понимала, что я ее стыжусь. И при этом всегда проявляла чувства в присутствии максимального количества свидетелей. Я подозревал, что таким образом она мне изошренно мстит. Но за что?

Не веря своему счастью, пацаны упражнялись в остроумии на наш счет. А девочки... Девочки, чувствуя, что я стал мужчиной, строили глазки. И я смело возвращал их взгляды. Слезы смущения уже не застилали мне глаза. Мои ноги ступали твердо, как у марширующего солдата. Когда я получил от красотки Шамриной записку с предложением гулять вместе, я понял, что настало время расстаться с Ханной. По-прежнему нуждаясь в женской защите, я рассчитывал в одночасье сменить один эскорт на другой, как когда-то, добираясь домой, перескакивал от одного прохожего к другому. Тем более что Шамрина жила в доме напротив.

Вот только оказалось, что бросить женщину еще тяжелее, чем добиться ее. Как раньше я не мог преодолеть себя, чтобы заговорить с Ханной или поцеловать ее, так и сейчас не мог найти в себе смелость объявить о разрыве. Страх словно был единственным чувством, которое я был способен испытывать, и я продолжал открывать все новые его разновидности.

Страх сделать больно.

Страх почувствовать себя плохим.

Страх посмотреть в глаза и сказать, что между нами всё.

Страх, что она наложит на себя с горя руки.

«Ведь я же не подлец какой-то», — не без удовольствия думал я.

Самым простым для меня в данной ситуации было бы просто сбежать. Но новых назначений у отца в ближайшее время не ожидалось. И о том, чтобы заговорить о переезде с родителями, только получившими волеизъявленную прописку, не могло быть

и речи. И потому, будучи джентльменом, я решил оставить последнее слово за ней. Обставить все так, чтобы она поняла все сама. И поняв, тихо ушла из моей жизни.

В обращении с Ханной я сделался холоден. Поминутно грубил ей из-за пустяков. Не давал взять себя под руку. Говорил с ней сквозь зубы и глядя в сторону. После уроков прятался, чтобы не идти с ней домой. На всякий случай перестал принимать душ и чистить зубы, чтобы наверняка отвратить ее от себя.

Но она будто ничего не замечала. И все так же продолжала ко мне ластиться.

«Как можно быть такой бесчувственной?» — злился я на Ханну.

Последние несколько дней ей нездоровилось. По лицу пошли какие-то красные пятна. И Ханна стала еще более некрасивой — вот уж не думал, что такое возможно. Иногда она выбегала посреди урока, зажав рот руками.

В тот день учительница отправила ее домой с последнего урока. К моему неудовольствию и под хихиканье пацанов назначив меня в провожатые. По дороге Ханна зашла в аптеку.

Она тяжело висела у меня на руке. И бубнила мне в ухо постылые нежности. Не слушая ее, я шел, в который раз сочиняя в голове решительное объяснение. Стараясь при этом подобрать деликатные, но не оставляющие никаких сомнений слова. Выходила какая-то невнятица.

Погруженный в сочинительство, я с запозданием понял, что под ногами хрустит шелуха и подошвы оскальзываются на заплыванном тротуаре. Глаза привычно поискали и нашли дымящиеся бычки.

— Сюда иди, — послышался ласковый голос Дюши.

Рядом с ним от нетерпения сучил ногами Вито. Маги же нигде не было видно.

— Глаза разуй, — дерзко ответил я. — Я с бабой.

— Не буду вам мешать, мальчики, — проговорила вдруг Ханна. — Не задерживайся, милый.

Ханна юркнула в подъезд. Я растерянно посмотрел на захлопнувшуюся за ней дверь. А потом обвел глазами двор. И не увидел ни одного взрослого. Лишь на детской площадке, как всегда, в пустой песочнице возилась малышня. Побросав совки и ведерки, дети подбежали к нам. И тут же сформировали круг, как на подпольных боях в «Кикбоксер».

Я посмотрел на них с мольбой.

— Вызывайте милицию, — едва слышно прошептал я.

А они жестоко улыбались мне в лицо.

— Мусора только проехали, — сказал один карапуз Дюше.

— Мы на шухере стоим, — предложил другой мальчуган.

Дюша двинулся на меня в боевой стойке. Я выбросил вперед руку с самодельным кастетом. За время, что я носил кастет в кармане, фольга, видимо, поистерлась. И я осыпал Дюшу и Вито медяками, как король, одаривающий на инаугурации своих подданных.

Детвора немедленно расхватала пятаки, как воробьи крошки.

Дюша и Вито заходили на меня с двух сторон.

И тогда я выхватил кортик. Заложив руку за спину, я сделал несколько выпадов. Дюша ударил меня ногой по руке. Пролетев в воздухе, кортик воткнулся в песочницу.

Оставались еще нунчаки. Их я выбросил сам. И, разведя руки, сделал шаг навстречу неизбежному, словно ступая в пропасть.

Я мечтал потерять сознание, но мне не повезло. Дюша и Вито, словно растягивая долгожданное удовольствие, долго и сосредоточенно меня избивали. Нанося удар за ударом, они приговаривали:

— За папу!

— За маму!

— За Магу!

Так по ложечке кормят супом капризничаящих деток.

Малыши бегали вокруг, азартно потирая руки и подавая советы.

— С ноги ему! — кричала малышка с бантами.

— По яйцам не забудь, — напоминал лопухий очкарик.

Наконец Дюша и Вито обессилели. Опершись на колени, они долго переводили дыхание. А потом, не сговариваясь, повернулись и зашагали прочь. Дюша на ходу выхватил из земли кортик и обтер его о штанину. Один из малышей крикнул вдогонку, что было бы еще неплохо меня обоссать, но Дюша и Вито его проигнорировали.

Потеряв ко мне интерес, детишки вернулись в песочницу.

Я понял, что ничего страшнее со мной уже произойти не может. Внутри были пустота и равнодушие. Из меня словно выбили все страхи, как из ковра выбивают сор. В голове вдруг сложились нужные слова прощания.

Я поднялся на лифте и нажал на кнопку звонка.

Ханна открыла дверь. Ее лицо было растерянным. В руке она держала бумажную полоску.

— Я беременна, — проговорила она.

И тут я наконец потерял сознание.

Свадьбу мы сыграли сразу после выпускного. Через месяц Ханна родила Алешу.

Жена достала из серванта пачку пожелтевших от времени писем, перевязанных ленточкой. И начала их зачитывать с выражением. Катя громко восхищалась. Сын одобрительно кряхтел.

Я прислушался. И с удивлением понял, что это писал не я. Автор этих писем был умен, эрудирован и мастерски владел словом. Он не сочинял стихов, но прилагал собственные переводы сонетов Сервантеса и Лопе де Вега. В пылких выражениях он превозносил красоту дамы своего сердца и заверял ее в вечной любви.

«Господи, да что он в ней нашел?» — думал я, поглядывая на жену, покрасневшую от воспоминаний. Конечно же, меня подмывало устроить скандал, но сначала мне хотелось узнать, что еще писал Мага, пока сидел в тюрьме.

Он обещал, что порвет с солнцевскими, как только закончит их перевоспитание посредством кодекса чести. Он мечтал о том, как после института они уедут в Испанию, где круглый год светит солнце, растут апельсины и плещется ласковое море.

Но Дюша, оспаривая первенство в банде, зарезал его моим кортиком.

Юрий Каграманов

Европа в поисках души

Есть такой сон: спящему снится, что он потерял душу, ищет ее и не может найти; говорят, что это плохой сон, предвещающий болезнь или смерть. Не во сне, а наяву что-то подобное происходит сейчас с целым континентом — Европой. Не так, чтобы она совсем потеряла душу, но есть у нее в этой части очень существенная, скажем так, недостача. Еще в 1992 году ее заметил не кто иной, как главный в то время еврокомиссар Жак Делор. «Мы, — заявил он, — не достигнем успеха в деле строительства Европы, если ограничимся юридической экспертизой или экономическими ноу-хау... *Если в ближайшие десять лет мы не сможем дать Европе душу... мы проиграем партию* (курсив автора)».

Минуло десять лет, а недостача где была, там и осталась. Спустя еще три года решением Европейского парламента была создана организация, назвавшая себя по-английски: «A Soul for Europe»; в вольном переводе, с учетом, что здесь стоит неопределенный артикль: «Европа в поисках души». Организация представляется как «сеть проектов и инициатив», охватывающая собою все двадцать восемь стран Объединенной Европы. Ежегодно она проводит конференции, в которых участвуют известные политики, публицисты, деятели искусств и т.д.

Чужого ища, свое потеряли

Если прислушаться к этой говорильне, можно различить здесь некоторые основные мотивы. Один из них — апелляция к культуре. Это та сфера, в которой Европа, как говорят, должна «найти себя». Итальянский писатель Франческо Каталуччо пишет, что незачем голову ломать: душа Европы — «в бескорыстном поиске знаний и созидании красоты». Очевидно, Каталуччо ошибся веком: попал в XXI вместо XVI. Другое дело, что XVI век с его великими достижениями и его трагическими ошибками является важной частью европейского наследия. Кстати, нынешний 2018-й год Европарламент объявил «Годом культурного наследия»; как предложила министр культуры Германии Моника Грюттерс, он должен пройти под девизом «Почувствуй свою душу!»

Казалось бы, разумно: душа Европы, поскольку таковая существует, вложена в культуру минувших веков. Но с этой установкой вступают в противоречие некоторые другие установки. Одна из них — мультикультурализм, «уравнивающий в правах» культурное наследие различных эпох и народов. Но европейская культура-цивилизация

Каграманов Юрий Михайлович — культуролог, публицист, постоянный автор «Дружбы народов». Предыдущая публикация в «ДН» — «Осуждение Фауста, акт 8-й» (2017, № 10).

не является просто «очередной» в истории: она прошла такими путями, которыми никакая другая культура-цивилизация не проходила. Отсюда факт ее глобального распространения. Но для нее самой этот факт, как говорится, выходит боком. Русский публицист И.И.Бунаков писал: «Энергия расцветающей цивилизации только кажется неистощимой. На самом деле... растекаясь на большом пространстве, она теряет напряженность и творческую силу... «Общечеловеческая» культура, по своим историческим судьбам, неизбежно — культура заката». Нечто подобное произошло и с греческой культурой, которая после завоеваний Александра Македонского пыталась «покрыть» собою все культуры известной тогда ойкумены, что для нее самой обернулось истощением ее творческих сил.

Но двери и окна, распахнутые на выход, распахнуты и на вход. По крайней мере с начала прошлого века Европа испытывает сильнейшее влияние Африки (непосредственно и через посредство Соединенных Штатов). Ритмичность и развинченность пластичность негров «заражают» европейцев более всего в сфере музыки и танца, но не только. Африканизация европейской культуры была восчувствована в 30-х годах поэтом эмиграции А.Ладинским:

И мы отлетаем в сиянье
Густых африканских звезд,
Мы покидаем дыханье
Насиженных, теплых гнезд.

В интеллектуальных кругах заметным становится также влияние Азии, в частности буддизма, в меньшей степени конфуцианства. Разумеется, переключки культур, одаривание чужеземцев своими достижениями («от нашего стола вашему») и восприятие ответных даров — нормальное явление, но *о т н о с и т е л ь н а я* замкнутость культуры является для нее условием «сохранения души».

Когда один древний завоеватель слишком далеко ушел от родных пределов и сложил там голову, на его черепе враги написали: «Чужого ища, свое потерял». То же можно сказать и о мультикультуралистах.

Еще одна установка, противоречащая заявленной верности культурному наследию, — убеждение, что культура Объединенной Европы должна создаваться «снизу». Видный политик и публицист, один из организаторов «A Soul for Europe» Доминик де Вильпен призывает следовать в этом отношении примеру Гюго, «в чьих стихах зазвучал голос улицы», или Бодлера, «пировавшего за одним столом с пьяницами, бродягами, проститутками...» Замечу, что Гюго и Бодлер слышали разные голоса; те, которые слушал Гюго, заслуживали того, чтобы к ним прислушаться. Что побуждало Бодлера садиться за один стол с пьяницами и проч., требует отдельного разговора, но во всяком случае было бы, наверное, лучше, чтобы подобное увлечение обществом «падших» не выплескивалось за порог мансарды, типичного обиталища парижских декадентов. Сегодня ко времени прозвучал бы призыв как раз избавляться от люмпенского языка и люмпенских повадок, усвоенных едва ли не всеми слоями общества — «гримасы», способные лишь дискредитировать идею демократии в ее приложении к культуре.

Арнольд Тойнби писал, что цивилизации растут снизу, а вот семена-то падают сверху. Похоже, однако, что любые семена падают сегодня не «на добрую землю», а все больше «при дороге» или «на места каменистые» (Мф. 13: 3–23).

Внимание к «высокому» остается преимущественно ритуальным. В торжественных случаях звучит шиллеровско-бетховенский гимн Объединенной Европы (ОЕ), где есть, например, такие слова:

Здесь лишь тени — Солнце там, —
Выше звезд его ищите!

Вряд ли это воззвание «прекрасной души» (*die schone Seele*) немецкого романтизма к другим «прекрасным душам» находит сколько-нибудь широкий отклик (и как можно сегодня всерьез воспринимать такие его слова, как «Насекомым — сладострастье...», коль скоро сладострастье пропитывает теперь всю культуру). В здании ОЕ это всего лишь декоративное навершие, своего рода «архитектурное излишество».

Достоевский считал, что мещанин никогда не поймет Шиллера. А Мережковский в знаменитой статье «Грядущий хам» утверждал, что мещанство есть «последняя форма западной цивилизации». Увы, похоже, что это так. Хотя мещанин ныне — обновленный. Он и называется иначе: *bobo*. Это не словечко из детского лепечущего лексикона и не потусторонний «бобок» (по Достоевскому), но просто сокращение от французского двучлена *bourgeois-bohemien*. Термин родился в Париже на исходе минувшего века и обозначает культурный тип, получившийся от скрещения двух глубоко различных, изначально даже враждебных друг другу культурных типов — мещанина (буржуа) и *bohemien* (по-русски не придумали соответствующего слова, «человек богемы» звучит как-то неуклюже).

В России мещанин вызывал, как правило, порицание и насмешки. Отталкивала его прозаическая добропорядочность, зачастую деланная, «умеренность и аккуратность»; вышучивались его внешние признаки — клетки с канарейками, горшочки с фикусами и геранью и т.п. В Европе тоже звучали осудительные голоса: назову хотя бы консерватора Т.Карлейля и либерала Дж.Ст.Милля, тот и другой видели в мещанстве измену высоким идеалам европейской культуры. Милль сетовал: мещанство в наше время (середина XIX века) одолевает, где те, «кто твердым шагом идет на плаху, на костер?»

Надо, правда, признать, что в мещанстве можно было усмотреть и некоторый позитив. Чехов удачно сравнил его с плотиной в реке: плотина загораживает течение, но может и сдерживать напор воды, когда он становится чрезмерным. Для оголтелого революционизма мещанин был некоторой помехой.

Богема возникла в том же Париже в середине XIX века как антитеза мещанству. Так поименовал сам себя определенный круг поэтов, художников, артистов и приспособившихся к ним лиц. Иного *bohemien* за версту можно было узнать по его «расхристанному» виду, какой-нибудь яркой рубашке-апах (*apache*, между прочим, — хулиган) с узорным шейным платком и т.п. Он всегда старался поступать наоборот тому, как поступал мещанин: тот застегнут на все пуговицы, этот нарочито небрежен, тот считает каждое су, этот легко разбрасывается деньгами, когда они у него есть, тот благоразумен, этот эксцентричен, тот ставит пристойность во главу угла, у этого особый вкус к непристойному.

Две эти столь различные жизненные позиции *bobo* «счастливым» образом в себе соединил. В основе он все-таки мещанин, а вместе с тем он привносит в свою жизнь видимость «творческого беспорядка». Он аккуратно является на службу, но держит себя раскованно, демонстрируя, когда это возможно, игровое отношение к жизни. Может щегольнуть выдавшими виды слаксами и потертыми кедами или какими-нибудь альпийскими ботинками (мы видим таких в западных фильмах). При случае балуется травкой и легко сходится с особами противоположного пола; хотя в этой части придумал, точнее, позаимствовал у американцев некоторые запреты, именуемые *sexual harassment* (в Европе, впрочем, менее строгие, чем у американцев). Как правило, он глобалист в душе: легко, как перекасти-поле, перемещается в различных, географически далеких друг от друга средах. Это современный вариант «желудочно-полового космополита», о котором писал еще Щедрин.

Универсальное определение мещанства находим у Набокова: ему одинаково чужды и небо, и почва. Корни сгнили, а крылья не отрасли. К *bobo* это приложимо целиком и полностью.

Возвращаясь к «душеискателям»: нельзя сказать, что нынешнее преобладание

бескрылости их устраивает, но если что и пользуется у них фавором, то это антропософия. Даже конференции свои они нередко проводят в Гетеануме в Дорнахе (Швейцария) — центре Антропософского общества. Почему это создание Рудольфа Штейнера (чьи книги, кстати говоря, неоднократно издавались у нас в 90-х) пользуется таким предпочтением, можно понять: оно по-своему проповедует глобализм и всеядность. Швейцарская антропософка Анетт Кайзер пишет в книге «Душа Европы пробудилась»: «Следующий эволюционный шаг для человечества состоит в том, чтобы сформировать всеобъемлющее глобальное общество посредством союза и сотрудничества», под каковыми имеется в виду принятие антропософии. Суть антропософии в ликвидации всех и всяческих границ — не только между государствами и не только между цивилизациями, но и между такими онтологическими понятиями, как материя и дух. И даже — жизнь и смерть. Заимствованная из восточных религий идея реинкарнации позволяет рассчитывать на бесконечное продолжение земной жизни, хоть и в разных обликах, что, между прочим, позволяет избежать Страшного суда и, следовательно, ответственности за каждую из прожитых жизней (если только не допустить превращение человека в иной жизни в лягушку или паука, что может быть понято как наказание за грехи). Мир в представлении антропософов — это бессмысленное кружение духов, в котором нет ничего твердого, устойчивого и целесообразного, нет личного Бога и нет личностного человека.

Конечно, на широкий успех антропософия вряд ли может рассчитывать. Это эзотерическая секта, апеллирующая к «мистически развитым субъектам». Как выглядели и, вероятно, сейчас еще выглядят антропософские «полеты во сне и наяву», можно составить представление по «Дорнахскому дневнику» Андрея Белого, который одно время был активным последователем Штейнера и даже поучаствовал, совместно с Максимилианом Волошиным, в строительстве Гетеанума. Но антропософия удобна тем, что служит дополнительным орудием в борьбе с христианством, тем более что сама пользуется христианской терминологией. Атеизм ныне утрачивает кредит, зато против христианства активно «работает» лукавая мистика в различных ее вариантах.

Основоположники ОЕ Робер Шуман, Конрад Аденауэр и Альчиде де Гаспери были верующими христианами и, хотя объединение Европы они начали, так сказать, с хозяйственного двора (я имею в виду Европейское объединение угля и стали, созданное еще в 1950-м), в перспективе видели сплочение Европы на духовной основе христианства. Само понятие Европы изначально употреблялось с эпитетом «христианская».

Сторонники такого понимания единства Европы есть и сегодня. Так, австрийский католический публицист Эрхард Бузек, сожалея о временах, когда один миллион колоколов (кем-то подсчитано) звал европейцев к заутрене, пишет, что и сегодня далеко не все колокола умолкли. И оживление христианских корней еще возможно. Без него, пишет Бузек, тщетно искать «душу Европы»: «отсутствие веры препятствует дальнейшей духовной интеграции континента».

Но подобный взгляд остается скорее маргинальным, во всяком случае в рамках проекта «A Soul for Europe» он «не воститим». Хотя апелляция к культурному наследию — вот еще противоречие — никак не позволяет игнорировать христианство. Вся европейская культура, включая поздний, модернистский ее этап, — пропитана христианством, и вытравить его оттуда невозможно.

Карта, которая «флуктуирует»

«Душа наша не мозаична», — писал А.С.Хомяков о русских людях. Душа ОЕ не может не быть мозаичной: в продолжение столетий Европа оставалась «Европой отечеств», которые не могли так быстро раствориться в «общем доме». Слишком много усилий было потрачено в оны времена, чтобы каждое из отечеств обрело свое

неповторимое лицо. Чтобы аморфное первоначально скопление племен стало называться нацией. И дым каждого из отечеств становился сладок и приятен для патриотов.

Что такое нация? Классическое определение, принадлежащее Эрнесту Ренану, мне и сейчас представляется наилучшим: «Общая слава в прошлом, общая воля в настоящем; воспоминание о великих делах и готовность к ним — вот существенные условия для создания народа... Позади — наследие славы и раскаяния, впереди — общая программа действий». Общность крови тоже имеет значение, но далеко не столь важное (большинство наций сложилось в результате смешения кровей). Важнее всего прочего психология людей, воспитанная в них ходом истории солидарность.

О каких великих делах говорит Ренан? Они могут быть разного свойства — от победоносных войн до вершинных явлений в области культуры. Между прочим, вопреки мнению пацифистов вторые нередко связаны с первыми. На классический пример такой связи указал Арнольд Тойнби: победа афинян над персами в морской битве при Саламине (480 г. до Р.Х.) дала толчок «высочайшему взлету человеческой культуры»; естественно — в Афинах.

Нередки случаи, когда одни и те же лица поучаствовали в великих делах и того и другого рода, однажды сменив оружие на перья. Возьмите для примера золотой век испанской культуры, самые громкие его имена: Сервантес доблестно сражался в знаменитой битве при Лепанто, в которой османы впервые потерпели поражение; Лопе де Вега был матросом Непобедимой армады, которую не англичане победили, а буря рассеяла (Господу проиграть не зазорно); Кальдерон служил в кирасирах, воевал в Италии и Фландрии, а в 1640 году участвовал в подавлении сепаратистского движения в Каталонии.

Каждая крупная европейская страна, а то, бывает, и малая может поставить себе в заслугу те или иные великие дела, которыми она гордится или, по крайней мере, гордилась до недавних пор. Та же Испания помнила, что на протяжении XVI века она была сильнейшим государством Европы и тогда же стала первой в истории мировой державой, в пределах которой никогда не заходило солнце, а часть ее подданных ходила «вниз головой». Память о минувшей славе — вроде гироскопа, придающего уверенный ход кораблю. Даже маленькая Португалия испытала это на себе. По всем признакам (этническому, языковому и другим) она должна была стать частью Испании. Она и стала ею при Филиппе II Испанском (в результате каких-то династических операций), но ненадолго. Ибо за время своего независимого существования она успела эффектно выступить, так сказать, на авансцене мировой истории: ее каравеллы первыми ушли в просторы мирового океана, и она создала свою мировую империю, соперничающую с испанской. Нажитый гонор не позволил ей долго мириться с утратой самостоятельности: в середине XVII века она вышла из состава Испании, и уже бесповоротно.

А вот современный пример. Прошлое Польши во многом диктует ее поведение в настоящем. Поляки не могут забыть, что когда-то они хозяйничали на Москве, а Берлин находился в вассальной зависимости от них — отсюда не затухающий *honor polski*, никак не поддержанный реальным положением дел.

Сегодня же европейцы, те, что следуют генеральной линии ОЕ, отрекаются от любых великих дел. Еще В.В.Розанов отметил выдвижение на общественной арене самодовольных мещан, «вонючих завистников всех исторических величий». Сегодня подобные «вонючие» (в психическом смысле) стали задавать тон. Акцент делается на раскаянии: раскаиваются в том, в чем раскаиваться стоит, но еще больше в том, что заслуживает совсем иного к себе отношения. Войны — любые — вызывают только осуждение. Из истории изгоняется само понятие воинской доблести, героизма. В учебниках для средних школ лишь мельком упоминается о тех, кого раньше считали национальными героями; таковы, например, Жанна д'Арк и Баярд у французов или

Арминий Германец и Туснельда у немцев. В соответствии с требованиями мультикультурализма национальная история растворяется в европейской, а европейская в мировой. Само преподавание этого предмета становится бестолковым: вместо последовательного хронологического изложения из материала истории выдергиваются отдельные темы, которые трактуются под углом зрения идеологии неомарксизма.

Все это сильно похоже на советскую школу 20-х годов, где историю преподавали, руководствуясь установками недоброй памяти академика М.Н.Покровского.

Другое течение, которое и у нас, к сожалению, распространилось, назовем его избыточно-либеральным, предоставляет самим ученикам толковать факты истории, самим решать, кто там был хорош, а кто плох. Эта метода не просто ошибочна, она нелепа, если учесть, сколь мало нынешние дети (что у них, что у нас) в массе своей осведомлены о фактах истории, какие вопиющие и зачастую комические ошибки они допускают и как в иных случаях не могут понять самые простые тексты.

И такой подход означает разрыв с традициями европейской школы, в которой изложение истории всегда имело более или менее «догматический» (ориентирующий на единый образец) характер. Оно ставило целью, во-первых, нравственное воспитание и, во-вторых, воспитание национального чувства. Когда Тацит или Тит Ливий излагали историю, они старались не столько показать, «как оно было на самом деле» (известная формула Леопольда Ранке), сколько научить образцам доблестей и нравственного поведения. И эта традиция сохранялась до самого недавнего времени. Воспитать чувство национальной солидарности можно только посредством единого для всех учебника. А разногласия допустима только на уровне высшей школы, где дидактику вытесняет аналитика. (В средней школе всегда были и будут пытливые юноши и девушки, не удовлетворенные тем, как история излагается в учебнике, но в их распоряжении — библиотеки и книжные магазины.)

А ныне в средней школе, сетует, например, английский историк Джон Пламб, аналитика задавила поэзию, отчего этот предмет уже не «задевает» учащихся, в массе своей вообще переставших интересоваться им. Сказанное применимо ко всей европейской школе и, увы, к нашей тоже.

В какой-то мере допустимо приукрашивать национальную историю (у нас это школа Карамзина). В старом Китае изложение истории было больше похоже на сказку, в которой только потому нет счастливого конца, что никакого конца вообще не ожидается. Похоже, что и нынешние китайцы недалеко ушли от этой традиции: учащиеся остаются в полном неведении, например, о кровавой «культурной революции» или о бойне на площади Тяньаньмень. Да и в Европе были попытки представить национальную историю «без пятен и морщин». В XIX веке, например, один французский историк предлагал исключить из школьного курса всякие упоминания и об Альбигойских войнах, и о Варфоломеевской ночи, и даже об относительно недавнем в то время якобинском терроре. Это, конечно, крайность: подобное прекраснотуше даже в XIX веке выглядело чрезмерным. Трагическое всегда, скажем так, подстерегает исторический процесс (тот же Карамзин не умолчал о зверствах Ивана Грозного); и учащимся следует об этом знать. Как сочетать свет и тени — дело рассказчика; история — это ведь не только наука, но и искусство рассказа.

Скучноватое «тематическое» изложение истории направляет внимание на то, например, как в Средние века обстоит дело с правами женщин, кто был носителем расизма, почему глупые рыцари уходили в крестовые походы, а церковники жгли на кострах ведьм, и т.п. Национальное перестает вызывать воодушевление и даже просто интерес. Выигрывают от этого, с одной стороны, космополитические силы, но с другой стороны — регионализм.

Проблемы регионализма в самые последние годы всерьез озаботили верхушку ЕС. Там было принято считать, что хотя карта Европы в продолжение многих веков «флуктуировала», отныне она устоялась и больше «флуктуировать» не будет. Но вот

теперь наиболее крупные из европейских наций начинают крошиться, пока еще только психологически. Этому процессу ЕС противопоставляет нормы права, им однажды утвержденные. Но правовая система (я имею в виду систему позитивного, то есть «здесь и теперь» действующего права) не есть самостоятельная структура; она может стать фикцией, если не поддержана исторически. В Брюсселе, например, всегда говорят о необходимости уважения к международному праву, но разве не должно оно, уважение то есть, распространяться на его создателя, Гуго Гроция, а тот писал, что международное право следует применять осмотрительно, учитывая историческую конкретику того или иного вопроса.

История творится верою, а не законом, писал Б.П.Вышеславцев.

Сам ЕС однажды нарушил международное право: когда признал независимость Косова, потому что это было в его интересах. Сейчас независимости добивается Каталония, а это уже не в его интересах: пример Каталонии возбудит сепаратистов в других странах, и так может посыпаться вся структура ЕС, в том виде, в каком она существует сегодня. Как говорит Фигаро у Бомарше, охота прыгать в окна заразительна. Имеет смысл поэтому задержаться на каталонском вопросе.

Каталонцы упрямы и, похоже, намерены идти до конца. Стоит обратить внимание на то, чем они мотивируют свое стремление к независимости. Во-первых, это язык: существует, действительно, особый каталонский язык. Но язык как средство общения — слабый нациеобразующий фактор. Сильным он становится тогда, когда на этом языке создано что-то великое. Вот в Италии Данте, создав «Божественную комедию», «заставил» жителей Апеннин (сначала только образованные классы) говорить на ее языке (тосканском наречии) и таким образом почувствовать себя нацией еще до того, как сложилась итальянская государственность¹. А в Испании все великое создано на языке Кастилии, ставшем общенациональным языком.

Подобным же образом на Руси все великое создано на языке великороссов, а украинский и белорусский долгое время служили только средством общения для местного населения.

Во-вторых, каталонцев толкает к независимости материальный интерес — пресловутый ВВП у них несколько выше, чем по стране в целом. Но это говорит о некоторой приземленности их национального (если уж считать их нацией) характера. Кастилию всегда отличал рыцарский дух, и это относилось не только к воинскому сословию. В.П.Боткин, путешествовавший по Испании в середине XIX века, писал, что едва ли не каждый житель Кастилии считает себя *кабальеро*. Конечно, стирание национальных особенностей в Европе зашло уже достаточно далеко, и рыцарство Кастилии сегодня — «не дым, а только тень, бегущая от дыма». Но хотя бы тень видна. А в Каталонии давно уже задавал тон торговый класс, «заразивший» край своим меркантилизмом. Недаром единственный большой художник родом из Каталонии, которого я могу припомнить, Сальвадор Дали считал себя в душе *кастельяно*. В каждой крупной европейской стране существует свой культурный «акрополь»; в Испании он выстроен усилиями Кастилии и примкнувших к ней Андалузии с Эстремадурой.

Если символом Кастилии традиционно считался Дон Кихот, «борец с неправдой» и «враг чародеев», то почему бы не считать символом Каталонии бакалавра Самсона Карраско, пошловатого молодого человека, каким его изобразил Гюстав Доре? Гейне говорил, что, читая роман, он заплакал, когда дошел до того места, где бакалавр сражает Дона Кихота в бою.

Совместим ли регионализм с идеей ОЕ? В принципе, наверное, да, только последняя должна будет принять какой-то иной вид. Сторонники регионализма (в той

¹ Удивительно, что читать «Божественную комедию», написанную около 1300 года, в оригинале сегодня почти так же легко, как и современную литературу. Для сравнения: французские или английские тексты того времени более чем наполовину непонятны.

же Каталонии, в Шотландии, в итальянской Падании и т.д. — регионов, настроенных на отделение, насчитывают до двух десятков) полагают даже, что такая, дробящаяся на множество полунезависимых областей, Европа будет крепче стоять на ногах по той причине, что окончательно уйдет в прошлое взаимное недоверие между некоторыми нациями, еще сохраняющееся хотя бы в остаточной форме.

Но что же все-таки будет с душой?

«В глубине (европейской) декорации, — утверждает французский политолог Мишель Фуше, — еще дремлет миллениаристская и федералистская мечта Средних веков — объединение Европы в единую *respublica christiana*¹, ностальгирующую о *pax romana*... и представляющую собою империю последних дней, охватывающую гомогенное сообщество, твердое в своей вере и своих ценностях»². Если такая мечта действительно существует, то у нее есть два аспекта: светский и религиозный.

Сразу после падения Римской империи жителей Европы стала преследовать мысль о ее восстановлении. И были сделаны две серьезные попытки в этом направлении. Первая из них была предпринята Карлом Великим в 800 году, вторая Оттоном I в 962-м. Обе попытки оказались неудачными. Империя Карла просуществовала всего несколько десятков лет, а империя Оттона с самого начала была рыхлой, а в дальнейшем стала и вовсе призрачной, хотя формально просуществовала до начала XIX века (к тому же свое первоначальное наименование «Священная Римская империя» она усложнила в 1512 году, добавив к названию уточнение — «германской нации», то есть уже сделала шаг в сторону национального государства). Между прочим, идея старца Филофея о Москве как Третьем Риме порождена была не только фактом падения Византии, но и очевидной неудачей имперского строительства на Западе. И надо отдать должное прозорливости старца: Московия выросла в империю, показавшую высокую степень устойчивости — прошедшую реинкарнацию в виде СССР, а ныне возвращающуюся к своим христианским корням и не в пример остальной Европе демонстрирующую, как представляется, значительную витальность.

Что касается религиозного аспекта, то Европа уже была *respublica christiana* в период «классического» Средневековья. От Лапландии до Сицилии европейцев связывала одна вера; одна и та же церковная латынь звучала во всех без исключения храмах. Европа странствующих рыцарей и странствующих студентов не нуждалась в визах; свободному перемещению по ее дорогам могли помешать только разбойники, как правило, тоже верующие (один из парадоксов тех времен). Короли нередко воевали друг с другом, но это были, по выражению Честертона, «семейные ссоры», без ожесточения, которое проявилось в войнах гораздо позднее (в Средние века ожесточенными были только религиозные войны). И, право, в некоторых существенных отношениях та Европа могла бы послужить образцом для нынешней.

А нынешняя Европа дремлет духовно, не в смысле грезит потаенно от самой себя, а в смысле «клюет носом». Мы помним, что однажды дрема сковала даже апостолов в Гефсиманскую ночь. И это была очень несвоевременная дрема.

И сегодня дремать не пристало: Господь «сыграл на обострение» исторического процесса. И мы видим, что над западной частью нашего континента занимается, воспользуясь блоковской строкой, «широкий и тихий пожар».

¹ Слово *respublica* употреблено здесь в изначальном смысле «общего дела», *res publica*.

² *Foucher M. L'Europe et l'avenir du monde.* — Paris: Odile Jacob, 2009. P. 63—64.

Широкий и тихий пожар

День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание.

Пс. 18

Писатель Леон де Винтер не так уж давно, в 2003 году писал в журнале «Шпигель»: чтобы обрести душу, европейцам надо увидеть врага. А его пока ниоткуда не видно¹.

Ну, во-первых, всегда есть тот, кого принято называть «врагом рода человеческого». Каковой в своем амплуа «ловца душ» проявляет ныне такую изощренность, какую, наверное, не проявлял никогда прежде.

Есть, однако, и вполне посюсторонний враг — исламский экстремизм, который твердо обещает «похоронить» Европу (кстати, трубить о русской угрозе европейцев сегодня побуждает как раз «враг рода человеческого», отвлекая их, таким образом, от реальной угрозы, исходящей совсем с другой стороны). Его уверенность проистекает не столько от сознания собственной силы, сколько от необманного ощущения внутренней слабости Европы. Ее психологическое изнеможение, душевная дряблость давно уже замечены теми европейцами, кто наделен даром «ночного» видения вещей, «взглядом филина». Один из самых сильных тому примеров — фильм Ж.-Л. Годара «Моцарт навсегда», снятый более двадцати лет назад. Впечатление он оставляет такое, что Моцарт как раз не навсегда: иные души еще могут быть настроены на восприятие ажурно-тонкой культуры, но «за углом» ожидает ужасное и унижительное, от которого нет спасения.

Но сейчас и при ярком дневном свете хорошо видно, какую угрозу представляет для Европы вторжение южных народов, преимущественно мусульман. Удивительным образом структуры, аффилированные с руководящими органами ОЕ, не хотят этого замечать. Есть, наверное, там идеалисты старого покроя, искренно сочувствующие горемычным или тем, кого принимают за таковых, но как-то они запоят завтра, когда на свой лад горемычными станут они сами? Озабоченность вызывают только террористы, но акты террора, сколь бы ни были трагичны их результаты, — всего лишь хлопущие, если сравнивать их с предстоящими историческими пертурбациями. К поистине грозным переменам должно привести мирное, пока, во всяком случае, просачивание иноземцев в европейские пределы, подобное тем, какое имело место в последние два века Римской империи.

Даже если просачивание удастся остановить, что крайне маловероятно, все равно пришлые будут расти численно благодаря тому, что соотношение числа гробов и колыбелей у них несравненно более выгодное, чем у автохтонных европейцев. И напрасно утешают себя тем, что большинством в европейских странах они станут еще очень нескоро. Даже сейчас, пока они еще в меньшинстве, преимущество им дают жизненная сила, напор и, главное, чувство собственной правоты, отчасти внушенное им самими же «бледнолицыми». Что уже сказывается на бытовом уровне. Замечено, например, что в школах многие белые девочки предпочитают дружить со смуглыми мальчиками, а белые мальчики нечасто отваживаются вступить с ними в драку. Не новое ли это «похищение сабинянок»? (Напомню, что сабинянки, хотя и были похищены, добровольно прилепились к своим иноземным мужьям.) Еще замечено, что белые ученики начинают подражать интонациям пришельцев, даже усваивают их ошибки в речи. Что опять-таки наблюдалось в позднем Риме, когда с участием варваров начал быстро портиться язык Цицерона и Вергилия.

Неужели прав Федор Сологуб: «Что было, то будет. // Что было, будет не однажды»?

¹ De Winter L. Wo steckt Europas Seele? www.spiegel.de/thema/leon_de_winter/dossierarchiv-3.html

Освальд Шпенглер в своей знаменитой книге «Закат Европы» (кстати, в этом году исполняется сто лет с момента ее выхода) изрек: жить Европе — до 2200 года. Сегодня прогнозируют, что безглазая явится уже около 2050-го.

Говорят в иных случаях, что «ничего страшного» на самом деле в этом не будет: однажды происходило уже Великое переселение народов, и что же — в результате Европа омолодилась и подготовилась к свершениям, во многих отношениях далеко опередившим погибший Рим. Не таков ли будет эффект и нынешнего, как его стали называть, Великого замещения народов? Покойный Умберто Эко писал: «Великие миграции неостановимы. И надо просто подготовиться к жизни на новом витке афроевропейской культуры»¹.

Легко сказать «подготовиться». «Утряска», последовавшая за Великим переселением, была мучительным процессом, растянувшимся на пять столетий. Это были поистине Темные века — термин, который напрасно распространяют на все Средневековье. Движение племен напоминало движение вязких жидкостей: то или иное племя, соприкасаясь с соседним, смешивалось с ним, или разминывалось, или попросту растворялось в нем. Дикость и разруха царили в Европе. И как это обычно бывает, разруха начиналась в головах. Развал племени имел следствием психологическую потерянность его членов. Рыхлое еще христианство с трудом овладевало умами и сердцами: выход из языческой мглы был долг и труден. Еще более рыхлыми оставались государственные образования, назывались ли они королевствами или империями. Только в XI веке завершается кристаллизация общества, законченный образ которого мы и называем Средневековьем.

Что-то отдаленно похожее ожидает и ныне Европу, коль скоро ей суждено стать афроевропейской. Как пишет Петер Слотердайк (немецкий философ, который сейчас более других «на виду»), впереди — Великая неразбериха.

Будут, однако, и существенные несходства. Во-первых, варвары, затопившие Римскую империю, почти исключительно принадлежали к белой расе² и были выходцами из Северной Евразии. А теперь в Европу ринулись совсем другие — «обожженные солнцем» народы. Смешение рас — всегда рискованный эксперимент даже на уровне индивидов, а тем более на уровне целых народов. «Премудрый Садовник, — писал по этому поводу о.Сергий Булгаков, — насаждает в Своем саду растения от разного семени и корня и дает каждому из них расти и зреть во время свое»³. Что получится от смешения семян в одном и том же месте — большой вопрос.

Инициатор ОЕ потомок крестоносцев граф Р.Куденхове-Калерги (выдвинувший эту идею еще в 1922 году; ему же принадлежит мысль сделать гимном ОЕ «Оду к Радости») считал смешение рас неизбежным и видел европейцев будущих веков похожими на древних египтян. При всем, как говорится, уважении к древним египтянам (удивительному народу, коснувшемуся незримых до него духовных глубин) как-то не хотелось бы увидеть, хотя бы и в более или менее отдаленном будущем, на месте привычных французов, немцев и т.д. — конечно, не тех коричневатых особей со странно вывернутыми плечами, какими они изображены на фресках, но все же ничем не напоминающих нынешних европейцев смуглых людей.

Еще несходство. Во времена Великого переселения Европа была обильна лесами, в которых волков было едва ли не больше, чем людей, теперь это густозаселенный континент, перенасыщенный всякого рода техническими системами. Которые, естественно, требуют искусного управления. Сумеют ли пришлые управлять ими? Может быть, да. А может быть, и нет. Может быть, даже и не захотят.

¹ Эко У. Картонки Минервы. — М.: Corpus, 2010. С. 14.

² Только гуннов долгое время считали племенем монголо-маньчжурского происхождения, но теперь, насколько я знаю, преобладает мнение, что они были прото-тюрьками, то есть тоже принадлежали к белой расе.

³ Прот.С.Булгаков. Иуда Искарот. — Путь (Париж). — 1931. — № 27. — С. 22.

И главное несходство. Во времена Великого переселения на территорию Римской империи вторгались племена, в большинстве своем уже христианизированные, хотя бы формально и очень поверхностно. А сейчас большинство приходящих составляют мусульмане, укорененные в своей вере. В истории накоплен опыт мирного сосуществования христиан и мусульман — на Ближнем Востоке, на Балканах, даже в Испании в определенные периоды ее истории (я уже не говорю о России, ибо речь идет о зарубежье). Но сейчас в мусульманской среде все больше задает тон агрессивная секта ваххабитов, которых традиционные мусульмане справедливо именуют «братьями шайтана». Страны полумесяца все больше подпадают под их влияние, а в Европе ваххабиты терроризируют умеренных мусульман, вынуждая их к поддержке своих действий.

Множащиеся в Европе минареты, которые европейцы принимали когда-то за пожарные каланчи, становятся как раз распространителями пожара.

Сила ваххабитов — в их вере; в готовности жертвовать собою ради веры. «Твердым шагом идущих на плаху» (напомню эти слова Милля) сегодня легче найти в их среде, чем в какой-либо другой. Это побуждает перебегать на их сторону некоторых экзальтированных молодых людей из числа европейцев, не находящих у себя на родине духовной силы, способной их поддержать и направить.

Они играют с огнем или огонь играет с ними? — риторически вопрошает французский писатель Морис Дантек.

Знаменитый Т.Э.Лоуренс («Аравийский») на вопрос журналиста, чем его привлекает пустыня, ответил: «Она чиста». «Чистота» здесь — символ обнуления цивилизации, запутавшейся в самой себе. Но в пустыне, как говорят хорошо знакомые с предметом авторы «Тысячи и одной ночи», можно услышать только шипение змей и вой джиннов.

Ислам подлинный, не искаженный ваххабизмом ислам — великая религия, но христианство — еще более великая религия (это, разумеется, точка зрения христианина, с которой мусульманин не сможет согласиться). Говорят, что за две тысячи лет Европа «устала» от христианства; и что она «устала от самой себя». Это очень несвоевременная усталость. Вере может противостоять только вера. Пряча «тело жирное в утесах», европейцы вряд ли смогут остановить ход Великого замещения. Если Европа не обретет вновь свою христианскую душу, ее ждет один из вариантов любимой темы Иеронима Босха — «Смерть распутницы».

Речь идет, уточню, о западной части нашего континента. Страны Восточной Европы, а также страны, некогда выделившиеся из состава Австро-Венгрии, находятся в особом положении. Эти страны в заморской колониальной экспансии не участвовали, у них нет истории отношений с заморскими народами, а значит, и не может быть никакого чувства вины (реальной или надуманной) перед ними. Зато у них есть исторический опыт борьбы с захватчиками-турками. Естественно поэтому, что эти страны в той или иной степени отмежевываются от политики распахнутых дверей, проводимой Евросоюзом. К тому же в этих странах или, по крайней мере, в большинстве из них христианская Церковь занимает гораздо более сильные позиции.

Одним боком, так сказать, к этим странам относится и Россия, хотя другим, азиатским боком мы давно уже участвуем, так или иначе, в жизни сопредельных азиатских народов. Но экспансия России в восточном и южном направлениях сильно отличается от колониальной экспансии Запада (это тема отдельного разговора). Проблема Великого замещения есть и у нас, хотя поставлена она далеко не так остро, как на Западе.

И все же закончу предупреждением Горация:

«Дело дошло до тебя, если дом загорелся соседний».

Алексей Малащенко

«Обиженная» цивилизация?

Странный у меня получился заголовок. Провокационный, для мусульман обидный. Но ведь знак вопроса я поставил. Речь идет о гипотезе, или своего рода метафоре.

Цивилизацию обидеть нельзя. Как природу. Хотя ее носители могут обижаться. Вот только на кого? На соседние цивилизации или на самих себя. Все цивилизации велики, у каждой своя специфика. Все они партнеры по сотворению планетарной общечеловеческой цивилизации, но все также соперники, стремящиеся доказать свое превосходство. О межкультурных отношениях написано много, даже избыточно. Интереснее других писали наш социолог Николай Яковлевич Данилевский (1882—1885), английский историк и философ Арнольд Джозеф Тойнби (1889—1975) и, конечно, американец Самуэль Филипс Хантингтон (1927—2008), в 1996 году шарахнувший мир по башке своим «Столкновением цивилизаций». Скандал — научный и политический — вокруг этого «столкновения» продолжается и вряд ли когда-нибудь уймется.

Мы, то есть цивилизации вообще, были и есть необъективны друг к другу. Ищем промахи и недочеты у соседей и легко их находим. Ошибок хватает у всех, тем паче поводов для взаимной нелюбви и даже ненависти. Даже когда раздается громкий примирительный призыв: «Люди, остановитесь, мы же все люди!», тут же доносятся реплики типа «да они нехристи!», «да они неверные!», а «эти — язычники!», а «те — вообще безбожники и либералы!» Вот в России в последние полтора десятилетия велено не любить Запад. И не любят. Похоже, искренне не любят.

Но, ребята, мы же живем в одном заповеднике (космическом). Заповедник называется Земля. Рано или поздно его не будет. По версии астрофизиков, через 1-2 миллиарда лет Солнце дотянется до нас своими лучами и все сожжет, а потом — схлопнется, и тот, кто не сгорел, замерзнет. Как спасительный вариант: всем нам, с нашими цивилизационными спецификами, придется отсюда драпать. А пока, до Армагеддона, надо жить дружно, приспособливаться друг к другу.

Сравнивать цивилизации, выясняя, какая из них лучше, сильнее, а какая хуже и слабее, — дело опасное. Но и игнорировать то обстоятельство, что носители одной региональной цивилизации опередили и опережают носителей других, тоже нечестно. Если одна цивилизация хочет «полакомиться», придавить другую, это тоже реальность, в каком-то смысле даже неизбежность.

Малащенко Алексей Всеволодович — российский востоковед, исламовед, политолог. Доктор исторических наук, профессор. Один из ведущих российских специалистов по проблемам ислама.

Звучит призыв к диалогу цивилизаций. Когда нет взаимопонимания, востребованность диалога особенно велика. Мой друг Евгений, когда возбудится, начинает доказывать, что никакого диалога нет и быть не может, все это чушь. Евгений приводит массу убедительных и эмоциональных аргументов, один из которых звучит примерно так: «Дай им волю — да они нас всех передушат». Читатель догадался, что под «они» он имеет в виду мусульман, а под «нас» — «еврохристиан», иудеев, Европу, Америку, а заодно и Россию.

Полемизировать с процитированным выше «оратором» я не буду. Но если вдруг на секунду признать его правоту, то невольно задаешься вопросом: а почему? Почему такое отношение правоверных к неправовверным? Насколько оправданна неприязнь — пусть и не у всех мусульман, но наверняка у многих. Почему есть у мусульман это чувство обиженности?

Говорить обо всем этом сложно. Но говорить-то надо. Иначе тема уйдет на откуп тем, кто расчетливо пестует в себе неприязнь и злобу.

Что мы знаем о нашем цивилизационном vis-?-vis? Об исламе и мусульманах?

Ислам, как известно (а это должно быть известно всякому образованному человеку), возник в начале VII века. В 610 году пророк Мухаммад через архангела Джабраила получил первое откровение от Аллаха и начал проповедовать. Это откровение, «Сгусток», изложенное в 96-й суре Корана, гласит:

«Читай (и возгласи!)

Во имя Бога твоего, кто сотворил —

Кто создал человека

Из сгустка.

Читай! Господь твой самый щедрый...»¹.

После долгих гонений, коим подвергались в городе Мекка, где Мухаммад начал свою проповедь, пророк и его соратники в 622 г. переехали в соседний город Медину. Их переезд получил название «хиджра». По хиджре, состоявшейся 12 июля 622 г., мусульмане ведут отсчет своего мусульманского времени. По хиджре день начинается не с 12 часов как у христиан-григорианцев, а с заходом солнца. В мусульманском году 354 — 355 дней. Отсюда различия в годах.

В Медине Мухаммад, пророк, ставший политиком, создал на базе мусульман-мигрантов (мухаджиров) и своих мединских последователей-неофитов — ансаров исламское протогосударство, с которого все и началось.

Из Аравии после смерти пророка в 632 г. началась политическая, военная, и религиозная экспансия ислама, результатом которой стало возникновение мусульманского мира. Арабы-мусульмане называли свои походы «футухат», что переводится как «открытие (перед исламом) новых земель». На западе ислам дошел до Атлантического океана, на востоке утвердился на побережье Тихого. В Европе перевалил через Пиренеи, но в 732 г. был остановлен в битве при Пуатье майордомом франков Карлом Мартеллом. (В арабской версии эта битва именуется «сражением шахидской когорты».) Несмотря на поражение ислама, его европейские амбиции сохранились. Позже ислам проникал на старый континент через Балканы, энергично действовал на юге будущей Российской империи, а в 1529 г. турки-османы осадили Вену, захватить которую все же не смогли. Это был пик исламской экспансии.

С того времени мусульманский мир, и его главная движущая сила — Османская империя, стали ощущать ограниченность своих возможностей, слабость перед лицом начавшей быстро развиваться христианской Европой.

¹ Перевод Валерии Пороховой. Советую читать именно этот перевод. Он изыщен и точен, хотя некоторые исламоведы и подвергают его критике.

И вот какое занятное совпадение приходит на ум. Примерно за 10 лет до снятия осады с Вены и главного проигрыша ислама христианству, в 1517 г., некий немецкий богослов Мартин Лютер публикует свои 96 тезисов, осуждавших католический Рим, папство и тем самым инициировавших реформацию, которая и предопределила будущий успех — экономический, политический, военный — христианской цивилизации. В историческом контексте одновременность провала мусульманской осады Вены и «реформаторская выходка» Мартина Лютера — совпадение. Но это символическое совпадение, в конечном счете обеспечившее превосходство христианского мира над мусульманским. Исламское же реформаторство запоздало почти на полтысячелетия. И было, следует признать, хилым и неполноценным.

Жаловаться тут мусульманам не на кого. Тем более, что потенциал их цивилизации был и остается огромным. Хотя бы демографический.

Исламская цивилизация начиналась с нескольких десятков людей, поверивших в проповедь пророка. В середине XIII века мусульман было от 30 до 50 млн. человек (это примерная численность населения Багдадского халифата). Переписей в то время не проводилось, поэтому поверим на слово историкам и демографам.

В 1950 г. мусульман насчитывалось 330—350 млн., в 1980 — 800 млн., а в конце XX в. — 1,2 — 1,4 млрд. В нынешнем, XXI веке толкуют уже о полутора или даже об 1,6 млрд. При этом среднегодовой прирост мусульманского населения к началу наступившего века значительно превышал рост населения у христиан.

Первые три места в мире по численности населения занимают Китай, Индия и Соединенные Штаты Америки. Следующая тройка представлена мусульманскими Индонезией, Пакистаном, Бангладеш. Население индонезийского архипелага в 2016 г. составляло 258,7 млн. человек, из которых свыше 90% — мусульмане. К 2043 г. Индонезия может обогнать США и выйти на третье место в мире. Второе место занимает Пакистан — в 2017 г. — 196,2 млн. человек, к 2100 г. количество пакистанцев может приблизиться к 300 млн. «Мусульманская бронза» у Бангладеш — 164,5 млн. (данные 2016 г.). Есть еще Нигерия с населением 186 млн., из которых мусульман — 70%. Несколько стран — Египет, Турция и Иран — подходят к ста миллионам. Между прочим, в совокупности население Ирана и Турции превышает население России, с которой эти державы (а как их теперь еще назовешь?) соседствуют.

Отдельно про Индию, мусульманское меньшинство (!) которой насчитывает 165 млн. человек. Тоже, кстати, больше, чем жителей нашего отечества. Меньшинство это растет и к 2050 году, видимо, составит около 300 миллионов.

Неумолимо растет население «средних» и «малых» стран — Алжира до 40.8 млн. (в 1966 г. 12,1 млн.), Афганистана — 33,4 (в 1965 г. 11,5), Ирака — 38,1 (в 1965 г. — 8,3), Марокко — 34,7 (в 1966 г. — 13,3), Саудовской Аравии — 31,7 (в середине 1960-х — 6-7 млн.), Сирии — 17,2 млн. (в 1965 г. чуть больше 5 млн.). Заметьте, именно эти в недавнем прошлом ютившиеся на отшибе мировой политики государства своими кризисами и войнами наиболее заметны в наши дни. Сирия, Афганистан, Ирак... Вам мало?

Пара слов про Европу, где демография меняется не в пользу коренного населения. Цифры о количестве мусульман-мигрантов весьма и весьма разнятся. Их число колеблется от 23 до 40 миллионов. Считается, что: во Франции мусульман — 9,5 млн., в Германии — 4 млн., в Великобритании — 3 млн., в Италии — 2,8 млн., в Испании свыше 1 млн., в Голландии — 0,6—1,0 млн., в Бельгии — 1 млн., в Австрии — около 1 млн. Теперь по процентам: Франция — 9,6% (по другим данным 13-15%), Австрия — 7, Бельгия — 6, Швейцария — 5,7, Нидерланды 5,5, Швеция — 4,9, Великобритания — 4,6%. Голова не кружится?

Можно и иные цифры привести, причем все со ссылками на самые авторитетные органы. По прогнозам американского PEW Research Center¹, к 2050 году мусульманский процент в Европе будет в пределах 14. В Германии и Австрии он достигнет 20, во Франции — 18, в Великобритании — 17,2, в Швеции — аж 30%. (Скандинавские коллеги в такой процент не шибко верят, но в приватной компании, хлебнув алкоголя, такого процента, скорее, боятся.) Причина шведского страха объяснима тем, что на сегодняшний день мигрантский процент на одну душу коренного населения здесь самый высокий в Европе. Вот венгры, чехи и поляки такого высокого процента не хотят. И не допустят. Премьер Венгрии Орбан зимой 2018 г. гордо заявил, что его страна стоит на страже европейской христианской цивилизации. Что с них взять — националисты, да к тому же недавние коммунисты. А если серьезно, выходит, что Восточная Европа бережет свою идентичность больше, чем Западная.

Еще одна цифра, взятая из французского очень знающего журнала «Нувель обсерватёр». Во Франции среди нынешних школьников христианами себя назвали 33,2% учеников, мусульманами — 25,5%. Когда только осевшие на родине Вольтера, Наполеона и де Голля магометане успели так распространиться? Ну, а о том, что с 2016 г. мэр Лондона — пакистанец Садик Хан, вообще не говорим.

Уж коль речь зашла о мегаполисах. В Париже — мусульман от 1 до 2 млн., в Лондоне — 1 млн., в Марселе — 25%, в Брюсселе тоже 25, в Стокгольме — 20, в Амстердаме — 14. Это не просто проценты, это то, что бросается в глаза на улицах и в общественном транспорте. На каждом перекрестке, на каждом шагу.

У европейцев растут опасения за идентичность старого континента, да и за свою собственную судьбу. Кое-кто вспоминает о предсказании болгарской прорицательницы Ванги, что в 2043 г. Европа станет исламской. Есть на эту тему и другая шутка: в 2030 г. федеральный президент Германии в своем выступлении «призывает мусульман уважать права немцев».

Что касается США, то, по данным Pew Research Center, там проживают 3,45 млн. мусульман. По другой информации, мусульман в США больше — 4, 8 млн. или даже больше, а к 2050 г. мусульмане составят 2,1% населения США. Некоторые американцы считают, что 17 из каждых 100 жителей США являются мусульманами, следовательно, их количество составляет 54 млн.

А как в России? В 2017 г. количество мусульман в Российской Федерации составило около 17 млн. чел. (по переписи 2012 г. их было 14,5 млн.), то есть более 11,6% населения страны. Однако политики, в том числе президент Владимир Путин, а также СМИ, как правило, упоминают о двадцати (с недавнего времени — о двадцати одном) миллионах, поскольку в число «российских мусульман», правильнее сказать, мусульман, находящихся на территории РФ, включаются мигранты из Центральной Азии и Южного Кавказа (от двух с половиной до трех с половиной миллионов человек).

В 2017 г. глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин говорил о двадцати пяти миллионах, а один из российских мусульманских идеологов — даже о тридцати двух, но это уже перебор.

Официальной конфессиональной статистики в России нет; информация, относящаяся к численности этно-конфессиональных меньшинств, неточна; отсутствует ясность при подсчете мигрантов. Так что приводимые здесь и далее данные носят оценочный характер. Но 21 млн. — цифра вполне реальная. И прав Путин, когда не делит мусульман на своих и чужих.

¹ Pew Research Center — исследовательский центр в Вашингтоне, округ Колумбия. Предоставляет информацию о социальных проблемах, общественном мнении, демографических тенденциях, которые формируются в США и во всем мире, проводит демографические исследования, анализ медиа, социальные опросы и другие измерения.

А Москва? В столице мусульман от 400 тыс. до 2 млн. (как вам точность статистики?). Ну и что? По сравнению с парижанами и лондонцами в столице нашей родины исламо-мигрантский фактор выглядит не столь вызывающе. Случается раздражение, но нет злобы. Не хочу разглагольствовать о причинах этого обстоятельства. Назову только одну: «наши мусульмане», по сравнению с «гостями Европы», ведут себя более адекватно. Невозможно представить, чтобы на Казанском вокзале узбеки и таджики кидались на русских женщин, как это делали арабы на вокзалах немецких городов.

Никто не отрицает, что проблемы с мусульманской миграцией существуют. Одна из них, между прочим, нехватка мечетей. Так постройте же их или дайте мусульманам самим построить эти храмы с минаретами за свои деньги. Будет только лучше и спокойнее.

Не надо забывать, что рождаемость в России в 2017 г. упала на одиннадцать процентов. Так что, будем вымирать или общаться с представителями иной цивилизации? Прошу прощения за промусульманский пафос, но ведь, признаемся откровенно, России от интимной формы межкультурного диалога никуда не деться. Так же как Франции, Швеции, Голландии и иже с ними. Однако и мусульманам не след «выпендриваться»: женился на иноверке — будь добр учитывать ее цивилизационную идентичность (хотя это и не по Корану) и забудь ты наконец про свою полигамию. В общем, будем искать компромиссы.

Говорят, в 2025 г. мусульман в мире будет 30%, а христиан — в пределах двадцати пяти — тридцати. А к 2050 г. мусульмане среди 9,2 млрд. землян составят 33%. Кошмар какой-то. Но исламофобы не должны отчаиваться.

Образ мусульманской семьи всегда связывался с многодетностью. Однако от этого стереотипа придется отказываться. Количество детей в мусульманских семьях сокращается. В 1975 г. на среднюю мусульманскую семью приходилось 5-6 детей, в 2004 — до 4-х, а, например, в Турции и Азербайджане — всего 2,6 ребенка.

Численный рост мусульманского мира сопровождается его территориальным расширением, которое происходит по нескольким направлениям. Во-первых, это Африка, где ислам вытесняет и одновременно адаптирует местные верования. В 2017 г. мусульмане составляли 16 процентов населения к югу от Сахары. К 2060-му их будет уже 27% (фертильность тамошних мусульман опережает на 1,1% фертильность христианского населения в регионе, хотя у последних она тоже немного подрастает).

Во-вторых, ислам распространяется по северу и востоку Евразии — на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток, поднимается в верхние широты вплоть до Северного Ледовитого океана. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах мусульманский процент достиг 10-11.

В-третьих, как уже отмечалось, ислам активно проникает в Европу, формируя свое «исламское пространство». Как-то незаметно в Европе подрастает третье поколение мусульман. Можно сказать, что речь не о проникновении, но о своего рода освоении исламом Европы.

В-четвертых, говоря о расширении мусульманского мира, логично упомянуть бывшие советские республики Центральной Азии, а также Кавказ, как Северный, так и Южный. Слышу возражения: дескать, как же так, и Центральная Азия, и Кавказ были частью мусульманского мира еще со Средних веков. В Дагестан ислам пришел в VII веке.

Но в XX веке, после захвата власти большевиками, советское мусульманство оказалось отрезанным от мировой уммы. «Нашим мусульманам» признавать себя частью мусульманского мира не рекомендовалось. От мусульман — узбеков, таджиков,

казахов, киргизов, татар, кавказцев — советская власть требовала забыть, во всяком случае, не акцентировать свою религиозную идентичность. Вы же советские люди, — взывала к ним официальная пропаганда.

После распада в 1991 г. СССР началось немедленное, ускоренными темпами возвращение советских правоверных в лоно мусульманского мира, воссоединение с исламской цивилизацией. Это и было «исламским ренессансом».

Рост количества мусульман, расширение «исламских территорий» влияет и всегда будет влиять на расстановку сил в мире. Никуда мы от этого не денемся.

Мусульманский мир славен не только своей бурной демографией и непрерывным распространением. Он еще и очень богат. В мусульманской земле зарыто 240 млрд. тонн нефти, что составляет свыше 55% ее мировых запасов. Сами мусульмане считают, что этих процентов еще больше — 74%. В первой десятке «нефтяных богачей» — Саудовская Аравия — 15,7%, Иран — 9,3%, Ирак — 8,8%, Кувейт — 6%, Объединенные Арабские Эмираты — 5,8%, Ливия — 2,8%. Россия с ее 6,1% на этом фоне выглядит не столь внушительно. Мусульманские страны дают свыше половины мирового экспорта нефти.

Запасы природного газа у мусульман меньше — примерно 15% от мировых. Здесь наиболее заметны Иран с его 5,97% (третье место после США и России) и Катар с 4,88%. Зато Катар стоит на втором месте в мире по экспорту, уступая лишь России. Упомянем и Туркменистан, в планах которого довести экспорт газа до 48 млрд. кубометров. Правда, Туркменистан это обещает вот уже более двадцати лет.

Мусульмане убеждены, что нефть является «даром Божиим», которым в первую очередь осчастливлены арабы, на чьем языке был ниспослан Коран. Значит, Всевышний свою цивилизацию не обидел.

Тезис о нефти как о ниспосланном свыше даре лежит в основе концепта, именуемого идеологией «петро-ислама». Эта идеология особенно популярна в Саудовской Аравии, где она служит обоснованием лидерства монархии в арабском и мусульманском мирах. Эта идеология также именуется саудовским национализмом, а то даже «теорией расового превосходства саудовцев».

Благодаря доходам от экспорта углеводородов некоторые мусульманские страны держатся на верхних ступенях таблицы по уровню дохода ВВП на душу населения, располагаясь среди наиболее развитых стран Европы, Америки и восточной Азии. Катар занимает в этой таблице шестую строку, ОАЭ — двадцать вторую, Кувейт — двадцать третью, Бахрейн — тридцать четвертую, Саудовская Аравия — тридцать восьмую. По некоторым прогнозам, подушевой рейтинг валового национального продукта этих стран в 2022 г. повысится. Катар займет первое место, ОАЭ переместится на девятое, Кувейт — на восьмое, Бахрейн — на двадцать второе, Саудовская Аравия — на семнадцатое. Будет ли это связано с высокими ценами на нефть и газ или с дальнейшим развитием и совершенствованием финансово-экономической системы, сказать не берусь. Хотя углеводородная зависимость мусульман никуда не денется (как же это похоже на наше отечество).

«Супружество» мусульман с остальным миром во многом определялось именно фактором углеводородов, за контроль над которыми ведется между мусульманами и европейскими и американскими компаниями острая борьба. Профессор Мичиганского университета Хуан Коул однажды назвал борьбу за нефть «столкновением цивилизаций между потребителями нефти и ее производителями...» Если и согласиться с подобным определением, то все равно надо признать, что победителей в этой «нефте-цивилизационной схватке» нет, и вряд ли они могут быть. Возможен только компромисс с учетом всех заинтересованных сторон. Споры, скандалы, взаимные обвинения — сколько угодно, но деньги прежде всего!

Итак, подводим предварительные итоги. Мусульманский мир обширен, грозен своей демографией, богат и... И вот что я забыл, а лучше бы сказать об этом в самом начале, предваряя прочие рассуждения: этот мир бесконечно уверен в собственной правоте.

Откуда у мусульман такая уверенность?

Да оттуда, что ислам есть последний (ниспосланный Аллахом) монотеизм, вобравший все лучшее от прочих единобожий. Пророк Мухаммад — «печать пророков». И не надо, искушенный религиозными познаниями читатель, напоминать мне сюжетные заимствования Корана из Библии, говорить, что шариат перекликается с иудейским Пятикнижием. Я это и сам знаю.

Не собираюсь ни с кем полемизировать (а то еще запишут в «исламские радикалы»), но признаем: мусульманскому простому человеку его религия понятнее, чем простому христианину его христианская. Попробуйте с точки зрения формальной логики и здравого смысла объяснить «на пальцах» суть Троицы — тут без богословских мудростей не обойтись. А теперь скажите, который монотеизм более внятен и последователен?

Коль монотеизм ислама самый лучший, то и все люди когда-нибудь должны его принять и стать мусульманами. Ислам «обречен» на окончательную победу, и эта победа есть лишь вопрос времени.

Так чем же тогда обижены мусульмане? И имеют ли они право на эту обиду?

Тут-то и начинается самое интересное. Будучи носителями самой передовой религии, располагая гигантскими природными запасами, быстро увеличиваясь количественно, сыграв одну из важнейших ролей в мировой истории, едва не подчинив себе Европу, а может, и Русь (впоследствии Россию и СССР; верю, что, не будь князь Владимир любителем выпить, стояла бы на Красной площади вместо Василия Блаженного мечеть с минаретом выше Спасской башни), правоверные оказались на вторых ролях, пребывая в зависимости от своих цивилизационных оппонентов. Проиграли они это самое межцивилизационное соперничество. Почему и как проиграли — тема отдельная. Надо только задуматься о том, к чему исторические и цивилизационные неудачи мусульманства привели в XX — XXI веках и чего нам — мусульманам и немусульманам — следует ожидать в дальнейшем.

Неудачи привели к обострению исламизма, ставшего политическим, идеологическим и, разумеется, религиозным трендом, утвердившимся на всех мусульманских просторах. Наряду с «исламизмом» имеют хождение такие словечки, как салафизм, фундаментализм, ваххабизм, политический ислам, джихадизм. Между ними существуют различия, но разбираться в нюансах — дело профессионалов-исламоведов. Для нормального человека все это почти одно и то же. Главное же то, что для всех — что салафитов, что фундаменталистов и прочих исламистов — важно, чтобы все жили «по исламу» и хорошо бы — в исламском государстве. В таком контексте исламизм — наиболее общее, универсальное определение. По словам ученых из Бруклинского института Шади Хамида и Рашида Дара, его сторонники борются за то, чтобы «исламские законы и исламские ценности играли главную роль в общественной жизни». Знаменитый арабский мусульманский политик, основатель победившего на парламентских выборах 2011 года тунисского исламского движения «ан-Нахда» Рашид аль-Ганнуши (его величают «живым классиком исламизма»), называет исламистами тех, «кто несет миссию ислама, которая заключается в возрождении и очищении его учения от ошибочных воззрений; в его воссоединении с повседневной жизнью людей, с их индивидуальным и коллективным поведением во всех областях...» Подобные трактовки можно перечислять до бесконечности.

Отдельно о термине «политический ислам», который ныне не менее популярен, чем исламизм. Речь идет об одном и том же феномене. Французский исламовед Оливье Руа полагает, что политический ислам есть просто-напросто аналог исламизма. Определение «политический ислам» полезно тем, что содержит признание единства религии и политики. Действительно, ислам политичней, политизированней, нежели прочие авраамические религии. Уместно привести высказывание аятоллы Хомейни, утверждавшего, что лишить ислам его политической составляющей означает его кастрацию. А Хомейни в исламе и политике разбирался. Он даже написал письмо Михаилу Сергеевичу Горбачеву, где объяснял, что единственный выход для России — принятие ею ислама и построение соответствующего государства. Кстати, к этому обращению с пониманием отнеслись некоторые русские националисты. А что, «исламская перестройка», разве плохо? Вот бы показали мы тогда этим бушам-обамам-траппам...

Теперь опять о серьезном. Исламизм существует на протяжении всей истории мусульманства. С поправкой на эпоху исламистом можно считать самого пророка Мухаммада, не говоря уж о поколениях мусульманских богословов и политиков, мечтавших улучшить общество и государство, вернув их в лоно истинного ислама. Назову только двоих — шейха ибн Таймию (1263—1328), которого и сегодня цитируют исламисты, и Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба (1703—1792).

Исламизм также именуют радикальным исламом. Это словосочетание подается с негативным оттенком. Считается, что исламский радикализм обязательно плох и опасен для окружающего мира. Позвольте отступление. В радикализме как таковом нет ничего заведомо негативного. Во все времена радикалы были и остаются главной, даже единственной движущей силой прогресса во всех областях. Без радикальных решений и действий человечество обречено на вечный застой. Без него не было бы ни огня, не электричества, ни самолета, ни интернета и далее по списку. Радикализм — вечный поиск чего-то нового.

В нашем случае речь идет о религиозном радикализме, также имманентно присущем человеческому сознанию, который отражает понятное стремление к восстановлению традиций и норм истинной религии. Вообще любая религия не может не быть радикальной. В противном случае ее просто задавят конкуренты. Радикалами были все религиозные пророки.

Сформулируем главную причину подъема исламизма в конце прошлого и в нынешнем столетии. Она очевидна. В позапрошлом, XIX веке мусульманский мир продул цивилизационное соперничество Европе. После Первой мировой, в результате которой его последний оплот, Османская империя, был стерт с лица земли, мусульмане перешли под контроль Европы. Некогда великая исламская цивилизация оказалась безнадежно отставшей от своего христианского конкурента, стала периферийной. Это не могло ее не обидеть. Выход из этого унижительного состояния в ближайшее время не просматривался.

Да, на Ближнем Востоке, в Персии, Индии, в Индонезии, даже среди мусульман России звучали призывы к реформам на западный манер, но они были относительно робкими и не выходили за пределы местных религиозно-политических элит.

Но раздавались и другие голоса. В 1928 г. в Египте возникло движение Братья-мусульмане, выступавшее за построение истинно исламского общества и государства. Это была первая *современная* исламистская организация, дожившая до наших дней, а в 2011 году одержавшая победу на парламентских выборах в Египте. В 2012-м брат-мусульманин Мухаммад Мурси на короткое время стал президентом этой страны.

Однако в целом исламизм большую часть XX века провел в тени. Главными

действующими лицами на политической сцене были националисты, панарабисты, консерваторы стран Персидского залива. Исламистская же оппозиция заявляла о себе эпизодически, хотя и жестко. Среди наиболее ярких ее эпизодов упомянем убийство в 1981 г. египетского президента Анвара Садата, восстание в 1982 г. в сирийском городе Хама, систематические всплески активности ливанской Хезболлы (шиитская версия исламизма)... Однако рассчитывать на существенный успех исламисты не могли.

После окончания Второй мировой войны мусульманским политикам и генералам, а это одно и то же, было не до ислама. В 1950—1970-е гг. перед ними вставал вопрос о выборе пути развития. Выбор был невелик: следовать опыту бывших метрополий или попробовать частично использовать казавшуюся привлекательной советскую модель. В последнем случае можно было рассчитывать на всестороннюю помощь СССР. К тому же сотрудничество с Советским Союзом ослабляло их зависимость от западных держав, что было особенно важно для арабов, поскольку обеспечивало им поддержку Москвы в противостоянии с Израилем.

И советская, и рыночная модели были имитационными, требовали больших затрат, внешних инвестиций, а главное — быстрых и решительных реформ. Проведение реформ было возможно только при консолидации правящей элиты и жесткого управления страной. А ставшие независимыми мусульманские страны год за годом сотрясали государственные перевороты (о неудавшихся попытках переворотов говорить вообще не приходится). Только в Сирии с 1949 по 1970 гг. их было семь, в Ираке с 1958 по 1968 — 4, в Пакистане — с 1958 по 1977 — 3.

Параллельно с осуществлением имитационных моделей происходило становление еще одного, третьего варианта — национального пути развития, основанного на местном историческом опыте. Обращение к идее «самобытного развития» легко понять, если учесть трудности копирования чужих моделей и возникающие при этом многочисленные издержки. Национальный путь смотрелся панацеей.

Тяга к такому пути обнаружилась в каждой стране. Многие такие пути гордо именовались «социализмами» в сопровождении «национального прилагательного» — арабский, алжирский, египетский, йеменский индонезийский, иракский и т.д. Это особенно умиляло советских спонсоров, которые по причине своего невежества уверовали, что от нацсоциализма до марксизма полшага. Идея самобытного пути бытовала и в нефтедобывающих странах Персидского залива, но там он заключался в «сохранении традиционных монархических устоев». В Иране подобная модель получила название «белой революции».

Все три модели оказались неэффективными и в итоге завели в тупик. Непоследовательность реформ, непреходящий системный кризис, военные перевороты, диктатуры, клановость, семейственность власти, тотальная коррупция, бедность населения — все это приводило к общей фрустрации, вызывало постоянное раздражение, недовольство мусульманских масс.

Надежды на светлое будущее сменились разочарованием. Безысходность заставляла искать иные варианты развития. Люди задумывались о более надежном выходе из тупика, который все чаще усматривался в исламе, в его социально-политических и экономических установках, утверждающих социальную справедливость, демократичность отношений между властью и людьми. Так обозначился поворот к исламской альтернативе, что выглядело вполне естественно. «Мусульманская религия, — писал французский исламовед Максим Родэнсон (для исламоведов он — что Карл Маркс для марксистов), — предлагает своим приверженцам социальный проект, программу для его реализации на земле».

Выходивший на авансцену исламизм ставил задачу воплотить в жизнь эту альтернативу, *реисламизировать* общество и в итоге построить исламское государство.

Исламисты выступают за полную перестройку существующего общества и государства, за его *реформу*. Они верят, что, обратившись к опыту пророка, можно сотворить с учетом всех мыслимых и немыслимых технологий нашей эпохи современный аналог созданного им в VII веке государства. А далее — совершить стремительный бросок вперед, опередив обогнавшие их прочие цивилизации. Тем самым будет подтвержден догмат о превосходстве ислама, и это превосходство получит наглядное *материальное* воплощение. Это чем-то напоминает требующий долгого разбега прыжок в длину или в высоту. Спортивная метафора здесь уместна, поскольку выше говорилось о состязании цивилизаций.

Траектория продвижения к идеальному общественному и политическому устройству оказывается извилистой. Маршрут проходит по двум противоположным направлениям. Он устремлен в прошлое, где однажды идеальная модель уже существовала, и одновременно в будущее, где опирающаяся на ислам конструкция будет реализована в современных условиях. Возврат в прошлое видится стартовой площадкой для продвижения в будущее. Конечная цель — построение исламского государства. Не подумайте, что речь идет о том самом ИГИЛе, запрещенном не только в России, но везде, за исключением его самого. Речь идет об «исламском государстве вообще», о его идеальном образе.

Теперь снисходительно улыбнемся и заявим, что исламское государство — утопия, миф. За что мусульмане имеют полное право на нас обидеться. Однако любая утопия — религиозная ли, светская, а их на протяжении человеческой истории появлялось великое множество — от Кампанеллы с его «Городом Солнца» (1568—1639), Роберта Оуэна (1771—1858), социалистов-утопистов Анри Сен-Симона (1760—1760), Шарля Фурье (1772—1837), Томаса Мора (1478—1535) с его антигуманной, предвосхитившей тоталитарные системы «Утопией» и далее вплоть до советского коммунизма — обретала в человеческом сознании черты реальности, ибо оказывала влияние, порой грандиозное, на окружающий мир и жизнь отдельного человека. Увы, из исторического опыта известно, что утопии беспощадны, и за воплощение утопии приходится платить очень высокую цену. А вам никогда не приходило в голову, как дорого стоит место в раю?

Тот, кто полагает исламское государство утопией, все равно обязан считаться с мнением тех, кто в него верит. А верят в возможность и даже необходимость такого государства сотни миллионов правоверных. Иначе как объяснить, что за введение шариатского правления выступает большинство населения в четырнадцати мусульманских странах — 84% населения в Пакистане, 83 — в Марокко, 82 — в Бангладеш, 74 — в Египте, 72 — в Индонезии... Больше всего сторонников шариата в Афганистане — 99% и на территории Палестины — 89. Менее всего — в Азербайджане (6%), Казахстане (10%), Турции (12%). Очевидно, это следствие в одних случаях марксизма, в другом — кемализма.

Сколько приверженцев шариата в нашем Дагестане, сказать не рискую. Достоверных цифр нет, а если исходить из досужих вымыслов и личных впечатлений, то получится, что от одного до девяноста девяти процентов. В начале 1990-х проскочила информация: за введение в Дагестане шариата проголосовать было готово больше половины его тогдашних русских жителей (это на заметку его нынешнему главе Владимиру Васильеву). Кто знает, будь тогда принят шариат, глядишь, и девяностые не были бы в этом регионе такими «лихими».

Итак, есть концепт «исламское государство», пусть объективно и утопический, зато реальный в глазах сотен миллионов людей. Есть те, кто готов за него бороться, то есть исламисты.

Хотя активность исламизма нарастала относительно плавно, у него были знаменательные вехи, события, которые остальной мир наблюдал с удивлением и даже оторопью. Первым таким событием в 1978—1979 гг. стала исламская революция в Иране, воспринятая в немусульманском мире как отклонение от нормы, временное отступление Ирана от модернизации. Предположить, что исламский режим просуществует четыре десятилетия, никто не мог. То был триумф исламизма (шиитского).

Почти одновременно с иранской революции случилось вторжение Советского Союза в Афганистан. Афганское сопротивление обрело черты джихада, что способствовало созданию почвы для укоренения впоследствии в стране исламистской идеологии. Афганские моджахеды не были исламистами, но пришедшие им на помощь мусульмане из арабских стран таковыми были. Усама бен Ладен в начале 1980-х начинал свою карьеру крайнего исламиста именно в Афганистане. В 1996 г. власть захватило движение Талибан, которое некоторые специалисты характеризуют как «новый тип фундаментализма».

Менее замеченным оказался приход к власти в 1978 г. в Пакистане генерала Зии-уль-Хака, который с самого начала своего правления начал проводить курс на исламизацию, свидетельством чего стали его попытки привести уголовное законодательство в соответствие с нормами шариата. (Напомним, что Пакистан возник после распада Индии в 1947 г. именно как исламская республика, а столицей его с конца 1960-х стал город *Исламабад*.)

В 1991 г. в Алжире местный исламистский Фронт исламского спасения развязал продолжавшуюся до 2001 г. гражданскую войну, которая унесла от 150 до 200 тысяч жизней. В 1996 г. премьер-министром Турции стал лидер исламистской Партии справедливости и развития Неджметтин Эрбакан. Большинство экспертов считало это (как и исламскую революцию в Иране) случайностью, однако в 2003 г. пост премьер-министра занял Реджеп Тайип Эрдоган, в 2014 г. ставший президентом страны и многожды повторявший, что является учеником Эрбакана. В 2006 г. Исламское движение освобождения (ХАМАС) одержало победу на выборах в секторе Газа. В Ливане доминирующей силой стала исламистская Хезболла. В 2001 г. в Нью-Йорке и Вашингтоне произошло знаменитое «11 сентября». В 2007 г. на Северном Кавказе было провозглашено создание Имарата Кавказ, в девяностые в Центральной Азии заявили о себе Хизб ут-Тахрир аль-Ислами (Партия исламского освобождения) и Исламское движение Узбекистана.

И, наконец, начавшаяся в 2011 г. «арабская весна» увенчалась триумфом, пусть даже временным, исламизма. Ее результатами стали победа Нахды в Тунисе, успехи исламистов в Ливии после свержения в 2011 г. Муаммара Каддафи, формирование мощной исламистской оппозиции в Сирии, приход к власти в Египте в 2012 г. Мухаммеда Мурси. Апофеоз исламизма — провозглашение в 2014 г. Исламского государства — Великого халифата. От такого оборота событий все просто обалдели. Если бы в начале 2000-х кто-нибудь предположил возникновение через полтора десятка лет «исламского государства», сумевшего продержаться более трех лет, такого прожектера сочли бы безумным и уж наверняка отказали бы ему в профессионализме.

Никогда не забуду, как в 2011 г. в Вашингтоне американские коллеги жизнерадостными голосами доказывали, что на Ближнем востоке вот-вот наступит демократия, а от замечаний типа того, что «арабская весна» может обернуться «серьезным исламом», отмахивались, как от надоедливой осенней мухи. Среди политиков и экспертов по-прежнему бытует мнение, что исламизм — явление временное, преходящее, и он априори обречен на неудачу. Оливье Руа, например, в 1992 г. опубликовал книгу под названием «Поражение политического ислама».

Почти десять лет спустя под схожим названием — «Джихадизм. Экспансия и упадок исламизма» — вышла монография другого известного исследователя, Жилля Кепеля. Объясняя неизбежность краха исламизма, арабский ученый Абдель Ваххаб аль-Эфенди перечислил его основные причины — «истощение утопии перед лицом времени и власти, конфликты между его разными составляющими и проблема демократии»¹. Однако практика показала, что эти трудности исламистами были преодолены или, можно сказать, проигнорированы.

Впрочем, подход к исламистам все же меняется, и исламизм постепенно перестают считать неким заведомо грозящим всему миру злом. Публика начинает понимать, что исламисты бывают разными, и задумываться над тем, что с некоторыми из них можно, а порой просто необходимо вступать в диалог.

Почему это столь важно?

Потому что среди исламистов различимы три направления. Сторонники первого исходят из того, что исламизацию общества и государства не следует форсировать, — триумф ислама, пусть и попозже, но все равно наступит. Они чтут конституцию, законы, участвуют в политической жизни, борются за кресла в парламенте. Для них самое важное — участвовать в политическом процессе, обрести больший авторитет и признание. Эти умеренные исламисты без применения насилия сумели добиться значительных успехов в Йемене, Марокко, Иордании, Бахрейне, Кувейте, Бангладеш, Пакистане — короче говоря, везде или почти везде. В странах, где исламистские организации были запрещены, их представители в ходе выборов часто преподносили себя как независимых кандидатов. Добиваясь успехов легальными методами, умеренный исламизм стал мейнстримом в формате исламистского тренда.

Будучи легальным игроком, умеренный исламизм может становиться не только конкурентом, но вместе с тем и партнером власти, поскольку негласное взаимопонимание между двумя политическим полюсами поддерживает баланс и стабильность в обществе и государстве. В Марокко короли на протяжении долгих лет вели с исламистами постоянный диалог, в Пакистане исламисты инкорпорированы в правящую и армейскую верхушку. То же самое (с поправками) имеет место в Йемене и Кувейте. Представители умеренного исламизма занимают относительно высокие посты в административных структурах.

Второе направление — исламисты-радикалы, которые, находясь в оппозиции, действуют более решительно, выходят за рамки законов, апеллируют к «мусульманской улице». Они способны прибегать к насилию, однако, как правило, оно ограничено разбиванием витрин, поджогами автомобилей и драками с полицией. Они избегают использовать оружие. Для радикалов имеет большое значение фактор времени: они не собираются откладывать исламизацию общества и государства на потом. Они торопятся, но в то же время не готовы идти на крайние риски, особенно на человеческие жертвы.

Казалось бы, проще всего перечислить несколько существующих в мусульманском мире радикальных партий и движений. Однако тут оказывается, что придется вновь называть многие из уже названных выше умеренных партий. Почему? Да потому, что каждая такая партия имеет в своем составе радикальную фракцию, и в критических ситуациях эта фракция способна на выступления, которые отнюдь нельзя отнести к разряду умеренных. Провести водораздел между умеренными исламистами и их радикальными собратьями не всегда легко. Это характерно и для йеменской партии «Объединение в защиту реформ», и для иорданского Фронта исламского действия, и для тунисской Партии возрождения, которая, выступая под исламскими лозунгами, была ведущей силой в тунисских «жасминовой» и «финиковой» революциях

¹ Аль-Кудс аль-Арабий от 29 декабря 1999 г.

2010—2011 гг., но глава которой Рашид аль-Ганнуши впоследствии подтвердил ее умеренность, выступив в пользу мусульманской демократии. Исламистами-радикалами можно считать и египетских «братьев-мусульман». Однако и у них радикальная тенденция соседствует с умеренной. К радикалам можно отнести и палестинский ХАМАС, хотя свою известность это движение получило благодаря многочисленным террористическим актам. В США ХАМАС занимает «почетное место» в списке экстремистских, даже террористических организаций. Зато в соответствующем российском перечне ХАМАС отсутствует.

К радикальным исламистам можно отнести нынешний истеблишмент Ирана. Хотя занимающий с 2013 г. пост президента Ирана Хасан Рухани по своим словам и делам к радикалам не относится, а вот рахбар (в соответствии с шиитской традицией верховный правитель Ирана) великий аятолла Али Хаменеи явно из их числа. Иранская правящая элита удивительный синтез исламистской радикальности и умеренности.

Кроме умеренных, радикалов, «умеренных радикалов» в исламизме существует третье направление, которое именуется экстремистским. Экстремисты тяготеют к осуществлению своих целей немедленно, «на следующее утро», ради чего готовы идти напролом, на любые, самые жестокие меры. Они бросают на небоскребы самолеты, отрезают головы, расстреливают людей на морских пляжах и в редакциях, давят толпу грузовиками и мотоциклами, бросаются с ножами на прохожих, убивают христиан за то, что они христиане.

Они одержимы жадой мести и мстят не только и не столько «обидевшим» их государствам, правительствам, но каждому, кто, с их точки зрения, оскорбляет ислам самым фактом своего существования, своей культурой, своими взглядами. Израильский ученый Марк Юргенсмейер удивляется тому, что «плохие поступки творятся людьми, которые, совершая террористические акты, выглядят в глазах набожных мусульман добрыми, делающими это во имя мировой морали». Я бы к этому добавил, что чаще иноверцев страдают от своих фанатично настроенных собратьев сами мусульмане.

Приведем высказывание одного из наиболее последовательных представителей и лидеров экстремистского направления, палестинца Абдуллы Аззама (1941—1989): «Всевышний лучше, чем кто бы то ни было, знает: те, кто могут быть использованы неверующими или прочими, должны быть убиты, будь они стариками, священниками или инвалидами...». Подобное заявление неоригинально. Можно привести немало других высказываний, касающихся того, как следует поступать с теми, кто прямо или косвенно может стать «сообщником» изменивших истинному исламу, не может или не хочет поддержать моджахедов. Исключений нет ни для кого.

Террор «красных бригад», ирландских католиков, разного рода национал-сепаратистских движений в Азии и Африке, даже чеченский сепаратизм были локальными, направленными против конкретных объектов. Они носили инструментальный характер. Иницируемый исламистской экстремой террор глобален. Сегодня теракты происходят по всему миру, а объектом террористов может стать кто угодно. Теракты организуют и контролируют как крупные (ИГ-халифат, Аль-Каида) организации, так и более мелкие группы, как те, что признают свою аффилированность с наиболее известными организациями, так и те, что действуют самостоятельно, автономно.

На сцену вышли «серые волки», которые что в Европе, что в России, что в Штатах действуют на свой страх и риск и сводят счеты с окружающими, не то по личным мотивам, не то мстя за исламскую цивилизацию. Некто Халил Халилов, расстрелявший в феврале 2018 г. в дагестанском Кизляре из охотничьего ружья верующих в Георгиевском храме, в своем обращении в Интернете призывал «мстить неверным». Работавшая в

Москве няней узбечка, которая в 2016 г. отрезала голову своей подопечной четырехлетней девочке, кричала: «Аллах акбар». Про тех, кто шастает с ножом, топориком, на мотоцикле или грузовике по европейским улицам, и говорить нечего. Они — психи, но толчком для психоза послужил религиозный фанатизм.

Как заметил российский писатель Владимир Войнович, «вообще национально и религиозно обидчивых людей развелось слишком много, и чем дальше, тем они чувствительнее и агрессивнее». По этим обиженным начинают судить об исламе.

Увы, чувство обиженности, ощущение мусульман, что их кто-то, проще сказать, Запад обидел, укоренилось в общественном сознании. Отсюда — требование компенсировать их экономическое отставание. Отсюда же — стремление его, Запад, наказать. Нагляднее всего это получилось у Бен Ладена.

Кстати сказать, и некоторые европейские политики, в свою очередь, ощущают чувство вины за историческое прошлое, за былую колониальную экспансию. Плохо это или нормально — думайте сами. Однако в чем виновата одна цивилизация, оказавшаяся сильнее другой? Почему потомки должны платить за политику предков. Если следовать такой логике, то и Россия может обидеться на ордынских кочевников. Ох как за многое обидеться.

Но если уж обижаться, то только на самих себя. За то, что не смогли выстоять перед натиском оппонента, за то, что оказались слабее него. И не пестовать в себе комплекс неполноценности, оборотной стороной коего зачастую оказывается мания цивилизационного величия. От которой мусульмане, да и не только, тоже страдают.

Ольга Балла

Ключи к самим себе: слова и вещи русского самосознания

Кирилл КОБРИН. Разговор в комнатах. Карамзин, Чаадаев, Герцен и начало современной России. — М.: Новое литературное обозрение, 2018. — 224 с.

На первый, не самый внимательный взгляд может показаться, что «Разговор в комнатах» — книга, не совсем типичная для своего автора.

Кирилл Кобрин — мыслитель, как давно известно его читателям, подчеркнуто частный. Историк по основной специальности и эссеист по предпочитаемому способу высказывания, по существу он — именно мыслитель, со своей особенной стратегией мыслепостроения: скептический, осторожный, избегающий, насколько возможно, далеко идущих обобщений. Такой, который будто бы даже и не мыслитель вовсе — отказывающийся, по крайней мере, занимать такую позицию. Он уж, скорее, — наблюдатель. Энтомолог смысла. Естествоиспытатель его. Подстерегатель тех движений, которыми из (частных, повседневных) случаев растут (крупные, исторические) события. Собственное мышление — исследовательское ли, художественное ли (а в данном случае оно, вне всяких сомнений, исследовательское, совершенно независимо от того, что автор, обращаясь не к коллегам-историкам, но к широкому кругу понимающих читателей, намеренно избегает академичной сухости и даже список литературы, сведя его к минимуму, помещает в самый конец книги — чтобы не утяжелял повествования) — так вот, собственное мышление Кобрин старается организовывать «точечно», разбирая анатомию отдельных случаев в формате отдельных же эссе.

Теперь, как будто, — совсем другое дело.

На сей раз перед нами — построение вполне цельное, и процессы, о которых тут говорится, — весьма широкие. Да, составлено это повествование из трех эссе об избранных, вполне точечных сюжетах — однако три эти точки соединены отчетливо направленной линией (по крайней мере, такую линию легко провести). Тут идет речь о кристаллизации тенденций — и мысли, и социального поведения, — определяющих наше историческое самочувствие вплоть до сего дня.

Почти обобщение. Еще шаг, ну, несколько шагов — и мы, кажется, уверенно вступим на путь, ведущий к построению, страшно сказать, истории русской общественной мысли с конца XVIII (когда она, собственно, всерьез началась) до конца XIX века. Увидим, мнится, ответ на вопрос, по каким принципам эта история — согласно мнению автора — складывалась. Во всяком случае, некоторые чувствительные точки, из которых эта история растет, здесь обозначены совершенно отчетливо.

И вот у этих-то чувствительных точек Кобрин останавливается. Почти.

Три точки — три человека, принадлежавших в трех разных поколениях и писавших тексты по-русски (впрочем, один из них вообще предпочитал писать по-французски, и на русский его — когда он вообще публиковался — переводили): Николай Карамзин, Петр Чаадаев и Александр Герцен. Кобрин занимает даже не идеи его персонажей как таковые, но в первую очередь то, что каждый из его героев сделал с русским языком своего времени, создав таким образом возможность разговора о русском обществе как целом. Каждый из них придал языку — не бывшую до тех пор — зрячесть, способность видеть это целое и определенным образом его моделировать. До Карамзина, утверждает Кобрин, не было именно языковых средств такого видения — а потому не выходило и самого разговора. Но после того: по этой причине не было — полагает автор — и собственно истории (заявлением об отсутствии которой так уязвил в свое время соотечественников Чаадаев и на непричастность к которой русского крестьянина указывал своим современникам Герцен). И тут уже мы видим историософскую концепцию автора — опять-таки высказанную почти непрямо: история (по крайней мере, история современности) — это рефлексия. Притом непременно коллективная, диалогическая, вовлекающая разные стороны. Не факт, что она непременно должна быть успешной, главное, чтобы она была. Там, где такой рефлексии нет, мы имеем дело с состоянием если и не предисторическим, то, во всяком случае, — досовременным.

"...настоящая история России, — говорит Кобрин, — начиная с середины XIX столетия есть череда попыток с народом «поговорить», «установить контакт», «выучить его язык», «научить его своему языку», «создать некий общий язык», «говорить от его имени» — вариантов множество. Причем история эта не завершена до сих пор. <...> Однако лишь со второй трети XIX века <...> начались попытки именно «разговора», а не «просвещения» и «обучения»".

Карамзин, Чаадаев и Герцен были, конечно, не из тех, кому удалось продвинуться на пути поисков языка для разговора с «народом», но разговору внутри образованных сословий способствовали чрезвычайно. Они, по Кобрину, наговорили русскому думающему обществу способ видения самого себя, задали этот способ особенностями своего словоупотребления. В результате — по сути, благодаря их текстам, независимо даже от того, насколько адекватно эти тексты были прочитаны и поняты! — «все эти люди, «русское общество» как таковое, заговорили о себе, о своих проблемах, устремлениях, своем устройстве и своих идеалах. О прошлом, настоящем и — особенно — о будущем».

«Кто придумал, — задается автор в самом начале книги вопросом, — язык, на котором такой разговор велся? Кто предложил и сформулировал темы для обсуждения?»

Вот, герои книги и придумали. Разумеется, не они одни, о чем говорит и сам автор. Однако на их примере виднее всего, как такое вообще делается. По крайней мере, автору точно виднее.

И тут перед нами, конечно, — узнаваемо-кобринская тема, одна из самых настойчивых его тем, — эту тему он разрабатывает на любых материалах, за которые вообще берется: *модерность*, *modernite*, ее устройство, происхождение, сущность. *Modernite*, по Кобрину же, — состояние характерно-европейское, и в этом смысле мы — вне всяких сомнений — европейцы. В книге речь о том, как речевыми усилиями своих литераторов Россия входила в состояние модерности и как она начинала себя в нем понимать. Узнается здесь и характерная кобринская тематическая сцепка: *модерности*, *частности* и *рефлексии*. Частный одинокий человек, усилием рефлексии задающий дистанцию между собою и окружающим его обществом, создающий, таким образом, собственную частность, как мы знаем из предыдущих книг Кобрин, — и

порождение модерности как состояния общества и умов, и один из важнейших ее источников, точек ее выработки.

Русская история подтверждает все то же (прямо, по обыкновению, не формулируемое) правило: сильнейшим источником русской модерности Кобрин видит Чаадаева — частного человека по определению, имевшего, разумеется, свои пристрастия, но державшегося в своем флигеле на Новой Басманной принципиально в стороне от всех течений и объединений, сторон и группировок, — занимавшего позицию, из которой видно далеко во все стороны света. Не то чтобы, конечно, автор пишет тут собственный портрет, с Чаадаевым они изрядно различны во множестве отношений, но свое родство с этим персонажем он несомненно чувствует, как, впрочем, думается, и с Герценом, двадцать с лишним лет проводившим в ситуации принципиальной вменяемости, не принадлежа вполне ни оставленной им России, ни странам, в которых жил после 1847 года: *эмигрант* и *частный человек* — позиции, родственные друг другу.

Любопытно, что, по наблюдениям автора, фактически получается вот что: сама возможность и разговора в русском обществе о его проблемах, и лежащего в его основе целостного видения была создана вроде бы незначительными сдвигами внутри русской речи, лексическими и даже интонационными смещениями, перестановками акцентов. Причем очень похоже на то, что такие перестановки и смещения происходили не вполне намеренно, больше исподволь. Ни для кого из героев Кобринского языка не был основным предметом внимания. Никто из них не был — по сознательной программе — языковым реформатором или, упаси Господи, революционером. Карамзину, конечно, мы некоторыми новыми словами обязаны; и он, и Герцен писали художественные тексты, однако же языковую оптику русского общества, позволяющую ему видеть собственные проблемы, они настроили совсем другими средствами. Чаадаев же и вообще изящной словесностью не занимался, из всех жанровых форм предпочитая наименее обязывающие: частные письма да заметки для самого себя, а лучше всего — устную речь. И вот тем не менее. То есть — тем вернее.

Трех уколов в плоть исторического процесса, трех взятых из его гуши проб Кобрину вполне достаточно: эти пробы тем более характерны, чем более прихотливо-индивидуальны, чем менее укладываются в рамки (а то даже и вовсе их ломают). Представляемая Кобриным картина и в мыслях не имеет быть исчерпывающей: ему важно показать точки роста и, что, кажется, и того важнее, — характер этого роста. Идеологемы и мыслительные инерции, которые мы застали уже в их затвердевшем, даже изношенном и опустошенном облике (как, например, противопоставление «России» «Европе»), он подстерегает в момент их возникновения, еще до кристаллизации или в самом начале таковой — молодыми и гибкими. Рассказывая нам об этих трех сюжетах из истории русской речи и мысли, он говорит нечто очень существенное об устройстве мысли как таковой.

В известном смысле Кобрин — прямой, хотя как будто не очень явный, наследник Мишеля Фуко с его вниманием к тому, как употребительные в некоторую эпоху слова, с характерными для них семантическими подробностями и тонкостями, определяют миропонимание эпохи. Кстати, свои характерные слова-ключи, формирующие видение предмета, есть и у него самого. В данном случае, применительно к рассматриваемому в книге кругу вопросов, такое слово — *повестка*. Именно в ее формирование внесли определяющий вклад Карамзин, Чаадаев и Герцен.

Этим словом Кобрин обозначает список вопросов и тем, которые в определенную эпоху, а то и не в одну, чувствуются важными и обсуждаются, по отношению к которым всем причастным к своему времени волей-неволей приходится занимать позицию. Попадая в состав *повестки*, слово обретает силу принудительности, начинает

задавать характер видения обсуждаемых предметов. У таких вопросов, тем и слов есть, показывает нам автор, совершенно конкретные (и в этом смысле вполне случайные) источники — и, как видим, даже авторство.

То, что Кобрин, со скрупулезностью палеонтолога, здесь реконструирует, — даже не история общественной мысли как таковой. Тут сложнее, тоньше: он проясняет историю ее внутренних возможностей, их созревания и выхода на поверхность. Ее неочевидных корней, не видимых прямому взгляду истоков и стимулов. Тех незаметных сдвигов, которые со временем приводят к далеко идущим структурным изменениям. Если и не в устройстве мира, то, во всяком случае, — в его понимании. Фактически он — открыто себе такой задачи не ставя — занимается микроструктурами внутри больших структур, пишет микроисторию больших смыслов.

Три представленные им интеллектуальные биографии — сюжеты из истории наших ключей к самим себе. И тут чрезвычайно велика воля случая: каждый из этих ключей, предоставленных русским языком, был выбран конкретными людьми в конкретных обстоятельствах, под влиянием этих обстоятельств и по своему вкусу ими настроенных. Потому так много внимания Кобрин уделяет обстоятельствам жизни своих героев — из этих обстоятельств растет их речь, а с нею и способ видения: он показывает (частную) биографию как инструмент выработки (обретающего общезначимость) смысла. Хочется даже сказать — чем более частна и штучна биография, тем, выходит, радикальнее ее смыслопорождающее и смыслопреобразующее воздействие (таков случай «басманного философа» Чаадаева, просидевшего в своем флигеле в статусе сумасшедшего примерно те же двадцать плодотворных лет, что и Герцен в чужих странах, — в состоянии, так сказать, внутренней вненаходимости), — хочется, но удержусь. Это уже было бы непозволительным обобщением.

Во всяком случае. внутри каждого из трех избранных им столкновений человека и истории Кобрин прослеживает, как случай затвердевает в закономерность; наблюдает, насколько зависимы культурные и социальные макропроцессы (куда, например, будут направлены большие потоки общекультурного внимания, шутка ли!) от обстоятельств и факторов, в сущности, слепо-случайных, необязательных. И личный выбор — еще не самый случайный из этих факторов. Есть случайности и тоньше: то, что сложилось само. Волею обстоятельств.

Из дневника школьных лет

Рубрику ведет Лев Аннинский

1949 год. 16 сентября

Может, даже шпион

Когда стемнело, я вынес свою подвижную карту звездного неба и стал искать созвездия. Вокруг меня собралось несколько ребят и девочек. Тут к нам подошел незнакомый старик в старой засаленной фуражке, в грязной куртке, в стоптанных сапогах. У него была не длинная густая борода и темные острые усы; красивые светлые глаза светились добротой. Странная внешность!

Он заговорил низким хриплым голосом:

— Ребята! Подскажите мне, где тут живут какие-нибудь известные кинорежиссеры!

Мы назвали несколько фамилий: Эйзенштейн, Филиппов, Юдин...

— Слышь», паренек, — обратился он к одному из нас. — Проводи меня к какому-нибудь из них, ты окажешь мне большую услугу!

Мы были озадачены. Кто-то сказал:

— Что ж, пойдемте...

Они пошли, я занялся своими звездами и тотчас забыл о старике, внешность которого напомнила мне Тома Айртона. Тут чья-то рука легла мне на плечо. Я обернулся — это был он.

— Сынок, я хочу поговорить с тобой.

Нас опять окружили жилдомские.

Ребята... — заговорил старик. — Сыночки, дочурки... Вы знаете, кто я? До войны я здесь работал и жил... Я был главным механиком спецгаража, там, у троллейбусного круга. Тут все мои знакомые места... — Он стал что-то высчитывать на пальцах и вдруг выбросил руку: — Вон там — церковь!

— Верно, — ответили мы.

— А вон там во время войны стояли два танка!

— Тоже верно, — подтвердили мы.

— Вот! Это же мои родные места! — вдруг он заплакал. — Когда немец подошел, я командовал под Москвой танкистами! Я пожалел своих людей и не послал их на верную смерть. А меня за это... к 18 годам... Но я доказал судьям, что я прав! И меня выпустили...

Он выхватил из бокового кармана и развернул перед нами паспорт. «Липатов Андрей Ильич, 1908 года рождения...» — с фотографии смотрело молодое красивое лицо. Я поднял глаза на старика...

Он спрятал документ и хрипло сказал:

— Меня не сломили! Я был, есть и буду гражданин Советского Союза! Это для меня — все! Судьи извинились передо мной! И я не обижаюсь на них. Хотя мне тяжело. Юристы ошиблись — это ниче го. А вот советские хирурги спасли меня в госпитале. — Он задрал штанину и показал нам шрам па ноге. — Советские хирурги — вот кому честь и слава! — Снял фуражку, склонил голову. — Ничего, что у меня отросла борода, главное, что у меня осталось сердце! — Ударил себя в грудь. — И что мне вернули паспорт! А вы, ребята, учитесь! Учитесь получше! — Он нашел глазами меня. — Вот ты молодец, у тебя в руках карта, ты изучаешь звезды. Учитесь хорошо! Если бы мы не учились, мы бы не выстояли в войну. — Он вдруг закричал: — И ведь есть еще сволочи!! Да, сволочи!! Которые желают зла нашей родине! С ними война будет трудная, хи трая... Потому, ребята, учитесь! И защищайте родину так, как мы ее защищали! — Он закрыл лицо руками и всхлипнул. — А самое первое в жизни дело — это чтобы был товарищ. Товарищ — это все! У меня до войны был товарищ, он один из тех, кого вы мне назвали. Он не захотел меня принять! Шляпу надел! Шляпа, ребята, это хорошо, по это не все. Это ничего, что на мне грязная одежда, я еще сниму ее, я буду нужен! Я еще послужу родине! Я отстоял свое имя, я остался честным человеком! — Он опять заплакал. — А вот Эдуард Тисса вспомнил и узнал меня. Он мне даже денег дал... — В его руках появилось несколько бумажек. — Это товарищ, это — да. Ну, пойду. Надо идти. Хорошо мне с вами, ребята, дочурки вы мои... Уходить от вас не хочется.

Он стал всем пожимать руки.

— Прощайте, милые вы мои. Может, еще приду к вам.

Трагедия этого человека встала передо мной. И какая трагедия!

Оказаться в тюрьме по судебной ошибке для такого преданного человека — это же страшно. Мне захотелось сказать что-то хорошее этому человеку. Шагнув вперед, я произнес, сбиваясь:

— Не отчаивайтесь! Вас выпустили — это же справедливо! У нас в стране все всегда кончается справедливо. А за ошибку — не нужно обижаться, не нужно. Вы еще послужите своему народу...

Он задышал шумно, схватил меня за руку:

— Паренек, дорогой ты мой... Спасибо! Я не отчаиваюсь! Я же знаю, что я честный человек!

И быстро ушел в темноту.

Я повернулся к ребятам:

— Какой несчастный человек.

— Пьяный трепач, — определил Костя Кашехлебов.

— Может, даже шпион, — заключил Юрка Мершин.

Summary

Igor BULKATY. Tzorion. Long short story

"The writer was peering into their faces trying to recognize acquaintances, friends, enemies" Dispossessed are training in railway boxcars; 15-year old guy escapes to the battlefield of the Great World War to vanish without a trace; poetical club "Parnassus" holds sittings in a library; abandoned by his wife drunkard Guderian by nickname is swinging the piano of Benny Goodman; militiamen are patrolling the bridge At the same place "knackers of decency" cry to cast off the yoke of communists, to drive "unwelcome guests" out of the country – and amateur actors are playing Shakespeare. White-haired writer Tzorion performing Lear has to make his choice between Ossetians and Georgians. It's the question of life and death.

Poetry

Imaginative poems by Yourij ARABOV, Efim BERSHIN and Alexander KABANOV are examples of today's civic poetry rich with strong feeling of History and subtle philosophical lyricism: about the star Cool and the star Wormwood, about "disappearing of geographies" and about how to live between two Fatherlands not forgetting the ancestral roots and having one's own way of world creation.

Alexei MALASHENKO. Aggrieved Civilization

"We, civilizations as they are, were always and are now biased to each other. We are looking for faults and defects of our neighbours and easily find them But we live in one reserve (cosmic) which is called the Earth So we must live amicably adapting to each other". Thus is the pathos of the article of the well-known orientalist Alexej Malashenko about the situation of Islam in today's world.

Yourij KAGRAMANOV. Europe in Search of the Soul

Culture expert and political writer Yourij Kagramanov in his article is meditating on the present and the future of the European culture. "They say that for two thousand years Europe got tired of Christianity and of itself. This tiredness is highly ill-timed. Only faith can oppose faith. Hiding from reality Europeans hardly may stop the tread of the Great Substitution. If Europe wouldn't find again its Christian soul it is ahead of one of Jheronimus Bosch's favourite subjects – "Death of the Harlot".

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанародов.com>

Мобильная версия «ДН» для устройств на iOS доступна в App Store и на <https://itunes.apple.com/ru/app/druzba-narodov/id893172883?mt=8>

Верстка: Елена ЖИРНОВА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»



8/2018

Читайте:

Роман Сергея Самсонова
«Держаться за землю»

“И тут же — быстрее, чем Петька вгляделся в его детски маленькое, белевшее даже сквозь уголь лицо, — закапала мелочь из купола, прощелкала по каскам, по телам — казалось бы, безвредными щекотными клевками, но для них, забывших в забое Шалимовых, это был сигнал смерти. В груди как будто бы вспорхнула стайка воробьев, но Петька весь ушел в живую, ревущую кучу породы, вцепился, как в падлу кобель, когтил ее, рылся до левой руки Фитилька и сам не поверил, что пальцы скребнули по почве, по бритвенно острому краю коржа, которым прижало набрякшую кровью, безжизненно квелиую руку — отрезать должно было бритвой по локоть, но вот ведь не вырвать культя!”

Из книги Алексея Васькина
«Владимир Шухов: Покоритель пространства»

“На рассвете 27 января 1939 года жильцы большого серого дома на Зубовском бульваре не спали. Дело даже не в том, что кто-то из них ждал ареста в это неспокойное время, — случилось нечто такое, что заставило всех очнуться. «Помогите! Горю!» — истошные крики о спасении неслись из квартиры № 46. Судьба сыграла с академиком Владимиром Григорьевичем Шуховым злую шутку. Редкостный чистюля, Шухов с молодости был очень брезглив, даже золотые монеты брал (а человеком он до 1917 года был обеспеченным), только предварительно надев перчатки. Руки мыл постоянно, если воды не оказывалось, протирал спиртом. И хотя в его новой квартире на Зубовском была горячая вода, старый ученый по привычке обтер руки одеколоном, а остатки вытряхнул из опустевшей склянki на себя. Капли попали на ночную рубашку. Случайный жест в сторону горевшей рядом свечи — и рубашка мгновенно вспыхнула.”